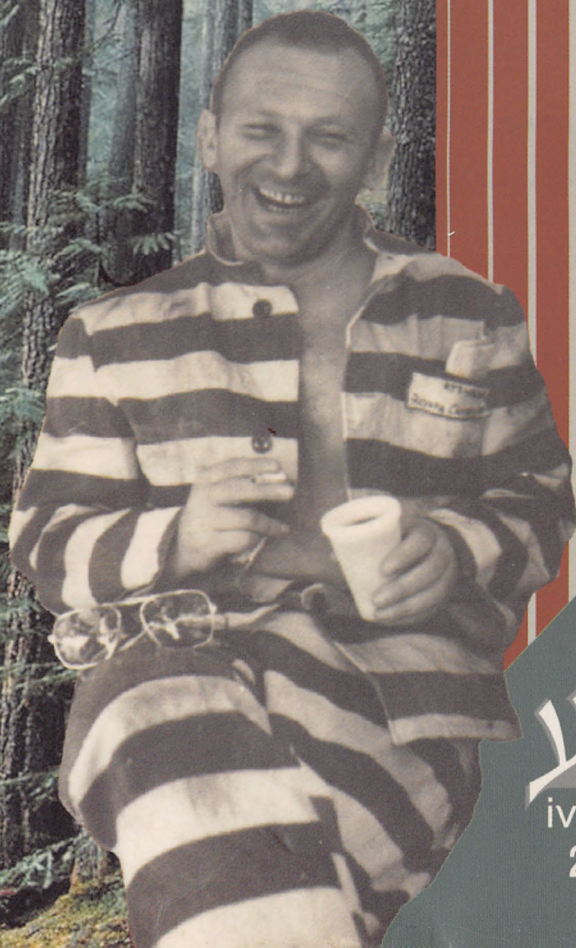


Эдуард  
КУЗНЕЦОВ

# ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО...

Эдуард КУЗНЕЦОВ

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО...



ИЗДАТЕЛЬСТВО

ivrus

  
ivrus  
2000

**Эдуард  
КУЗНЕЦОВ**

**ШАГ ВЛЕВО,  
ШАГ ВПРАВО...**

Издательство  
“Иврус”

**Иерусалим  
2000**

**СЕРИЯ: ЛИЧНОСТЬ. О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ**

**Основана 1 января 2000 года**

“ТЮРЬМА – острог, темница, узилище, каземат, арестантская, она же: мешок, блошница и пр. “От сумы да от тюрьмы не отрекайся”, как раз угодишь. “Тюрьма, что могила – всякому место есть”. “Худое дело тюрьма – а без нее нельзя”. “И дешево по тюрьмам проживать, да накладно”. “На воеводу доказывай, а сам иди в тюрьму”. “Смелого ищи в тюрьме, а глупого в полах”. “Охти мне – все товарищи в тюрьме; что-то будет и мне!” – В. Даль, “Толковый словарь”.

Эдуард КУЗНЕЦОВ  
**ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО...**

© 2000 Copyright by Eduard Kuznetsov & “Ivrus”  
All rights reserved.  
Издательство “Иврус”

Подготовка к печати – Сергей ПОДРАЖАНСКИЙ  
Дизайн – Леонид ДОРФМАН

Отпечатано в Израиле

В этой книге собраны воедино мои публикации разных годов. Отнюдь не все, поскольку некоторые куда-то подевались, другие, как мне представляется, отчасти утратили актуальность, третьи далековаты от интересов широкой публики, четвертые мне лень искать в своем многопудовом архиве... Ну и т. д. Костяк же данного сборника составляют две книги, тайком написанные в лагере и тайком же переправленные за его пределы - "Дневники"\* и "Мордовский марафон"\*\*, - отчасти усеченные (по редакционным соображениям), чуть-чуть уточненные (за счет дорасшифровки отдельных фрагментов накарябанного мною в камере спецлагеря).

Кстати, раз уж к слову пришлось, насчет того, как оно пишется в лагере-то, где что ни день - шмон или угроза такового. Прежде всего надо обзавестись очень (ну очень!) сильным желанием что-то там такое-эдакое написать. Затем следует трезво прикинуть, зачем это тебе, собственно говоря, нужно и во что это может обойтись (в смысле нового срока, "особого расположения" всякого там начальства и возможных кар для тех, кто твои творения будет тайно переправлять за зону и за кордон). Только после этого стоит заняться логистикой, каковая включает в себя следующие основные элементы:

1. Тщательнейшая подготовка как минимум трех тайников (оперативный - куда прячешь написанное за день; долговременный - где готовая рукопись месяцами отлеживается в ожидании момента, когда представится возможность выпихнуть ее за пределы лагерного забора; и запасной - на случай, если первые два тайника "сгорят").

2. Формирование состава камеры, поскольку от гэбни да ментов еще можно как-то утаить свои "клеветнические" потуги, от сокамерников же -дохлый номер. Невидимое глазу начальства комплектование состава камеры подходящими людьми - дело крайне трудоемкое, требующее массы изобретательности и готовности, если что, и в карцере помяться. С 1975 по 1979 гг. камера №5 мордовского спецлагеря 385-7/1 была в этом смысле почти идеальной.

---

\* "Дневники" в 1974 году были признаны во Франции лучшей книгой года, написанной иностранным автором, и увенчаны премией "Гулливер". Книга опубликована на 8 языках, - примеч. ред.

\*\* Книга издана на 5 языках, - примеч. ред.

3. Необходимость зарубить себе на носу раз и навсегда, что воюешь ты с центральным режимом, а не с зачуханными надзирателями (прежде всего, так оно, по сути дела и есть, а к тому же режим ты еще иногда можешь как-то переиграть - пусть и по мелочам, - а какой-нибудь там прапорщик Пупкин, если ты ему лично досадил, такую давиловку тебе будет из года в год, изо дня в день учинять, что только держись). Отсюда же необходимость досконального знания повадок, а равно служебных и личных обстоятельств всех надзирателей. К примеру, если вечером на дежурство заступает лейтенант Тазин, а прапорщика Глинкина почему-то нет, то, значит, начало смены не ознаменуется распитием энного количества самогонки, которую гонит жена Глинкина. Вместо этого Тазин, едва расписавшись в соответствующем журнале, наденет валенки (или тапочки - летом) и поворовски выскользнет в коридор спеца. Но... во-первых, дверь дежурки скрипит, а во-вторых, едва он ее приоткрывает, как в коридор на мгновение врывается гул ментовских голосов, в той же дежурке всякой ерундой занимающихся. Надо тут же “крохотулку”, над которой ты корпел, переводя чернила и желчь, спрятать и склониться над какой-нибудь книгой, чтобы когда наостренным арестантским ухом уловишь, как тихохонько-тихохонько чуть приоткрывается железный “волчок”, громко и весело сказать, не отрывая глаз от книги: “А вот и Тазин! Эй, командир, не простуди глаз!” Не шибко обидно ему - потому как вроде бы шутка, и при этом он усваивает очень полезную для тебя установку, оформленную в ментовском мозгу примерно так: “За этим гадом охотиться - только время терять: все равно ничего не надыбаешь”.

4. Следует исхитриться отбывать срок не где попало, а именно на спецу под номером 385-7/1, потому что в производственной зоне соседнего (через дорогу) лагеря для уголовников (385-7) какие-то там электродетали упаковывают в тонкую-претонкую и при этом очень прочную бумагу - лучше которой для тайнописи нет. Так что путем различных манипуляций, выстроив хрупкую цепочку дневальный-шофер-надзиратель-шофер-дневальный (каждое звено которой падко на рубли), можно иной раз раздобыть пук этой бесценной бумаги и заначить ее - до нужного момента.

5. Очень полезно обзавестись как минимум одним стукачом-двойником, то бишь таким человечком, который и на кума гэбэшного трудится и тебя в курсе кумовских интересов и замыслов держит.

Ну и т. д., включая наличие надежных друзей на воле, которые

твою рукопись бережно и со всяческой оглядкой примут и дадут ей нужный ход.\*

Я, собственно, для того это предисловие затеял, чтобы восполнить и разъяснить некоторые эпизоды, которые в период создания “Дневников” и “Мордовского марафона” по тем или иным причинам не могли быть зафиксированы или стали мне известны много позже. К примеру, только в 1980-м году я узнал, что истинной подоплекой моего и моих союзников обмена на советских шпионов было желание тогдашнего президента США Картера протолкнуть через конгресс соглашение об ОСВ-2 (Ограничение стратегических вооружений). И рассказал мне об этом капитан ВМС США, которого эти самые шпионы пытались завербовать, а тот тут же поскакал в родную контрразведку. Впрочем, вот что - лучше я об этом обстоятельно сообщу в сноске к тексту под названием “Хэппи энд” (он в этом сборнике), чтобы не выломиться из пулеметного стиля данного предисловия.

---

\* “В конце декабря 1972 года, когда я был один в доме, неожиданно раздался звонок в дверь, - пишет А.Д. Сахаров в книге “Воспоминания” (изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1990). - Я открыл, на пороге стояла неизвестная мне женщина. Я впустил ее в квартиру. Она молча прошла в нашу с Люсей (Елена Георгиевна Боннэр, - Э.К.) комнату и положила на столик небольшой сверток, величиной с палец, тщательно зашитый в материю. Не произнеся ни слова, женщина тут же ушла. В свертке находилась рукопись знаменитого впоследствии “Дневника” Кузнецова и сопроводительное письмо автора, в котором он вверял Люсе судьбу своего произведения. Кузнецов писал “Дневник” в лагере, тщательно скрывая его от надзирателей и вообще посторонних глаз, пряча от многочисленных обысков. Написан был “Дневник” мельчайшим почерком, на тонких листках папиросной бумаги, скрученных в трубочку. Писать и хранить рукопись в лагере было необыкновенно трудно и опасно, это был настоящий подвиг, но и не легче было вынести ее из зоны на волю. Тут участвовало много людей, называть их всех я не могу. Один из них, как стало впоследствии известно КГБ, был заключенный, украинец Петро Рубан. КГБ жестоко отомстил ему... (1) Мелкие буквы рукописи можно было разобрать лишь в очень сильную луну, да и то человеку с более здоровыми, чем у нас, глазами. Люся попросила расшифровать рукопись одного из знакомых и вернуть ей, естественно рассчитывая, что круг людей, которым станет об этом известно, будет минимальным; к сожалению, это условие оказалось нарушенным, что повлекло за собой тяжелые последствия”.

Или другой эпизод - о роли первого секретаря компартии Ленинграда и Ленинградской области товарища Толстикова в вынесении Марку Дымщицу и мне смертных приговоров. По сведениям, собранным из разных источников, представляется правомерным заключить, что именно Толстиков (как всякий почти глава столь весомого надела, как Ленинград, рвавшийся в самые верхи партийной иерархии) настоял в Кремле на необходимости и желательности жесточайшей расправы с посягнувшими на побег из СССР, чтобы раздавить движение за эмиграцию, насмерть напугав его участников. (По делам, связанным - зачастую очень условно - с нашим, было арестовано в разных городах 46 человек.) Он и я же с ним промахнулись, ибо не учли, что уже подкрались другие времена. Иные, потому что советский режим уже не мог позволить себе былого безоглядного размаха репрессий (по целому ряду причин, излагать которые здесь мне скучно, а уж вгрызаться в осмысление их рядовому читателю и того скучнее), в частности и потому, что уже созрел - или догнал - до политики, которая позже обрела название "разрядки" (она же - детант). Несмотря на навязанную Толстиковым линию (хотя вряд ли политбюро так уж сильно ей, такой привычной и понятной, сопротивлялось), поборники свободной эмиграции не только не испугались, но и кинулись учинять всякие там массовые акции протеста при вполне дружной поддержке правозащитников во главе с академиком Сахаровым. А тут еще и Запад на такие дыбы встал!.. Тамошние либералы - особенно американские, активнейшая часть которых, как известно, евреи - уже дозревали до ревизии своей патологической левизны, подустали от многолетних протестов против вьетнамской войны и внутренне были готовы подыскать какой-то иной объект для сострадания - вот тут-то мы и подвернулись. В общем, "вышак" нам с Дымщицем отменили, ворота эмиграционные впервые после 20-х годов приоткрыли (и не только для десятков тысяч евреев, но и для тысяч и тысяч подсоветских немцев), а Толстикова "опустили", то бишь сделали козлом отпущения и турнули послом в Китай, а потом - и вовсе в Голландию.

Конечно, я тут кое-что отчасти упрощаю - иначе мне не выбраться из исторических хитросплетений, где всякий нюанс важен и к тому же требует дополнительных уточнений, оговорок и бесчисленных отступлений. А это уже не на предисловие тянет, а на еще одну книгу. Добавлю лишь еще пару штришков, чтобы наконец расплестись с этой темой.

Еще в период подготовки к нашей акции отчаяния я говорил сво-

им будущим поделщикам, что СССР сидит - во всех смыслах - в такой глубокой заднице, что вот-вот должен начать попросничать у Запада, а тот, если не сгруппит, потребует в ответ каких-то уступок в гуманитарной - и в частности, в эмиграционной - сфере. И Кремль, похоже, будет вынужден кое в чем попятиться, если... требование об этих уступках будет исходить не только из-за бугра, но и отсюда. Будучи при этом очень громким. Скандально громким. Именно мы этот вопль и издадим (если шибко повезет), а с учетом упований на грядущие смягчения сов. режима, есть основания полагать, что если нас и засадят за решетку, то, вероятно, ненадолго. В чем-то я тут не мог не промахнуться, но что-то и угадал (хотя и случайно, поскольку рассуждал в рамках вероятностной логики... А - где логика и где - реалии? К тому же реалии советские.). К примеру, мою тогдашнюю жену Сильву Залмансон освободили уже в 1974 году (в обмен на некоего Юрия Линова - советского шпиона, пойманного в Израиле). Кстати, когда меня привезли на свидание с ней в Лефортовский гэбэшный следственный изолятор, меня вызвал на беседу генерал-майор КГБ, назвавшийся Иваном Ивановичем Рудерманом, который, в частности, сказал: "Промахнулись мы, конечно, с вашим арестом. Дали бы вам улететь, и были бы вы обычные воздушные пираты, а нам не пришлось бы расхлебывать всю эту кашу с бесконечными протестами Запада, не пришлось бы разрешать эмиграцию..."

Вообще говоря, такой уж в то время выпал расклад, что к нашей истории оказались причастны и политбюро во главе с тов. Брежневым, и председатель КГБ Андропов, и академик Сахаров, и президенты США (сперва Никсон, потом Картер), и генералиссимус Франко... О роли последнего в отмене нам с Дымшицем "вышак" я сообщаю в надлежащем месте этой книги, но тут вот на днях (то бишь в конце октября 1999 года) вдруг всплыла еще одна подробность...

В 1970 году в мадридской тюрьме ожидали казни трое баскских террористов, учинивших взрыв в каком-то там тоннеле, в результате которого погибли несколько жандармов. Демонстранты в Европе и США требовали отмены смертной казни этим баскам и нам с Дымшицем. И диктатор Франко помиловал своих смертников, тем переключив энергию демонстрантов на Брежнева. Ранее я (да и не только я) полагал, что генералиссимус сделал это, уступив шумовому давлению. Однако было, оказывается, еще нечто, повлиявшее на непреклонного диктатора.



24 декабря 1970 года, едва международные СМИ сообщили о вынесенном нам приговоре, премьер-министр Израиля Голда Меир вызвала в свою канцелярию Ицхака Рагера и велела ему срочно отправиться в Мадрид. Ицхак Рагер (ныне, увы, покойный) в то время числился израильским консулом в Англии, однако на самом деле выполнял деликатного свойства поручения полусекретной организации “Натив”, которая занималась вопросами репатриации евреев из СССР и стран Восточной Европы. Короче, через день-другой Ицхак Рагер предстал пред грозные очи генералиссимуса Франко и бил ему челом, говоря при этом такие, примерно, слова: “Мы знаем, что Ваши предки были евреями-маранами. Один раз Вы уже оказали неоценимую услугу нашим соплеменникам, не выдав евреев Испании Гитлеру, окажите ее еще раз: помилуйте людей, чьи руки обгарены кровью, ради спасения тех, чьи руки чисты”. И Франко обещал Рагеру помиловать баскских террористов.

А впрочем, Бог с ними, со всеми этими уточнениями-пояснениями - задача, вижу, для всего лишь предисловия едва ли подъемная, ибо пояснениям-уточнениям этим несть числа. Да не так это все и важно (разве что занудам-историкам). В конце концов основное в этой книге, как мне представляется, - групповой портрет обитателей политических “спецзон” в 60-70-х годах, да еще, мнится, довольно любопытный процесс кристаллизации в отдельно взятой - и, в сущности, оторванной от источников неофициальной информации - голове догадок и соображений, некоторые из которых лишь спустя добрых два десятка лет стали расхожей истиной.

Итак, 1970-й год, Ленинград, специзолятор КГБ - Большой Дом.

# ДНЕВНИКИ



27.10.70. Следствие закончено, дело подписано, и наконец–то я законный обладатель карандаша и бумаги. Не то, чтобы у меня их не было и раньше, до разрешения, но запретный плод хоть и сладок, да проку от него маловато: надзиратели обнюхивали каждый клочок бумажки, выискивая следы карандаша. Нельзя сказать, что меня томит обилие мыслей и образов, однако глубокомысленно посидеть над тетрадкой, покурить вволю и записать какой–нибудь пустячок – удовольствие немалое. Любопытно, что даже в этой полудюжине строк я пару слов зачеркнул (причем так, чтобы их нельзя было прочитать), а одно вписал. Суетная ориентация на чужой глаз, что ли? Попробуй–ка от нее избавься... Вероятно, всякое движение человека – в той или иной мере жест при одном лишь подозрении наблюдения или даже отдаленной возможности такового.

Камеры здесь на двоих – двойники, как их зовут. На второй день после ареста ко мне посадили Ляпченко А. И., мужчину в годах и всячески больного. Сотрудничал с немцами во время войны, отсидел за это червонец, в 55 г. освобожден. Потом приговор был опротестован и – через 14 лет – его снова арестовали. Он уверен, что его приговорят к расстрелу.

Просидели мы с ним довольно мирно 1,5 месяца, потом нас разбросали по разным камерам, и оказался я вместе с Козловым Юрием, парнем на два года старше меня. До этого он сидел в Коми АССР по какому–то разбойному делу – то ли его сюда за новым сроком привезли, то ли еще зачем, не знаю: (2) он скрытничал, а я не считал удобным особо любопытствовать – не такое место, чтобы душу открывать. С этим я тоже ужился – безалаберно и шумно, но через месяц стал заметно тяготиться его экспансивностью и в общем–то был не против поменять его душевность на заскорузлую мизантропию какого–нибудь молчуна.

Со 2–го сентября я делю камеру с Салтыковым Владимиром Павловичем, художником, осужденным на 4 года за хулиганство. Потом, по его словам, его перевели из “Крестов” в Большой дом (3) в качестве свидетеля по делу о перепродаже золота. Художник он, как выяснилось, никакой – плакаты малевал. В свои 50 с лишним подчеркнуто бодр, неистощимо похабен и по–провинциальному остроумен. На начальство реагирует болезненно: трясение членов и бледность чела. Через день–другой мне без особых усилий удалось внушить

ему, что молчание – лучший способ общения при вынужденном сожительстве. И если не считать мерного скрипа сапог, когда он бродит по камере, привычки высвистывать свои мысли при помощи опереточных мотивчиков, да жирного храпа по ночам, он вполне сносный сокамерник.

28.10. Недели за две до выполнения ст. 201 УПК РСФСР, знаменующего окончание следствия, я письменно отказался от защитника, зная – и не только по личному опыту, – сколь беспомощна, неуклюжа и робка защита в политических процессах. Кроме того, раз мне не дадут сказать всего – в чем я не сомневаюсь, – лучше вообще ничего не говорить. В ходе следствия я уже успел поупражняться в логизировании... Ну и что? И следователь, и прокурор, то и дело, казалось бы, загоняемые мною в логические тупики, чувствовали себя в них преугодно. Они узурпировали власть над людскими судьбами и именно потому мнят себя обладателями абсолютной истины. Беда еще в том, что эта истина у них не в голове, а где-то в чреве что ли – так что приглашение к мало-мальски отвлеченному рассуждению вечно попадает не по адресу.

Суд, полагаю, будет очередной гримасой законоподобно оформленного “социалистического правосознания”... А потому не хотелось бы вступать в имеющую произойти в зале суда игру по ими составленным правилам. И не в последнюю очередь потому, что мне уже не 20 лет, чтобы гореть желанием переделать мир – с величайшим удовольствием расплевался бы со всей этой византийщиной, будь у меня возможность. Хоть бы Юрьев день какой ввели – для припекаемых эмигрантскими вожделяниями.

В общем, заявил я о своем решении обойтись без защитника, а он тут как тут – приземистый иудей лет под сорок, круглый и шустрый, Лурьи Юрий Иосифович. Я было ни в какую, но оказалось, что он не назначен, как водится, судом, а нанят моими друзьями, которые, как он мне пояснил, могут обидеться, откажись я от его услуг. Это первая весточка с воли... и я сдался. Шутка ли – не растерять друзей, оказавшись в руках ГБ. Хотя, вообще говоря, только окологлажные дружбы из числа стоящих... Впрочем, об этом как-нибудь потом, а то меня все в сторону заносит.

Лурьи – дядька неглупый. Мы с ним немного попикировались, покичились каждый своим остроумием, литературными симпатиями и пришли к согласию, что дело, в общем-то, швах, из кожи лезть ему нет смысла – так и так 15-ть, – а потому не суть важно, если я не признаю себя виновным по всем пунктам обвинения и буду настаивать на переквалификации статей, а он признает квалификацию верной и будет бить лишь на смягчение наказания, уповав на чудо – на 14 лет. Так или иначе я доволен: Лурьи мне живая весточка с

воли, теплое существо среди угрюмой казенщины инквизиторских физиономий. Впрочем, “инквизиторских” здесь не к месту – нет основного качества: одухотворенной изощренности сыскных трудов.

В чем–то Лурьи очень типичен... Слишком резки ветры диаспоры, чтобы еврей мог остаться прямым. Это немногим удастся. А у ищущих преуспевания, у возлюбивших жир фараоновых горшков основные свойства – вынужденная уживчивость, бодрое лицемерие под маской энтузиазма, даже при самом искреннем увлечении каким–нибудь делом – горчичное зерно отстраненности, ирония и скепсис наблюдающего со стороны ума, как бы знающего про себя, что он делает ЧУЖОЕ дело.

29.10. Суд, очевидно, начнется месяца через 1,5. Во всяком случае до Нового года. Что мне меньше 15 не дадут – никаких сомнений. В лагере я знал добрую дюжину бедолаг, получивших по 15 лет за “измену родине” далеко не при столь отягчающих обстоятельствах, как у нас. Ну а червонец–то и вообще черт знает за что дают. Помню был такой Костя Царев, красивый малый лет 20 с небольшим. Я с ним потом еще во Владимирской тюрьме в одной камере сидел, в 68–м году. Мне тогда уже месяца три до освобождения оставалось, а его – и еще четверых – привезли из мордовских лагерей с новыми сроками за дебош в изоляторе (добавили кому по 2, кому по 3 года, и они были ужасно довольны, что так дешево отделались). Этот самый Костя служил в сов. армии в ГДР. Раз, уйдя в самоволку, напился до потери сознания и проспал в какой–то канаве до утра. Очнувшись, ужаснулся мысли, что теперь он дезертир. Деревенский парень, каких по преимуществу и берут в оккупационные войска, имеющий весьма туманные представления о законе, до тех пор удачливо совмещавший мелкие погрешности против дисциплины со званием “отличника боевой и политической подготовки”, он пуще смерти боялся публичного позора всяческих дисциплинарных взысканий. Как озарение приходит мысль о единственном выходе – переходе границы. По его признанию, он никогда до того и не думал о Западе и если и противопоставлял его Востоку, то только в духе газетных передовиц и красноречия замполита. Но время от времени им перед строем зачитывали очередное сообщение о каком–нибудь “дезертире, изменнике родины”, заочно приговоренном к смерти (известно, что всякий удачливый перебежчик заочно приговаривается к расстрелу), и только в связи с этим где–то в нем угнездилась мысль о самой возможности – в принципе – бежать на Запад. Именно она и сработала в тот момент. Сейчас я уже не помню всех перипетий его усилий, нацеленных на переход границы, но, кажется, его на другой же день где–то на вокзале задержала гэдзэровская по-

лиция и передала в руки советского трибунала. Следовательно отечески сочувствовал ему и терпеливо внимал наивной путанице страхов, толкнувших его на столь страшное преступление. Ну а окажись ты в ФРГ, спросил он Костю, ведь тебя бы сразу в ихнюю контрразведку потащили, ты же знаешь. Ну, конечно, согласился тот. А ведь ты, продолжал следователь, даже свою солдатскую книжку не уничтожил – не сжег, не разорвал... Значит, они бы узнали номер твоей части. Это так, понуро согласился Царев. А скажи честно, по–русски: стал бы ты скрывать имена своих командиров, устройство своего оружия – автомата там или еще чего? Не рассказал бы вообще о жизни гарнизона? Они ведь умеют заставить говорить... Костя был вынужден признать, что, наверное, рассказал бы обо всем этом. Следователь очень огорчился такой его беспринципной покладистости, но на тревожное вопрошание Царева, что ему теперь будет, сказал, что до дисциплинарного батальона дело, может, и не дойдет, но 15–ти суток гауптвахты, выговора перед строем и отправки в другую часть – уже в России – ему не миновать. Тому, что его отправят в другую часть, Костя был только рад: меня, говорил он, командир застыдит – пятно на коллективе, переходящее красное знамя и т.д... Военный трибунал дал ему 10 лет за попытку изменить родине путем бегства в ФРГ, где он намеревался передать вражеской разведке военные секреты.

30.10. Нас перевели из 247 в 242 камеру. Под нами “ленинская” камера – 193, в которой тот когда–то сидел. Ныне она пустует в качестве реликвии, не подлежащей осквернению. Если взглянуть из прогулочного дворика на стену нашего корпуса, пятое окошко справа на пятом этаже сразу бросается в глаза: нарушая впечатление угрюмой правильности ржавых квадратов “намордников” на каждом окне, одно оно сияет чисто вымытыми стеклами. Редкая решетка, стекла вместо плексигласа и отсутствие “намордника”, из–за которого в камере даже в солнечный день сумрачно, это кое–что для арестанта... С репрессивных царских времен экстерьер тюрем более всего, насколько мне дано судить, изменился за счет “намордников”, да еще кое–где – как, например, во Владимирском центре – свежая кирпичная кладка подсказывает, что старорежимные окна были раза в четыре просторнее нынешних. Однако, 4 корпуса Большого Дома пустуют. Резерв, что ли? Мы занимаем только 5 и 6 этажи одного из корпусов – человек нас 50 от силы. Да и то половина, наверное, – валютчики, взяточники (крупные) да контрабандисты. С 61–го, если не ошибаюсь, года КГБ взял на себя эту дополнительную нагрузку, и хотя все эти “экономические диверсанты” отбывают сроки в обычных уголовных лагерях, следствие по их делам ведет КГБ, чему славные чекисты весьма, по их же словам, не рады.

Общий дух Большого Дома почти не отличается от такового Лубянки и Лефортовской тюрьмы. Теперь, когда я опять вжился в тюремные будни, иной раз в просоночном состоянии временные пласты смещаются, и я путаю 1970 год с 1961–м. Кстати, словно иллюстрируя поверхностность традиционного противопоставления москвичей и ленинградцев (душевность – сухость, безалаберность – педантизм, румянность щек – геморройная бледность и т.п.), здесь тюремные обряды не блюдутся столь строго, как на Лубянке и в Лефортово. Тут не шипят со зловещей значительностью: “На К – приготовьтесь”, а лихо хлопают кормушкой и, громко вычитывая по бумажке фамилию, сообщают, куда именно тебя поведут. Конвоируя арестанта, надзиратели, во избежание нечаянной встречи с другим заключенным, не только пощелкивают пальцами, как это заведено в Москве, но и гремят ключами, свистят, а то и вовсе кричат что–нибудь вроде: “Осторожно – веду!”. Хотя, возможно, сами ленинградцы неповинны в столь наплевательском отношении к инструкциям: на моих глазах надзорсостав уже дважды обновлялся во всяком случае наполовину – и все за счет приезжих из самых разных областей. Я слышал, как они называли себя командировочными и стажерами. Интересно, есть ли тут какая–то связь с нашим делом? Более 40 следователей готовили нас к суду – от просто следователей по особо важным государственным делам до начальников следственных отделов КГБ краев, областей и городов, от старших лейтенантов до полковников. Каждые две–три недели мне давали на подпись очередное уведомление: в связи, де, с особой сложностью дела в следовательскую группу включены такие–то и такие–то лица.

31.10. Окончательно убедился, что мой сокамерник – “наседка”. Он и раньше излишне энергично (по тюремной этике) интересовался некоторыми укромными деталями нашего дела, но я не спешил с выводами, контролируя склонность к подозрительности, почти неизбежную в таких условиях. Сколько я их видел, населяющих доносчиками и сексотами все пространство вокруг себя. Поиск личной значимости, что ли? А скольких усыпляют, отравляют, гипнотизируют... Как правило, это пустейшие людишки – выверни их наизнанку, не обнаружишь ничего, достойного слежки или гипнотизирования, разве что гипертрофированное тщеславие да пару капель яда. Двинутые, разумеется, не в счет.

Постоянное пребывание нос к носу располагает к некоторой бесцеремонности, а чуть дай волю – и к амикошонству. Я всегда норовлю предельно отдалиться от сокамерника. Не то, чтобы я так уж необщителен, но в иные мгновения мне всякое посягательство на тишину – нож острый. И вот, чтобы уберечь эти возможные редкие мгновения, я заранее пускаюсь на ряд уловок, суть ко-

торых сводится к внушению сокамернику примерно следующего: когда этот желчный, гневливый и наглый тип читает, расхаживает по камере с преувеличенно сосредоточенным видом или сидит на койке, прикрыв ладонью глаза, лучше ему не мешать: не заговаривать с ним, не свистеть и т. п., а то нарвешься на какое-нибудь язвительное замечание или – и того хуже – скандал. Дело в том, что в силу ли мизерности мыслительных способностей, суперчувствительности ли ко всяким помехам извне или, может, даже подсознательного настроения на поиск таковых в качестве оправданий неумения сосредоточиться, меня отвлекает, раздражает само подозрение, что вот сейчас или чуть позже (вообще – в любой момент) кто-то может обратиться ко мне с каким-нибудь вопросом, заговорить, кашлянуть, посмотреть даже. При всем том я вроде бы не неврастеник. Сейчас пришло в голову, что описанное выше состояние – эдакая шумовая идиосинкразия – сопутствует в первую очередь топтанию вокруг старинных моих тем: как жить? Не сегодня и завтра, а вообще. Этические антиномии – мой неизбывный крест. Что-то вроде сверхценных идей (попадись я в руки психиатрам с их скучными эталонами здоровой психики).

Я еще лет в 18 всерьез мечтать забраться в какую-нибудь лесную избушку – снег и тишина первозданная и, главное, чтобы вокруг была разлита прочная уверенность, что никто тебя не потревожит и впереди много-много времени, так что спешить некуда... И тогда, мнилось, я решил бы для себя все главные вопросы... Глупость, конечно. Одно утешает: вот эта – тогдашняя еще – оговорочка: решу все вопросы “для себя”. А не для всего человечества. Время, отведенное для прогулки, кончается – закругляюсь. Теперь я не хожу гулять, чтобы хоть час побыть одному.

Вот как я его разоблачил. Решил взречь перед обедом и уже совсем было заснул, как он тихонько окликнул меня. Какая-то странная нотка заставила меня насторожиться, я промолчал и постарался дышать как можно ровнее. Слышу, он поднялся с койки и начал потихоньку извлекать у меня из-под подушки том Карамзина, где у меня эта тетрадь: до сих пор я делал вид, что конспектирую Карамзина и – поскольку дневник мой еще в эмбриональном состоянии – не утруждался прятать тетрадь (надо срочно завести в похожей тетради всяческие конспекты). Я заворочался, вроде бы просыпаясь, он нервно шарханул в сторону и, независимо насвистывая какую-то песенку, зашагал по камере. Пора подумать о тайнике. Это та еще проблема: камера почти голая, а обыски – минимум раз в неделю. Но толковый арестант мента завсегда одурочит: тот-то за зарплату трудится (то бишь кое-как), а ээка день и ночь голову ломает, как ему вертухая вокруг пальца обвести.

Надо от него как-то избавиться... Впрочем, другого ведь дадут.

3.11. Узилище – самое то место, где надлежит думать о свободе. В том числе и в философском смысле. Давно я уже имел зуб на известный марксистский постулат о свободе как осознанной (другой вариант – познанной) необходимости, но как-то все времени не было додумать до конца свои претензии. Свобода – ведь это состояние, и неправомерно сводить его только к акту сознания – познанию. Это состояние характеризуется отношением к необходимости, т. е. преодолел ее индивид или нет, преодолевает или подчинился. И эти три последних состояния в качестве одномоментных или растянутых во времени процессов выступают в различного типа связях с познанием, познательностью конкретно предстоящей необходимости. Ведь можно познать необходимость и быть подчиненным ей. Где же тут свобода? (Призыв же познать необходимость и “свободно” подчиниться ей ориентирован отнюдь не на этические принципы жизненного выбора.) Ergo: свобода есть преодоленная необходимость или же способность и возможность преодолеть ее. Или же – более грустно: свобода это возможность сознательно выбирать себе господина с сохранением за собой права уйти от него к другому в любое время. Разумеется, данное рассуждение неизбежно жидится на ряде аксиом, единственно и делающем его приемлемым. К таковым, например, относится неявное допущение, что конкретно предстоящая перед человеком необходимость может быть вполне познана – и при этом умалчивается о кровном родстве ее со всей системой (а в другом смысле – хаосом) необходимостей, в которую погружен человек и которая, собственно говоря, и зовется жизнью.



До сих пор не вставили в окно вторую раму, а батарея не горячее, чем задница у трехдневного жмурика.

Сегодня часу в десятом утра со стороны Литейного – звуки оркестра и топот-шарканье множества ног. Вдруг из окна какой-то камеры – истошный вопль: “Китайцы, мы здесь! Выручайте!” – и истерический хохот. Беготня, тревожная суета в коридоре, громкий шепот, потом какая-то возня – очевидно, повлекли бедолагу в карцер.

5.11. В очередной раз попытался получить хоть какую-нибудь юридическую литературу. Куда там! Даже конституцию СССР не дают. С книгами вообще очень плохо. Библиотека тут, может, и неплохая, но нет ни каталога, ни библиотекаря – функции его поочередно выполняют разномастные работники тюрьмы. Поэтому нередки такие казусы: попросил принести какую-нибудь книгу Кони, а мне вручают “Всадники и кони” какого-то Федорова. Я было



шуметь, а “библиотекарь” показывает свой блокнот: “Вы же просили что-нибудь о конях...” Дают две книги на неделю, мне их от силы на три дня хватает. И никакие протесты не помогают. Едва придя в себя после ареста, я было попытался изменить положение с чтивом, но довольно скоро уловил, что данная ситуация не случайна, не результат небрежения начальства. Начальник следственного изолятора майор Круглов – чернявый, носатый, лет 45-ти, разбитной, словно метрдотель второразрядного ресторана, – вызвав меня к себе в кабинет (по поводу моего очередного отказа говорить что-либо на допросах), поделился своими соображениями о заключенных и книгах, подытожив их популярным тюремным присловьем: “Тут вам не Академия наук”. Позже я слышал это и от прокурора Пономарева, и от следователей, и от надзиратель. То, что тюрьма – не академия, это точно. За предыдущие 7 лет заключения меня не единожды накрывали волны гонений на литературу. Во Владимирской тюрьме я с полгода добивался разрешения получить учебник английского языка – наконец разрешили... А при очередном обыске забрали как недопозволенный предмет. Естественно, я расшумелся... на 10 суток карцера. В 63-м году из лагерных библиотек изъяли почти всех иностранных авторов – по какому принципу отделяли овец от козлиц, я не понял. Был период (помоему, в том же 63 году), когда в 7-й лагерной зоне в Мордовии запретили получать “Крокодил”, т. к. заключенные “смеются антисоветским смехом” над картинками этого журнала, как пояснил тамошний замполит. Книги дореволюционного издания – крамола. Так у меня погиб Заратустра, полдюжина томов Гегеля и, помнится, двухтомник Ибервег-Гейнце. Тюремщики-интеллектуалы поясняют: “Какая еще зарубежная литература? Вам и советских-то книг не следует давать – вы все по-своему переиначиваете!”

6.11. Когда аполитичность объявляется видом политики, и притом политики, враждебной “гегемону”, тогда утверждение Руссо “Каждый бесполезный гражданин – вредный гражданин” становится побудителем чисток не только партийных рядов. Но это лишь во времена людоедской молодости государства. Когда круг номенклатурных работников не определился еще достаточно четко. Потом на кумачовых полотнищах с призывами к социально-политической активности обыватель научается вычитывать поучения типа любимой присказки мафиози: “Кто глух и нем, к тому же слеп, тот тихо проживет сто лет”.

“Если Бога нет, то все позволено”, – очень справедливо пугает Достоевский, солидаризуясь тут с вольтеровской необходимостью выдумать Бога. Похоже, его не так волнует, есть Бог или нет, как социально-нравственные последст-

вия открытия (или иллюзии такового), что Бог умер. Практически (если на время забыть о неоднозначности едва ли не всякой мысли Достоевского, сколь бы афористично она ни звучала) это утверждение необходимости ЛЮ–БОЙ доктрины, обуздывающей подсознательное. Но еще и тоска по эзотерии учения (равно системы и развития ее моментов) – для тех, кто не боится задавать вопросы себе и небесам.

7.11. Меня воротит и от сильных личностей, и от гигантских держав с мессианскими притязаниями. Вопрос стоит не столько об уменьшении уже наличествующей суммы зла, сколько о противодействии ее возрастанию. И потенциально и актуально куда опаснее оптимисты, нежели скептически–печально вззирающие на мир. Уверенный в единственной истинности своих убеждений, спеша учинить рай (в лучшем случае) на земле еще при своей жизни, станет ли он останавливаться перед рубкой начиненных иными убеждениями голов – ведь они только мешают, загораживают дорогу в рай, а жизнь так коротка! И чем убежденнее мономан, чем он более морально состоятелен, тем ощутимее разит от него чужой кровью.

8.11. Однажды замечаешь, что, оказывается, давно уже берешь в руки книгу – даже самую прославленную и давно искомую – без трепета, как бывало в юности, когда верилось, что есть книги, дарующие сразу все истины. Теперь все больше насчет игры акцентов, полутонов, оригинальности прорисовки деталей... Скучно быть взрослым.

9.11. Все мои сокамерники (былые и нынешний) при всяком случае вздыхают: “Скорей бы лагерь!” Там суета, картишки, чифир, разборки – в общем, видимость жизни. С благодарностью поменял бы 15 лет лагерных барачков на 20 лет одиночной камеры. Лагерь это, по меткому определению Синявского, нечто среднее между коммунальной квартирой, сумасшедшим домом и детским садом. Это о эзках. А есть ведь еще и начальство. Лагерь – задворки советской империи, здесь не стесняются ходить в неглиже и зачастую пренебрегают демагогическими румянами.

12.11. Вызывал майор Круглов по поводу обнаруженного во время обыска гвоздя. Слава Богу, что я еще не осужден, иначе одними угрозами не обошлось бы. Когда во Владимирской тюрьме (в 67–м году) у меня нашли обломок безопасного лезвия, я отсидел 15 суток в карцере да еще на 3 месяца был лишен права на закупки в тюремном магазине. Хотя в столярной мастерской, где

мы трудились, полно было разномастных железяк... В ходе беседы с Кругловым выяснилось, что, будь его воля, он всех бы евреев выгнал из Советского Союза, ибо они хитрые и не хотят искренне служить советскому государству. Очень популярная среди государственно-партийных чиновников точка зрения. В лагере придется столкнуться с другим – по форме – утверждением: все в руках евреев, Брежнев – еврей, Косыгин – тоже и т. д. Эзки вовсе не большие антисемиты, чем вольные, однако барачно-камерные формы жизни провоцируют более откровенную манифестацию утробных антипатий – а в какую форму они облакаются в зависимости от сиюминутных политических убеждений или того, что за эти убеждения выдается, не суть важно. Какой-то устойчивый вид идиотизма, многообразный и безликий равно, смехотворно аргументированный, жалкий в своей глупости и кошмарный своим пренебрежением ко всякой доказательности... Помню такую историю, предельно типичную. В той же Владимирке дело было. Я имел неосторожность расхвалить “Красную пустыню” Антониони (сценарий в “Иностранке”). Один из сокамерников, монархист и почитатель Конст. Леонтьева, пролистал с десяток страниц и взглянул на меня с подозрением. “Враки. Чегой-то она у него булку прямо на улице ест? Голодная, что ли? Ведь богатая!..” Я уже засыпал, когда на вопрос другого: “Стоит читать?” – монархист ответил: “Ерунда. Обычные жидовские штучки”. А через пару месяцев, уже в другой камере, третье лицо передало мне: “Говорят, ты написал какую-то жидовскую пьесу?” “Я? И почему жидовскую?” “Ну, да... Про пустыню что ли...” А еще через какое-то время у меня во время обыска забрали все бумаги, а когда возвращали малую толику их (остальные были конфискованы), опер предупредил, чтобы никаких “сионистских романов” не писал. Любопытно отметить, что русофилы любых мастей (а процент их среди русских эзков велик) считают своим патриотическим долгом бороться с сионизмом (понимаемым ими в духе “заговора сионских мудрецов”) – и даже при помощи доносов по начальству.

13.11. Утром водили к врачу, что показалось мне странным, а после обеда объявили, что 20-го будет суд. Всего через неделю, значит. Что-то больно быстро. Наверное, в понедельник придет адвокат.

Газеты мне не положены, даже и для туалетных нужд выдают не газетные клочки, а аккуратно нарезанные бумажные квадратики – таки изрядно грубые на ощупь... А сегодня дефицит у них что ли случился – выдали с четверть газетной полосы, хоть и порванной на клоки, но кое-как, так что можно было почерпнуть какую-никакую информацию о том, о сем. В частности, узнал, что в США положение трудящихся ухудшилось. Как они там, бедные, еще живы.

Сколько себя помню, жизнь у них то и дело ухудшается. Особенно плохо дело с образованием. У нас, слава Богу, бесплатное. Правда, это один из поводов отказываться в эмиграции: государство, де, на вас потратилось, а вы будете теперь отдавать свои знания нашим врагам. Оставив в стороне вопрос о бесплатности образования (бесплатно, как известно, ничего не бывает), разумно спросить: почему бы государству и не давать пожизненному рабу своему так называемое бесплатное образование, если тот не имеет возможности от него, господина, удрать? Ведь соки образованного раба слаще, т. е. прибыльнее.

18.11. Три дня не писал – как-то вдруг охладел. Дневник как безыскусная регистрация сиюминутных состояний и недавних событий много теряет, если браться за него нельзя в любой наиболее внутренне подходящий момент, если надо прятаться и спешить. Очень мешает и постоянно донимающее опасение, что он попадет в руки “синих” ребят. Не то, чтобы я шибко боюсь, что они в какой-то степени будут посвящены в те или иные подробности моих взглядов – я не делал из этого секрета и во время следствия – или узнают что-нибудь им неизвестное о нашем деле и его участниках (эти темы я обхожу), – нет, просто жаль времени и душевной энергии, растраченных не только впустую, но и во вред себе, окажись эти листки у них. Но сегодня я – непонятно с чего – более оптимистичен и решил быть до конца последовательным, как того и требует мое невеселое положение – я буду делать свое дело, а там будь, что будет... Сама синхронность фиксирования событий манит обещанием накопления материала, который позже подлежит более глубокому прочтению. Тут неизбежна стилистическая сырость, эскизность, некоторая безответственность, скоропалительность или во всяком случае необязательность выводов. И главное – поменьше философии.

Адвоката до сих пор нет. Странно. До суда всего два дня, а мы с ним после окончания следствия имели лишь получасовую беседу, да и то больше в окололитературном остроумии упражнялись, нежели о деле говорили. Оно, конечно, наплевать, если он и не придет, но все же хотелось бы порасспросить кое о чем. В частности, есть ли некая юридическая норма, согласно которой я не имею права, по утверждению прокурора Пономарева, дать суду отвод на том основании, что члены суда – коммунисты, а меня судят, наравне с прочим, и за антикоммунистические убеждения?

20.11. Вот так номер! Я, так и не дождавшись адвоката, с утра приготовился к суду, не ем, не пью от волнения, сижу как на иголках и час, и другой, и

третий... Наконец под вечер сообщают: “Суд перенесен на 15-е декабря”. Ни мотивов переноса, ни вообще каких-либо объяснений – лаконизм предельный. И здорово – сообщили лишь вечером дня предполагаемого суда. Пусть, де, потомится ожиданием.

Эта пара дней полна у меня всяких событий. Вчера перевели меня в 239-ю камеру, вторую с края на 6-м этаже. В камере я обнаружил чернявого парня хлыщеватой наружности – Белкина Виктора. Он тут же поведал мне свою историю и стало мне очень скучно. 4 года отсидел в колонии для малолеток, с год пробыл на воле и получил червонец за изнасилование несовершеннолетней. Ныне ему 21 год, сидит по последнему приговору около двух лет. Ленинградец. Отец – экспрокурор, со связями; мать... “мать у меня такая ушлая, в торговле работает. Живем – во! Хотели ее посадить за подкуп и угрозы потерпевшей, когда б не батя – не отвертеться бы”. Батя спасал его не единожды, хотя и “осел”. “Притащили меня в милицию, а начальник ее с моим батей вась-вась. Ну я вижу, мне – торч, говорю ему: “Дай я пахану брякну”. Валяя, говорит. Звоню: так, мол, и так, что делать? А он мне вместо того, что, дескать, все отрицай, кричит: “Говори, что по ее согласию!” А она ж малолетка! Уж батя потом на все пружины жал, чтобы хоть до червонца срок сбить... Ну, ништяк – сейчас они с мамашей обкатывают потерпевшую и ее старуху, чтобы они помиловку написали. Я тоже ее матери пишу: дескать, люблю и женьюсь. Вроде клюнула”.

Сюда его привезли 2-го сентября, как и Салтыкова (целую партию их что ли забросили?) – говорит, что свидетелем по делу о досрочном освобождении зэков из лагеря за взятки. Навязчив, болтлив, шумен всячески... Вот это мне подарочек! Лучше бы я с Салтыковым сидел – после того, как я его отлаял, мы с ним и словом не перемолвились за последние две недели. Похоже, придется этого хлопца ставить на место. Формальные зацепки на лицо: в лагере он был художником, т. е. на сучьей должности, да и здесь в качестве свидетеля. Но сначала попытаюсь ужиться с ним по-хорошему, а то опять хрен на редьку сменяешь.

21.11. Белкин с упоением читал письмо к матери “потерпевшей”, как он неизменно называет свою жертву. Цветистый лакейский стиль. После принялся за составление послания к какой-то Вале – “заочнице”, которую он атакует вот уже месяца два. Увидел ее фотографию в газете и теперь приглашает к любви. Поиск “заочниц” для многих уголовников занятие, поглощающее массу времени и энергии. Обычная цель: вырвать посылку и заманить на свидание. Последнее по закону хоть и не разрешается, но лагерное начальство, а, сле-

довательно, и сотрудничающие с ним заключенные, с законом запанибрата. На мой вопрос, как же он отправит 2 письма (ему положено одно в месяц), похвалился, что следователь сам отсылает его письма – без счета. Проговаривается по молодости или фанфаронствует?

22.11. Пришла в голову одна мысль. Как реализовать? Через адвоката исключено – когда я с ним в единственную нашу встречу *tete-a-tete* заговорил на какую-то, с его точки зрения, скользковатую тему, он так недвусмысленно взглянул на стену со штепсельными розетками, что я понял, что он вполне приспособился к жизни в нашей стране. Записку он, конечно, не возьмет, да и раздевают меня догола перед встречей с ним. Разве что во время суда удасться как-нибудь шепнуть Юрке.(4)

Формально обвинение нас в измене родине строится на уверенности – ничем, разумеется, не подтвержденной, – что мы стали бы вести себя враждебно по отношению к советскому государству, представься нам к тому возможность. В качестве одного из доказательств, что я не одержим никакими политическими амбициями, я могу сказать, что собирался, оказавшись в капиталистическом аду, первым делом добиваться разрешения на выезд за границу моей матери. Это правда. Но, во-первых, я решил вообще ничего не говорить, а во-вторых, мне никакие доказательства не помогут: браки, как известно, заключаются на небесах, а приговоры по такого рода делам, как наше, выносятся в Кремле. Но Юрке или Алику (5), а то и обоим сразу, этот довод может пригодиться. Не на суде – вышеприведенный сымпровизированный афоризм касается всех подсудимых, – а позже, если доживем до пересмотра дела. Суд же, я уверен, даст им под завязку (хотя по справедливости Алик, например, должен бы получить меньше всех), – ведь они единственные неевреи на скамье подсудимых. Вот за их счет и будет еще раз заявлено миру об отсутствии в СССР дискриминации. Кстати, меня могут тоже русским объявить – ведь нам с Дымшицем дадут, конечно, поровну: один еврей, один русский. Я просил во время следствия затребовать мои заявления в струнинскую городскую милицию о замене паспорта с внесением поправки в графу о национальности. Мне, разумеется, отказали – т. е. и (в свое время) в милиции, и во время следствия. А теперь убеждай суд, что *fifty-fifty* имеет право на восприятие себя в качестве еврея, хотя бы первоначально он и был официально зарегистрирован как русский. Начальник милиции сказал: “Чудеса. Впервые встречаю такое. Из евреев в русские – понятно, а наоборот...? Не могу разрешить, пиши в Москву...” Ничем не прикрытая ассимиляционная установка – в русские пожалуйста (но при этом очень важно, чтобы те, кому следует, все же знали, кто ты на самом деле по крови), в евреи – ни-ни.

...В 64 г. меня, помню, донимал некий майор Ермаков, спесивый, к месту и не к месту сообщавший, что он окончил филологический факультет в Саранске. Раз у нас вышел такой разговор. “За что вы лишили меня переписки с родственниками?” – “За непосещение политзанятий. Почему не посещаете?” – “Они мне не нужны – вот и не посещаю”. – “Не нужны или, может, скучны?” – “И то, и другое”. – “Мало ли что? Мне тоже не всегда весело, но я считаю...” – “Вы, видно, привыкли к компромиссам, а я стараюсь не приучаться к ним”. – “Что такое? – возмущился он. – Я принципиально бескомпромиссный человек. Вот например, как услышал я в первый раз в школе: сколько будет, если отнять от двух три? – ушам своим не поверил. Как это можно – от двух три? И ни в школе, ни в университете, ни сейчас я этого не принимаю – не понимаю и не принимаю. Вот это я считаю бескомпромиссностью!” Был он великий тупица, но, в отличие от большинства лагерных работников, не очень охоч на откровенное иезуитство. И в некотором смысле он действительно был человеком принципиальным: если кому-то говорил, что упечет в тюрьму, то, как тот ни вертись, как ни лезь из кожи вон, он-таки доводил его до какого-нибудь эксцесса и, проморив с полгода в изоляторе, отправлял во Владимирскую тюрьму.

В последнюю встречу с Кругловым (это когда он меня по поводу обнаруженного гвоздя вызывал) он, понося евреев как плохих граждан СССР, в частности сообщил, что они сами виноваты, что их так много погибло в той войне, ибо не оказывали сопротивления немцам. На мои возражения – мирное население, особенности массовой психологии, специфическая роль особой религиозности евреев, неверие человека в смерть ни за что, с неба свалившуюся, а главное, не только отсутствие надежды на помощь населения, но и уверенность, что их выдадут немцам и т.д. – он заявил: “Русский народ никогда не сдавался врагу! И никаких объяснений ему не нужно”. Я было заикнулся о миллионной власовской армии – где это, дескать, видано, чтобы на стороне врага сражался аж целый миллион? – но он велел мне прекратить “эти враждебные выпады”. Участвовать в таком споре – кретинизм. Мне порой не хватает юмора, и я всегда клянусь себя за раздражительность, серьезную горячность, с какой бросаюсь навстречу идиотам. И... никак не могу приучить себя к пренебрежительной мине. Вот и сейчас со злорадным удовольствием выпишу из Карамзина описание похода Эдигея на Москву: “Не было ни малейшего сопротивления. Россияне казались стадом овец, терзаемых хищными волками. Граждане, земледельцы падали ниц перед варварами: ждали решения судьбы своей, и монголы отсекали им головы, или расстреливали их в забаву... Пленников... иногда один татарин гнал

перед собою человек сорок”. Ах, избегайте, тов. Круглов, прямолинейных суждений о чужих народах, которые всегда ведь хуже вашего уж тем одним, что чужие!

А вот Карамзин выступает на нашем суде: “Бегство – не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: спастись от мучителя...” Любопытно бы заняться историями всех российских беглецов – вплоть до пореволюционной эмиграции. Уверен в выводе, что это, как правило, люди не только незаурядные, но и предельно свободолюбивые.

И еще. Из письма Курбского Иоанну IV: “иже затворил еси Царство Русское, сиречь свободно естество человеческое, аки во адове твердыни, и кто бы из земли твоей поехал до чужих земель, называешь того изменником и казнишь смертью...”

Что–то меня сегодня разбирает желание обличать моих предков с материнской стороны. Находит иногда – видимо, отрывка после великодержавного самогона, которым поили с пленок.

26.11. Оказывается, при фашистах мафия в Италии прекратила существование. Впрочем, так оно и должно быть. Всякий предельно диктаторский режим довольно успешно расправляется с организованной преступностью. Личная ли то диктатура, диктатура ли то административно–партийной олигархии, она считает организованную преступность своей прерогативой и не терпит конкуренции. Можно было бы даже решиться на несколько парадоксальное утверждение, что наличие организованной преступности служит – во всяком случае пока – безошибочным индикатором демократичности общества, если бы не приверженцы формального логизирования, тут же заявляющие, что в таком, де, случае – чем больше преступности, тем больше демократии. Организованная преступность – это подходящий налог с благ демократии, неизбежные издержки ее, как и порнография и многое другое. Или свобода печати плюс порно, или “Правда” минус порно. Старания уменьшить издержки демократии и не трансформироваться в несвободу при этом – извечная забота демократического общества.

27.11. Берг: “Б. Годунов... послал 18 молодых дворян в чужие земли... Они скоро выучились языкам иностранным, но только один из них возвратился в Россию...” Ничего о мотивах: личная ли то неустроенность, нелады с очередным помазанником Божиим, принципиальное ли неприятие российских порядков или же предпочтения, обусловленные сугубо житейскими соображениями?

Отношение к закону. В. Шуйский при венчании на царство дал народу клят–



ву, “мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и незаконных опал, ...мыслил дать гражданам то благо, ко-его не знали ни деды, ни отцы наши... Но вместо признательности, многие лю-ди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию прави-ло, установленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ госу-дарю дает клятву. Сии россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие... – предпочитали свободную милость закону”. На взгляд кое-кого из моих знакомых – очень умилительный исторический эпизод, а меня от таких историй коробит. Такой тип отношения к закону как к таковому не хуже и не лучше любого иного – каждому свое. Но... но если тебя дергает от таких историй, тебе не место в этой стране.

29.11. Добровольный пленник веры, если он одержим поисками истины (своеобразный комплекс), тем фанатичнее отстаивает единственную истин-ность своей веры, чем мучительнее сомневается в ней. Тревожимый прокля-тыми вопросами, он легко побивает атеиста, ибо тот лишь слегка думал о вере, возражения его поверхностны – на этом уровне верующий уже мучил себя и нашел ответы, а до того, более глубокого, пласта атеист не доходит (вообще: отрицающий то, что требует в первую очередь внелогического по-стижения, хоть на полштыка да не добирает до сути); и отвечая ему, “заком-плексованный”, все же не силах разделаться со своими глубинными сомне-ниями.



Похоже, я угадал, почему так вдруг перенесли суд на декабрь. Оказывается 25-го ноября 25 сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла специальную резолюцию о борьбе с угоном самолетов. Великолепный демагогический ко-зырь, удар по всем сомнениям в справедливости приговора. С таким козырем можно нас и под вышак подвести. Не исключено, что меня не просто пугали расстрелом во время следствия. Сейчас мне во всяком случае кажется, что ка-питан Савельев, последний из трех следователей, готовивших меня к обряду крещения в эки (или в покойники?) не блефовал, сказав: “По отношению к нашим врагам ничто не может быть достаточно жестоким. Наш закон предус-матривает расстрел – советую вам помнить об этом”. Сначала они пытались уломать меня уверениями, что больше 12 лет я не получу, а потом замести-тель начальника следственного отдела КГБ Ленинградской области подпол-ковник Елесин В.П. – весноватый мужичок, этакий деревенский хитрец, рабо-тающий под рубаху-парня, – дважды угрожал мне расстрелом, если я не об-

разумлюсь и не надумаю содействовать следственным органам. Хотел было написать протест против применения психических пыток, да раздумал – ничего не даст: это ведь не произвол, а рассчитанный ход, вполне согласующийся с эзотерическими правилами их игры.

Когда я узнал об освобождении из-под стражи Мэри, Алевтины Ивановны, Лизы и Юлии, (6) чувство радости за них было омрачено впервые у меня возникшим подозрением, что или меня, или Дымшица подведут под расстрел, для чего и создается гуманный фон. Хотя очевидная необязательность такого вывода тут же меня и утешила. Бывает, что по 58-й не привлекают к ответственности тех или иных лиц (даже в случае равной – а то и большей – виновности с теми, кого-таки усадили на скамью подсудимых) по разным соображениям, далеко не всегда ясным для непосвященных в тайны Лубянки. Уж кто-кто, а КГБ-то может позволить себе поамикошонствовать с законом... государственных польз для, разумеется. Произвол лиц, действующих от имени закона, это любой сдвиг – в сторону ли гуманности (как правило, очень расчетливой), в сторону ли чрезмерной жестокости. Более того – один сдвиг предполагает, провоцирует и оправдывает другой. Разумеется, это не значит, что я хотел бы увидеть на той самой скамье Мэри и других – упаси Боже! Более я за будущее России, сохрани я надежду на грядущее превращение российского Савла в Павла, я бы ратовал за строгое соблюдение закона, ибо выработка истинного уважения к закону и, следовательно, к человеку – спасение от многих традиционно российских бед. Но поскольку царство Смердяковых, перестрелявших в 17 г. всех Дмитриев и Алеш, а в 37 г. – Иванов Карамазовых, кажется мне достаточно вечным, я рад за любого, вырвавшегося из скифских жарких объятий, какой бы ценой это ему ни удалось...

Одна из наиболее действенных мер против угона самолетов – реальное уничтожение крепостничества хотя бы в государствах-членах ООН. Однако об этом в резолюции ни слова. Правда, напечатана она не целиком – может, в ней что-нибудь и говорится такого, что подсоветскому гражданину не положено знать. Большинство из нас неоднократно ходатайствовало перед соответствующими органами о выезде в Израиль и получало немотивированные отказы. Ведь нельзя же всерьез воспринимать такую мотивировку: “Вы жилплощадью и работой обеспечены...” Угон самолета как мера защиты своих человеческих прав? Тогда вопрос может стоять лишь о превышении необходимости обороны.

Любопытно было бы попытаться определить меру ответственности человека за то, что его, например, мысль поддается демагогическому обыгрышу. Если он нечетко проставил все акценты, не исключил предельно (полностью ни-

как нельзя) возможности двойственного истолкования ее друзьями и недругами, он так или иначе ответственен за жизнь своей – пусть и деформированной или даже кастрированной – мысли. Тем более не свободна от такой ответственности столь вроде бы солидная организация, как ООН – в ее резолюции от 25-го ноября некоторые пожелания и призывы так расплывчато сформулированы, что и опытная рука какого-нибудь прокурора 3-го рейха сумела бы исторгнуть из них нужные смыслы. Ведь и прокурорам нацистской Германии приходилось обвинять беглецов из 3-го рейха в государственной измене. Правда, угоны самолетов тогда не были в моде, но это деталь ерундовая. Беспокойство за жизнь экипажа и пассажиров самолетов – единственно серьезная тема резолюции. В нашем случае угрозы жизни посторонних людей не было. И не за угон самолета нас будут судить... Что такое для советской власти самолет и какой-то там экипаж? Измена родине – вот это да!..

1.12. Ну вот и зима. 15 дней до судилища. Если опять не перенесут. Им можно посочувствовать – столько сразу процессов. Надо их наиболее выигрышно обставить, предугадать их наивыгоднейшую очередность... Судя по обвинилровке, Сильве никак меньше 8 лет не дадут. Но если мне или Дымшицу вынесут смертную казнь, ее – ради гуманного фона для виселиц – могут пустить по 83 статье. (7) Если бы она не была столь неуместно простодушной! Даже по материалам следственного дела легко проследить все ее промахи, такие по-человечески понятные... Для любого, тем более для женщины, первая встреча с КГБ предельно тяжела. Трюки их хоть и не оригинальны, но на неопытную душу действуют почти безотказно, как безотказно проламывает череп тяжелая дубина, несмотря на всю свою неотесанность-стоеросовость. Только подписывая дело, я узнал, например, что Юра Федоров не давал вообще никаких показаний, а мне еще в первую неделю после ареста читали выдержки из его “признаний”. Трудно не поверить, когда взрослые люди с солидными звездами на плечах врут, глядя тебе прямо в глаза. Когда еще узнаешь, что это им не только ничего не стоит, но и входит в их прямые служебные обязанности! Точно также не могла не верить всем напраслинам, возводимым на меня опогоненными лгунами, моя мать, приезжавшая в лагерь на свидание – слезы, сердечные приступы и пр.

2.12. Сторонники всяческих свобод крайне нетерпимы – особенно в своей среде. Помню, читал программу одного из революционных обществ – кажется, того, в котором состоял Д. Каракозов, – и там важнейшей задачей после уничтожения царя и помещиков считалось уничтожение инакомыслящих среди

своих же. Выходит, что само ратование за свободы по иронии жизни сопряжено с нетерпимостью – как и всякое ратование за радикально новый порядок.



Среди здешних книг встречаются старорежимные, на форзаце их напечатано с ерами и ятями: “Берегите книгу: не рвите листов, не перегибайте корешок, не накрывайте ею котелков с горячей пищей и т.п. Книга от этого портится и ваши товарищи по заключению будут лишены возможности прочитать ее”. На советских – суше: “В случае порчи книги, стоимость ее будет взыскиваться с виновного, а камера лишается права пользоваться библиотекой”. В первом случае призыв заботиться о других арестантах, во втором – не только угроза, но и привлечение всей камеры к ответственности, понуждение к соглядатайству.



По мнению дореволюционных иностранных наблюдателей, только старове-ры отличаются в России деловыми качествами. Староверы – что характерно для гонимых – хозяева, скопидомы, ростовщики, т.к. надо откупаться от гонителей.



Уж сколько времени прошло после того, как Гедель доказал теорему, что во всяком достаточно широком классе понятий необходимо есть вопросы, ответить на которые можно только расширив сам этот класс понятий, и, следовательно, абсолютно логически замкнутая система в принципе невозможна. Но кто же руководствуется теоремами, когда дело идет о портфелях – всякая попытка расширить класс общепринятых понятий встречается в штыки. Основатели религиозных и социальных движений – люди, как правило, предельно самобытные, дерзновенные и в отрицании старого и в утверждении нового. Среди их последователей немало ярких личностей, пока новое движение не победило, а потом – ординарность, поклоняющаяся застывшему результату. Они всегда гонители очередной самобытности (в начале почти всякого движения цель – истина и справедливость, независимо от их толкования; после победы – удержаться бы у власти любой ценой) и дерзновения. Гонители под ислевшим знаменем своих пророков – вечно гонимых.

4.12. Ленин о буржуазной демократии словно бл. Августин о язычестве, добродетели которого суть только скрытые пороки.



Лесков. “Некуда”: “Сейчас укупе, – говорит Никон Родионович. – Чувствуй, с кем имеешь обращение!” Народ это очень чувствовал и не только ходил без шапок перед Масленниковыми хоромами, но и гордился им. У нас теперь, – хвастался мещанин заезжему человеку, – есть купец Н.Р. Масленников прозывается, вот так человек! Что ты хочешь, сейчас он с тобою может сделать; хочешь в острог тебя посадить – посадит; хочешь плетюганями отшлепать, или так в полицы розгами отодрать, – тоже он тебя отдерет. Два слова городничему повелит, или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь, – сейчас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого человека мы имеем!.. А вить что? – Наш брат мужик”.



Гонения на разномыслов – духовный геноцид. Геноцид традиционный лишает жизни людей, уничтожение же инакомыслия посягает на сам смысл жизни как таковой, т.е. дух, игру ее и рост через различия.

5.12. Белкин болтлив нестерпимо, но я решил подождать до суда – благо недолго теперь.

Сюжетец: где-нибудь в горах двое. Один все говорит возвышенно и банально (можно даже не очень) о тишине. “О, тишина!.. Ты высшее блаженство... бальзам усталому израненному сердцу... и т.п.”. Тогда другой бьет его камнем по голове, чтобы услышать тишину.



Очень часто предстающий перед судом за антисоветскую деятельность соглашается считать себя преступником и раскаивается в содеянном – сказывается влияние подкормки, с детства обрабатываемой вполне определенным образом. Протестант, повзрослев, дозрев до собственных мыслей и научившись прислушиваться к голосу совести, возмущается сначала разрывом между декларируемым и действенным, потом и большим... – но чаще всего беззакониями, от которых лично он страдает весьма лишь косвенно (косвенно чаще всего вследствие молодости, так или иначе оберегающей его от наиболее грубых социально–политических затрещин). И вот это отсутствие лично приобретенных синяков, неприятие действительности сугубо теоретизирующее, а не кровное, и является причиной того, что застрявшее в подсознании благоговение перед властью в критический момент берет верх. Я знал одного эстонца в лагере, который крайне недоверчиво относился ко всем тем, чье неприятие

советской власти не было полито кровью. “У меня убили отца, двух братьев и невесту, – говорил он, – мне дороги назад нет. А вы так себе – играете в оппозицию”. Но логика репрессий такова, что единожды пробудившийся к социально–политической активности – при всей фактической невинности ее характера, ребячливости и школярском теоретизировании, – даже если лично он благополучен, попав в лагерь или бывает сломлен, или быстро взрослеет, уже имея на власть очень сильный зуб, ибо он–то лучше всех знает, что сидит ни за что – за детскую игру, за юношеский романтизм, за бескорыстные порывов.

6.12. Я – жертва склонности к каждодневным записям, с одной стороны, и намерением временно избегать всех тем, связанных с делом (т.е. с тем, что меня сейчас более всего волнует и, следовательно, достойно записи), с другой.



Одержимые зудом социального экспериментирования с миллионами зачастую вырабатывают стереотипы управления людьми не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими вожди желали бы их иметь – одна из предпосылок крови.

Робеспьер сравнивал революционный трибунал с церковным судом: и тот, и другой судят за абсолютное преступление – за преступление словесное.

Политическая религия, основанная на откровениях вождя, допускает лишь в период борьбы за власть церковные соборы и мировоззренческие склоки. Потом декретируется и освящается политическая теология, которая раздает на все вопросы догматизированные ответы, угрожая еретикам костром.

10.12. Наконец–то я встретился с адвокатом. Он настаивает хотя бы на минимальном словесном участии в процессе – разумеется, в роли смирившегося, если уж не кающегося преступника. Ни та, ни другая роль не по мне.



Судя о жизненных успехах человека, не забудь, если он верующий, о разнице меж земной и небесной жизнями. Может быть, он – небесный карьерист. И если здесь ему сочувствуют как терпигорцу, там, возможно, будут завидовать великолепно сделанной карьере. Еще по первой отсидке знал я одного такого лжепопа, иезуита (по натуре), ханжу и доносчика – Бахрова. Он был откровенен: “Если я делаю добро, то не ради человека, которому его оказываю, а ради Господа и спасения своей души”. Т.е. он зарабатывает крестики в книге грехов и добродетелей, добивается личного пропуска в Царство Небесное. (Кстати, у него мозоли на коленях от ночных молитв, а днем иезуитствует и



Мать Э. Кузнецова – Зинаида Васильевна Кузнецова (1908–1986 гг.), ориентировочно – 1936 г.



Отец Э. Кузнецова – Самуил Исаакович Герзон (1914–1941 гг.), 1931 г.



Во дворе своего дома (ориентировочно 1949 г.)



Э. Кузнецов – 1943 г., в московском детсаду



Во дворе своего дома (Бужениновская ул., д.9, Москва) – ориентировочно 1952 г.



“Зайцы” Э. Кузнецов, В. Хаустов и И. Вещугин на крыше поезда Ростов–на–Дону – Москва, 1958 г.



Э. Кузнецов со своим сослуживцем В. Котовым – 15.09.59 г., г. Балашов, в/ч 21369, ПриВо (Приволжский военный округ)

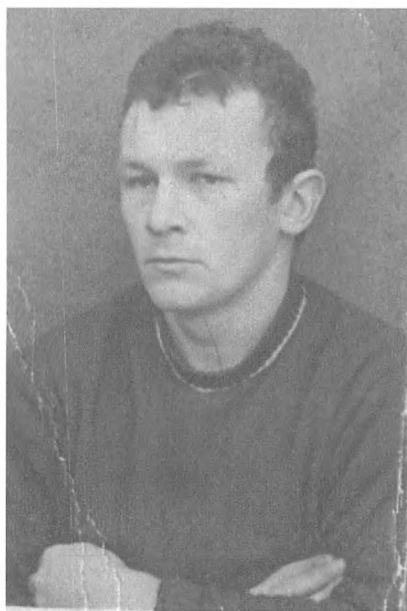


1960 г., г. Пугачев, ПриВо.





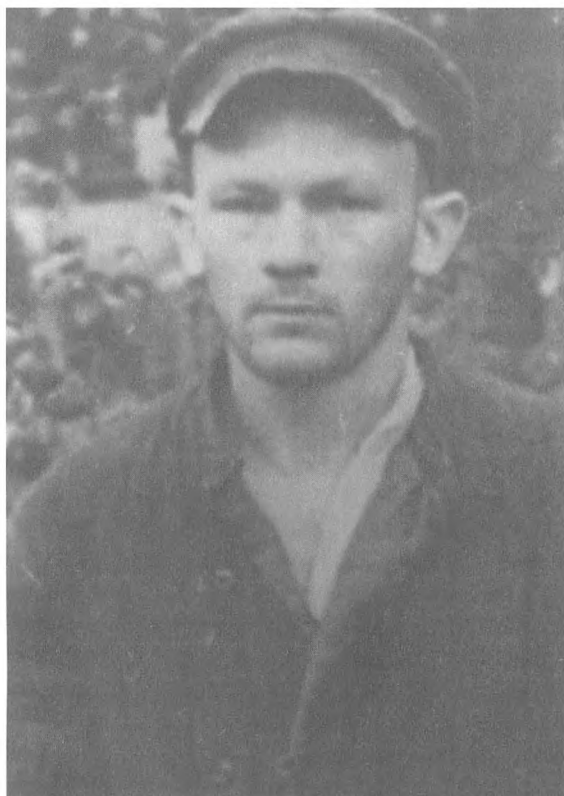
На Лубянке, 6.10.1961 г.



Дубравлаг (Мордовия), ст. Сосновка, 385/7 – январь 1963 г.



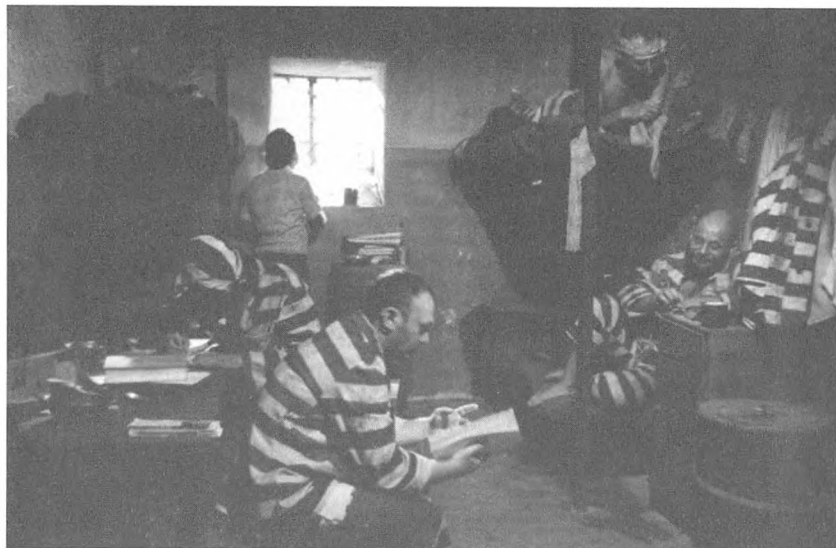
Дубравлаг, 385/7 – 1964 г.



Дубравлаг, 385/7 – 1964 г.



В. Соколов (Валентин з/к), ;  
Кузнецов и Ю. Федоров –  
Новошахтинск, 1969 г.



Сцены из фильма Л. Чаплиной "Дневники  
Эдуарда Кузнецова" (Израиль, 1980 г.)

2) Промышленность - это не просто добыча, использование сырья, а процесс, в котором человек превращает природные ресурсы в продукты, необходимые для жизни. Промышленность - это не только фабрики и заводы, но и все, что связано с производством товаров и услуг. Промышленность - это основа экономики любого государства. Промышленность - это то, что делает нас цивилизованным обществом. Промышленность - это то, что позволяет нам жить лучше и комфортнее. Промышленность - это то, что делает нас свободными. Промышленность - это то, что делает нас счастливыми. Промышленность - это то, что делает нас людьми.

...но  
Телев. Да  
Вам пишут.  
...но как еще  
Туркочу За  
...но как еще  
...но как еще

доносит). По Канту это не добродетель, а заслуга, т. е. “условный императив”, очень не симпатичная штука. Характерно, что ничто так не отвращает от религии, как личный – особенно камерный – контакт с верующими. Но это же относится и к подавляющему большинству адептов любой политической идеи. Людей, как и Россию, хорошо любить издалека.



Я теперь пишу почти на таясь – сказал сокамернику, что готовлюсь к суду. После обеда посетил нас ст. лейтенант Веселов – длинный, худющий чекист лет 35, заливающийся краской смущения по всякому пустяку. Голубой чекист. Вроде голубого воришки. Он проговорился (не специально ли? Но тогда зачем?), что на Западе очень шумят в нашу защиту. Это, конечно, вряд ли к чему–то приведет, но все же очень бодрит. Нет ничего ужаснее глухой расправы. Веселов спросил в частности, не собираюсь ли я появиться на суде в ермолке, как Менделевич, который только прикидывается верующим. Я возмущился голословности его утверждения. Тогда он поделился со мной таким наблюдением: “Я не видел верующих евреев. Единственное, о чем они думают, это о деньгах”.

Камерная жизнь столь бедна событиями, что даже пустяковая словесная ошибка с начальником – целое происшествие, к которому не раз и не два возвращаешься в мыслях, так и эдак подковыривая и пиная начальника (кто б он ни был, он всегда – персонификация всех враждебных тебе сил; такова психика каждодневно в чем–то ущемляемого эзка, ему трудно быть объективным, как невозможно требовать объективности и спокойствия от человека, чьи гениталии защемлены дверьми). При всем том у меня вовсе нет ни чувства гадливости, ни слепой неприязни к чекисту, если он кажется мне чекистом по убеждению. Никого так не ненавидишь, как предателя и конформиста, равнодушного, маленького человека, жертву режима и пособника его одновременно.

11.12. Азиатчина, “Чингисхан, огоньки волчьих глаз во тьме, снег и водка, кнут, Шлиссельбург и христианство” (Т. Манн). Разве 3–й рейх не дал пример азиатчины на Западе? Мы все из Азии – кто вышел, кто остался. Вопрос лишь в степенях удаленности. Азия – подсознательное. Выход из нее – символ исторического движения к примату сознания. Толпа – всегда Азия. Но характерно, что в Германии Азия у власти недолговечна, ибо внешние ее поражения – результат внутренней ее неправомерности. Как бы зная незаконность свою, она стремится подчинением себе мира доказать – себе в том числе (см. у Т. Манна где–то в статьях о двойственности психики немца) – свое право на су–

ществование (к агрессивности фашизма как сущности его присоединяется защитная агрессивность) и гибнет, в отличие от собственно Азии, ибо Азия на Западе беспочвенна. Запад – это древние галлы, мечущие стрелы в небо, это – Вольтер, протестующий во имя духа и разума против лиссабонского землетрясения, а Восток – это азиат на карачках перед идолом.



Вместо традиционного всхлипа “Нет в жизни счастья”, наколю на груди гордое: “Жизнь – это способ существования белковых тел, – Энгельс”. Уголовники иногда выкалывают на груди или спине пограничный столб “СССР–Турция”, человека с котомкой, идущего в сторону Турции и надпись: “Иду туда, где нет труда”. Очень характерное представление о Западе (Турция – всего лишь ворота).



В какой-то из камер, очевидно, скандал – топот ног, выкрики... Слов не разобрать. Голос одного из буйствующих, как у Аденауэра – сплошное хрипение. Аденауэр – это кличка одного зэка (фамилию я его забыл, но под этой кличкой его знала вся Мордовия и Владимирская тюрьма). Гротескная фигура. Отсидел он что-то лет 30, предельно опустился и одурел. Свой день он начинал с мастурбации – прямо на глазах у всех, возле параша – и возвращался к ней неоднократно, пока после эякуляции в семени у него не появлялась кровь. Тогда он пугался чуть не до слез, а потом начинал буйствовать, требуя врача. Ежедневно он оглашал тюремный двор воплями из окошка: “Свободу Манолису Глезосу!” А иногда кричал: “Убили немцы брата Федьку – и выпить не с кем!” или истошно верещал: “А сегодня-то баланда жирная! Повар за хуй держался, в котле руки мыл!” Не было такой недели, чтобы надзиратели не избивали его до сине-зеленого состояния, частенько доставалось ему и от сокамерников, жизнь которых он превращал в муку уже одним фактом своего присутствия. После побоев он утихал на день-другой, а потом все сначала. Я впервые столкнулся с ним на потьминской пересылке в 62 г., когда я еще только ехал в лагерь после суда – конечно же, во власти популярных иллюзий о заключенных вообще и о политзаключенных в особенности (в русской литературе “несчастненькие” и “борцы”, как правило, идеализируются – ведь ореол мученичества почти синоним святости в системе понятий, предполагающей в качестве одной из аксиом убеждение, что постижение глубоких истин и очищение даются преимущественно через страдание). Зашел я в крохотную камеру – метра на 3 квадратных, – смотрю на нарах лежат двое – оба в коро-

сте грязи, кругом какое-то тряпье, окурки, плевки. Ну, думаю, по ошибке меня к уголовникам бросили. Они молчат. Спрашиваю: “Я, наверное, не по масти попал?” – “Я – Аденауэр, – хрипит тот, что почумазее. – А это Коля-дурак; не обращай на него внимания. Садись, хлопец”. – “Да нет, у меня 58-я... наверное, меня по ошибке к вам – сейчас разберутся...” – “У нас тоже полста с восьмерой”, – утешил меня Аденауэр. Коля (фамилию я его запомнил; знаю только, что отсидев своей червонец, он был в день освобождения препровожден в сумасшедший дом) оказался-таки и впрямь дураком – мрачно-молчаливым маньяком, преследуемым “жидо-большевиками”, которые собирались его отравить.

Делать было нечего – кое-как расчистив узенькую полоску нар, я улегся меж двумя первыми в моей жизни “политиками”. Взгрустнулось. Зашевелились кое-какие подозрения... “Чего у тебя, – спрашиваю Аденауэра, – ухо сильнее?” – “Чекисты, – говорит, – избили вчера”. Смотрю, он принялся что-то переписывать в тетрадь из газеты, буквы печатные, но не разберешь, что он там пишет. Он, заметив мое любопытство, солидно прохрипел: “Занимаюсь политикой. И тебе советую, а то будешь вот, как Коля-дурак”. Оказывается, Аденауэр переписывал “Правду” – всю подряд. Альтернатива – стать таким, как Коля-дурак, или как Аденауэр, – меня ошеломила, и я, поспешно заключив, что лагерь, очевидно, таким образом устроен, чтобы сделать эту альтернативу единственной, впервые всерьез подумал о самоубийстве. Но на следующий день меня перебросили в другую камеру, и я – к радости своей – нашел в ней не сплошь Аденауэров и жерть сионизма.



Полная свобода в земной юдоли невозможна, допустимо говорить лишь о степенях ее – да и то сплошь и рядом иллюзорных. Однако предпочтительнее других то общество, где стремящийся к максимальной свободе не неизбежно расшибает лоб о неодолимую стену социально-политического рабства. Стена эта есть, очевидно, всюду, но она не должна быть излишне прочной, – однако достаточно прочной для тех, кому нужна свобода рук лишь для установления диктатуры. Большинство с удовольствием подчиняется. И пусть. Не тащить же их насильно в рай (да и не в рай вовсе) свободы. Вопрос еще и в гарантиях неиспользования обывателя в ущерб свободным... Кстати от “свободы как осознанной необходимости” до иронии Т. Манна (“Добровольное рабство – это и есть свобода”) – один шаг.

Почему сегодня Герцен устыдился бы серьезности тона повествования о себе в “Былое и думах” (“Я благословил свои страдания, я примирился с ними...”

и т.п.)? Герцен, как и большинство мемуаристов, так или иначе творящих легенду о собственной личности, слишком всерьез воспринимает себя. Это характерная черта той эпохи. Ведь и его воспринимали всерьез и известно, что в конце концов эта серьезность оправдала себя в некотором смысле. Где причина и где следствие? Точнее, где следствие само становится причиной? Тот век намного нас моложе, в том числе и на целую советскую власть. Революционерам было ради чего умирать, верующим в Бога было КУДА умирать. Я же – рядовое дитя второй половины XX века – полагаю, что нет такой идеи, ради которой стоило бы умирать, и ради которой стоило бы рубить чужие головы. Сколько их было, этих идей – единственно истинных! – и голов! Проходило время, и оказывалось, что идеи-то не совсем то, что нужно – а отрубленных голов уже не приставить.



В Совдепии тоже есть свой первородный грех – грех национального и социального происхождения.



Герцен отнюдь не иконный прототип. Жизнь его полна и взлетов, и падений. Но всегда он – человек. У Ленина (иконного) нет человеческих слабостей, как нет и падений, и поражений, и ошибок, как нет и друзей. У Герцена – Огарев, а у него кто? Коба – одна из его ипостасей, которой нужно было лишь время для полного проявления себя.

Если судить о Ницше не только по его описаниям, он погиб бы в гитлеровском концлагере, хотя его афоризмы были наиболее расхожей идеологической монетой среди участников национальной формы пролетарско-мещанского движения. Не то же ли случилось бы и с Герценом, писавшим о России: “Все преступления, могущие случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед!” Тут речь с самого начала именно о преступлениях.

13.12. Послезавтра суд. Вчера утром вдруг вознамерился составить черновик выступления в суде, если я на таковое почему-либо решусь. Оба дня безостановочно строчил и только сейчас, в десятом уже часу кончил. Так и не определил окончательно тип своего поведения на суде. Написанное – уже самим фактом своего наличия – тяготеет к произнесению.

14.12. Решил переписать сюда подготовленное мною выступление на суде.



Заодно подчищу его в процессе переписки – надо убрать все излишне острые политические углы, оставив только строго необходимый минимум.

“Прежде, чем приступить к изложению обстоятельств, предшествовавших моей попытке нелегально покинуть пределы СССР, я хотел бы обратить внимание суда на специфику правонарушения, совершенного мною и моими друзьями. Нами двигали не вполне обычные страсти и без детального разбора всех хитросплетений мотивировок, приведших нас на аэродром утром 15-го июня, не может быть и речи о понимании данного дела.

Дабы не растекаться мыслью по древу, буду придерживаться текста обвинительного заключения. “Будучи антисоветски настроен, Кузнецов в 69–70 гг. вошел в преступный сговор с Бутманом...(8)”, чуть ниже: “Будучи осужден за антисоветскую деятельность в 62 г., после отбытия наказания вновь стал заниматься антисоветской деятельностью...”. Поскольку это шаманское заклинание – “будучи...” – неспроста так часто употребляется составителями “Обвинительного заключения”, я хотел бы хоть отчасти вскрыть реальное содержание состояния, зашифрованного столь зловеще многозначительно.

Родился я в 39 г., в 56 г. окончил десятилетку, работал на заводе токарем, потом служил в армии, потом учился на философском факультете МГУ, а в 61 г. КГБ, сочтя мою социальную активность выходящей за пределы декретированного русла, арестовал меня и оценил степень отклонения моего поведения от желаемого в 7 лет. (9) Сначала я, по наивности и юношескому неразумению государственных польз, был, признаться, весьма огорошен такой суровой оценкой моей опасности, т. к. – продукт советского воспитания – не поднимался выше критики советской власти в ее же рамках. Жертва юношеских мечтаний, поиска себя, в какой-то степени жертва буршеских страстей и школярского понимания ряда мировоззренческих положений, я был еще и трагикомической жертвой целой системы мифов – иначе я не могу объяснить тогдашнее свое непонимание природы жестокости приговора. Осознание принципиальной несправедливости этого приговора сыграло не последнюю роль в формировании взглядов, которые я, вслед за обвинением, согласен признать антисоветскими. Характерно, что и в концлагере недреманное око “правосудия” не оставляло меня в покое. Я не имею в виду бесчисленные карцеры и двухгодичное пребывание во Владимирской тюрьме, я говорю о нарушении принципа, являющегося краеугольным камнем едва ли не любого законодательства, – о невозможности дважды судить за одно и то же преступление. Весной 63 г. Мосгорсуд, непонятно из чего исходя, пересмотрел мое дело и, “учитывая личность преступника”, приговорил меня к содержанию до конца срока в лагере особого режима, хотя по первому приговору мне был оп-

ределен усиленный режим. Разница из существенных, смею заметить. Месяцев через 9 обнаружилось, что это является нарушением чуть ли не полудюжины статей. Решение суда было отменено и мне был назначен строгий режим, что было опять же нарушением точно той же полудюжины статей. Но к тому времени я уже не искал обычной, человеческой логики в действиях репрессивных органов. И здесь будет уместно вкратце охарактеризовать мои взгляды, которые я более обстоятельно изложил на следствии (суд может ознакомиться с ними по материалам дела).

Мною давно изжито активное неприятие существующего режима. Рассматривая категорию “национальной души” в некотором отношении вневременно, во всяком случае полагая, что ряд ее сущностных структурных характеристик практически неизменен, я считаю, что типовая структура политической культуры русского народа может быть названа деспотической. Вариации этого вида власти не ахти как велики – рамки исторически заданы Иваном Грозным и Петром Первым. Я считаю советскую власть законной наследницей этих двух по-разному идеальных российских правителей. Осознав себя евреем, не ощущая в себе ни склонности к властвованию, ни любви к безропотному подчинению, не питая надежд на радикальную демократизацию исконно репрессивного режима в обозримом будущем, считая себя ответственным – пусть и косвенно – в качестве гражданина этой страны за все мерзости, ею совершаемые, я решил покинуть пределы СССР. Борьба с советской властью я считаю не столько делом невозможным, сколько ненужным, т.к. она вполне отвечает сердечным вожделениям значительной – но, увы, не лучшей – части населения.

Мать моя, Кузнецова Зинаида Васильевна, русская, отец, Герзон Самуил Исаакович, умерший в 41 г., был евреем. Очень характерно, что именно в 53 г. моя мать сменила фамилию – а вместе с нею и я в качестве несовершеннолетнего, – взяв свою девичью – Кузнецова. Мог ли я знать – 16-летний и безмозглый комсомолец, – какой двусмысленностью обернется моя уступка настоянию матери записаться при получении паспорта русским? Наблюдая проявления стихийного народного антисемитизма, а иногда и угадывая совпадение этих проявлений с некоторыми аспектами сознательной государственной политики, я, созрев до собственного мировоззрения, счел лично для себя необходимым присоединиться к гонимым.

Я вырос в русской семье, о еврейской культуре – не имея в виду ее преломление чуть ли не во всех культурах мира – у меня практически нищенское представление, и потому на первой своей стадии мой выбор себя в качестве еврея был продиктован скорее эмоциональными, нежели осознанно кровны-

ми мотивами. Нечто вроде цветаевского: “Так не достойнее ли во сто крат стать вечным жидом? Ибо для каждого, кто не гад, еврейский погром”.

Месяца за два до освобождения из Владимирского централа я подал заявление на имя начальника тюрьмы с просьбой записать меня евреем в документах, которые я должен был получить при выходе из тюрьмы. Мне отказали, сославшись на изъятый при аресте паспорт. Позже я обращался в милицию с просьбой о перемене записи в графе о национальности – сначала мне отказали потому, что я был под гласным надзором, потом потому, что у меня не снята судимость, снять же ее я мог лишь через 8 лет. Ассимиляторов вполне, разумеется, устраивает считать меня евреем, но числить в русских.

Не скрою, что пройдя за 7 лет все круги пенитенциария, я психологически устал и освободившись, мечтал лишь о том, чтобы меня оставили в покое. Но где там? Слежка, надзор, вызовы в КГБ, в милицию, необходимость ютиться по чужим углам... Меня прописали в г. Струнино Владимирской области. Иногда струнинская милиция письменно разрешала мне съездить в воскресенье в Москву к матери, однако московская милиция рекомендовала мне “не попадаться ей на глаза”. Так что и в эти редкие – вроде бы дозволенные – наезды домой я вынужден был скрываться, ночуя у друзей. И так должно было продолжаться 8 лет. Не правда ли, кое-что проясняется в мотивах моей попытки эмигрировать, мотивах, которые с примитивной тенденциозностью зашифрованы в sacramентальном зачине – “Будучи антисоветски настроен...”?

В январе 70 г. я переехал в Ригу, к жене. В феврале нами был получен вызов из Израиля и встал вопрос о сборе документов, кои необходимы для подачи в ОВИР прошения о выезде за границу. Проблема проблем – получение производственной характеристики. Производственная характеристика (“с работой (не) справляется, морально (не) устойчив, идеологически (не) выдержан...”) для выезда в Израиль на постоянное жительство. Что это – неосознано-издевательский настрой предельно бюрократизированной государственной машины или плод личного творчества какого-нибудь партийного функционера? Так или иначе каждое второе слово в устах некоторого числа хмурых граждан СССР – “характеристика”. Ее не дают по разным причинам. Одному – потому что он служит в армии (Вульф Залмансон); другому – потому что он учится в ВУЗе (Израиль Залмансон) и стоит ему заикнуться об этой характеристике, как его исключат из института и забреют в солдаты, а ни во время военной службы, ни в течение как минимум 3-х лет после нее о выезде за границу не может быть и речи; третьему (Сильва Залмансон) – потому что он недавно закончил институт; четвертому – просто не дают. Чаще всего ссылаются на отсутствие письменного запроса о характеристике из ОВИРа. Послед-

ний же посылать запрос отказывается, сообщая, что “характеристика нужна вам, а не нам”. Лично мне известно достаточно большое количество людей, для которых само слово характеристика стало чуть ли не наваждением. Но еще большее число людей, желающих выехать за границу, не находят в себе достаточно мужества для публичного обнаружения своего желания. Не говоря уж о неизбежных опасениях, питаемых памятью о недавнем прошлом, страхов перед возможностью повторения мрачных гримас истории, все достаточно хорошо знают о роковой неизбежности – пусть и не столь откровенных, как бывало, – репрессивных мер воздействия на потенциального “изменника родины” (которому зато в трамвае можно под одобрительный улыбочивый аккомпанемент всего вагона рявкнуть: “Убирайся в свой Израиль!”). Как только твое желание эмигрировать становится достоянием производственно-милицейско-квартирной гласности, тебе уже не дают “забыться”. Кое-кто сопровождает слово “Израиль” ритуальным действием – заклинивает телефонный диск карандашом. Недаром так надрывно смеются над анекдотом: “Евреи, отъезжающие в Израиль, ваш поезд отходит с Северного вокзала!”

По месту моей работы в Риге я не мог получить характеристику, т.к. работал там, говорят, слишком недолго. Я поехал в Струнино, полагая, что там я трудился достаточно долго, чтобы надеяться на получение этой бумажки. Когда я сказал начальнику отдела кадров, что приехал из Риги специально за характеристикой, он удивился, сообщив, что они могли бы выслать ее мне по почте. “Видите ли, – смущенно пояснил я, – то учреждение, которое требует мою характеристику, хочет, чтобы на ней стояло: “Для выезда на постоянное жительство в Израиль”. (Легко объяснимая предосторожность: ведь характеристику – просто так – получить не составляет особого труда). Не буду описывать эмоционально-демагогических реакций начальника отдела кадров на мое пояснение, скажу только, что мне было велено явиться на следующий день к председателю фабкома, и тот после ряда банальных вопросов типа “Зачем тебе Израиль?” и “Что тебе там делать?” вдруг огородил меня: “А если завтра моего сына пошлют защищать арабов, ты что же – стрелять в него будешь?” Ну как тут было не спросить: “А разве ваш сын уже вернулся из Чехословакии?” Характеристику мне, естественно, не дали.

Кто как реагирует на откровенные издевательства. Можно ждать из года в год – чему много примеров – жить, сидя на чемоданах, с великим трудом собирать ежегодно документы – кому это под силу – для подачи их в ОВИР, писать объяснения на тему, что в Израиле у тебя родственники, что ты стремишься туда по духовно-национальным соображениям и получать ответы типа: “Жилплощадью и работой вы обеспечены, материально от родственников,

проживающих в Израиле, не зависите и потому оснований для разрешения на выезд нет". Это не по мне. Я счел себя ущемленным в праве на эмиграцию и заключил, что имею моральное право ответить на цепь незаконных актов, правонарушением, охватываемым диспозицией ст. 83 УК РСФСР. Я имею в виду незаконный выезд за границу, караемый сроком до 3-х лет. Я заявляю, что акт, на совершение которого мы покушались, квалифицирован обвинением ложно. Нам инкриминируют умышленные действия в ущерб государственной независимости Союза ССР. Совершенно очевидно, что прямым умыслом каждого из нас был выезд за границу. В период предварительного следствия я с унылым упорством пытался выяснить у всех трех следователей, и у прокурора Пономарева, что надо понимать под посягательством на государственную независимость СССР в данном конкретном случае. Несмотря на убогость их фантазии, я все же понял, что дело сводится по преимуществу к причинению ущерба престижу СССР, ибо наш побег был бы ложно обыгран вражеской пропагандой. Ну, во-первых, ориентироваться при оценке тех или иных деяний на клеветнические обыгрыши так называемых врагов – занятие несолидное, а во-вторых, вряд ли кого-нибудь из нас остановило бы предположение, что этот побег послужит укреплению престижа СССР. Ни СССР, ни его престиж не определяли наших действий и намерений.

С юриспруденцией у меня шапочное знакомство (всего лишь вторая судимость!), в следственном изоляторе мне категорически отказываются дать какую-либо юридическую литературу (я не могу получить даже конституцию СССР!), поэтому свои соображения я не могу подкрепить соответствующими ссылками и цитатами. Однако мне хотелось бы отослать суд к книге "Особо опасные государственные преступления", вышедшей где-то в году 65. Там утверждается, что измена родине может быть совершена лишь с прямым умыслом причинения ущерба государственной независимости СССР. Наличие такого умысла у нас следствием не установлено. В данном случае можно говорить только об звантуальном умысле, каковой состава измены родине, на мой взгляд, не образует.

Я считаю, что каждое государство, ратифицировавшее "Всеобщую Декларацию прав человека" (а СССР ее ратифицировал), обязано реально гарантировать каждому своему гражданину осуществление прав, о которых говорится в этой Декларации. В том числе и ст. ст. 13, 14 и 15. Лишь в ответ на вопиющее попрание моих человеческих прав я решился на бегство за границу. Это был акт отчаяния.

Мы не собирали сведений о военном потенциале СССР, не перерисовывали двухсвайных мостов (к иным у нас нет доступа), не подкрадывались к госу-

дарственным секретам... Я полагаю, что нельзя нас судить, исходя из предположения о том, как бы мы вели себя за границей и как пропагандистская служба тех или иных государств оценила бы наш побег. Если же говорить о престиже СССР, то нет никакого сомнения, что ответственность за ущерб таковому несут те, кто, лишив нас возможности выехать за границу легальным путем, спровоцировали покушение на нелегальный выезд, а теперь обвиняют в измене родине, нанося самим фактом такого обвинения наиболее ощутимый удар по престижу СССР. Ибо во всех цивилизованных странах побег за границу расценивается не более как мелкое правонарушение. Нет сомнения в том, что всякое государство имеет право карать за деятельность, которую оно считает враждебной себе, но карать лишь исходя из конкретно инкриминируемых актов, а не в зависимости от того, как эти акты будут названы. Из книги "Нюрнбергский процесс над нацистскими судьями" (1970 г.) явствует, что работников гитлеровского судебного и законодательного аппаратов судили в частности и за то, что они приговаривали к смерти людей, пытавшихся бежать из 3-го рейха. Вальтер Брем, бывший помощник главного имперского прокурора при "народной судебной палате", признал, что они судили людей, покушавшихся на побег, исходя из надуманных предположений о том, что эти люди вступят за границей в воинские подразделения, враждебные рейху. Это было во время войны! Таких людей судили, основываясь на мнении, что они будут вести себя враждебно рейху, как только им к тому представится возможность.

Военный трибунал признал, что расширительное толкование понятия государственной измены, практиковавшееся в 3-м рейхе, давало возможность нацистским судьям выносить смертные приговоры за деяние, являвшееся мелким правонарушением в глазах всего остального человечества; Военный Трибунал признал такое расширительное толкование понятия государственной измены военным преступлением и преступлением против человечества.

Не отрицая факта покушения на побег за границу, я категорически не согласен с квалификацией его как измены родине, считая такую квалификацию результатом противоправного, расширительного толкования понятия измены родине.

Относительно ст. 93 ч. 1 УК РСФСР (о хищении государственной собственности в особо крупных размерах). Ни у кого из нас не было намерения присвоить самолет. Мы убеждены, что он был бы возвращен государству-владельцу. Поэтому о хищении не может быть и речи. Тут можно было бы говорить о попытке временного отчуждения государственной собственности, а это нечто иное, нежели хищение. (10) Если некто, поспешая на комсомольское

собрание, завладеет чужой автомашиной и, добравшись до нужного ему пункта, оставит ее на площади, полагая, что она вскоре будет обнаружена и возвращена владельцу, то это не образует состава хищения. Хотя до недавнего времени за подобное преступление судили как за хищение, однако затем появилась специальная статья УК об ответственности за угон машины. В нашем случае тоже можно говорить только об уgone самолета, преступлении принципиально однородном с уgonом автомашины, если взять за критерий отношение субъекта преступления к объекту. Возможно возражение, что пока еще нет статьи об уgone самолета, а вот когда она появится... А как быть с пароходами, паровозами и малогабаритными космическими кораблями? Да, такой статьи пока нет. Но это не значит, что можно применять статью по аналогии, что не так давно запрещено советским законодательством. В частности признано, что имевшая место практика осуждения угонщиков автомашин как похитителей порочна. В нашем случае ситуация аналогична. Да, статьи об уgone самолета нет. А это значит, что обретает жизнь известный принцип древнеримского уложения: "Нет закона, нет и преступления". Я требую, чтобы нас судили за содеянное – покушение на угон самолета, но не за хищение, о котором мы и не помышляли...

Кроме всего вышеизложенного, меня обвиняют в хранении и размножении антисоветских материалов. В хранении и размножении с целью подрыва существующего в стране политического режима. Ну о своем отношении к советской власти и о причинах, по которым я не намерен ее подрывать, я уже говорил. Добавлю только следующее. Я рассматриваю существующий в стране режим как разновидность тиранической светской религии, божеством которой является государство. О возможности секуляризации России говорить пока не приходится. Можно говорить лишь о смене языческих культов в этой принципиально религиозной атмосфере. Всякая же религия характеризуется особой кровожадностью именно на заре своего существования, – потом она стареет и удовлетворяется поджариваньем еретиков лишь по преимуществу в фигуральном смысле. Способствовать смене уже дряхлеющей религии другой, молодой – не умно.

Горстка мужественно мыслящих оппозиционеров – явление столь же характерное для России, сколь и чуждое ее национальным корням – погоды не делает и не сделает, очевидно. Число же играющих во фронду то несколько возрастает, то резко падает – в зависимости от колебаний политического барометра. Тут по преимуществу юнцы, таким образом компенсирующие того или иного рода ущербность и наконец в браке обретающие подходящий резервуар для излияния томлящих их энергий... Или поседевшие в салонных бит-

вах старцы. Последним никак не откажешь в искренней любви ко всяческим свободам, они даже немало и делают для их реализации, но суть их в выработанном десятилетиями умении чутко ту черту, перейдя которую, плюхаешься в дела, “за которые сейчас сажают”. Если сегодня смотрят в некотором смысле сквозь пальцы на самоиздат, он – самоиздатчик, если завтра за самоиздат начнут сажать, он переключится на анекдоты, а послезавтра ограничится либеральным кукишем в кармане, почитая и таковой кукиш за великий подвиг, что и не совсем неверно, если иметь в виду времена, когда сажали людей за то, что они “злобно молчат и антисоветски улыбаются”. (Неразборчиво – пр. ред.) ...и мыслящая часть общества с ужасом смотрит на реанимационную возню над трупом гения всех времен и народов. Если бы кто-то высказал мне аналогичные взгляды на существующую ситуацию, я очень понял бы его желание покинуть святую Русь.

Мне вменяют в вину хранение и распространение двух книг: “Мемуаров” Литвинова (11) и “Политических деятелей России” Давида Шуба (12). В моей библиотеке был, кстати сказать, и Ленин. Однако в распространении ленинизма с целью укрепления существующего режима меня почему-то не обвиняют. Читал я и Ленина, читал и Литвинова, и Шуба и многое, признаться, другое. Читал для себя, читал, потому что от природы любознателен, а не для подрыва, как и не для укрепления чего бы то ни было. Поэтому, если считать эти книги клеветническими, то судить меня за хранение, чтение и распространение их можно лишь по ст. 190–1, а не по ст. 70 ч. П УК РСФСР и 65 ч. П УК ЛатвССР. Хотя мне никогда не попадался на глаза индекс запрещенных книг, я согласен счесть книгу Шуба антисоветской, но лишь в той мере, в какой всякая книга об апостолах, блаженных и угодниках революции является антисоветской. “Мемуары” же Литвинова я склонен отнести к категории книг, “нерекомендованных для чтения” (есть ведь и такие) советскому верноподданному. Таким образом, я рекомендовал бы суду применить ко мне латвийский эквивалент ст. 190–1 УК РСФСР, отличающейся от ст. 70 наличием лишь эвентуального умысла подрыва советской власти. Я не считаю эти материалы поистине антисоветскими; отчасти это подтверждается и тем, что я отпечатал их на машинке, образец шрифта которой был перед этим тайно (но не для меня) взят по приказу ст. лейтенанта КГБ Федотова Прохоровым Анатолием Васильевичем (агентурная кличка “Студент”), до ноября 69 г. проживавшего по адресу: г. Струнино, (ул.) Орджоникидзе, 74.

Резюмирую вышеизложенное: справедливым я могу признать лишь осуждение меня по ст. ст. 83 и 72 УК РСФСР, а также по статье Латвийского кодекса, аналогичной ст. 190–1 УК РСФСР. (13)



Призыв ООН бороться с захватами самолетов как не одобрить – при условии, что все государства–члены ООН не препятствуют своим гражданам покидать одну страну ради другой – хотя бы в мирное–то время.

Мы ориентировались на определение воздушного пиратства как такого акта, когда самолет захватывают в воздухе, что создает ситуацию, наиболее опасную для экипажа самолета и пассажиров. Мы намеревались захватить самолет на земле, отстранить пилотов от управления и поднять машину в воздух, не имея на борту посторонних – одни изменники родины, все свои парни.

Единственная реальная моя вина – нежелание жить в СССР. Без меня! Без меня выращивайте свои невидимые урожаи, пожинайте неслышанные успехи, геройствуйте в космической пустоте. Без меня!

Я полагаю, что цемент коммунистического барака достаточно полит и моей кровью (ах, разумеется, выражаясь фигурально!), и я не прочь быть упомянутым в будущей подробной истории России – и лучше всего так, как Карамзин в своей “Истории государства российского” упоминает о некоторых чрезмерно совестливых и бессильных по тем или иным причинам эфемерах. Вроде: “Князь Боровский Василий Ярославич, не захотев остаться в России после такого ужаса, отъехал в литовскую землю”.

В общем, многословно, сумбурно и не совсем в цель. Очевидно, много вообще ненужного, лишнего, масса литературщины... Но пока я не в силах критически осмыслить написанное – еще пульсирует пуповина, связывающая меня с этими листками. Ну а поскольку наплевать, то не стоит особенно и беспокоиться. Отбой.

15.12. Первый день суда позади. Длилась сегодняшняя комедия с 9 ч. утра до 7 ч. вечера, а привезли нас в суд, упаковав в тамошние клетки, уже в 9–м часу. Устал – с ног валюсь. Сегодня выступали Дымшиц, Менделевич и Сильва. Завтра начнут с меня. Официально считается, что дело слушается при открытых дверях, однако открыты они только для наших родственников да для обладателей спецпропусков – эдакая мордастая спецобщественность. Люся (14) будет, очевидно, на всех заседаниях суда, как и Иосиф Давидович с Семкой (15) – чувствуешь себя совершенно иначе, когда можно остановиться взглядом на знакомых лицах. Дымшиц говорил неплохо – напряженно, с накалом. Но весьма огорчило меня какое–то истероидное упрямство, с каким он делает Бутмана нашим соучастником, заявляя, что тот знал о побеге. Сведения счетов? Не при посредстве же суда? Он, как впрочем и я, убежден, что провалом мы обязаны болтливости членов “Комитета”. Иосиф (16) – молодчина, весел и откровенно беззаботен, хотя головы не теряет. Но более всего я

рад за Сильву – она пришла в себя и не признала себя виновной по всем пунктам обвинения. Как и все, кроме Изи и Бодни. Хотя во время следствия Дымшиц и Сильва признавали себя полностью виновными. Великое дело, когда не один, как в следственном кабинете, а среди своих, – даже если за каждое украдкой сказанное слово следуют окрики и угрозы конвоя. Не исключено, что тут не без моего влияния – я пользовался во время следствия всяким поводом, чтобы как можно более подробно зафиксировать в протоколе допроса свои доводы о неправомерности квалификации наших действий по ст. 64 “а” и аргументацию в пользу ст. 83. Я именно рассчитывал, что после ознакомления с делом все будут в курсе моей позиции, а присоединиться к ней или нет – дело каждого.

Прокурор – дубина. Дело знает плохо – его то и дело выручает Катюкова (его помощница). После окончания заседания я признался Лурьи, что меня от одной физиономии прокурора передергивает, не говоря уж о его красноречии. “Должность, – говорит, – такая. А что не очень знает дело, так ему и не обязательно. Он больше, так сказать, символизирует волю государства... Думаете, Каренин был приятнее?” “Зачем так далеко ходить, – толкую я ему, – та же Катюкова, рядом с ним, – умница. Видели, как она его толкает в бок, этот символ, когда он чересчур завирается? Так и видно, что ей ужасно неудобно за него иной раз”.

Мы предварительно (т.е. еще до ареста) договорились всячески выгораживать женщин, если уж до того дойдет. В частности условились представить дело так, что они будто бы ничего толком не знали, действовали, слепо повинаясь мужской воле.

16.12. Проснулся еще до подъема – ни аппетита, ни сна... Похоже, сейчас около 5 часов утра.

Перед самым отъездом из Риги – в квартире кавардак, беготня и судорожное веселье – Сильва спросила меня: “А что нам будет?” “Если им удастся обстряпать дело в тишине, то мне могут и вышак дать, – не без самолюбования ответил я, но, увидев ее глаза, устыдился и торопливо заключил. – Но, конечно же, не расстреляют. Если и дадут смертную казнь, то только для острастки другим. А тебе – от силы года три, только веди себя, как условлено”. “Я не хочу. Пусть и мне, как всем”. Мне бы поговорить с ней помягче, отложив на время все дела, а я ограничился окриком... Теперь она воображает, что облегчит нашу участь, полностью разделив с нами бремя ответственности. И еще эта жертвенность...

Как я и был уверен, ее здорово водили за нос. Она мне успела шепнуть:

“Меня обманывали: говорили, что ты давно раскололся, пугали, что расстреляют тебя...”

Дымшиц пересказал часть беседы Хрущева с Насером во время приезда последнего после суэцкого кризиса. Прокурор Дымшицу: “А вы слышали этот разговор? Вы присутствовали там?” Марк даже оторопел от неожиданности. Ему бы что-нибудь язвительное в ответ: даже, де, марксистские методы познания не сплошь сводятся только к биванию и подслушиванию. Если эта балда Соловьев завтра будет столь же нагл, меня, боюсь, может понести...

Вот вчерашний разговор с Лурьи (в присутствии начальника конвоя), вернее два разговора: один в обеденный перерыв, другой вечером, после судебного заседания. Утром я сообщил ему, что, кажется, все же выскажусь завтра – насколько это будет можно. Он было обрадовался, но тут же заподозрил: не окажется ли это хуже молчания? Я подтвердил его подозрения, но объяснение не состоялось – начался суд. В обеденный перерыв.

Лурьи: Вы что – и дальше намерены так себя вести?

Я: То есть?

Лурьи: Ну вот это – с паспортом. (Он имел в виду следующее. На вопрос судьи о национальности я ответил: “Еврей”. Прокурор спросил: “Вы сказали еврей, тогда как по паспорту вы русский. Как это объяснить?” Я: “Меня спросили о национальности, а не о записи в паспорте”). Надеюсь, вы не собираетесь превращать скамью подсудимых в пропагандистскую трибуну.

Я: Начнем с того, что это мне не удастся, если бы я и вознамерился...

Лурьи: Вот именно.

Я: Но я этого и не собираюсь делать – возраст не тот, иллюзий нема.

Лурьи: Ну и слава Богу.

Я: Однако взгляды свои я выскажу – насколько это окажется возможным.

Лурьи: Зачем вам соваться со своими взглядами? Спросят – куда еще ни шло... Да и то – помягче формулируйте, раз уж вы так носитесь с ними.

Я: Я с ними вообще не ношусь, но не вижу необходимости скрывать их в данной ситуации. Хотя и постараюсь не зарываться.

Лурьи: Вот-вот. Помните притчу о метании бисера? Главное – спокойствие.

Я: Вы, Юрий Иосифович, по-моему, весьма приблизительно представляете себе состояние подсудимого. Я же не хладнокровный злодей, старающийся отвертеться от наказания. И более того – хладнокровие меня никогда не прельщало как качество, каким я хотел бы обладать. Меня, представьте себе, иной раз душит пафос негодования... Тут уж никакие призывы к спокойствию не помогают. Я согласен, что моя неприязнь к советизированному византизму носит отчасти паранойяльный характер, но это в первую очередь именно из-за вечного сокрытия своих взглядов.

Лурьи: Я предлагаю вам компромисс... Я не настаиваю на том, чтобы вы ка-ялись и плакали. Но вот вам трезвый взгляд на положение вещей: сегодня ведь не последний день, чтобы терять голову; нынешний суд это тактический бой – его надо выиграть с минимальными потерями, сохранив силы на будущее.

Я: Нет, это уже целая стратегия, а не тактика. Сколько раз я уже шел на компромиссы из-за таких вот соображений! И всегда проигрывал... себя.

Лурьи: Ну, дело ваше.

Вечером. Лурьи: Завтра ваш черед. Прошу о максимуме сдержанности.

Я: Боюсь, это мне не удастся. Да и не для чего.

Лурьи: Думаете, вам обязательно 15 дадут?

Я: Ни тени сомнения. Так что вы особенно-то не распинайтесь.

Лурьи: Может, удастся хоть годик выцарапать.

Дальше ничего интересного, под конец о Соловьеве и Каренине – это я уже записал выше. Вот-вот за мной придут.

Вечером. 16.12. Еще утром было мелькнуло оставить тетрадь с моей “речью” в камере и отказаться в суде от всяких объяснений, ограничившись заявлением, что считаю квалификацию совершенного мною правонарушения по ст. 64 преднамеренно противоправной. Привожу диалог с Лурьи, до и после моего ораторства.

До. Лурьи: Так вы будете по написанному говорить? Я вижу у вас тетрадь...

Я: Единственный способ не зарваться.

Лурьи: Это дело.

После. Лурьи: Вы меня зарезали! Что мне теперь говорить?

Я: Весьма сожалею. Лучше бы вообще молчать – и не мне только, а всем нам... раз уж так нагло затыкают рот.

Лурьи: Говорить – да не так!

Я: Иначе не умею. Уверяю вас, мне теперь стыдно за всю эту беллетристику. Кому и для чего? Разрываться между записанными на листах куцыми мыслями, болезненным пониманием ненужности всякого говорения здесь и окриками судьи... чего для? Кому впервой, тому простительна надежда на то, что вот сейчас им выговорится некое слово – и все повернется иначе. Нужно было поступить так же, как в начале следствия: “Все равно вы дадите мне на всю катушку, поэтому обходитесь как-нибудь без меня”.

Хотел было фиксировать все стадии процесса, но нет ни времени, ни сил. Думаю позже описать его целиком. Тетрадь с “речью” у меня отобрали для передачи в суд, как сообщил ст. лейтенант Веселов. Изя, как и Сильва, пытаются разделить со мной ответственность, взваливая на себя часть моих грехов.

Когда меня спросили, чем собирался заниматься за границей Федоров, я, пытаясь толкнуть его в нужную сторону, сказал, что он хотел добиваться разрешения на выезд для своей жены (он, кстати, сам говорил мне об этом). Но он этой теме не подхватил. Разве что его адвокат воспользуется этим намеком позже.

17.12. Опять встал до подъема, исходил по камере километров 5 уже... Боже мой, как стыдно за вчерашние препирательства с прокурором! Свяжешься с дураком, сам поглупеешь. Один спор о вертолетах–самолетах чего стоит? Попробую воспроизвести мою пикировку с Соловьевым. (Да, мне удалось из написанного мною сказать почти все, хотя Ермаков добрый десяток раз пытался остановить меня. Только после первого его окрика: “Мы знаем, как и за что судят на Западе! Переходите к фактам!”, – я смутился и перескочил через страницу – где как раз о Нюрнбергском процессе, а потом, выслушав очередное требование “фактов”, я более или менее хладнокровно – хотя и скороговоркой (о, это ужасное ожидание, что вот–вот тебя прервут! – продолжал выговаривать свое!).

Прокурор: Вот вы, Кузнецов, сказали, что ваша мать заставила вас записаться русским. Как это заставила?

Я: Я не употреблял такого слова. Я сказал, настояла.

Прокурор: Ну настояла – все равно.

Я: Не думаю.

Прокурор: В своей длинной речи вы не раз ссылались на законы. Вы юрист?

Я: Нет.

Прокурор: А скажите, что из юридической литературы вы читали, скажем, в последний раз?

Я: Какое это имеет значение? Я же не юрист.

Прокурор: Ну а все–таки – последняя вами прочитанная юридическая книга?

Я: Что же... Я прошу у суда разрешения не просто назвать такую книгу, но и кратко изложить содержание пары ее абзацев...

Прокурор: Зачем же? Просто назовите.

Я: Это имеет отношение к данному процессу, и потому я хотел бы в двух словах...

Прокурор: Название, название!

Я: Хорошо. “Нюрнбергский процесс над нацистскими судьями”. По поводу аналогичных процессов там говорится...

Прокурор: Достаточно! Ясно, о чем там говорится, мы сами можем прочитать. Я просил только название – вы сказали... И хорошо. Мы видим, что вы

знакомы с юридической литературой. Вы вот тут все жаловались на то, что вас преследовали, не давали вам, так сказать, жить после освобождения. А как же вы думаете? Вы, – почти скандируя выговорил он, – совершили тяжкое государственное преступление, и хотите, чтобы вас сразу приняли в наш советский коллектив? Нет и нет! Да как же за вами не следить? – вон вы на что руку подняли!

Я: Не надо менять местами причины и следствия!

Прокурор: Вы – советский гражданин и на вас распространяется советская юрисдикция: совершили преступление – извольте отвечать.

Я: Только соразмерно содеянному!

Прокурор: Если бы вы исправились, отбывая наказание... Но ведь вот какую характеристику дала вам лагерная администрация: “За время пребывания в ИТУ Кузнецов проявил себя с отрицательной стороны, зарекомендовал себя матерым антисоветчиком. На меры воспитательного воздействия реагировал враждебно, политзанятий не посещал, на беседах с работниками лагеря вел себя высокомерно. Неоднократно водворялся в штрафной изолятор, а в 67 г. был отправлен в тюрьму за отказ от работы. Избивал заключенных, ставших на путь исправления, оскорблял работников санчасти...”. Вот как! Это верно о вас написано?

Я: Приблизительно. Во всяком случае об оскорблении работников санчасти не может быть и речи – никогда к ним не обращался.

Прокурор: За что вас отправили в тюрьму?

Я: За отказ от работы. Там же написано...

Прокурор: Значит, вы не хотели работать?

Я: Я просто хотел поехать в тюрьму.

Прокурор: Чтобы только не работать?

Я: Да. Как ранее меня Мурженко и Федоров, я предпочел тюрьму, лишь бы иметь хоть сколько-нибудь времени для книг.

Прокурор: Ах, вот как! И вы говорите, что исправились!

Я (возмущенно): Я этого никогда не говорил! Мне незачем исправляться – в вашем понимании, разумеется.

Прокурор: Так правильно вас судили в 62 году или нет? Как советского гражданина, совершившего тяжкое преступление, особо опасное государственное преступление! Да или нет?

Я (тихо): Нет.

Прокурор: Значит, – да!

Я: Нет.

Прокурор: Что же, и то хорошо, что признаете...

Я (повысив голос почти до крика): Я сказал “нет”!

Прокурор: Ах, нет! Так вы так и говорите. Оказавшись в Швеции, вы собирались выступить на пресс-конференции, как показал Бутман во время предварительного следствия. Правильно он сказал?

Я: Я не помню таких показаний. Их просто нет. Поведение за границей нами не обговаривалось.

Прокурор: Однако вы ведь не отрицаете, что у вас антисоветские взгляды?

Я: Свои взгляды я изложил. Можете считать их антисоветскими, хотя сам я их квалифицирую иначе.

Прокурор: Во время следствия вы заявили, что не считаете себя советским гражданином. Так это?

Я: Я сказал, что являюсь советским гражданином лишь формально.

Прокурор: Вам приходилось читать сионистскую литературу?

Я: В вашем понимании сионизма – нет.

Прокурор: Существует только одно понимание сионизма – марксистско-ленинское.

Я: Слышали уже: всемирная власть, орудие империализма... Вы делаете из сионизма жупел, которым пугаете московских купчих всех гильдий.

Прокурор: Оставим это. Так. Говоря о захвате самолета, вы сравнили его с угоном машины. Машина – это не самолет. Машину можно перегнать с одной улицы на другую, а на самолете ведь с улицы на улицу не перелетишь.

Я (после долгого оторопелого молчания): – Почему? Можно... На вертолете, например.

Прокурор: На вертолете, но не самолете!

Я: А вертолет – это что?

Прокурор: Не самолет... Вы лично изготовили дубинки?

Я: Да.

Прокурор: Один?

Я: Один.

Прокурор: Залмансон Израиль, скажите, кто делал дубинки?

Изя: Я, а Эдик мне только помогал.

Прокурор: Так! А для какой цели вы их, Кузнецов, изготовили?

Я: Это не очень просто для однозначного ответа... Попробую объяснить. Дело в том, что замысел побега родился без меня, без меня обсуждались и детали подготовки к 1-му варианту – во всяком случае на первых стадиях обсуждения. Посвятив меня в подробности этого плана, мне сказали, что в качестве орудий нападения могут быть использованы дубинки. До реализации нашего замысла было еще далеко. Дубинки – мелочь, но и за нее нужно бы-

ло кому-то и как-то взяться. Были сделаны определенные шаги – достать ведь нужный материал не просто, – а изготовление дубинок – не более как завершение раз начатого дела, уже, явно и ненужного, но тяготеющего к завершению само по себе. (17) Характерно, что вопрос о типе обращения с экипажем волновал нас на всех стадиях подготовки к захвату самолета. Еще в марте, во время обсуждения так называемого 1-го варианта было решено, что в идеале следует стремиться к тому, чтобы на пилотах не было и царапины. (Возмущенное шевеление и иронические взгляды в рядах спецпублики). (18) Разумеется, не только вследствие неприятия жестокости, но и из-за нежелания быть причисленными к уголовным преступникам и намерения лишить советское правительство одного из наиболее веских оснований для требования вернуть нас в СССР. Что именно таковой была наша установка, говорит и мое намерение отобрать у пилотов документы на случай, если бы советскими органами (в обоснование уголовного характера нашего деяния) было заявлено, что мы убили пилотов. Такое ведь не исключено... Тогда документы пригодились бы для опознания личностей...

Прокурор: Та-ак! Кузнецов, как вы изготовили книгу Шуба “Политические деятели России” и для какой цели?

Я: Отпечатал с фотопленки.

Прокурор: А кто вам дал эту фотопленку и кому вы потом отдали и ее, и книгу?

Я: Здесь не кабинет следователя, и на этот вопрос я отказываюсь отвечать.

Прокурор: Вы с кем печатали эту клеветническую книгу?

Я: Ни с кем – один.

Прокурор: Залмансон Сильва, вы помогали Кузнецову?

Сильва: Да, помогала.

Прокурор: Так как же, Кузнецов, один вы ее печатали или вам все-таки помогли?

Я: Сильва одновременно со мной проявляла какие-то свои фотографии. Я не прятал от нее плоды своих трудов и, возможно, она прочитала несколько страниц – в чем я не уверен. Но в том, что я печатал без ее помощи, в этом я уверен полностью.

Прокурор: Когда вы предложили Федорову участвовать в разбойном нападении на советский самолет, вы сообщили ему, кто именно входит в состав преступной группы? Я имею в виду национальность ваших сообщников.

Я: Да.

Прокурор: И как он к этому отнесся?

Я: Нормально... Как это свойственно ему.



Русалинов (народный заседатель): Почему вы, приезжая в Ленинград и в Москву, всегда возили с собой всякую антисоветчину?

Я: Какую, например?

Русалинов: Ну вот Солженицына...

Я: Вы большой католик... Солженицын – это, как известно, не антисоветчина, а литература, “нерекомендованная для чтения”. (Там пошла и вообще ерунда – жаль времени, потому опускаю.)

Утром подлетел сияющий Лурьи: “Спешу порадовать! Вы так стремительно говорили, что секретарь не успел записать и половины вашего выступления”.

Я: “Увы, тетрадь у меня изъяли и передали в суд...”

Мы с Аликом пытаемся подать некоторые чудачества Юрки как такие свойства психики, которые связаны с ограниченной вмняемостью, однако наши попытки затолкать его в больницу, избавив от лагеря, слишком неуклюжи и банальны, чтобы оказаться успешными. А главное, они, по-видимому, противоречат намерениям КГБ – в ином случае даже намек на психопатию бывает достаточно. Но почему сам он не хочет нам подыграть? Боязнь ярлыка “психически ненормален”? На него это не похоже. И прежде некоторые странности его поведения давали повод здравомыслию, проводящим слишком близко от себя черту, за которой начинается безумие, считать его не вполне нормальным. Он относился к этому со спокойным пренебрежением. Или он решил, что искать снисхождения суда – да еще таким путем – унижительно? Боюсь, он получит наравне со мной.

18.12. Выступления свидетелей порой были прекомичными. А над словами Пелагеи Степановны, Юркиной матушки, я смеялся, чуть не плача, – столь простодушны были ее слова и столь печально ее лицо. “Он мне все твердил, что за ним следят. Да плюнь ты на них, сыночек, говорю. Подумаешь – следят!.. А за кем не следят? За мною всю жизнь следят, а я – ничего... Ну все-таки пошла я на Лубянку. Принял меня какой-то офицер. Я говорю: перестаньте преследовать моего сына, он никакой не враг вовсе...”

Прокурор: А почему вы пошли именно на Лубянку, а не куда-нибудь еще? Почему вы решили, что за вашим сыном следит именно КГБ?

Она: А кто же еще? Что уж я глупая что ли совсем?! (19)

До понедельника нам дали перекур.

Лурьи: Сейчас начнется дополнительный опрос. Может, вы решитесь на осуждение такого способа репатриации?

Я: Ни-ни. Могу сообщить только, что сожалею о случившемся, но боюсь, что это прозвучит весьма двусмысленно.

Лурьи: Я хочу высказать сомнение относительно заключения экспертизы о кастете как об оружии ударно-раздробляющем – он ведь обмотан толстым слоем резины.

Я: Вы обратили внимание, что майор Ревалд, давая первое описание кастета, записал: “ударно-оглушающее оружие”, а потом... Но все это неважно. Вы, Юрий Иосифович, в результате, извините меня, понимания своего бессилия, что ли, в такого рода делах... Вы, да и не только вы лично, а вся защита, как-то ориентированы на несуществующий суд присяжных, на какое-то книжное представление о политических процессах...

Лурьи: Вы думаете, это первый мой такой процесс?

Я: Я знаю, но все равно... Только вашим пониманием невозможности заволпнуть о главном я объясняю всю эту возню с мелочами, все эти нюансы, психологизмы – кому они нужны, если главное замалчивается?

Лурьи: Какое главное?

Я: Что человек имеет право жить в том государстве, которое соответствует его взглядам, вкусам и чему там еще... Иначе он раб. Что преступники это те, кто препятствует свободному выезду, тем провоцируя правонарушения, подобные нашему. Что пора поосновательней расстаться с привычками тех времен, когда сажали за высказанное вслух предположение, что в США рабочий получает больше советского. Знаете такое лагерное присловье? Сижу, говорит, за антисоветскую агитацию – обозвал колхозную корову блядью.

Лурьи: Мелочи тоже нельзя упускать из виду. Времена, глядишь, переменяются, климат помягает – может, пересмотр дела назначат. Тогда всякое лыко в строку пойдет.

19.12. Суд – выматывающая штука. Полдня проспал и еще хочется. В понедельник прокурор ляпнет речь.



Где-то в самом конце февраля или в начале марта... хотя нет, именно в феврале – я ведь тогда еще не работал, хотел месяца 2–3 побездельничать, чтобы потом при подаче документов в ОВИР обойтись без производственной характеристики. Но уже через пару недель сладкой жизни меня вызвали в милицию и приказали в течение 5 дней устроиться на работу, а то, говорят, вновь поставим тебя под административный надзор и трудоустроим в принудительном порядке. Так значит, где-то в самом конце февраля прихожу я домой – Сильва знакомит меня с Бутманом. Этаким небольшого роста, крепко сложен и подчеркнута энергичен. Старше меня лет на 5–7. Месяца 2 подряд я вообще начисто отрицал, что знаю его, не слышал, мол, о таком и все, а когда окон-

чательно убедился, что он дает показания, да еще так называемые правдивые, – выгораживал его, что было сил. А как они принимают к каждому неосторожному слову, ко всякой гримасе, вздоху, даже умолчанию им сигнал... Раздразнить, поколебать равновесие, довести до бешенства, отчаяния... Упаси тебя Боже, если ты раб какого-нибудь тайного порока, если ребро твое с изъяном – уж они тебя за него подцепят... Прямо распирало от досады, когда читал показания всех этих “комитетчиков”. “Кто их за хвост тянет – такое рассказывать”.

Мы с ним поехали тогда в Румбулу, к скромному камню на месте расстрела тысяч евреев. По лесу, меж по-весеннему сероватых сугробов – к той последней поляне. Поступь ли наша была страдальчески тиха, вожделение ли их оглушило – они не сразу нас заметили, белобрысые, ражие. Потом она тихо ойкнула, разогнулась и отпрянула, одергивая сзади пальто. “Нашли место для козлячьих игр!” – вырвалось у меня, но они уже торопливо удалялись, увязая по колено в снегу. Эта сценка мне надолго вроде символа.

На обратном пути Бутман слишком часто оглядывался, чтобы все его вопросы о житье-бытье можно было принять за обычную трепотню – мне было ясно, что он к чему-то клонит. “Как у тебя с шансами на выезд?” – спросил он наконец. “Пока никаких, – говорю. – И похоже, что надолго. Если...”. “Что?” – нетерпеливо повернулся он ко мне. “Если не будет хорошей встряски, приличного скандала, который им не удастся замаять. Пока каждый из нас думает только о себе – лишь бы ему вырваться отсюда, – толку мало. Не вопрос о выезде отдельных лиц, а проблема беспрепятственной эмиграции для всех желающих уехать должна нас волновать. Только на этом пути можно чего-то добиться, а не слезливыми посланиями в Кремль или в ООН... Это если говорить о тебе, обо мне, о всех нас вместе. Но мы сидим по углам и действуем в одиночку. Что касается меня лично, то я отсюда как-нибудь да выберусь. Во всяком случае так мне мнится”. – “Сначала давай потолкуем о всех желающих. Что именно мог бы ты предложить?” – “Видишь ли, конкретно я пока вряд ли что смогу тебе сказать: в Риге я недавно, ни людей, ни здешней ситуации толком не знаю. Говоря о скандале, я ни в коем случае не подразумеваю искусственную сконструированность его, спровоцированность. Тут все должно быть чисто. Схематически обстановка мне рисуется следующим образом. У многих раздражение на грани взрыва – немотивированные, часто издевательские по смыслу отказы, годы жизни на чемоданах в ожидании милости, отсюда и личная, и профессиональная, и квартирная, и прочие неурядицы и т.д., о чем сам отлично знаешь. Легко себе представить, что не сегодня-завтра какая-то группа людей, объединенных отчаянием, решится на тот или иной экстраор-

динарный шаг. Сами они могут при этом пострадать и очень даже, но для многих других пробьют солидную брешь в китайской стене. Благоразумие би-того (того, за которого 2-х небитых дают) подсказывает мне: “жди, жди, жди, и ты окажешься там без особых усилий”. Но совесть дополняет: “по чужим ко-стям”, – а темперамент, с одной стороны, презирует ожидание, а с другой, объединившись с совестью и нетерпением, понуждает к участию во всем, во всех стадиях пути к цели”. – “Ну, а все-таки? Конкретно?” – “А черт его зна-ет! Ну, можно, наприклад, сколотить группу человек из 30–40 и объявить го-лодовку, требуя, чтобы статьи 13 и 15 “Декларации прав человека” перестали быть пустым звоном. Только чтобы не дешевить, не для нагуливания аппети-та перед обедом, не как те, для кого день не поесть – событие, а как голодают в тюрьме – этак с годик, если понадобится”. – “Год?” – подозрительно по-смотрел он на меня. “Ну да. Разумеется, будут насильно кормить...” – “Ну, а еще что можно?” – спросил он, не дослушав моих объяснений. “Можно, на-пример, в знак протеста сжечь на Красной площади свою горячо любимую те-щу”. – “А серьезно?” – отсмеявшись спросил он. “К серьезному разговору на эту тему я еще не готов. Если говорить только обо мне, то я набираюсь злости и, когда почувствую, что заряжен ею до предела, выкину какое-нибудь колене-це”. – “Говори потише, – попросил он меня. – А как ты, – почти прошептал он, – смотришь на побег?” – “С точки зрения шансов на личную удачу – это гиль, – авторитетничал я. – Но в более глубоком плане это кое-что”. – “А если не гиль?” – “Тогда это будет уникальным случаем совпадения личных и обще-ственных интересов”. – “Конечно, не без риска...”. – “Понятно, – согласился я. – Только мне играть втемную не по нраву. Степень риска я хотел бы опреде-лить сам”. – “Пойдем вон в тот скверик, – предложил он, – там спокойнее”. – “Так вот, – начал он, когда мы кое-как примостились на краю мокрой скамей-ки, – я, признаться, кое-что разузнал о тебе и в Ленинграде и здесь, в Риге. Буду говорить напрямик. У нас есть опытный летчик. Дело за людьми. Надо укомплектовать группу...”. – “Группа – это сколько? 2 или 20?” – “Человек 50”, – горделиво усмехнулся он. “Что такое? – удивился я. – Ведь это не на какую-нибудь голодовку... Ты же говорил, что есть шансы на успех для самих участ-ников дела... Так я понял, во всяком случае”. – “За людей я ручаюсь”, – поч-ти обиделся Бутман. “В каком смысле?” – “Что доносчиков среди них нет”. – “Это еще полдела”.

Так мы с ним проговорили еще добрых часа два, пока не продрогли вконец.

В принципе я принял предложение Бутмана участвовать в побеге, хотя и не верил, что дело действительно дойдет до стадии осуществления. “Слушай, – горячечно насел я на него под занавес, – дай мне возможность поговорить с

каждым из участников уже сейчас, в начале, пока не поздно. Если я говорю, что в сию минуту ручаюсь лишь за пару людей, то это значит, что им можно действительно верить. Тут каждого надо взять за пуговицу, уволочь за угол и пробиться через его самолюбие, расшевелить его, зацепить за живое, заставить по-настоящему почувствовать, что от его умения молчать зависит судьба десятков людей. Ты пойми, не намеренного предательства я боюсь, хотя и его не надо сбрасывать со счетов... Ведь если даже накануне побега кто-то, без конца проигрывая в воображении завтрашние свои подвиги, примеривая к себе то гроб, то победное сияние, напыщенный и чувствительный получит щелчок от своей секспартнерши, он может глубоко оскорбиться: "Ах, ты так! А я-то! Ну ничего, завтра узнаешь, да поздно будет!" И этого может оказаться достаточным для провала. Или ты не знаешь этой страны? Надо до тех пор говорить с каждым, пока у него не дрогнет что-то в глазах – значит пробило".

Бутман клялся, что за его людей можно не беспокоиться.

Я считал, что для нас, живущих в стране тотальной слежки, основная опасность провала – возможная утечка информации. Тем более, что многие из нас уже успели заявить о себе в той или иной сфере деятельности, контролируемой КГБ.

На одном из расширенных совещаний в Ленинграде – Бутман, Дымшиц, Коренблик и я – я опять пытался привлечь внимание моих теперешних поделщиков к вопросу о необходимости выработки профессионального подхода к проблеме секретности. "Парни, – сказал я им, – давайте поменьше о том, как нас могут сбить в воздухе и кто на кого нападает. Если мы завалимся, то еще до всякого самолета. Поэтому все усилия на работу с нашими людьми – а потом уже все остальное".

Но мало сказать (да и кто же возражал?), надо еще суметь преодолеть инерцию ковбойского мышления. Вот на это-то меня и не хватило и оправданий тут никаких. Именно мне. Потому что только я по-настоящему понимал, откуда возможен удар. (Я не знаю ни одного дела хотя бы с пятью участниками, которое обошлось бы без доносчика. У нас доносчиков не было. Это предмет моей гордости ныне...) Смешно сказать, но спроси меня кто-то, перед кем не очень стыдно за собственную глупость, – как бы ты, дескать, переиграл всю эту историю заново? – я бы ответил: "Обеспечьте мне три условия: 1) еще никто ничего не знает о побеге, кроме летчика; 2) освободите меня на годик от необходимости каждодневно строить коммунизм и 3) снабдите некоторой толикой денег – ради свободы передвижений".

1-го мая, когда Бутман сказал, что ни он, ни кто-либо из его людей в побегах участия не примут, я опять пристал к нему, чтобы он – независимо от того,

откажемся мы с Дымшицем от побега или нет – заткнул глотки своим ребятам. Если прежде, втолковывал я ему, когда дело шло о них самих, их сдерживало опасение за себя, то теперь, когда они в стороне, почему бы им не похвастаться где-то за углом? Бутман сказал, что никто, кроме самого “Комитета” ничего не знает, а за серьезность “комитетчиков” он – голову на отруб.

Дымшицу в тот же день, под вечер, я предложил: “Давай-ка отложим все это на годик. Пусть все утихнет и забудется. Освободим одного из нас от производственных уз, обеспечим ему жизненный минимум и свободу передвижений, а через год спросим с него идеальный вариант побега и дюжину парней, в длинном списке достоинств которых на первом месте стоит умение молчать”. Когда он ответил: “Или сейчас или никогда”, – я усомнился в качестве его решимости, под каковой я подразумеваю решимость, выношенную годами, такую, что не растворится в укусе времени и благополучия. Я заподозрил, что его решимость несколько истероидного свойства – судорожное хватание за единственный шанс разделаться разом с бедами, вдруг насевшими со всех сторон. И опять уступил. Уступил, хотя каждому говорил, что надо иметь мужество отказаться от побега, если явно запахнет провалом, уступил, потому что уже был захвачен инерцией дела, потому что уже потрачено столько сил и жалко, если это окажется никчемной тратой; уступил, так как в значительной степени стал рабом нетерпения тех ребят, от имени которых я вел переговоры. Был некто, через кого я черпал сведения о Бутмане и его окружении. Его я счел возможным и нужным посвятить в наши планы – сначала как возможного соучастника, а потом, когда он отказался от побега, как советчика. (20) 14 июня, накануне дня икс, он, прощаясь со мной, спросил: “Ну и как ты думаешь?” – “Повяжут на аэродроме”. – “Так еще не поздно отказаться!” – “Для меня поздно, а остальным я скажу об этом сегодня. Они могут дешево отделаться”. Вечером в лесу возле аэропорта “Смольное” я сказал, что за нами слежка. Это ты нервничаешь, говорят. Я понял, что все они чувствуют обреченность операции, но не хотят признаться в этом ни себе, ни друг другу. Это любопытное состояние, и когда-нибудь я попытаюсь разобраться в нем.

Еще когда мы втроем – Сильва, Борис (21) и я – ехали поездом “Рига – Ленинград”, Борис сказал мне доверительно: “Теперь хоть в петлю, лишь бы не возвращаться”. Так же были настроены все. Такова сила житейских мелочей, банальных неприятностей – не говоря о крупных, – что надежда сегодня, сейчас одним рывком разорвать их липкую паутину гипнотически притягательна – будь что будет, ибо и самое страшное всего лишь проблематично, тогда как насущный хлеб повседневного зла, сколь бы ни было оно незначительно с виду, стоит в горле комом. Определенному типу характеров тяжело променять

первородство мужественного образа жизни – со всей тяжестью расплаты за него – на чечевичную похлебку смиренного ожидания подачки, которой к тому же и нет надежды дожидаться. Общее настроение подытожил Бодня: “Посадят – тем вернее потом выпустят в Израиль”. Один сбежал с институтских экзаменов, другой из воинской части, третий порвал с любовницей, тот уже отправил по почте прощальное письмо жене... Вернуться? Если завтра в полдень – пусть чудом! – можно оказаться в Швеции? Вернуться к прежнему? Да еще так осложненному, к прежнему, с которым наконец-то порвал все связи? Слежка – ведь дело обыденное: может, они не знают о нашем замысле, доследят до аэродрома, мы сядем в самолет – и они останутся с носом...

Перечитал написанное. Впечатление, что я выгораживаю себя, обвиняя в промахах только Дымшица и Бутмана. Это не верно. Если они не были достаточно внимательны к моим предложениям, то и я ведь не все, сказанное ими, принимал к сведению. Главная и вечная наша беда – дилетантизм и инфантильная недооценка мощи полицейского аппарата любезного нашего отчества.

Алика (Мурженко) не менее энергично, чем меня, теснили после освобождения. Интересно, вполне ли сознательно тиранят они бывших заключенных? Или это запрограммированное бездушие раз заведенной хитроумной машины, не умеющей предвидеть побочные эффекты своих действий? Я не о ворах и хулиганах – имя им легион, они мгновенно вливаются в толпу у заводской проходной, мало чем отличаясь от нее по сути. Опекают их весьма приблизительно. Я о тех, кто в той или иной форме усомнился в абсолютной благодати Старшего брата и не предал под развесистым каштаном ни себя, ни друзей. В лагере работа над строптивым зэкком сводится преимущественно к применению двух силовых приемов: урезанию пайка и карцеру, на воле точек опоры для рычагов многообразного преследования куда как больше: прописка, жилье, работа, семья, соседи, знакомые... В лагере человек или выдерживает, поставив крест на досрочном освобождении ценой сотрудничества с голубыми ребятами, или ломается; на воле он или сникает, или его опять сажают. Стоит тебе пару раз встретиться с какой-нибудь девицей, как ее вызывают в КГБ, расспрашивают, инструктируют... В конце концов ты шарахаешься от всех, подозревая, мучаешься от огульности этих подозрений, не желаешь играть в навязанную тебе игру и все же играешь в нее поневоле... Будь ты и в самом деле лицом значительным, носителем реальной опасности для государства, спецотношение к тебе – одно из условий твоей роли, но если ты только хочешь, чтобы тебя оставили в покое, то скоро, очень скоро так начинаешь тяготиться чекистской опекой, что совершенно искренно говоришь: “А ведь в лагере-то было легче”. На воле че-

ловек не ломается, а сникает или вновь садится, если осмеливается высказать свои взгляды столь же прямо, как привык это делать в лагере. О, в России тоже есть свой Гайд-парк – в Мордовии; там, за проволокой, ты можешь говорить, что угодно – от силы дадут 15 суток карцера или год одиночки или парутройку лет тюрьмы. Это и есть социалистическая демократия: ты свободен и можешь говорить, что угодно, но и они ведь свободны: сажать тебя или не сажать. Если тебя занесли в списки противников режима, то не “исправить” тебя пытаются, а убить в тебе личность – впрочем это и есть исправление, в их понимании, – им не надо, чтобы ты стал марксистом–ленинцем – нет, нет и нет! – упаси Боже от всяких подобию приверженности каким–либо принципам, не надо, чтобы ты признал, что  $2 \times 2 = 5$ , но  $2 \times 2 =$  сколько угодно сегодня партии. И любые приемы тут хороши. Есть лагерная поговорка, образно, хотя и не аппетитно, рисующая один из популярнейших методов перевоспитания инакомыслов: “Бьют пока не обделаешься, а потом – за то, что обделался”.

Юра заявил на суде, что давно вынашивал мысль о побеге из СССР. На это признание частично спровоцировал его я, не желая того, конечно. Он сделал это заявление после того, как прокурор уличил нас в “противоречии”.

Прокурор: Скажите, Кузнецов, как же так получается? Вы заявили суду, что Федоров не хотел участвовать в преступлении и только после длительной психологической обработки он уступил вашему нажиму. А он говорит, что вы просто поставили его в известность о предстоящей измене родине и он напросился к вам в компанию. Кто же из вас говорит правду?

Я: Федоров или забыл, как все это обстояло, или пытается меня выгородить.

Федоров: Я ничего не забыл и полагаю, что Кузнецов хочет меня выгородить. Я давно уже думал о побеге из СССР.



Еще и недели не прошло с того момента, как затворились за моей спиной ворота Владимирской тюрьмы, еще не спалось ночами, еще темно в глазах от восхищения каждой мини–юбкой, еще коммунистов я называл, по–лагерному, большевичками, кэзбистов – чекистами, СССР – Совдепией и, обращаясь к милиционеру, говорил: “Начальник”, еще не обращал я внимания на недоверие слушателей, когда рассказывал им о тюремной жизни, еще... Еще по ночам я вскакивал, словно ошпаренный, и строил невинную гримасу, готовясь услышать привычное: “Не спать. Днем спать запрещено”, еще на каждом углу я покупал пирожки с мясом – дань недавнему голоду... Некто Субботин Юрий, удовлетворяя любопытство новенького надзирателя, посулившего ему буханку черного хлеба, проглотил партию домино. Потом любители “козла” побили



его за то, что куда-то пропали две фишки, а остальные долго не поддавались дезодорации. Уже на третий месяц пребывания во Владимирской тюрьме в строгом – таком кошмарно голодном! – режиме традиционное вопрошание: “А что бы ты выбрал: кило колбасы или бабу?” не рождало споров – все было за колбасу. А когда я сострил: “Полкило и девочку”, – разразился скандал на грани драки, и мы постановили не упоминать о еде. Но однажды я забылся. Так тоскливо прозвучало мое восклицание: “Подумать только, в Москве чуть не на каждом углу торгуют горячими пирожками с мясом!” – что эстонец по кличке Февраль заплакал. Я навсегда запомнил и это восклицание, и эстонец, прозванного за слабоумие Февралем. Он часами молча стоял у кормушки. “Чего ты там стоишь? – набрасывался на него кто-нибудь из сокамерников. – Думаешь, хлеба дадут?” “А может, дадут”, – покорно отвечал тот. Нас кормили на 5 рублей в месяц.

Я покупал пирожки с мясом даже когда был сыт по горло. “Надо как-то отсюда сквозить”, – сказал мне Юра. “Неплохо бы, – согласился я, дожжевывая очередной пирожок. – Да как?” – “Как попало”. – “Я думал, у тебя что-нибудь на примете есть”. – “Ничего не могу придумать, – признался он. – Разве попробовать пешком через границу?” Я возмутился: “Что за идиотизм? Мало ты знал таких пешеходов в лагере? Мне пока и здесь не плохо”. – “Подожди, – угрюмо проговорил он, – через годик-другой согласен будешь на карачках ковылять из Москвы до границы. Я тоже первый месяц после Владимирки был похож на блаженного идиотца...”

20.12. Все еще слишком недавно, чтобы уверенно жонглировать фактами, отделяя главное от второстепенного, – все кажется важным. Весь спектр упований, стремлений, опасений... И ничто не хочет втискиваться в удобопроизносимые словесные формулировки, ничто не хочет жертвовать и частицей своей путаной правды ради ясности словесного выражения, предпочитая остаться невнятицей странно сопряженных событий, догадок, предчувствий. Это неизбежно, если ты не владеешь истиной, а ищешь ее, перебирая в уме и то и се, так и сяк приглядываясь к утке и к соусу... Какое-то подспудное тяготение к выводам, к расстановке акцентов, к схеме – почти синониму ясности, логичности, рациональному освоению мира... Очевидно, всякая мысль тяготеет к своему пределу выразимости, но дается он лишь ценой потери некоторого качества, ценой усечения множества связей этой мысли с тем набором явлений, на выражение которых она претендует. Особенно мысль, зафиксированная на бумаге, – без жестов, голосовой и мимической игры, без долгого косноязычного топтания вокруг да около, когда каждое слово приблизительно, этой са-

мой приблизительностью намекая на некую суть, подводя к транслсловесному постижению ее.

С каким недоумением Лурьи спросил меня позавчера, в обеденный перерыв: “И как это Вы, все понимая и видя?..” Поддавшись на лесть, я пустился в рассуждения о так называем “полевом зрении”, переиначив это понятие на свой лад, о побеге вообще как виде инфантильного взыскания града Китежа и черт–ти знает еще о чем. Объяснил ли я хоть что–то? Вряд ли. Разве что самую малость. Я обычно горячо берусь за объяснения, но, добросовестно увязнув в деталях, очень скоро остываю, догадавшись, что объяснять надо слишком многое... А куда же денешься от нервного ожидания момента, когда тебя прервут не дослушав? – и лучше ограничиться парой банальных фраз, неключе перескочив к ним через все намеченные вначале психологизмы.

До чего легко быть мудрым, когда ты не у дел, а тем паче – после дел, в ка мере. Спроси меня года два назад: “Пошел бы ты с дюжиной парней на что–либо противозаконное?” – я бы, как и сегодня: “Нет”. Во–первых, сомнительно сострил бы, дюжина да я впридачу – чертова дюжина. Во–вторых, при таком количестве посвященных практически неизбежна утечка информации – не говоря уже о провокаторах и сексотах. А в–третьих, не только за мной, как бывшим госпреступником, не исправившимся за семь лет заключения, будет постоянная слежка, но и за большинством из этих двенадцати. Ведь не родились же они “контрами”, а стали ими. Ну, а пока доходили до кондиции, наверняка привлекли к себе внимание сначала рядовых советских граждан, а потом и дорогих органов (одно из объяснений, почему в заграничаваниях, пограничных и оккупационных войсках относительно редки случаи “измены родине”). При таком количестве участников можно рассчитывать на успех только какого–нибудь сугубо уголовного мероприятия, что, как известно, аморально. Одно дело – ищущие незаконной наживы, и другое – те, поступки которых определяются соображениями, выспренно называвшимися в том столетии идейными. Если первые отчетливо сознают предосудительность своих намерений и, как правило, умеют молчать, то вторые, дожив до собственных идей и неодолимой потребности их реализации, рассматривают свои действия – чаще всего, грядущие – в качестве бескорыстно–благородных с острой правой романтической жертвенности. Скрывать же свое благородство трудно. Весьма. Неравенство исходных условий еще и в том, что уголовные склонности и проявления крайне широко распространены, а занимающиеся их диагностикой, профилактикой и лечением (или тем, что за таковое выдается) учреждение не ахти как солидно. В КГБ дело поставлено поосновательнее.

Свое мировоззрение, оно ведь с неба не падает. А упадет – не обрадуешься.

Лучше быть убийцей, вором и насильником, чем не колебаться вместе с колебаниями генеральной линии партии. Представляется чудом, если кому-то удастся дожить до мысли о необходимости самостоятельной оценки мира. Сперва обрабатывают твою подкорку, и ты пищишь что-нибудь вроде “Я маленький мальчонка, играю и пою, я Ленина не видел, но я его люблю”, потом направляют твою любознательность в заранее для нее отведенный загон, огороженный от мира высоким частоколом расхожей (и время от времени перелицовываемой) марксистской мудрости и в конце концов научают благоговению перед теми или иными персонификациями абсолютной истины, справедливости и святости. Унифицированная система образования дает колоссальные возможности манипулировать умами, вырабатывать у масс единую реакцию на события. Такое образование отнюдь не поощряет критически-творческое отношение к миру идей, оно лишь подготавливает человека к доле высококачественного перципиента – к восприятию всех видов пропаганды. Если к этому прибавить затрудненность (а давно ли и грозный запрет?) доступа к зарубежной информации, то не удивительны благодарность и удовлетворение, с каким узнаешь от ротного замполита капитана Жучкова, что “советский дурак умнее американского мудреца”. Но если ты, вопреки всему, каким-то чудом взалкаешь иных истин, – берегись. Самостоятельное мировоззрение – или, для начала, выбор своей философии из числа имеющихся в мировом философском фонде – не легко дается. Его выработке сопутствуют сомнения, споры, декларации. И к тому времени, как ты созреешь для ереси, в некоем списке против твоей фамилии ставится галочка. С этого момента ты уподоблен подозрительно шустрой наложнице, с которой верный шаху евнух не спускает глаз, опасаясь величайшего преступления – прелюбодеяния. “Почему не источаешь ты восторга, когда повелитель берет тебя на ложе свое? Почему очи твои долу? Зачем бросаешь украдкой взгляды за пределы шахского сада, туда, где мрак и скрежет зубовой? Уж не любовник ли у тебя завелся?” – “Ах, – томно отечает она ему – меня манит свобода”. Любовника евнух может понять – не простить, но понять, – томление по свободе ему не понятно и вдвое оттого ненавистнее.

Получается, что сначала человек не может эффективно противопоставить себя существующему режиму, потому что не является личностью, а став таковой – потому, что не в силах избавиться от повседневной опеки блюстителей политико-идеологической непорочности государства.

И это еще не все, далеко не все, но этого уже достаточно для недоумения: почему же я все-таки согласился на побег, зная, что ничего нельзя предпринимать в союзе с людьми из списка? Или еще яснее так: надеялся ли я на ус-

пех? По логике и жизненному опыту – нет; только на успех как на чудо. Если самоубийство это очень часто крик о помощи, то и для меня участие в групповом побеге за границу – нечто вроде самоубийства, вопль затравленного о спасении. Это главный ответ. Можно попытаться и иначе объяснить мой побег, но все эти объяснения на несколько ином уровне и в конце их уместно ставить знак вопроса. Не вся ли моя жизнь – периодическое покушение на побег? Хронический инфантилизм что ли? В смысле чаяния снять некое внутреннее напряжение перемещением в пространстве. Вид побега от решения так называемых вечных проблем в конфликт с обществом, в котором случилось родиться? Экстраполяция духовного бунтарства, размен его на социально–политические протестации? Но не может же оказаться вконец ложной и логика обвинения данного общества в намеренном препятствовании поискам неофициальных типов самовыражения? Солидное выглядит и такое, например, объяснение. Однажды от жизни сугубо биологической пробуждаешься к иной, озадаченный проблемами из разряда вечных. Отмахнуться от них невозможно, решить – не по силу. Единственный достойный вид отступления – обвинить социально–политическое устройство государства в том, что оно тебе мешает решить эти проблемы, да еще нарочно. Чем ты моложе, тем простительнее желание изменить мир (один из видов побега от своих проблем), повзрослев, ты пытаешься убежать в другую страну, убежденный, что климат ее благоприятнее..., но, постарев, поймешь, что проблемы твои равно неразрешимы во всех концах мира – и государственное устройство тут ни при чем. Вроде бы ничего объяснение, если бы не кабинетность его. И это, и многие другие – полуправда. Не буду спешить с окончательным выводом; пока достаточно констатации факта, что к лету 70 г. я испытывал тошнотворное отвращение к идеалам и практике так называемого социализма, убежденный, что таковые неизбежно связаны с лагерными бараками, мечтал поселиться в Израиле и знал, что безуспешность попыток добиться разрешения на выезд не случайна. 20 месяцев – от освобождения из тюрьмы до нового ареста – были для меня сплошной душевной судорогой.

Хотелось бы большей согласованности поведения в суде. Конечно, каждый имеет право на использование личного шанса. Упреки тут неуместны, ибо попытки реализовать этот шанс в данном случае прямо не посягают на чужие судьбы, а питаются некими иллюзиями. Я считаю, что сегодня решается нечто более значительное, чем моя участь и готов не очень принимать ее в расчет. Кто-то думает иначе, иначе и действует. Не подбирать же людей по принципу их вероятного поведения на суде? Хотя, это, может, было бы намного правильнее всех прочих принципов отбора. Есть любопытная особенность у

впервые попавшего в руки КГБ – он, как правило, не верит, что его будут судить всерьез. Когда жестокость, произвол, бездушие и бездуховность, будучи сущностными характеристиками государства, умело маскируются, когда служба промывки мозгов поставлена на широкую ногу, когда для подавляющего большинства граждан этого государства земля – без всякой иронии – начинается, как известно, от Кремля (да там и кончается), – тогда только серия болезненных ударов под ложечку может помочь выработке трезвого понимания изнанки социально–политических мифов. Тебе удалось чуть приподнять радужный занавес, едва бросить взгляд в закулисный мрак, и ты, ужаснувшись несоответствию его разыгрываемому на подмостках, преисполнился обличительного духа, пафос которого – правда и справедливость (разумеется, крайне абстрактные даже в своей конкретности). Тебе кажется, что ты все понял и окончательно распрощался с судьбой законопослушного болвана. Но ты романтик и власти – и вообще – жестокой, но трижды жестокой к уяснившему ее лицемерие, – противостоишь весьма благодушно. Поэтому, когда однажды тебя приглашают на казнь, ты не веришь этому в глубине души. Слишком долго тебя пичкали заверениями в гуманизме, демократизме и справедливости, а бескорыстие твоих побуждений очевидно не только тебе, чтобы поверить, что тебя всерьез признают врагом и всерьез карают. Вот тут и проявляется парадоксальная ситуация: тебя зачисляют в особо опасные государственные преступники, а ты, оказываясь, в глубине души веришь всем декларациям государства. И только позже, когда оказываешься в самой сердцевине государственного механизма – в лагере, – где представителям власти маски кажутся стеснительным бременем, где принципы, на которых зиждется государство, выступают в наиболее чистом виде, начинаешь со стыдом постигать, до какой степени рабским был сам твой протест. У не прошедшего через лагерь (я имею в виду достаточно определенный тип сознания – романтически–бунтарский) нет взрослого отношения к этой системе как к беспощадному, лицемерному и беспринципному врагу, карающему самым жестоким образом за всякий чуть–чуть смелый шаг даже юнца, играющего в оппозицию. Тюрьма – школа свободолюбия. Если тебя не сломают или не привьют тебе дух конформизма, когда хребет так гибок и изящен, ты устыдишься былого благодушия. С некоторого момента ты – всегда мишень для пинков, а финты тебе не к лицу – нельзя оставаться личностью и избежать пинков, ибо всякое их смягчение дается лишь ценой измены себе. Надо или стоически принимать их, не уклоняясь, или отвечать на каждый пинок полновесным ударом. Им недостаточно одной твоей уступки, они потребуют все больших и больших, пока в тебе не останется ничего своего. Лучше уж и не начинать. Мой второй

следователь майор Никулушкин сказал, досадливо морщась: “С вами, которые сидели, невозможно работать”. Еще бы! – ведь набор средств обработки арестанта не очень и богат: насадка в камере, магнитофон в стене, подделка показаний твоих друзей, искаженная запись твоих слов, игра на интимных подробностях твоей жизни, посулы смягчения наказания и угрозы расстрелом... Ну и еще дюжина не менее банальных трюков. Казалось бы, зачем им твое признание вины и раскаяние, если у них достаточно материала для твоего осуждения на любой, им угодный срок? Но если ты не доведен до состояния кающегося грешника, дело теряет характер завершенности, как бы повисая в воздухе вопросом о моральной правомерности суда над инакомыслием. Или тут бессознательная дань средневековому народному убеждению, что поистине виновным является лишь признавшийся в преступлении? (Одного такого признания было достаточно для осуждения. Тогда Вышинского можно считать теоретизировавшим инквизитором советского средневековья. Дело еще и в религиозной сути тоталитарного государства, где политический противник – не столько даже преступник, сколько еретик.) Или, может, дело в нечистой совести, не выносящей публичных уличений в подлости?

Да, в трезвые минуты я говорил себе, что так обставленный побег – самоубийство. Это не значит, что я не пытался сделать все возможное, чтобы вывернуться из петли. После неудачной попытки склонить Дымшица к отсрочке побега, я с тем же предложением обратился к двум наиболее близким людям. Все мои соображения были зачеркнуты возгласом отчаяния и возмущения: “Еще год, еще целый год!” Теперь я виню себя в болезненно щепетильной демократичности, нежелании вслух констатировать факт, что с некоторого момента все бремя ответственности фактически легло на меня и мне нужны соответствующие полномочия и права. В таком государстве (и в таких ситуациях) быть демократом проигрышно.

Еще и потому никто не содрогался при мысли об аресте, что все дали согласие на смерть: мы решили, что если самолет–перехватчик будет пытаться нас посадить под угрозой расстрела в воздухе, мы на посадку не пойдём.

Как-то раз Иосиф Менделевич и Изя Залмансон разругались вконец, обсуждая методику вербовки участников побега. Amor fati Иосифа толкал его к подчеркнутому выявлению трагизма, тогда как Израиль откровенно ориентировался на успех как жизненный принцип. Один настаивал, чтобы всем было сказано: “шансов на удачу практически нет, вероятность гибели столь же велика, как и вероятность тюремного исхода”, другой считал успех обеспеченным и не желал отпугивать возможных участников побега. В конце концов победил Иосиф. Но мы тратили слишком много сил на примирение разногласий,

поиск компромиссов. Эта вечная середина, такая теплая и привычная в обычных ситуациях и расслабляющая силы в моменты, когда вместо словопрений нужен приказ. В иные минуты плохая диктатура стоит хорошей демократии, раз уж нет ни умения, ни времени сделать эту демократию организационно гибкой.

Дымщиц, говоря на суде об антисемитизме в стране, рассказал в частности о выкрике автобусного кондуктора: “Мало вас Гитлер стрелял!” Прокурор Соловьев пытался превратить этот случай в анекдот, а потом с казенным пафосом распинался за советский народ, в котором в принципе невозможен антисемитизм. Господи, как их распирает от гордости своим гуманизмом, если только они не заталкивают тебя в кремационную печь! Ведь тебя же не бьют ежедневно палкой по голове, а ты все не доволен! – вот подтекст их рассуждений, логика твари дрожащей, которую наконец-то (временно!) перестали ставить к стенке за просто так, чуть-чуть ослабили ярмо и она вообразила себя свободной личностью, горестное возмущение Малюты Скуратова, которому царь-бабушка по-домашнему внушил, чтобы топором пока пореже баловался...

И все же, в чем дело? Почему это автобусное происшествие не работает? Потому ли, что оно не обременено социально-политической конкретностью (такое возможно едва ли не в любой стране, и, следовательно, важна лишь специфика проявлений антисемитизма, а не сам факт его)? Только оперируя фактами враждебного отношения к евреям на всех уровнях данного общества, только обнажив их неслучайность именно в этом государстве, слиянность их с некоей сутью его, только проиллюстрировав этими фактами каждый официальный вопль о равенстве и братстве, можно надеяться, что сказанное тобою – не общее место. Традиционная религиозная ненависть? – да! Пещерная боязнь чужого, архетип Другого, которого ненавидят и боятся именно и только потому, что он Другой – олицетворение зловеще-непонятого – конечно! Экстраполяция на чужого всего в себе мерзкого? – само собой! Самый доступный способ самоутверждения? – да! И еще с дюжину таких да. Но самое, я думаю, существенное то, что от этого иррационального неприятия чужого аргументы здравого смысла отскакивают, как горох от стены. Российская же специфика – в массовой антиинтеллигентской настроенности, а в народном представлении жид и интеллигент сопряжены (то и другое ругательство я слышал не единожды еще в детстве – в адрес интеллигентов-неевреев и евреев-неинтеллигентов). Если российский пролетариат венчает, по заверению Ленина, мировую историю, то руки без мозолей и очки под шляпой презираются узаконенно. Но главное – неприятие личности, не умещающейся ни в баре, ни в общежитии, ни даже в алюминиевых чертогах будущего.

Дымшиц рассказывал об этом автобусном случае с неподдельным волнением. Значит, для него он работает и без всяких аналитических приправ. Переиначу вопрос. Когда он работает? Очевидно, тогда, когда ты уверен если не в дружелюбном к себе отношении, то, во всяком случае, в непредвзятом; если ты еще не выблевал заглоченные тобою пропагандистские пилюли и не научился отличать фасад от задворков. Тогда такой случай возмущает, тогда он чудовищен. Но если для тебя (например, для прокурора) не секрет отношение всех слоев общества к евреям, если ты и сам разделяешь его, то что же тут чудовищного, в этом сожалении–сочувствии Гитлеру? Кто не слышал этот выкрик десятки раз и кто не видел, как снисходительно, в лучшем случае, реагируют на него все сподобившиеся родиться не–евреями? Погромные настроения не локализованы ни пространственно, ни во времени; можно говорить о затухании погромной пандемии и ее вспышках, но не об избавлении от нее. Погромные эмоции разлиты в массах, накапливаются исподволь, чтобы однажды проявиться во всей мощи своего первозданного безобразия. И нет страны, более благоприятствующей всем видам погромов (от спровоцированных сверху до стихийных), чем подсоветская Россия. Режим тому не помеха. Напротив. Он лишь старается придать им неклассическую форму (ибо сам опасается всяких предельно зараженных эмоциями толп – это ведь не отрепетированный энтузиазм первомайских демонстраций).

Говоря об антисемитизме партийной элиты, нельзя останавливаться лишь на убогом характере его. Любопытно, что откровенный антисемитизм начинает поощряться сверху именно после отказа от первоначально искренних упований на мировую революцию. После того, как ставка на классовую солидарность мирового пролетариата оказалась битой, вожди уразумели, что единственная реальная их опора – свой народ, которому надо кое в чем и потакать.

22.12. Вчера было не до записей – прокурор потребовал нам с Дымшицем расстрела, Юрке и Иосифу по 15 лет, Алику – 14 и т.д. Даже Сильве – 10. То, что приговор суда будет полнейшим образом отвечать пожеланиям прокурора, для меня несомненно – ведется крупная политическая игра, в которой наши судьбы в расчет совершенно не принимаются, мы даже не пешки, пешки – это судьи и прокурор. Поскольку я (в качестве советского смерда) лишен доступа к сколько–нибудь объективной политической информации, я могу только строить догадки о факторах, определяющих наши судьбы. Умозрительность посылок делает для меня равновероятным как осуществление смертного приговора, так и отмену его в последний момент.

Сегодня я уже готов “присоединиться к большинству” (кладбищенскому), но вчера я был выбит из колеи. Даже слегка поколотил Белкина – прорвалось



давно накопившееся против него раздражение. Привезли меня вечером из суда, я больше жизни жажду одиночества, чтобы справиться с собой перед лицом костлявой, принявшей облик прокурора (у нее еще много метаморфоз впереди: послезавтра она заговорит устами судьи, потом – со страниц всяких официальных бумаг, а под конец прикинется каким-нибудь толсторожим надзирателем), а Белкин, узнав о “пожеланиях” прокурора, вяло констатировал его кровожадность и, захлебываясь от волнения, начал читать вслух письмо от какой-то Вали. Я ходил по камере, стараясь собраться с мыслями, принаравливаясь к новому своему положению и... мне никак это не удавалось. В голове метались обрывки мыслей: “Оно и лучше, чем 15 лет”, “Пропади оно все пропадом”, “Не все ли равно, когда умирать”, “Мы еще посмотрим” и т.п., – и все более и более угнетало чувство растерянности, душевного смятения, до крика хотелось одиночества, тишины и темноты – без чужих глаз. Наконец, когда он отложил в сторону письмо и попытался втянуть меня в обсуждение его подробностей, я не выдержал. “Не мог бы ты оставить меня в покое хоть сегодня?” Кончилось это тем, что я трижды стукнул его головой о стену – в соседней камере вообразили, очевидно, что это сигнал и ответили бодрой морзянкой. Больше я не слышал от него ни слова, а сегодня, вернувшись из суда, в камере его не нашел – убрали. Сижу – наконец-то! – один.

Поскольку я не собираюсь осчастливливать своими дневниками человечество, а для меня ценность их теперь под большим вопросом, я надумал было предать их огню. Однако потом решил не спешить (одно уж это говорит о силе инстинктивной надежды на жизнь – вопреки всем логикам). Но мне, к несчастью, не до клинического анализа трепыханий души на грани небытия (или инобытия). Ограничусь фиксацией пустячков. Впрочем, на сегодня хватит.

23.12. Комедия кончилась – дело за приговором. Завтра в 6 ч. вечера. В моем распоряжении весь вечер и завтрашний день. Сижу один, по поводу Белкина никто меня не вызывал – без наказаний, видно, обойдется.

Сначала “высшей меры наказания”, причем для всех, потребовал общественный обвинитель Медноногов (я его зову Меднолобовым), но я решил, что он не вкладывает в это “устойчивое фразеологическое словосочетание” специфически кровавого смысла – ан, промахнулся.

Любопытная – и весьма характерная – деталь: Меднолобов еще в ходе судебного расследования все допытывался, с какой целью мы сначала назначили побег на 2 мая. Ему объяснили: возможность незаметно съехаться в Ленинград большой группе людей, разъехаться по домам в случае отмены побега и т.п. Однако он возопил позавчера: “Неспроста они планировали совершить

свое гнусное преступление именно 2-го мая – они хотели испортить праздник мирового пролетариата! Неспроста они задумали это злодеяние в юбилейный год, когда весь мир отмечает 100-летие со дня рождения Ленина!” После его выступления ко мне подошел Лурья:

– Ну, как?

Я: Экая, право, дубина! Надеюсь, требуя высшей меры, он не имел в виду расстрела?

Лурья: Конечно же нет.

Я: А как вам понравилось относительно 2-го мая и юбилейного года? В следующем году партсъезд – тоже торжество мирового пролетариата. Не знаешь, в каком году и родине – то изменить – сплошные торжества!

Лурья: Уже очень вы момент неподходящий выбрали – и смерть Курченко (22) и Ассамблея ООН...

Я: Характерно, что именно сейчас в ООН принята резолюция о борьбе с угонном самолетов. Пока в СССР не было таких случаев, не очень – то и в ООН шевелились. А тут, видать, надавили – и порядок.

Лурья: Почему не было случаев? Вот же в том году...

Я: Было, конечно, и до того года, но все это удавалось замалчивать... не так скандально, как с нами получилось.



После речи прокурора.

Лурья: Не ожидал... Никто не ожидал... Это беспрецедентно! Но не отчайвай – ты – я уверен, что до смертного приговора не дойдет – слишком скандально.

Я: Боюсь, что раз прокурор потребовал – нас приговорят к вышаку.

Лурья: Не буду от вас скрывать... не исключено, что суд приговорит вас к смерти. Но уверяю, они просто хотят, очевидно, провести вас по всем ступеням ожидания казни, а потом помилуют.

Я: Будем надеяться. Хотя помиловку я не намерен писать. Во всяком случае сейчас – потом, может, превращусь в тварь дрожащую, тогда... Но человеческого облика мне не хотелось бы терять.

Лурья: Может, до этого не дойдет. Что я говорю “может” – я уверен!

Я: Вы их плохо знаете. Я, конечно, понимаю, что наши судьбы им до лампочки – тут расчет на другое. Но именно поэтому, почему бы нас не разменять?

Лурья: Такого никогда не было.

Я: Мало ли чего не было? Помните, к Рокотову и Файбушенко (23) применили “обратную силу”? И разменяли.

Лурья: Это случай, о котором вспоминают разве что специалисты, а ваше дело – другое.

Я: В 1963–4 годах на спецу расстреливали за всякий пустяк. Не верите? Конечно, это делалось сугубо втихую. Особенно за антисоветские наколки на лице... Тоже ведь результат расширительного толкования статьи – их по 77-й прим судили. А давно ли за побег из лагеря судили по 58–14 – как за саботаж и экономическую диверсию? По 25 давали.

Лурьи: Ну, сейчас не те времена. Как вы с последним словом? Это очень важно теперь.

Я: Каяться я не буду и вины, разумеется, не признаю – разве что по 83 статье. Вы заметили, что прокурор объявил меня русским? Думаете, им движут лишь академические страсти? Уверен, что это неспроста. Одно дело, если 2-х евреев приговаривают к вышаку, и другое – одного еврея и одного русского. Никакой дискриминации. Я об этом скажу в последнем слове.

Лурьи: Глупее ничего не придумашь! Это всего лишь ваши домыслы. Он же не расшифровывал подтекста? Так зачем же вам это делать? У вас, по-моему, и так хлопот хватает – стоит ли мудрствовать в вашем положении? Ведь говоря об уверенности, что суд – этот или кассационный – не изберет вам меру наказания, связанную с физическим уничтожением, я имею в виду и ваш отказ в дальнейшем от боевого задора, очень в вашем положении неуместного.

Я: Неуместен он только в смысле стилевой безвкусицы или пренебрежения стилем, правилами игры, навязанными нам. Зарекаюсь отныне и навеки как-то и что-то объяснять в суде.

Лурьи: А вы думаете, вам еще предстоит выступать в суде? Вы оптимист... или пессимист, если с другой стороны посмотреть. А почему?

Я: Что почему?

Лурьи: Почему молчание, по-вашему, лучший способ защиты?

Я: У нас с вами разные подходы. Не защиты, а более достойного выражения своего отношения к судебному фарсу. Мне стыдно опускаться до примитива лозунгового объяснения своих мотивов, а только оно практически и возможно. Я тяготею к детализации, психологической нюансировке – мне затыкают рот... Ограничиться же тезисной подачей своих целей, состояний и того, что я зову предкриминальной ситуацией, значит дать возможность обвинению демагогически обыгрывать эти тезисы, оборачивать их против меня.

Вчера вечером. Лурьи: – Вы, очевидно, недовольны моим выступлением?

Я: Почему же? Да и какая разница?

Лурьи: Мне самому неудобно за свое вяканье. Певзнеру куда легче защищать Дымшица, чем мне вас – и судимость за антисоветчину, и взгляды-то вы свои не считаете нужным скрывать, и... вообще. Вам, я думаю, очень повре-

дила эта ваша настроенность с самого начала на пятиалтынный – все равно, де, 15, так и плевать на вас!

Я: Кстати, не странно ли, что прокурор просит мне дважды по 10 лет за пару книг? Многовато, по–моему. Сейчас за это от силы 2–3 года дают.

Лурьи: Эк вас какая чепуха волнует! Какая вам разница – 10 или 3 на фоне вышака?

Я: Уж больно бесит вся эта чепуха, вся эта сплошная чепуха.

24.12. Лучше всех вчера выступила Сильва – по–женски, она выхватила из всей массы слов, которые просятся в “последнее слово”, самое главное: “И если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука!”

Дымшиц пригрозил, что если вы, дескать, расстреляв нас, думаете припугнуть этим других, будущих беглецов, то просчитаетесь – они пойдут не с каскетом, как мы, а с автоматами, потому что терять им будет нечего. (Тут он, по–моему, хватил через край. Выходит и мы, знай мы о расстреле, взяли бы за автоматы. Но все же он молодец. Дело тут не в логике, а в несокрушимости духа.) Потом он поблагодарил всех нас, сказав: “Я благодарен друзьям по не­счастью. Большинство из них я увидел впервые в день ареста, на аэродроме, однако мы не превратились в пауков в банке, не валили вину друг на друга”. Из остальных выступлений мне больше всего понравилось выступление Аль­тмана. Я же как–то излишне много оперировал статьями и ничего существенного из себя не выдавил – вечная скованность из–за боязни власть в патетику.

Никак не дождусь вечера. С неделю тому назад мы с Белкиным не сошлись во мнениях по поводу т.наз. последнего желания смертника перед казнью. Я считаю, что такая отрывка феодально–буржуазного гуманизма не к лицу советским тюремщикам и палачам. Все чаще начинаю задумываться над такими животрепещущими вопросами: где, когда и каким образом смертный приговор приводится в исполнение? Толков я об этом слышал немало, но все как­то неопределенно. Смерть по закону окутана тайной.

С унынием констатирую, что я не оригинален: Морозов (24) вспоминает, что более всего его волновала мысль о достойном поведении во время чтения приговора. То же и со мной. В такую минуту такая ориентация вовне! Пони­маю, что это надо как–то подавить в себе, но ни о каком контроле над петля­ниями мысли возле самых странных, порою дурацких вопросов не может быть и речи. Уверен, что Дымшиц не мучим столь искусственными проблемами – его мужество менее литературно и более естественно. (Эге, проболтался, что считаю и свое поведение мужественным...) Так что я зря волновался за него,

все искал возможности предупредить, чтобы он был готов к смертному приговору. (25)

Без “помиловки” у меня еще месяца 1,5–2 впереди – до ответа из кассационного суда. Значит, где-то во 2-й половине февраля... Не ахти как весело в феврале-то...

1971 год

5.5. Опять я на бобах. Но пласт упрямства во мне, видать, глубок. 30-го апреля был предпраздничный шмон, и все мои бумаги сгорели, точнее утонули. Один из надзирателей, юный комсюк, так и пышущий сыскным энтузиазмом, обнаружил мой тайник, устроенный не столько основательно, сколько остроумно, и извлек оттуда целую кипу бумаг. Я, словно меня кто толкнул, ринулся на него, вырвал сверток из рук и, раскорячившись над унитазом, распотрошил его в клочья и спустил в Неву, Фотанку, Мойку или как их там еще зовут. Все это время двое надзирателей трудились надо мной – так что еще и сегодня, спустя почти неделю, лицо у меня в царапинах, шея и руки в синяках, а левое плечо вроде как вывихнуто. Таким образом, я уничтожил записи за четыре месяца. Судьба первых двух тетрадей (за ноябрь и декабрь) под вопросом. Когда меня посадили в камеру смертников, все мои бумаги – выписки из дела, конспекты, а равно и дневник – завернули, не глядя, в газету и сказали, что сдадут их на склад личных вещей. (26) Так ли это – узнаю в этапный день, который, похоже, не за горами.

Беда в том, что я уже привык к благополучным исходам еженедельных обысков, уверовал в свою удачливость и хитроумие тайника. Если первые два-три месяца я пугливо обходил темы, разработка которых могла бы оказать невольную услугу надзирающим над нашими душами, то потом я отчасти распустился, внутренний цензор мой растолстел и разлиберальничался, позволяя мне писать о чем угодно и как угодно искренне, словно я какой-нибудь обросший мохом партиземуарист, “весь проваренный в чистках, как соль”, которого хоть выверни наизнанку – ничего, кроме верноподданических восторгов не обнаружишь. И если с первыми 2-мя тетрадями я расстался сравнительно легко (правда, и момент-то был не вполне располагающий к тетрадным переживаниям), полагая, что записанное в них никому, кроме меня самого, не повредит, то о последних я был иного мнения – за что и претерпел. Не то, чтобы там было что-то из ряда вон выходящее, но даже и описания психического склада моих друзей (а я за эти месяцы излишне много копался и в себе, и в других) могло оказаться достаточно ценной информацией для тех, в чьи руки мы отданы отныне на многие годы.

Для малосрочников лагерь редко естественная форма жизни. Он – нечто временное, опасное приключение, путешествие в страну необычного напряжения душевных и физических сил. И тот, кому в обычной жизни и в голову не пришло бы взяться за перо, в лагере, бывает, исписывает горы бумаги (тайком, едва отдышавшись от облагораживающего его труда, где-нибудь в укромном уголке, делая вид, что сочиняет жалобу или письмо...), пытаясь обрисовать арестантский быт. Для одного это форма самореализации в условиях оголтелого преследования всякой смелости, для другого – способ подачи себя в экзотических условиях: ужасы внешнего порядка соблазнительны автору-скороспелке, фиксируя их неуклюжим словом, он утверждает себя как личность необычную, причастную к экстраординарному бытию. Этот другой (или даже первый, не изживший в себе другого), описывая реальных людей со всеми их лагерными привычками и планами на будущее, создает донос. Такова в полицейском государстве участь всякого документа о живом лице.

Мне следует быть осторожнее, я не случайный гость в заключенном царстве, мое небо надолго в клеточку... Я пишу, чтобы сохранить свое лицо. Лагерь – это предельно низменная среда, это сознательное конструирование таких условий, чтобы человек, вновь и вновь загоняемый в угол, усомнился в нужности служения своим истинам и уверовал в то, что есть лишь правда биологии – приспособление (сначала ради самосохранения, потом оно обрастает шерстью собачьего воодушевления и становится самоцелью, требуя едва ли не жертвенного себе служения). В тот срок я стихийно противостоял натиску лагерной нежити (синепогонной под кличками: Летун, Летучая Мышь, Вий; и черносотенно-уголовной – всяким Ведьмам, Михаилам Архангелам, Люциферам, Лешим, Анчуткам, Витязям и Скифам). Теперь мне будет намного труднее: возраст не тот, изолятор уже не экзотика, кулачный пыл поостыл, книжные иллюзии о страдании как о способе приобщения к высоким истинам поизжиты, вылинял нежный пушок романтизма, покрывавший душу...

Для меня дневник – это форма сознательного противостояния невозможному бытию. Письменно зафиксировать особенности тюремно-лагерного существования – значит объективировать их, отчасти отстраниться от них, чтобы время от времени высовывать им язык.

За четыре месяца – с января по май – я заполнил мельчайшим почерком с полсотни листов – собственно дневник, – кроме того постарался протоколно точно воспроизвести суд, процесс над нами и написал некое подобие повестушки – “Рядом с Лениным”. Семь дней до отмены смертного приговора я сидел с Ляпченко Алексеем Ильичем, тоже смертником, – в 194-й камере, рядом с той, знаменитой, в которой когда-то страдал вождь революции. Ляп-

ченко по утрам, едва проснувшись, и вечером после отбоя вяло колотил в стену кулаком, приговаривая что-нибудь вроде: “Ну как ты там, дядя Ленин? Привет. Вишь, что ты понатворил, лысый хрен...”, – не ирония, не насмешка, а печальный укор – вряд ли даже и Ленину в качестве символа советской жизни, а так – неведомо кому, может, судьбе, которую надо же как-то обозвать. Я написал о себе, о Ляпченко, о том, как дышится в камере смертников. Но чуть позже перечитав свое творение, нашел, что не справился с материалом. Сохранить написанное как черновик я не решился – сжег.

В общих чертах постараюсь восстановить все наиболее значительные события этого года, если будет настроение. Главное – ничего не вымучивать, писать, как пишется: огонь всеяден, а чекисты – не велики стилисты.

6.5. 31-го декабря около десяти часов вечера мне объявили об отмене смертного приговора и перевели в 199-ю камеру, 13 января ознакомился с постановлениями Лен. горсуда о содержании меня в следственном изоляторе до процесса над Бутманом и иже с ним, на котором я должен выступить свидетелем. В начале апреля меня перевели в 197-ю камеру, где я и поныне обитаю.

Во время следствия я старался минимально финтить, придерживаясь простого правила: о себе что угодно, о других ничего. Но это правило не без изъянов. Один из них таков: если кого-то, кого я считаю человеком неглупым и житейски опытным, дает так называемые правдивые показания, я, знакомясь с ними лишь по частям, мучаюсь сомнением: слезы ли это кающегося преступника или вынужденное маневрирование припертого к стене, но не упавшего духом, бредущего тернистой дорогой полупризнаний к сокрытию чего-то более важного, которого я могу и не знать. В последнем случае я считаю возможным подтвердить те или иные показания, если они не вредят третьему лицу. Мне зачитывали отрывки из показаний Бутмана и Коренблита Мих., и я, дивясь исповедному характеру их признаний, все же находил в них намеки на игру и кое-что, касающееся только их и меня, подтверждал, надеясь таким образом подыграть им. Только после ознакомления со всеми материалами дела, я, увы, обнаружил, что они-таки действительно калялись. И вот теперь меня включили в список свидетелей. Что, вообще говоря, странно. Ведь если Дымшиц утверждает, что Бутман и Коренблит знали о нашем побеге, то я настаиваю на обратном. Неужели я свидетель защиты? Фантастика. Именно потому, что понятие “свидетель защиты” не более связывается с представлением о суде над госпреступниками, чем оправдательный приговор с обвинением по 58 статье, лагерная этика безоговорочно приравнивает свидетеля к ак-

тивным сотрудникам режима. Свидетель – это столь же одиночно, как доносчик, бригадир, нарядчик, придурок... Но безусловным исполнением каких бы то ни было предписаний я давно уже не грешу. И – чем черт не шутит! – не исключено, что я и в самом деле свидетель защиты. Пустили же на наш процесс родственников. (Боже мой, потрескивает звериный хребет: расправа в тишине, чтобы лишь обглоданные косточки свидетельствовали о “правосудии” – но никаких этих воплей жертвы, кровоточащих ран и горячих фонтанов крови...)

Есть смысл “тормознуться” в Большом Доме – впереди меня ждет работа, работа, работа, агрессивный идиотизм сокамерников, тухлая селедка, произвол начальства и всякая такая советская всячина. А тут я уже 5-й месяц в одиночке (у меня особый режим и подпускать ко мне можно только равных по опасности и закоренелости преступников, а таких здесь нет), читаю с утра до ночи, получаю ежемесячно пятикилограммовые передачи и курю сигареты. О чем еще может мечтать зэк? Каждый день вне лагеря – выигранный у советской власти день. Так уж сложились мои с социалистическим лагерем отношения, что жизнь и тюрьма для меня синонимы и дни, когда меня не травят, – счастливая случайность, эфемерность, преходящая которой я очень чувствую. В какой окутанной розовой дымкой дали те времена и страны, когда и где сам факт пребывания в 4-х тюремных стенах, лишение свободы – величайшее несчастье. Здесь заключение – такое сочетание разнообразных способов мучения человека, что несвобода, понимаемая лишь как изъятие из обычной жизни, не кажется несчастьем. Именно поэтому следственный изолятор для меня – санаторий, особенно в этом году, когда я избавлен от ежедневной пытки вынужденного общения с тем или иным другим, который, как известно, ад (если не ошибаюсь, именно так звучит у Сартра: ад – это другой). Достоевский разом очертил самую мучительную суть каторжного бытия – общечуждество и невозможность угла, куда бы хоть ненадолго можно было удалиться. Ныне арсенал пыточных средств куда богаче, и первое среди них, отвечающее нечеловеческому духу социального экспериментирования, зовомого учинением всеобщего земного рая (желательно в ближайшей пятилетке – досрочно!), – постоянное, не брезгающее самыми мерзкоумными средствами, давление на душу человека, его совесть и ум, так называемое исправление его, в сути – попытки превращения в нравственно-духовный нуль.

Нет, одиночка (если в ней не морят голодом, не изводят тарабарщиной гадины-радио, которое, как во Владимирском центральном, нельзя выключить, дают читать не только Кочетова и иже с ним) это роскошь, это почти особняк, которому имя “Покой”, тот, которым Га-Ноцри наградил замученного Мастера.



Сгоряча я было отправил заявление с отказом участвовать каким бы то ни было образом в судебной расправе над Бутманом и другими, но, поостыв, рассудил, что в лагерь мне спешить не с руки, а на суде я сориентируюсь и сумею дать выгодную защите интерпретацию роли Бутмана и Коренблита в нашем деле.

7.5. Сегодня в обед слышал голос Ляпченко. Очевидно, ему подавали еду в кормушку, а в это время мимо шел кто-то из начальства. “Гражданин начальник, – слышу, – так как же насчет “Нового мира” – пятый номер?” Больше ничего нельзя было разобрать. По голосу я его, может, и не узнал бы, но этот “Новый мир” – знак безошибочный. (27) Он мне им все уши прожужжал. Ему и его поделнику Морозову прокурор потребовал расстрел, и в день вынесения приговора, когда до возгласа: “Встать! Суд идет!” – оставались считанные минуты, к нему подошел какой-то мужчина и спросил, не читал ли он повесть о себе в 5-ом номере “Нового мира”. “Нет”, – буркнул в ответ Ляпченко. Тот, назвавшись автором этой повести, горячо рекомендовал ему прочитать ее. Но Алексею Ильичу в тот день было не до честолюбия и уж совсем не до изящной словесности – он послал автора в известное русское место. А потом все сокрушался, что не попросил у него этот журнал. Повесть ли там в самом деле, очерк ли какой – не берусь сказать, не видел. Я просидел с ним неделю, и не было такого дня, чтобы он так или иначе не упомянул про этот журнал. Человек он неплохой, как и большинство заурядных карателей, которых я видел предостаточно. История банальнейшая, сотни раз слышанная: нищий духом избирает роль палача, ибо амплуа жертвы ему не по плечу. В мировом спектакле три основные роли: палача, жертвы и зрителя. Он по натуре своей зритель, но вот страсти нагнетаются все более и из числа зрителей начинают насильно рекрутировать палачей и жертв – и он, конечно, становится палачом. Заурядный зритель – чаще всего палач в потенции. При всем том он (Ляпченко то есть) добродушен, безусловно честен – по житейски – и сентиментален. Я верю его рассказам, как при случае – когда это не грозило его жизни – он помогал партизанам и их семьям. Все это очень понятно. Ему бы не дали расстрела, когда бы не “ножницы” (словечко из следовательского сленга, очевидно: Ляпченко ранее уже отбыл 10 лет в лагере и теперь, получи он 15, эта десятка была бы ему засчитана как отсиженная – ведь его судили за то же самое преступление. “А 5 лет – это, сами понимаете, маловато”, – объяснил ему проблему “ножниц” следователь).

Я читал пару статей об этом деле. Не знаю, как там насчет другого–прочего, но дифирамбы в адрес бдительных чекистов, которые якобы разыскивали

десятки лет скрывавшегося Ляпченко, – мягко выразишь, преувеличение. После освобождения в 55 году он жил в родном городе, фамилию не менял, время от времени получал из КГБ повестки и не уклонялся от посещения соответствующих кабинетов, несколько раз выступал свидетелем на процессах над другими карателями. А осенью 69 г. его и еще 4–х арестовали и привезли в Ленинград, в окрестностях которого они услужали немцам (с таким же успехом Ляпченко можно было привезти в Эстонию, в оккупации – то бишь освобождении – которой он участвовал в 40–м году. Правда, там он всего лишь захватчик, а тут изменник родины). “Дурак я небитый, – печально цедя слова, сокрушался он. – Почти 15 лет горб на них гнул. Про лагерь я уж молчу. Дом, семья, сынок... Замдиректора обогатительной фабрики стал. Как же, поставили бы они меня замдиректора, когда бы я со второй группой инвалидности не работал по 16 часов каждый день! Старался!.. Тише воды, ниже травы, всякого куста шарахался, милиционера увижу – аж потом обольюсь холодным... только не троньте меня!.. Устроили тут мне с одним очную ставку. Сволочь, говорю, что же ты врешь на меня? Смотри, и твой черед придет. А он: “Я свое отсидел. Меня народ простил”. И я, говорю, свое отсидел, и меня простили, а теперь вот...

Никто его, конечно не разыскивал, а потихоньку собирали о нем дополнительные сведения – расчетливо уточняли тельца для очистительной жертвы в нужный срок. Ведь время от времени необходимо устраивать шумные процессы над военными преступниками – подпустить патриотического угару, оправдать и публично поощрить вкус к соглядатайству, списать режимные издержки на тайных врагов, исподволь навязать советскому обывателю мысль о необходимости огромного сыскного аппарата... А главное, чтобы отретпированно скандируя что–нибудь вроде: “Куба – да! Янки – нет!”, толпа ненароком не сбилась на: “Куба – да! Мяса – нет!” Я знаю случаи, когда людей, отсидевших по 15–20 лет, брали прямо из лагеря, заново судили и ставили к стенке. Полиции, такие весьма средненькие людишки, ужасные в своей заурядности только тогда, когда знаешь о их прошлом, мне омерзительны – и даже не столько кровавой биографией, сколько в качестве живого олицетворения мрачных сил бездуховности, конформизма, готовности служить любому господину... Но есть кое–что и пострашнее – государство, чье прошлое, настоящее и будущее, сама суть на крови, лжи и бездушии, государство, перед кошмарным ликом которого человек – ничто. Преступника оно судит не ради торжества справедливости, а руководствуясь политико–экономическими конъюнктурными соображениями. (Характерна нелюбовь к изъятию из социально–политического контекста таких общечеловеческих понятий, как справедли–

вость, гуманность, любовь, честь... Что делать с ними прагматикам, которым даже ситуационная этика обременительна?)

8.5. Ляпченко признался мне, что всю жизнь уважал евреев и что даже жена его еврейка. Последнее он ставил себе в особую заслугу. (Я заметил, что стоит поамикошонствовать с юдофобом или крепко его напугать, как он ни к селу, ни к городу признается в тайной любви к евреям. Кровь на них вопиет, что ли?) Он искал у меня сочувствия и оправдания, но даже перед лицом смерти я не находил в себе сил ни для того, ни для другого, ибо в каждом его слове и жесте проступал ненавистный мне облик “маленького человека” (O, sancta simplicitas! О, эта святая, умилительная простота, такая простая – с вечной вязанкой хвороста в руках!), истошно вопящего миллионами зловонных глоток на стадионах и косяками прущего в гитлеровско–сталинские партии (когда они уже у власти, разумеется). Этот человек с улицы – не столько жертва репрессивных режимов, сколько опора их. То есть, на самом деле, и то, и другое, конечно.

Мне не хотелось выслушивать его признаний. Однако 31-го декабря ему удалось–таки превратить камеру в исповедалню. Началось с того, что я обругал его трусом. Стоило хлопнуть кормушке, как он вздрагивал, задом спотыкнувшись в дальний угол камеры и замирал там, судорожно прижав руки к груди и испуганно таращась на дверь. В тот предновогодний вечер он то и дело заговаривал о смерти: то надеялся ночью умереть от сердечного приступа и просил меня не вызывать врача, то иронизировал над глупостью строителей камеры смертников (“Подумаешь, досками обшили, – кивал он на унитаз, – заберусь на подоконник и затылком об пол... или в баню поведут – на полотенце можно повеситься...”), то соображал вслух, где, как и кто будет его расстреливать. Я уже привык к этой теме, как и к вскрикам по ночам. Вдруг надзиратель лязгнул кормушкой, очевидно, проверяя заперта ли она. Алексей Ильич забился в угол, в глазах его трепетало безумие безграничного ужаса. На миг мне показалось, что там, за моей спиной, в черном квадрате кормушки торчит дуло автомата, я вздрогнул, обернулся – ничего... Вот тут я и набросился на него с бранью. Он не оправдывался – во всяком случае прямо. “Эх, Эдуард, Эдуард! Если бы мою жизнь в романе описать – заплакали бы”. “Эх, Алексей Ильич, Алексей Ильич, – иронически спародировал я его, – до чего же всем нам хочется в роман попасть или, как минимум, в герои двухсерийного фильма: простой рабочий человек, не без недостатков, но и с массой достоинств; первые – трагический результат злостных обстоятельств, вторые – личная заслуга...” “Я понимаю. Вы, конечно, думаете про себя, что так, мол,

ему и надо – давно пора расстрелять”. “Разве я, – возмутился я тут, – не в одинаковом с вами положении? Как могу я желать кому бы то ни было расстрела? Я ведь даже дела вашего не знаю. Не только не выспрашиваю вас, но и не хочу слышать – раз уж мы в одной камере сидим... Я вам не судья, тем паче не прокурор. От чистоплюйства меня жизнь, увы, давно отучила. “Ни гневом, ни порицанием, давно уже мы не бряцаем...” – знаете? Я, Алексей Ильич, зэк – со всеми отсюда вытекающими последствиями, и меня человек интересует по преимуществу с точки зрения жаждущего тишины: умеет он ее блюсти или нет? Буйному честняге я всегда предпочту в качестве сокамерника доносчика, пожирателя грудных младенцев и... и кого угодно, если только он тихоня. Я давно уже не переделываю ни мира, ни людей – разве что в просоночном состоянии...”, – и т.д. о том, какой я хороший, объективный, справедливый и о том, как мне все на свете осточертело. Однако он из числа тех собеседников, которые слушают тебя лишь для того, чтобы дождавшись случайной паузы, начать про свое. “Это вы правильно давеча заметили, – как всегда тихо, печально и медленно выговорил он, пока я прикуривал сигарету, – я человек раздавленный. Плен, немецкая каторжная тюрьма, советский концлагерь... Когда меня в том году арестовали – 2-го октября, – толкнули в камеру – я как встал у двери, так и простоял, не шевелясь, часа три. В голове только одна мысль: “Сейчас ворвуся и бить будут! Знаете, как в те-то времена было? Добровольно я что ли к немцам-то пошел? Я, может, человечину ел с голоду... Французам да англичанам посылки присылали с шоколадом, а мы с голоду дошли. Сталин объявил, что у него нет пленных, только – изменники родины. Какие уж тут посылки... А когда нас через деревни гнали, в 41-м, босых, раненых – бабы, детишки, старики в нас камнями бросали, расстрелять, кричали, этих сталинских защитников. Партизаны там всякие – это потом, когда немцы колхозы восстановили, а сначала-то с хлебом-солью встречали...”



Страна крашенных фасадов, манекенов, дутых цифр и лживых деклараций. Страна фикций и показухи... Отмена смертного приговора нам с Дымшицем была, разумеется, запланирована. Предрешенность нашей участи стала мне наиболее очевидна 26-го декабря. Но тогда я подозревал, что предрешена она иначе.

Около 8 ч. вечера 26 декабря, в субботу 4 надзирателя доставили меня в кабинет начальника следственного изолятора майора Круглова. Майор и Лурьи подчеркнuto бодро приветствовали меня. “Быстренько пишите кассационку”, – с места в карьер начал Лурья. Кажется, я даже побледнел от волнения. Ни-

какого сомнения, решил я, – они в сговоре. Видно, слишком много шума вокруг нашего дела, и нас надо поскорее расстрелять, следуя известному принципу маккиавелизма: “карать решительно и сразу, пряники раздавать помалу, но часто”.

Здоровый, сочувствующий тяжело больному и поражающийся его привычке к страданию, – жертва банального психологического просчета: он мерит на свой аршин. Тогда как аршин больного существенно иной. Организм приспосабливается к недугу – слабостью, частыми обморочными состояниями, понижением порога болевой чувствительности... Приговоренный к смерти бежит в безумие, в упование на чудо, играет в прятки с временем, переосмысливая его, создавая особую систему отсчета, – лишь бы не остаться наедине с мыслью о близкой неизбежности смерти.

Я прикидывал, что у меня в запасе еще месяца два. Мало, кошмарно мало, но достаточно, чтобы не думать о конце сейчас – еще будет время собраться с мыслями, заглянуть в себя, примериться к небытию... И вдруг так скоро, так сразу?..

Вечером того же дня после отбоя, искуриив десяток сигарет, я посмеялся судорожной логике своих выводов. И все остальное время мне в общем–то удавалось удерживать рассудок от обслуживания утробных страхов. Правда позже, когда смертную казнь мне заменили 15 годами и перевели в 199–ю камеру, я вдруг опять заболел подозрительностью, близкой к маниакальной. Более всего меня смущало то, что 199–я камера была камерой смертников; письма Люси и Бэлы (28) казались мне подделанными, любой пустяк тюремного быта, чуть–чуть необычный чем–либо, обретал зловещую двусмысленность символа, всякая, даже самая безобидная, реальность деформировалась и, наспигованная сюрреалистическим ужасом и тайной, дразнила меня мнимым подтекстом. Но это продолжалось сравнительно недолго – чувство юмора взяло верх. Благодаря ему я все же ни единого мгновения не был вполне тварью дрожащей.

“Быстренько пишите кассационку”, – с места в карьер начал Лурья. “То есть как это так? – спросил я. – Только вчера мне вручили копию приговора – у меня еще неделя в запасе, если не ошибаюсь”. “Послушайте, – доверительно зачастил Лурья, – сегодня ведь суббота, нерабочий день – однако весь суд на ногах. Это что–нибудь да значит?”

Увы, я виноват перед Лурья, ибо тогда истолковал его намек по–своему. Если бы ты не врал, рассудил я, то не осмелился бы на такие намеки в присутствии чекиста. Я воздержался от вопросов и заявил, что кассационную жалобу напишу в понедельник. “Да вы что? – бодро прорычал майор. – Я ведь не

зря торчу тут весь вечер – дело–то к 9–ти идет! Дымшиц уже написал и все ваши написали – за вами дело”.

Такая спешка, такое незамаскированное отношение к составлению столь важного – по замыслу – документа, как к пустейшей формальности, неожиданно развеселило меня. Тут же в кабинете я за полчаса исписал пару страниц и вручил их Круглову.

Следует отметить такую характерную деталь. Поскольку я настаивал на умышленной ложности квалификации совершенного мной деяния как измены родине, утверждая, что я виновен лишь в попытке нелегально пересечь границу, начало моего ходатайства в кассационный суд (“Не оспаривая тяжести моего преступления – покушения на незаконный выезд за границу, – я тем не менее...”) носило откровенно иронический смысл, если его не вырывать из контекста и помнить, что за переход границы статья до 3–х лет, а мне дали расстрел. В определении же кассационного суда эта фраза в результате несложной операции наполнилась неким покаянным звучанием: “Кузнецов не оспаривает тяжкой вины перед государством”. Разница из существенных. Уж очень им хотелось нашего раскаяния. А в “Известиях” от 1–го января 71 г. (“Преступники наказаны” – В. Барсов, А. Федосеев) прямо сообщает широкому советскому читателю, что “подсудимые один за другим отвечали: “Да, признаю себя виновным”. Я, Юрка и Алик, конечно, уголовники в прошлом. Ну, это еще куда ни шло – в СССР ведь нет политзаключенных, об этом еще Хрущев говорил. Но откуда авторам этой статьи стало известно, что “была даже определена точка, с которой нужно произвести выстрелы, – стреляли бы в спину”, – если ни мы, ни следствие, ни суд этого не знали?

10.5. В “Известиях” от 30–го декабря 70 г. появилось сообщение о расправе над 16–ю баскскими патриотами. “Можно представить себе, – восклицает корреспондент, – ненависть палачей к патриотам, если они вынесли беспрецедентное решение – приговорили 3–х басков к смертной казни дважды”. Не знаю, как насчет беспрецедентности двух смертных приговоров (помнится, я слышал о таких случаях), но корреспондент, очевидно, решил, что уж суд–то над нами во всяком случае не может считаться прецедентом для испанского суда – нас ведь приговорили к расстрелу не дважды, а трижды: по статьям 64 “а”, 72 и 93–прим. Истина превыше всего!

Мы с Алексеем Ильичем решили отпраздновать Новый год в 9 ч. вечера. Можно было бы, конечно, и в 12 ночи, но бодрствовать ночью – грубейшее нарушение режима. Даже смертнику есть что терять – полуторарублевою закуску в тюремном магазине, например. Я думал, что хоть в качестве смертни–

ка смогу пренебречь казенным харчем – куда там! Полтора рубля в месяц – только-только на махорку. Какой тут может быть разговор о последнем желании перед казнью? И никаких тебе площадей, публичности этой буржуазной – задавят где-нибудь втихомолку... Впрочем, я ушел от темы.

Достав из тумбочки скудные свои припасы, мы выпросили у надзирателя кружку – нам, пожалуйста, на минутку, только, пожалуйста, не беспокойтесь, мы, право, слово, не будем бить ею друг друга по голове – и, подсластив тепловатую водицу, начали отхлебывать из нее по очереди – я за то, чтобы этот Новый год оказался не последним в нашей жизни, Алексей Ильич за то, чтобы дожить хотя бы до весны. “Алексей Ильич, – бодро воскликнул я, – летом мы встретимся в Мордовии, на спецу – п/я 385/10, и тогда я посмеюсь над вашим пессимизмом! Предлагаю пари на две пачки чаю”. Он подхватил в нужной тональности: “Только вашего чаю мне и будет не хватать, когда нас в наручниках и с кляпами во рту повезут в воронке куда-нибудь в лесок. Нас ведь могут вместе повезти. А что вы все – Мордовия да Мордовия! – неожиданно обозлился он. – Словно, кроме мордовских, и лагерей других нет! Вся Россия в лагерях!” Напрасно я убеждал его, что госпреступников ныне не более 2–х тысяч, он смотрел на меня все подозрительнее.

Это напомнило мне начальника струнинской милиции – он тоже был убежден, что политзаключенных во всяком случае не менее миллиона. Деталь прехарактернейшая, как и недоверчивое переспрашивание моей матушки: “Неужели тебя не били?”

“Уж не считаете ли вы меня лакировщиком советской действительности?” – завел было я, но только начал многозначительно о том, что важно не сегодняшнее количество политзаключенных, а постоянно наличествующая потенция многомиллионных концлагерей, когда наши вожди сочтут то нужным, – как тихонько приотворилась дверь и корпусной, за спиной которого маячили физиономии нескольких надзирателей, скомандовал громким шепотом: “Кузнецов, руки назад, за мной! – и тут же одному из надзирателей в коридоре: “Собери его вещи”. Сунув в карман пачку “Памира”, я шагнул к двери. “Ну, на всякий случай прощайте”, – обернулся я к Алексею Ильичу – ни слова, ни кивка головою в ответ. Мелькнула мысль, что все это не более, как кошмарный сон: сводчатый потолок, новогодняя ночь, прилипший к стене комок испуганной плоти, вцепившиеся в отворот белой рубахи пальцы, страх и напряженное ожидание за стеклами очков на мясистом носу, розовые прыщи на квадратной физиономии корпусного... Но почему же без наручников?

Не помню ни сердцобиений, ни мыслей – кто-то другой, не я, неторопливо

шел по коридору, заложив руки за спину, стараясь не наступать на пятки переднему надзирателю, не сталкиваться плечами с боковыми и не путаться в ногах у заднего. 4-й этаж, 3-й... Если минуем 2-й, значит... что?

Остановились на 2-м, повернули налево – к кабинету начальника следственного изолятора. Я ожил. Майор Круглов, тяжело поднявшись из-за стола, торжественно объявил: “По отношению к вам проявлен акт гуманности: смертную казнь вам заменили 15-ю годами заключения в лагерях особого режима. Поздравляю с Новым годом. Чего вы тут нашли смешного?” – сурово спросил он. Я, право, не смеялся – не знаю, что ему почудилось. Я почти не видел его, едва сдерживая слезы унижения и бешеной ненависти – к себе, ко всей этой разыгранной по чекистским нотам комедии с приговором, с новогодним подарком Деда Мороза в синих погонах... “Вы, кажется, недовольны?” – насмешливо протянул майор. Мелькнула мысль, что он подозревает рисовку. Скорее в камеру – закурить и молчать. “Грязная игра, начальник, – промормотал я. – Какой еще гуманный акт? Это же не помилование. Признали первый приговор несправедливым и только... Дымщицу тоже заменили?” “Конечно...” “Разрешите идти?” “Да-а, – покачал он головой, подчеркнуто внимательно окидывая меня взглядом с ног до головы. – Если мне даже через 20 лет скажут, что Кузнецов исправился, я не поверю”. (29) “И правильно сделаете”. “Вот вам телеграмма и идите”. Он даже покраснел от негодования. Неужели он полагал, что я от радости заюлю перед ним мелким бесом?

Телеграмма была от Люси: “Смертная заменена поздравляем Новым годом мама Люся друзья”. (30)

12.5. Уже второй день в коридоре утром и вечером лязг дверей, беготня – похоже, парней на расправу таскают. Если это так, то завтра-послезавтра и меня повлекут в суд и тогда числа 25-го будет этап.

Судя по намекам в письмах, сейчас многих отпускают в Израиль. Да и не в Израиль только – вон Никита собирается в Париж. (31) Неужели рухнет стена заколдованного царства? Да что же это за советская власть, если каждый может ездить туда-сюда? Так ведь никакого коммунизма не учинишь! Да я, может быть, такую власть полюбить готов... Разве не после того, как однажды, еще школьником, доподлинно – и, конечно, случайно – узнав, что весь мир для меня закрыт, начал я внимательно приглядываться к лозунгам, ища их изнанку? Но – нет, даже если и так, тут я не жилец. Да и не так это вовсе: политический маневр или даже еще хуже – “окно” перед погромом (понимаемым шире, чем еврейский, – интеллигентским погромом... Что, впрочем, едва ли не



одно и то же: ведь в глазах черни всякий интеллигент – если не жид, то уж наверняка жидовствующий). Нет, Россию хорошо любить издалека! Во всяком случае – теперешнюю Россию.

Я поражаюсь смелости обладателей заграничных паспортов – это смелость неведения. Если мне когда-нибудь несказанно повезет, не только ноги моей не будет в социалистическом лагере, но и ни в одну из соседних с ним стран я не ездук. Знал я приехавших в 40-м году в Польшу, в Латвию... – в гости к родственникам... Кого только ни встретишь в лагере? Ну конечно же, “нынче не те времена” – присловье дураков, постигающих историю по передовицам “Правды” за 3 копейки... А ведь я-таки оказался прав в споре с Бутманом, утверждая, что захват самолета – или одно лишь покушение на таковое, если оно не останется тайной, – не только великолепный пинок в мозолистую совесть кремлевских демагогов, публично отрицающих сам факт существования эмиграционной проблемы, но и шанс на свободу для многих тысяч людей. Я оказался прав. Но не потому, что моя аргументация была основательнее его – для нас, как и для всякого советского смерда, кремлевская механика – “черный ящик”. Я говорил “да”, потому что двусмысленное положение внутреннего эмигранта осточертело мне, он говорил “нет”, потому что отказался от участия в побеге – по всякого рода причинам, полагаю личного порядка. Но кто же в такой ситуации не сошлется на общественные интересы? Мы швырнули наши пророчества в “черный ящик” и на выходе получили “да”. Правда, любознательность дороговато нам обходится... Когда нет легальных возможностей пробиться к человеческому существованию, узаконенное беззаконие может быть взорвано только актом самозабвенного безумия, величайшим напряжением всех сил, а это, увы, всегда чревато притуплением нравственного чутья, это всегда переходит за черту – ту, которой очерчены формы нормального существования в нормальном государстве. Палку (опять же, – увы!) можно выпрямить только перегнув ее. Если бы этот безумный акт можно было планировать! – для этого надо быть мудрецом или сволочью. Он всегда взрыв отчаяния. То же и в лагере (нигде так не вникаешь в суть государственного устройства страны – любой, очевидно, – как в тюрьме): доведенный до отчаяния зэк отрезает себе уши, выкалывает на лбу “Раб КПСС”, прыгает в огнестрельную зону... и – если он не одинок – на какое-то время режим смягчается. Ненадолго, слишком ненадолго. Потом опять безграничный произвол, репрессии, издевательства – до нового взрыва. Эта страна не знает реформ не на крови.

13.5. Утром делали обход новый начальник следственного изолятора май-

ор Горшков и его заместитель Веселов. Когда, спрашиваю, суд будет. Не знаем, отвечают. Экая, говорю, военная тайна. Горшков искусно работает под добряка – не сразу выкупишь. После кровавой битвы с надзирателями, он вызвал меня в кабинет и, спросив, что это были за бумаги, которые я так яростно защищал (черновики писем, говорю, настроение, говорю, нервное было – показалось невыносимым, что всякая шваль сует в них нос), сказал, что будет вынужден посадить меня в карцер. Я еще не примирился с утратой (столько обысков мимо!.. И главное – записи за первые дни 71 года; что-то тогда отпустило в груди – душевный сумбур так необычно легко и естественно облекался в слова...), кровоточили ссадины на лице, болело плечо... я потребовал немедленного этапирования в лагерь, так как меня незаконно содержат в следственном изоляторе уже 5 месяцев (в качестве свидетеля меня должны были доставить сюда из лагеря только в день суда). “Что вы все – закон да закон?... Слово первый раз замужем. Человек вы, вроде, неглупый, сами знаете: дух закона, а не буква...”, – сообщил он, доброжелательно улыбаясь. Он, безусловно, умеет расположить к себе: немножко цинизма, доверительный тон сообщника, минимум демагогии и официальных фраз, которые он сдобривает благодушной улыбкой человека, знающего свое к ним отношение и разделяющего его втайне, – когда бы не холодный прицел глаз, забывающий на миг об улыбке. Ну да, говорю, дух – это здорово. Если перевести, получится: КГБ вне закона, в смысле – над законом, т.е. КГБ – это та сила, которая поворачивает пресловутое дышло в нужную сторону? Не то, чтобы совсем так, не соглашается он, улыбаясь, но что-то вроде этого. Мы ориентируемся, говорит, на жизнь, от которой законы всегда отстают. Очень, поддакиваю я, верно, когда бы критерии ваших ориентаций были подконтрольны общечеловеческой морали, а не партийно-ведомственным интересам... В результате этой душевной беседы мы пришли к соглашению: он не сажает меня – за сопротивление “надзорсоставу” – в карцер, а я молчу на суде о побоях. Я, кстати сказать, и не собирался говорить о них (мне ли не знать, что такие заявления кончаются для истца в лучшем случае ничем. Лагерь меня научил не подставлять себя под удары по мелочам... а потасовка – ерунда. Я ведь сам ее затеял и вышел из нее победителем – бумаги-то им не достались).

В тот же день – 30 апреля – вызвал меня и Веселов – голубой чекист, как я окрестил его за умение смущенно краснеть при исполнении служебных обязанностей. Он считает себя представителем молодых сил в КГБ, носителем новых тенденций, суть которых мне выяснить не удалось (видимо, за отсутствием таковых). Веселов, похоже, совсем недавно облекся в синее – напичкан мифическими сказаниями о подвигах ЧК, упоен собственной значительностью в

качестве носителя ее мундира и двусмысленной славы (звонок телефона, Веселов снимает трубку, слушает несколько мгновений, потом, покраснев, вежливо спрашивает: “Вы куда звоните? – выдерживает паузу и ошарашивает. – Это КГБ”. Сколько торжественности в тоне, каким произносятся эти слова, сколько откровенной уверенности, что на том конце провода человек онемел – если не от ужаса, то уж от почтения, несомненно, что я замираю от удивления: передо мной представитель иного мира – священнодействующий чиновник, искренне убежденный в причастности к сокровенной сути бытия). Веселов болтал со мной о всяких пустяках, но и этих пустяков достаточно для догадки: прощупывал почву – не выкину ли я на суде какой-нибудь номер. Кроме прочего, он рассказал, что ныне расстреливают “автоматически”. “Раньше из пяти карабинов заряжался только один, чтобы солдаты не знали, кто из них привел приговор в исполнение, а теперь – нажал кнопку и все”. Я поделился с ним сообщением, что, приговаривая преступника к смерти, государство тем самым рождает палача, а палач это вовсе не лучше, чем преступник. Он меня просто не понял – так далеко его радение о государственном благе не простирается.

14.5. Утром сразу после прогулки посадили в “воронку” – и в суд. Пока ехали, успел перекинуться десятком слов с Менделевичем (его тоже тащили на суд свидетелем), хоть конвой и рычал на нас зычно. В машине нас было трое: я в общем отделении, Иосиф – в правом боксе, а из-под двери левого бокса торчали огромного размера башмаки – обладателем их был, по-моему, М. Кто ты, спрашиваю, – молчит. Видать, напугали гиганта до смерти. Каким мужественным и солидно-деловитым подавал он себя на воле и каким съезжившейся жалкой мямлей предстал он на нашем суде – свидетелем. Многие теряются, оказавшись в кабинете следователя. Главное – полная беззащитность, ужасное постижение теперь уже конкретной истины: ты – ничто, коли дело коснулось “безопасности” государства. Далеко не всякий находит в себе силы не согласиться с этим навязываемым всеми средствами восприятием себя в качестве нуля. Удивительное дело: чем респектабельнее человек на воле, тем, как правило, потерянное чувствует он себя в несчастье, чем больше почтения внушал он к себе за пределами лагеря, тем большим лизоблюдом, подхалимом и приживалой становится он в арестантском мире. Это люди случайные, не определившие своего места в советской системе, не понимающие ни сути ее, ни, главное, пределов ее власти, которая кончается там, где начинается человеческая душа, надругательству над собой предпочитающая смерть.

“На троечку мы себя все-таки вели, как думаешь?” – спросил Иосиф. “Для первого раза великолепно”, – ответил я, не кривя душой.

Можно с уверенностью сказать, что лишь одного из сотни КГБ не удастся довести до признания во всех смертных грехах и слезливого раскаяния. С этой проблемой ЧК справляется, надо признать, весьма успешно. Но чем позорнее вел себя человек во время следствия и суда, тем бывает воинственнее он в лагере (если, конечно, слезы, пролитые на скамье подсудимых были лишь слабостью сильного человека, а не началом карьеры подлеца): берет реванш за душевный нокдаун.

Иосиф меня порадовал. Я, говорит, ни о чем не жалею – знал, на что шел, и есть за что сидеть... Алика только и Юру, говорит, жаль. Мы с ним сошлись во мнении, что они – жертвы показухи (парадокс редчайший – пострадали за то, что неевреи). Я сказал Иосифу, что, рассчитывая получить 15, решил в знак протеста против суда над нами как над изменниками родины объявить голодовку – сразу после приговора, прямо в суде. Убежден, что кое-кто присоединился бы ко мне. Причем голодовку серьезную, многомесячную... Но высшая мера наказания сбила меня с толку: как-то несуразным показалось протестовать голодовкой против смертной казни.

Готовясь к роли свидетеля, я продумал ответы на все возможные вопросы обвинения, а их-то и не было – ни единого. Очевидно, оба прокурора – Пономарев и Катукоев – поняли, что лучше меня не трогать. Более того: мне едва дали договорить до конца – судья дважды сообщила: “Достаточно”, – и дважды я заявлял: “Я еще не кончил”.

Не удержался от упрека своим двоюродным поделельникам – уж такой смиренный вид у них был... Надеюсь, они уловили истинный смысл моей шпильки – горечь. Объясняя суду, почему Бутман не был посвящен в наши дела, я сказал: “С некоторого момента я опасался уже двух комитетов – беда, когда люди берутся не за свое дело...” Кто-то из адвокатов спросил: “Первый комитет – очевидно, комитет государственной безопасности, а второй?” “Ленинградский, – говорю, – вот этот самый”.

Мы вели себя куда как побоевители. А этим я, войдя в зал, “Шолом” говорю, а они молчат. Стыдобушка.

Только что виделся с Люсей – целый час нам отвалили на разговор. Всего только час плюс надзиратель под носом – гарантия, что проболтаешь о всяких пустячках, не дотянув до чего-то мало-мальски серьезного. Люся опять будет сокрушаться, что “просплетничали все свидание”. Она еще не знает, что такие свидания неизбежно суесловны, они – не обмен новостями, не душевные откровения, а – жест, знак, свидетельство: “мы такие же, как прежде, все главное на своих местах, сиди спокойно, дорогой товарищ, мы о тебе помним”.

16.5. Приснился забавный сон. Кстати, в отличие от первого путешествия в страну эзка, в этот раз я очень быстро расстался со сновидениями на “вольные” темы: сплошь лагерные физиономии и ситуации. Это нечестно: и на свободе меня все лагерь донимал (до чего зато яркие и как-то безумно радостны сны в первую тюремную ночь! Я было запомнил это – когда бы меня не арестовали еще раз).

Иногда – как правило, в просоночном состоянии – меня донимают сны, которые я зову словесными, ибо в них нет ни лиц, ни вещей, ни событий – одни слова; чаще всего это обмен мудреными репликами с каким-нибудь вполне реальным человеком, но представленным во сне одним лишь своим именем: я знаю, что мой оппонент – это, например, Иванов, но самого его не вижу. Сегодня под утро я препирался всего-навсего с Господом Богом. Проснувшись, долго созерцал трещины и паутину на сводчатом потолке, пытаясь разобраться в природе ощущения весомости каждого слова, которое и наполняло это препирательство каким-то особым, подтекстовым смыслом, загадочным и таинственно значительным. Увы, при свете утра улетучилось все глубокомыслие ночного диалога. Может, потому, что я тут же вставил его в вымышленную рамку – традиционную рамку загробных юморесок...

18.5. ЧК теперь далеко не та, что раньше. Я уж не говорю о 30–40-х годах, когда следователи с воодушевлением забивали людей до смерти – ради построения коммунизма. Но даже и 10 лет назад не было нынешнего цинизма – цинизма недавних самозабвенных служителей кровавого культа, а ныне всего лишь чиновников в храме, покинутом их божеством. В кабинете следователя теперь уже не услышишь о высоком счастье быть советским гражданином, о светлом будущем человечества, которого для можно и должно многое претерпеть и т.п. (какова тут доля искренности – вопрос другой); ныне в следовательском кабинете тебя обрабатывают, как на кухне коммунальной квартиры: “Плетью обуха не перешибешь”, “Зачем высоко летать? – живи себе потихоньку...” и т.д. А капитан Тотоев и того откровенней: “Я тут недавно валютчиков шерстил. Был там один парняга твоих лет – денег невпроворот, от девок отбоя нет... И какие девки! Это я понимаю! Есть за что сидеть человеку. А ты? Вся жизнь теперь, считай, в тюрьме. А за что, спрашивается? Взбрдет человеку в голову – и вот он мучается сам и другим от него покоя нет... Жить вы не умеете, молодой человек, оттого без тюрьмы и ни шагу!” В датском королевстве пахнет гнильцой. Со связью времен тоже плоховато. Инквизитор, усомнившийся в Боге, всего лишь аккуратно исполняющий свою работу – жалованье, – утративший пыл ревностного служения Абсолюту – несомнен-

ный знак, что эта религия вступает в завершающую фазу или пришла пора нового культа. А пасомые и вовсе распоясались. Традиционная манера спора (“Я тебе докажу! А не докажу, так посажу!”), конечно же, по–прежнему популярна, но уже не ввергает еретиков в ужас. Теперь уже нередки пренебрежительные ухмылки идолам, которым еще столь недавно неистово кадили и вопили осанну. Но это не нигилизм, это просто равнодушие к идеологии вообще и к официальной в частности: божок крупно сглупил, увлекшись самобичеванием, и тогда обрядность предстала во всей своей фальши и бездарной скуке. Но о переоценке ценностей не может быть и речи. До этого, я полагаю, долго еще не дойдет – нет исторически выработанного вкуса к самостоятельному мышлению. И кроме того Россия – это отнюдь не Москва да Ленинград. Вожди заметно встревожены признаками деидеологизации населения, но они ориентируются и найдут выход из положения. Правда, одним подновлением старых идолов им не обойтись. Нужен взрыв патриотизма, длительный накал страстей, хорошая чистка и энергичное внушение, что до всеобщего блаженства теперь уж и вправду совсем недалеко. Это грубые рычаги, но такие надежные, не единожды проверенные на практике, что не надо мнить себя футурологом, сердцеведом и пророком, чтобы решиться на предсказание – да же и в категорическом тоне, сколь бы ни был он тебе несвойствен.

21.5. Я в “столыпине”. Мой маршрут: Горький – Рузаевка – Потьма – поселок Ударный. Спецвагон для перевозки з/к – “столыпинский вагон”, как его зовут, или просто “столыпин” – обычный, если смотреть извне, вагон – разве что разглядишь решетку за техническими стеклами окон да удивишься, что другая сторона вагона и вовсе глухая. Внутри купе превращены в камеры с решетчатыми дверьми, а вдоль окон оставлен проход для конвоя. Все, как и четыре года назад, когда я в последний раз шел по этапу. Чуть–чуть пожив в “общей зоне” (или на “общем режиме” – так некоторые з/к, те, что на вопрос: “Сколько тебе еще сидеть?”, – отвечают: “До конца советской власти”, – иронически называют внелагерную зону – волю), как–то перестаешь верить в реальность неолитературенного тюремного быта или уж во всяком случае кажется, что многое должно как–то измениться, не может быть, чтобы все было по–прежнему, столь же омерзительно. И вот...

“Столыпин” рассчитан человек на пятьдесят, нас же, по словам конвоя, 87. Но мне–то не тесно – я один в купе: как государственный преступник, во–первых, как особорежимник, во–вторых (впрочем, последнее не очень строго блюдется). До Горького 3–е суток езды. Нас то и дело отцепляют, загоняют в тупики, где мы простаиваем часами – “столыпин” подчиняется особому гра–

фику движения: он обслуживает тюрьмы и лагеря; на остановках не женщины с цветами толпятся у дверей, а автоматчики с овчарками, каждой из которых больше скармливают мяса, чем полусотне з/к.

22.5. День другой. Пишу, пока поезд стоит. Конвой попался на удивление приличный: не беспредельничает, безотказно поит водой всех желающих, выпускает в туалет и закрывает окна только на остановках. Поэтому и скандалов, таких привычно безобразных, почти нет. Тон задает белобрысый сержант – лет 25, энергичный и неглупый. У него четко отработан подход к арестантской братии. “Ну что, бабоньки? – говорит он, благодушно похлопывая по кобуре пистолета на поясе. – Чего разорались? Воды? Сейчас устроим”.

Всего три дня тому в “Известиях” появилась очередная статейка о нашем деле. Сержант, узнав, что я “тот самый Кузнецов”, всякую свободную минуту торчит у моей двери – выспрашивает подробности. Газетам он, как выяснилось, не верит. Такой конвойный – первый на моем арестантском веку. Обычно это весьма агрессивные и темные парни – чаще всего из Средней Азии. В постоянных стычках с з/к они быстро наглют, обретают вкус к безнаказности любых действий, вымогают у з/к деньги, вещи, избивают их по всякому поводу, любят хвататься за оружие, не брезгают ни самими арестантками, ни сутенерским заработком на них...

Круглые сутки гвалт, дым коромыслом... Как всегда, все виды вагонных прелюбодеяний: вербальная мастурбация, эксгибиционизм, стриптизы при всяком мало-мальски удобном случае... Откуда-то из дальнего конца вагона каждые 2–3 часа доносится громкое откашливание, и потом весь гам перекрывает глухой размеренный голос. Текст один и тот же: “Девки! Готовсь! – не кричит, а протяжно выговаривает он. – Сейчас иду. На opravку... Девки! Не срать! Сейчас вот попрошусь у начальника. Уж вы ее мне покажите. Чтоб как на ладони... Расчеши, значит... Чтоб видать, как, значит, на ладони. 13 лет не видел. Уж и забыл... 13 лет под собой человечины не чуял...” Тут включается какая-нибудь “воровайка” (она же “крадунья”): “Чего тебе показывать, петух задроченный! Пользы от тебя что?” “Не-е, я еще могу, – ничуть не смущаясь, уверяет тот. – Меня подкормить... Разок в неделю так еще отдеру, что держись только”.

В соседнем купе какой-то блатарь повествует: “Откинулся я от хозяина, выпуливаюсь на свободу – на мне лепень стального цвета, колеса – кофе с молоком. В поезде делаю полковника за штуку, дальше – больше. Приезжаю в Питер – с бана на бан, шкуры так и вьются... Потачил я одну шкуруху в Шворинский тупик, тут какой-то фуцин привязался – побил я его вроде... Просыпаюсь – что такое? Опять Кресты!” Все те же истории, десятки раз слышан-

ные, раздражающие своей стереотипностью, обилием сексуально–уголовных откровений, цинизмом как обязательным компонентом любых рассказов о себе. И ничего он, видит Бог, не прикрывает – за оболочкой цинизма прячется цинизм же. Это не каторжники из “Мертвого дома”, отвергнутые государством, но оставшиеся в лоне церкви – ни она от них не отказывалась, ни они от нее не отрекались, даже и в преступлении. Это советские заключенные – от религиозной морали их отучили, а так называемую коммунистическую мораль они легко перетолковывают на уголовный лад (Божьи заповеди, повседневно преступаемые даже и самим клиром, все же не теряют своей истинности в глазах рядового прихожанина; моральные же заповеди, декретируемые правящей партией, не могут быть нарушены членами этой партии без того, чтобы не спровоцировать активный имморализм).

Вот еще образчики арестантских историй. “Пошел я на “Чапаева”. Рядом чернобурка, жметса ко мне. Ну проводил до дому. Зайди, говорит. Муж в командировке – полковник (прокурор, капитан дальнего плавания или летчик). Она мне коньячку на стол, колбасы краковской вот та–акими кусками нарезала, банку баклажанной игры... Живу у нее день, другой... Она мне, сука, каждый день макароны с котлетами жарит, сберкнижку показывает – 60 тысяч, – живи, говорит, со мной. – “Ну и что же ты?” – спрашивает кто–нибудь. “А на что она мне? – презрительно цедит тот. – Что я хуй–то на помойке что ли подобрал? Лучше я под забором подохну – свобода дороже! Ну забрал там у нее, что можно было – тряпки там всякие, а донесешь, так я на суде расскажу, чтоб муж твой знал, как ты, тварь, ноги мне на плечи задирала”.

“Этот раз я от души погулял – три месяца на воле проторчал, – рассказывает другой. – Ну че, откинулся от хозяина, приезжаю по направлению – сразу в милодию, конечно. Проколи, говорю, начальник, воровать не буду – завязал. А он мне, как ты, дескать, разговариваешь со мной? Что я ему буду, как комсюк что ли, лепетать – я ему на нашем рыбьем языке, так, мол, и так... Зачем ты мне нужен, говорит, ты, говорит, хитрый, а у меня тут милиционеры народ простой, деревенский. Пусть они лучше пиво пьют в рабочее время, а то лови тебя... Ну ладно, качу я в Питер, молотим мы там с одним хлопцем хату, гуляем... И надо же мне было переться по пьянке домой – жена, два спиногрыза сопливых!.. Галька мне на другой день мораль читать: работай, дескать, живи честно, человек человеку товарищ и брат... Ах ты, шкуреха, я ей: “Че–е–естно!? А на какие башли ты мне посылки в лагерь посылала? Да ты хотя бы раз в году приходила с ткацкой своей фабрики без клубка шерсти? Ты, говорю, как мой хозяин: “Трудитесь, хлопцы, живите честно!” – а сам полпроизводства растащил. Знаю я, что такое по–вашему честно: паши с утра до ночи и во–



руй потихоньку–помаленьку, чтобы не сгореть...” Да я, говорю, в тыщу раз меньше вашего ворую – вы, честные! Только мне, чтоб сразу, а вы – крысы!.. Ну слово за слово, хуем по столу – врезал я ей промеж рог и ушел. Где бы, думаю, кирнуть с горя? Время около двух ночи, все закрыто, пока до бана дойдешь – там ресторан ночной – ноги по самую жопу стопчешь... Смотрю, мужик плетется – бухой, в авоське бутылка водяры да помидоры. Я его кирпичом по тыкве и на хода, а тут два мусора как раз... Червончик заработал...”

23.5. Сержант рассказал шепотом, как его, тогда работника райкома комсомола в Харькове, посылали в Чехословакию. “Нас там за версту узнавали – все в одинаковых костюмах...” Ну и дурак я был, говорит, всему верил, а теперь понасмотрелся – с души воротит. “Так ты, – шутивно зондирую я почву, – фактическая контра”. – “Какая там контра? Я жертва казенщины. Сунулся, знаешь, в райком – мальчишка зеленый, идеалы там всякие... Потом, когда присмотрелся – ну и бардак! Сволочь на сволочи. И не уйдешь никак – елеле со скандалом. Потому меня и в армию забрили с пятого курса вуза. Да еще в конвой попал. Не знаю уж, кто хуже – наш брат конвойный или блатные? В этот раз еще публика ничего, а то бывает такое – нарочно не придумаешь. Вон на той неделе рецидуев везли. Старшина–дубина приказал не давать им воды. Один там больной был – недержание мочи, говорит. А старшина не пускает его в уборную. Ну он нассал в ботинок и плеснул на него. Тот: “Не давать им воды, чтобы не просились в уборную”. А как не давать, если они селедки обожрались – сам знаешь, сухой–то паек: селедка да черняшка... Так они чуть весь вагон не опрокинули – давай его раскачивать из стороны в сторону, уже колеса начали от рельс отрываться... Еле успокоили их. А тот больной все–таки испортил старшине мундир, вскрыл себе вены, набрал крови в кружку и облил его. Избили, конечно, до полусмерти”.

Псков. Человек 40 высадили и столько же загрузили. Ко мне подсадили двоих. Едва я только увидел их чемоданы и мешки, сразу догадался – 58–я. У уголовников редко–редко авоська в руке или какой–нибудь узелок, чаще всего из кармана торчит селедочный хвост, под мышкой буханка черного хлеба – вот и все хозяйство. Правда, не всегда. В том же Пскове, к примеру, посадили двух латышей, высоченных парней – разбойнички, как выяснилось, – у обоих по паре чемоданов. Я их тоже было за 58–ю принял сначала, ан промахнулся: чемоданы не всегда признак масти, бывает что и национальности (прибалты, западные украинцы, кавказцы).

Мои попутчики – литовцы, оба едут из Вильнюса, оба, конечно, в Мордовию, но, в отличие от меня, в лагерь строгого режима. Один из них – Боню–

лис, 2-метровый дядька за пятьдесят – сидит уже тринадцатый год. Мы друг друга, разумеется, знаем. Второй – Лейкус, приземистый, широкий в плечах мужчина, сохранивший отличную военную выправку, несмотря на солидный возраст – ему около шестидесяти. Бывший капитан национальной литовской армии. Защищал родину от советских освободителей, ныне опознан, уличен и осужден за “измену родине” (О, логика! О, юриспруденция! О, справедливость!) на 15 лет. Бонюлиса возили в Вильнюс для опознания какого-то человека, участника, как и он сам, национального литовского движения – Бонюлиса отказался узнать его. Литовцы в лагере ведут себя, как правило, стойко. В отличие от латышей, служак и конформистов по природе своей. Характерно, что во время войны латыши служили или немцам, или русским, тогда как литовцы дрались с теми, и с другими. Латышская молодежь, правда, ребята, как правило, честные – но их в лагере немного, тон задают старики. В 1967 г. один литовец (забыл его фамилию, но помню, что о нем упоминала “Хроника”), отсидев 17 лет из 25 отмеренных ему законом, поддался на уговоры ЧК написать прошение о помиловании. Написал. Результата никакого. Земляки от него отвернулись (ведь просьба о помиловании неизбежно сопровождается отречением от идей своих и дел, поношением их и объяснениями в любви к властям предержавшим). Он дал себя убить, прыгнув среди бела дня в запретку и сделал вид, что в нескольких метрах от вышки пытается вскарабкаться на забор. Хотя поймать его было проще простого – перед ним высокий забор и еще одна проволочная запретка, а от вахты, где битком солдатни, минута ходьбы вразвалку, – часовой предпочел пустить в ход автомат: раз з/к убит в запретке, убийце в любом случае будет объявлена благодарность и предоставлен двухнедельный отпуск. Не хочу сказать, что именно из-за этого часовые, охраняющие государственных преступников, торопятся продырявить безумца или смельчака. Дело скорее всего в ином: начальство рассказывает им о нас всякие чудеса и ужасы, особенно разрисовывая нашу ловкость и всяческую умелость, тем поддерживая в них бдительность, которая в критических ситуациях перерастает в нервозность, а уродливое (в смысле – уставное) понимание долга – в боязнь совершить преступление: упустить ужасного зверя, врага советской власти, который того и гляди Кремль взорвет. Я знаю несколько случаев, когда беглецов расстреливали в упор, уже когда они, со всех сторон окруженные, поднимали руки, сдаваясь. Так было, например, с Петросявичусом Альгисом в 1958 г.: двоих, бежавших с ним, убили (причем одного, взобравшегося на дерево, окружили и расстреляли, безоружного, в упор), а его, дважды раненного, сочли мертвым – только это его и спасло: в лагерной больнице было слишком людно, чтобы прикончить его – ограничились тем,



*Пролетарии всех стран, соединитесь!***Коммунистическая Партия Советского Союза. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ****СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**

№ П150/129

Т.т.Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко,  
Суслову, Кузнецову, Гуденко, Бугаеву,  
Георгадзе, Смиртюкову.

Выписка из протокола № 150 заседания Политбюро ЦК КПСС  
от 24 апреля 1979 года

О лишении гражданства СССР и выдворении из пределов СССР  
Винса Г.П., Кузнецова Э.С., Дымшица М.Д., Мороза В.Я. и  
Гинзбурга А.И.

Одобрить проекты Указов Президиума Верховного Совета  
СССР по данному вопросу (прилагаются).

(Общий орган, 1-й экземпляр)

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства Э. Кузнецова и высылки за границу - 24.04.1979 г.

к пункту 129 прот. № 150

Секретно

Проект

У К А З  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О лишении гражданства СССР и выдворении из пределов СССР Кузнецова Э.С.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

лишить гражданства СССР и выдворить из пределов СССР КУЗНЕЦОВА Эдуарда Самуиловича, 1939 года рождения, уроженца г.Москвы, освободив его от дальнейшего отбывания наказания за совершение преступлений, предусмотренных статьями 15 и пунктом "а" статьи 64, частью II статьи 70, статьей 72, статьями 15 и 93-1 УК РСФСР и частью II статьи 65 УК Латвийской ССР.

Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР

Л.Крежная

Секретарь Президиума  
Верховного Совета СССР

М.Георгадзе

Москва, Кремль

18-см  
ол

Еще один проект Указа о лишении гражданства и высылке за границу. Насколько мне помнится, в тексте, зачитанном мне 27.04.1979 г. в Лефортовском следственном изоляторе КГБ, слов "освободив от дальнейшего отбывания наказания..." не было, - Э. К.

ВИЗА М  
№ 076128

обыкновенная  
выездная

Гр. **лицо без гражданства**

Фамилия **КУЗНЕЦОВ**

Имя, отчество  
(имена) **Эдуард Самуилович**

Дата рождения **1939 г.** Пол **муж.**

С детьми  
до 15 лет

\* **У370479**

Цель поездки **ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО**

Из учреждения

В пункты **СНА**

Действительна для выезда из СССР **до 30 апреля 1979 г.**

и въезда в СССР до \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
через пограничные пункты СССР, **Москва**  
открытые для пассажирского движения

Выдана **26 апреля 1979**

К паспорту № \_\_\_\_\_  
**ОВИР ГУООП МВД  
СССР**

Подпись

*М. Зомин*



По этой визе "лицо без гражданства" было отправлено в США

что отрезали ему правую руку по самое плечо, хотя никакой надобности в том не было (кость не была задета), и он протестовал против “операции”, ибо слышал слова хирурга: “Сделаем так, чтобы запомнил на всю жизнь”. Петросявичусу было тогда 18 лет. В конце лета 1964 г. на моих глазах был зверски убит Ромашев. Из 4-х лет срока он 2 года уже отсидел, когда от него как от анти-советчика отказались родители–коммунисты и жена–комсомолка – начальство написало им, что он не желает возлюбить советскую власть и помогать ей провокациями и доносами на своих друзей. Днем он прыгнул в запретную зону и взобрался на забор – всего метрах в 10 от вышки. Часовой, наведя на него автомат, кричал: “Убью, убью”, но, дважды выстрелив в воздух, не решался расстреливать человека, который не делал никаких попыток к бегству – он просто сидел на заборе и ждал, пока его застрелят. Через пару минут с той стороны зоны сбежались солдаты, и один из них – собаковод – хладнокровно разрядил пистолет в живую мишень, даже не шевельнувшуюся под наведенным на нее дулом. Тело, зацепившись ногами за колючую проволоку, которой окутан верх забора, повисло вниз головой. Возможно, Ромашев был еще жив до прихода старшины Шведа Кирилла Яковлевича. Тот грубо дернул тело за руку, и оно врезалось головой в землю. Если Ромашев еще и был жив, когда висел на заборе, то удара головой о землю могло оказаться достаточным для смерти. А что же зона? Шумела, бушевала возле запретки и была разогнана надзирателями. Потом мы – человек 10 – писали протесты и требовали комиссии из прокуратуры – тщетно.

Но достаточно. Хотел было помянуть еще о “побегушниках” Иване Кочубее и Танашуке Николае, которых солдаты убивали чуть ли не посреди поселка, да разве обо всех расскажешь? Танашук, к слову сказать, сошел с ума, Кочубей, говорят, тоже – что, разумеется, не мешает им отбывать срок. Они симулянты–симулянты–симулянты, как тот парень (забыл его фамилию), который трижды на моих глазах прыгал в запретку – его извлекали оттуда находившиеся рядом надзиратели (это было в старом изоляторе 7-го лаг. отделения), которые знали, что он сумасшедший, не спускали с него глаз во время прогулки и предупреждали часового – вышка которого буквально в 3-х метрах от прогулочного двора, – чтобы он не стрелял, если дурак, как они его звали, прыгнет через проволоку. За 15 суток, которые я вместе с ним сидел в изоляторе, он трижды прыгал через проволоку – надзиратель за ноги стаскивал его с забора, а часовой помогал ему, колотя “дурака” дулом автомата по лбу. Он был симулянт–симулянт–симулянт и через неделю после выхода из изолятора его убили среди бела дня в запретке – ведь зона не изолятор, к каждому “дураку” по надзирателю не приставишь.

30.5. Потьма. В Горьковской пересыльной тюрьме мы просидели 5 дней, субботу провели в Рузаевке, а сегодня утром выехали из нее и ныне в Потье. Горьковская пересылка – комплекс мрачных многоэтажных корпусов. Здания из грязно-красного кирпича всегда у меня ассоциируются с заводскими корпусами – вид их будит чувство неуютности, подавленности, как в слякоть. Эту тюрьму зовут “соловьевской дачей”. Легенда такова: был ее начальником некто Соловьев, который дневал и ночевал в тюрьме, считая ее чем-то вроде личного имения. Он не жалел арестантского пота, благоустраивая ее, и столь увлекся ролью полновластного ее владельца, что деньги за сталинскую премию, неизвестно за что полученную (об этом легенда умалчивает), истратил на устройство унитазов в камерах.

Нас пятеро на 3,5 квадратных метрах. Вся потьминская пересылка набита битком, поэтому сочли возможным соединить нас с двумя парнями, которые едут в иностранную зону – в 5-й лагерь. Один из них грек без подданства (5 лет за автокатастрофу), второй – иранец лет тридцати, учился в бакинском архитектурном институте, получил 3 года за валюту. В соседней камере человек 6 китайцев в засаленных чуйках, с цветастыми узлами, с которыми они даже в уборной не расстаются, боясь кражи, очевидно. Тоже в инзону едут. Кричу в окно: “За что сидите?” Один отвечает: “Моя – грязный алиментщик”.

Иранец прокликает тот день и час, когда решил ехать в Советский Союз, хотя признается, что ему тут было неплохо – в качестве студента-иностранца. Согласен со мной, что советский диплом имеет вес только в афро-азиатских экономически неразвитых странах. Конечно, говорит, на Западе мне пришлось бы еще года 2 доучиваться, но зато советский диплом получить легче любого другого – а это кое-что все-таки.

31.5. Ночью стоило одному трепыхнуться, как все просыпались. В лицо мне дышал грек, в затылок – иранец, ноги согревала стокилограммовая туша литовца. Ах, Россия, Россия, до чего же ты просторна, привольна да раскидиста!

1.6. Вчера в обед увезли иранца с греком. Мы будем ждать среды. Стало попросторней. Нас четверо теперь – посадили еще одного изменника родины. Фамилии его пока не знаю, за что осужден – скрывает, сказал только, что дали 11 лет по 64-й, проговорился, что был полковником, москвич – из Люберец. Антипатичен, облик партийного функционера с инженерным образованием, говорит, словно передовицу в “Правду” пишет (не поймешь, то ли доноса боится и потому выставляет себя убежденным коммунистом, то ли поистине таков). А еще он похож на изобретателя перпетуум-мобиле, не нашедшего со-



чувствия в БРИЗе и попытавшегося навязать свое изобретение какому–нибудь иностранному туристу, но это был такой уж перпетуум, что ему всего 11 лет дали (срок очень божеский по этой статье). Так я нафантазировал после того, как он многозначительно намекнул на свои изобретательские способности.

3.6. Спецзона 385/10. Вот я и на месте. Можно сказать, дома. 14 лет предстоит мне провести здесь; разве что годика на 3 во Владимир придется отлучиться – в поисках разнообразия: надоедает, когда бьют все по одному и тому же месту...

Я на карантинном положении – один в камере. Все те же деревянные нары, двухъярусные, параша... – я ничего не забыл, оказывается! Даже грязно–зеленые стены. Знакомые лица з/к – тот подошел, тот – облысел, того согнуло арестантское время, – знакомые хари надзирателей – тот пузо отрастил, тот старшиною стал, а этот даже лейтенантом... Из этой зоны я уехал 7 лет тому назад. Пронзительная тоска возвращения на круги своя. Не нахожу себе места, безотчетная раздражительность, уныние, душевная вялость. Все то же и то же... Хватит ли сил теперь? Работа–камера–работа... И главное – сокамерники... Я второй день на спецу, и второй день кто–то вопит что есть сил в окно своей камеры (похоже, из изолятора в том конце, где прогулочные дворники): “Хуй в горло Ленину!” Повопит минут 20, передохнет часок–другой и снова “борется с советской властью”. Мне с ними жить долгие годы, они будут ночами дышать мне в лицо, вечером включать радио на полную мощь, стучать костяшками домино, рассказывать двадцатилетней давности анекдоты, посвящать в интимные подробности своей жизни, врать, сплетничать, лебезить и ненавидеть... На одних нарах – хочешь–не–хочешь, душа наизнанку, вся подноготная наружу, из года в год все 24 часа суток лицом к лицу. Откуда взяться терпению и беспристрастности!? Я знаю их наизусть: их привычки, жесты, шуточки – все одни и те же, все по тем же поводам! – ужимки, излюбленные выражения... Все их мысли по всем вопросам высказаны лет 10 тому назад. За редчайшим исключением...

Кричу в окно знакомым (Чугунке, Косому, Люциферу): “Как жизнь?” – “Ничего, жить можно”, – цедят сквозь редкие зубы. Душевно только, говорят, тяжело. “Жить можно” – это боязливая оглядка назад, это “тьфу–тьфу–тьфу, чтоб не сглазить”, это не дай Бог, чтобы как недавно (с 62 по 68 годы), когда шестисотграммовая пайка продавалась из–под полы за 2 рубля.

Вчера сразу после обыска, еще не выдав мне полосатую робу, меня ввели в кабинет начальника лагеря капитана Колгатина. Там же был его зам. по режиму капитан Воробьев, маленький чернявый мужичок, кривоногий и шустрый.

В 63 г. он был юным застенчивым лейтенантом – начальником отряда. Теперь он, чувствуется, матерый администратор, вкушивший сладости власти без пределов. Похоже, что именно он командует здесь всем. Знакомство наше свелось к перечислению наказаний, которые ожидают меня в случае нарушения любого пункта распорядка лагерной жизни. “Ставим тебе красную полосу” (32) – обрадовал меня Воробьев. За что же, спрашиваю, я ведь пока не уличен в намерении бежать. “Нам, – отвечает, – лучше знать. – И не советую. Помнишь, небось, как тут двое на заборе повисли? Автоматчики у нас меткие. А кстати, – спрашивает, – ты читал в “Новом времени” статью Гэсса Хола?” – “А кто это такой?” – “А то не знаешь?! Генсек американской компартии. Ихний Брежнев, можно сказать. Так он пишет, что вы – агенты ЦРУ и выполняли его задание”. – “Нет, начальник, не читал... – говорю. – Дай журналчик – слова списать”. Потом он спросил, почему Мурженко по документам украинец, а Федоров – русский? А почему бы и нет, интересуюсь я. Они же евреи, говорит. Я только хмыкнул. Закончилась эта беседа следующими словами Воробьева: “У нас тут один еврей тоже есть – Бергер. Предупреждаю, чтобы никаких этих сионистских группировок не создавать, а то – 77-1”.(33)

5.6. Ребята передали чаю. Соскучился я по нему ужасно. С лагерными обитателями stalkиваюсь вплотную пока только на прогулочном двореке. “А помнишь имярек?” Освободился, умер, расстрелян, новый срок получил...” Сегодня некто Медяник показал наколку на груди – дюймовой высоты кривыми буквами сообщается: “Ищу справедливости, советской власти и законности! Долой произвол ЦК!” “Не бойшься, что вышак дадут?” – спрашиваю. Оказывается не боится, ибо за наколки уже лет 5 как не расстреливают. “Да и срок, наверняка, не наматывают: они кое в чем виноваты передо мной – замать постараются”.

6.6. Отправил письмо Люсе. Эдаким бодрячком все прикидываюсь – добро-го молодца, де, и сопли греют. На другой день после приговора дали нам час на разговор в присутствии Круглова. Я болтал без остановки – всякие пустяки и анекдоты, лишь бы не касаться приговора (нежелание разминивать чистоту трагического переживания своей судьбы на мелочь утешительства?). Быть казненным рукой советского закона – это судьба, тогда как быть советским заключенным – это не судьба, а образ мышления, за который надо расплачиваться.

“Закон есть мера политическая, есть политика” (Ленин). Не констатация печального жизненного факта, а лозунг на вечные времена. Тоталитарное госу-

дарство еще на заре своего существования пытается вторгнуться в сферу духовной жизни человека. Ориентация на промышленный скачок (старинная и очень национальная история: человек – ничто, государство – все, которой оправдания всегда находятся) путем безжалостнейшей эксплуатации населения... Экономические рычаги слишком слабы, возникает настоятельная потребность в выявлении внутренних резервов стабилизации и усиления тоталитарного режима. Духовная сфера становится объектом грубейшего манипулирования, конечная цель которого – выведение нового человека, то есть такого, который с религиозным энтузиазмом откликается на все лозунги, выкрикиваемые вождями, готов безропотно участвовать во всех социально-политических экспериментах, заранее согласен на все костоломные повороты во имя теории, такого человека, чье недовольство, каковы бы ни были его истинные причины, легко канализируется, направляется в нужную сторону... Впрочем, эксперименты – во многом анахронизм. О них истоиво толковали только в период борьбы за власть, которая и должна была дать возможность воплотить теорию в жизнь, поставить эксперимент во внелабораторных условиях, на живом многомиллионном человеческом материале, но стоило теоретикам-экспериментаторам придти к власти, как проблема ее удержания отодвинула все кабинетные мечтания на весьма второй план. На первом плане – удержаться у власти, и именно мне, а не кому-то там другому. Отныне и навсегда всякое экспериментирование подчинено лишь проблеме стабилизации власти властвующих, а отнюдь не учинению всенародного блаженства.

9.6. Вызвал меня некто лейтенант Пяткин. Сообщил, что он начальник отряда, в который я зачислен. Лет 25-ти, дураковатый хитрец с лицом, устроенным просто, как колода для рубки дров, явный мордвин, косноязычно толкующий о русском патриотизме, о “нашей великой родине, где мы все родились”. Озадачил его вопросом: будь вы отпрыском советского дипломата и доведись вам, не дай Боже, родиться, например, на территории Великобритании, какую страну вы считали бы своей родиной? Гарантирована запись в очередной характеристике: “Задавал вопросы антисоветско-провокационного содержания”.

Пяткин рассказал, что в сентябре прошлого года он вместе с другими офицерами и надзирателями помогал солдатам усмирять бунт в 5-й лагерной зоне – той, где сидят уголовники, а не иностранцы. Зэки подожгли бараки, разграбили магазин, избили и выкинули в запретку повязочников, пытались совершить массовый побег... Из Москвы поступило указание не применять огнестрельное оружие без крайней необходимости – поскольку это зона общего режима и там сидят впервые осужденные за незначительные преступления. Пат-

роны у солдат, брошенных в зону, отобрали, так что бунт был усмирен без единого выстрела, хотя приклады автоматов потрудились в тот день изрядно. Судить будут, по словам Пяткина, человек 30, из них человек 5 приговорят к расстрелу по ст. 77-1. Я не наивный читатель советских газет и потому не спросил, откуда ему известен приговор суда, который еще не состоялся, но полюбопытствовал, как могут не особо опасных рецидивистов и людей, отбывающих наказание не за тяжкие преступления (будь иначе, не сидели бы они в лагере общего режима), судить по ст. 77-1? О чем и кого я спрашиваю? Усмирять, держать и не пущать – это да, с великой готовностью, для всего же прочего, где не достаточно одного спинного мозга, образцовый гражданин мертв.

11.6. Сегодня выгнали на работу – уже из общей камеры, из 9-й, где Юрка, Бергер (тот самый, о котором меня предупреждал Воробьев) и некто Стоббуненко. Очень странно: подельников вместе не сажают, как правило. За стеной нашей камеры кабинет цензора, он же – кабинет лагерного гэбэшника, капитана Кочеткова, которого я еще не имел удовольствия видеть.

Работа физически не тяжелая, на первый взгляд, – шью рукавицы, – но норма фантастически велика: 75 пар. В чем, очевидно, и фокус. По закону, ООР (34) должны использоваться раг excellence на тяжелых работах, но специально их организовать (не теряя из виду экономическую выгоду) непросто, а за зону (лесоповал, каменоломни и т.п.) нас выводить режим запрещает. Приходится выкручиваться за счет завышения норм.

12.6. Стоббуненко я немного знал еще по первому сроку. Отсидев 4 года по 70-й статье, он освободился, а в 66 г. получил 12 лет за убийство (бытового характера). Потом, уже в уголовной зоне “крутанулся” по 70-й статье. Говорит, что специально, чтобы к “своим” попасть. Утверждает, что именно благодаря его хлопотам меня посадили в 9-ю камеру. Многозначительно намекает на свою влияние. Ребята убеждены, что он работает на КГБ. Посмотрим. То, что в каждой камере есть сексот – несомненно.

13.6. Стоббуненко 28 лет, ленинградец, тяжелая рама очков на одутловатом, в угрях, лице, восторженно болтлив, но поддается укрощению и словом, и взглядом: претензия на интеллигентность обяывает чтить тишину.

О Бергере я слышан давно: в 63-64 годах сидел в одной камере с его подельником, воровским авторитетом Ляшенко (по кличке Курносый). Бергер сидит 28 лет, осталось еще 7. Тринадцать судимостей (говорит, что 8 из них уже сняты за недоказанностью): грабежи, бандитизм, убийства (5 или 6). В прошлом – “вор в законе” (по кличке, конечно же, Жид), известный де-

рзостью, нахрапом и умением красноречиво выступать на воровских сходках. В 58 г., решив вырваться из штрафной зоны, “прицепился на подножку” к Курносому и Ультре. И тот, и другой – когда-то крупные фигуры в воровском мире, из тех, кто “бушлатом толпу мимо воды гонял и напиток не давал”. Они чем-то погрешили против воровской этики (Курносый, помнится, растратил воровскую казну и, чтобы спастись от немедленной расправы, зарубил топором зам. начальника лагеря по режиму), их ждал нож, и они надумали “сменить масть”: переметнуться в “политические”. За несколько месяцев до того в лесу, куда их гоняли на работу, но где они в качестве воров, конечно же, не работали, они нашли НТСовские листовки – “Посев”. Спрятали их и, вплоть до “побега в изолятор”, делали на них маленький бизнес: время от времени по их указке кто-нибудь из фрайеров якобы находил одну-другую листовку и продавал ее кагэбэшнику за четвертную или за пачку чая. Когда началось следствие, они заявили, что у них давнишняя связь с НТС, о подробностях какой-то отказались говорить (да и что они могли сказать, если о существовании НТС вообще ничего не слышали до этих самых листовок?). Расчет простой: уехать на политическую зону, а там доказать, что они наврали – срок по 58-й статье снизят до минимума, однако “политиками” они останутся, ведь достаточно и года по 58-й, чтобы пять четвертаков за убийство, грабежи и изнасилование отбывать на политической зоне: раз уж дозрел до умения, пусть и с грамматическими ошибками, написать на стене камеры какой-нибудь антисоветский лозунг, то должен быть изолирован от безгрешной массы просто убийц, просто грабителей и наивных насильников. Тут они промахнулись: такое за пределами доказуемости. Сейчас еще куда ни шло, но тогда (в 50-х) всякая чушь о “связях” воспринималась с радостью: положение КГБ после 20 съезда было шатким, и он намертво вцеплялся во всякую видимость контрреволюционной деятельности, чтобы доказать не столько свою жизненную нужность советскому государству (это за пределами сомнений), сколько необходимость увеличения штатов, субсидий и полномочий, а также необоснованность некоторой брезгливости, иногда проявляемой и публично, по отношению к старым работникам бериевского аппарата.

Колодеж попросил Курносого и Ультру сообщить следователю, что он румынский шпион Бергер, а вовсе не Колодеж (с этого момента он вновь стал Бергером, признавшись, что лет 10 уже сидит под чужой фамилией) и что именно он осуществлял связь с НТС. Вся эта чепуховина из листовок, сигуранцы и НТС обошлась им по десятке. Разумеется, следователи отлично понимают суть дела... и все же...

Бергеру 48 лет, плотно сложен, энергичен, говорлив, повадки местечкового пройдохи–хулигана. Сапоги чистит десяток раз на дню – до сияния, то и дело скребет веником по полу, вообще неумно суетлив и, несмотря на солидный возраст, ежеминутно готов к драке.

#### 17.6. Некоторые особенности спеца в разные исторические периоды.

1963 г.

- 1) общее количество заключенных: около 450 чел.;
- 2) масти: 50% экс–уголовников, 15% сидящих за веру, 30% полицейав и 5% чистой 58–й;
- 3) количество людей в камере: 12–15 человек;
- 4) баланда: хуже некуда;
- 5) ежемесячные закупки в лагерном магазине: на 3 руб. – махорку, зубной порошок, мыло, мундштуки и сапожный крем;
- 6) голод: за украденную пайку избивали (иногда и до смерти);
- 7) свидание: 4 часа в год;
- 8) работа: достаточно выхода в рабочую зону, чтобы не числиться в “отказниках”;
- 9) стукачи: их били;
- 10) настроение: дух непокорства, буйства и вызова начальству.

1971 г.

- 1) общее количество: 130 человек;
- 2) масти: 50% экс–уголовников, 10% осужденных за веру, 35% полицейав и 5% чистой 58–й;
- 3) количество людей в камере: 4–7 человек;
- 4) еда: просто плохая;
- 5) закупки в ларьке: на 4 руб. – конфеты “подушечка”, печенье, яблочный джем, маргусалин (довольно отдаленное подобие маргарина);
- 6) голод: хлеба хватает, но нет такого зэка, который не съел бы (в любое время дня и ночи) за один присест кило колбасы, например, – даже “третьей свежести”;
- 7) свидание: до 3–х суток в год, если есть родственники;
- 8) работа: необходимо выполнить норму на 100%, иначе – карцер;
- 9) стукачи: презираемые, но неприкосновенные лица;
- 10) настроение: душевная усталость, покорность и низкопоклонство.

18.6. В 63 г. тогдашний синий опекун капитан Гарушкин, вызвав меня в свой кабинет в первый же день моего полосатого периода жизни, сказал, что все мы здесь в этом лагере, злобные враги советской власти, народ требует нашего уничтожения – за то, что в других лагерях кончается 15-ю сутками, здесь приводит к расстрелу по ст. 77-1, специально для рецидивистов созданной... Расстреливали в самом деле за многое, чаще же всего за отрезанные уши (особенно если на них выколота надпись типа: “В подарок съезду”) и за наколки на лице. Только в 63 г. на нашем спецу (385/10) расстреляли за наколки 9 человек. Местное радио частенько радовало нас сообщениями, что и на уголовных спецзах есть успехи в воспитательной работе. Звучало это примерно так: “В лагере особого режима на Урале двое заключенных – Иванов и Сидоров – исполнили на лицевой части тела наколки антисоветского содержания. Таким-то судом они приговорены по ст. 77-1 УК РСФСР к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение”.

На лбу, подбородке, щеках и шее выкалывают: “Раб КПСС”, “Большевики, хлеба!”, “Хлеба и свободы”, “Долой произвол и палача такого-то (Хрущева, Брежнева и т.д. вплоть до начальника лагеря и лечащего врача)”, “Долой советский Бухенвальд!”, “Смерть тиранам и произвольщикам!”, “За Советы без большевиков!”, “Смерть жидо-большевикам” и т.п. Один даже исписал себя частушками – на правой щеке у него было выколото: “Я Хрущева не боюсь, я на Фурцевой женюсь – буду щупать сиську я самую марксистскую”.

Вот как звучит ст. 77-1, по которой только недавно перестали судить за наколки: “Особоопасные рецидивисты, а также лица, осужденные за тяжкие преступления, терроризирующие в местах лишения свободы заключенных, ставших на путь исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в этих целях преступные группировки или активно участвующие в таких группировках, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или смертной казнью”. И хотя в 4-м томе “Курса советского уголовного права” (М., изд. “Наука”, 1970) на стр. 178 говорится, что “отказ и уклонение от работы в местах лишения свободы и нанесение татуировки антисоветского содержания не охватываются ни понятием терроризирования, ни понятием нападения на администрацию, а потому и не могут классифицироваться по ст. 77-1 УК РСФСР”, Бергеру и доброму десятку других осужденных по этой статье именно за наколки (себя ли они разрисовывали, других ли) отвечают на жалобы стереотипно: “Осужден правильно, оснований для пересмотра дела нет”.

С книгами здесь очень плохо. Библиотека нищенская, а через “Книгу – почтой” поступления крайне ограничены. 4-й том “Курса” я выменял у Бергера за

авторучку – он расстался с ним после того, как капитан Воробьев, которому он указал выше мною приведенные слова о ст. 77–1, высмеял его, сказав: “Вам ли, Бергер, читать эти басни да еще верить им!”.

19.6. Вот приговор последнего суда над Бергером. Сохраняю все его стилистическое, орфографическое и пунктуационное своеобразие.

Именем РСФСР судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Мордовской Автономной ССР. В составе: председательствующий Котт, нар. заседатели Мардакина и Шагнева... Рассмотрев в открытом судебном заседании в поселке Явас МАССР 15–16 августа 1963 г. дело по обвинению: 1) Бергера Лейзера Ниселевича, он же Колодеж Герта Хасифовича, рожд. 1922 г., уроженца г. Кишинева, из семьи служащего, по национальности еврея, холостого, со средним образованием, ранее судимого: 22 мая 1948 года по ст. 1 ч. 1 Указа от 4 июня 1947 г. к 6 годам лишения свободы; 22 августа 1950 г. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы; 14 января 1956 г. по ст. 1 ч. 2 Указа от 4 июня 1947 г. и ст.ст. 70 УК РСФСР по совокупности к 10 годам лишения свободы, отбывающего наказание по приговору Пермского обл. суда от 11 февраля 1960 г. по ст. 7 ч. 1 Закона СССР от 25 декабря 1958 г. “Об уголовной ответственности за государственные преступления” по совокупности приговоров срок 10 лет лишения свободы, с началом срока 11 февраля 1960 г. 2) Нефедова Николая Ивановича, рожд. 1924 г., уроженца г. Нарофоминска, русского, с 4–х классовым образованием, холостого, ранее судимого: 3 октября 1940 г. по ст. 74 ч. 2 УК РСФСР на три года лишения свободы; 23 сентября 1941 г. по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы; 26 сентября 1944 г. по ст. 168 ч. 1 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы; 20 мая 1947 г. по ст. 168 ч. 1 УК РСФСР на 6 месяцев лишения свободы; 5 сентября 1949 г. по ст. 58–14 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы; 27 марта 1956 г. по ст. 58–10 ч. 1, 76 и 192 ч. 2 УК РСФСР по совокупности к 10 годам лишения свободы; отбывающего наказание по приговору Верховного Суда Морд. АССР от 13 июля 1957 г. по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР и по совокупности приговоров срок 10 лет лишения свободы, с началом срока 13 июля 1957 г., обоих в преступлении, предусмотренном ст. 14–1 Закона СССР от 25 декабря 1958 г. “Об уголовной ответственности за государственные преступления” (ст. 77–1 УК РСФСР)... судебная коллегия установила: Подсудимые Нефедов и Бергер он же Колодеж неоднократно судимые за различные, в том числе и государственные преступления, отбывая наказание в местах лишения свободы ничем положительным себя не проявили. На протяжении длительного времени злобно нарушали режим в местах заключения, отказывались от выполнения по-



сильных физических работ, вели паразитический образ жизни. Будучи оба признанными ООР и содержась на особом режиме 10 лаг. отделения Дубравного ИТЛ, стремления к становлению на путь исправления не проявили, напротив начали продолжать преступную деятельность. Так подсудимый Нефедов ведя паразитический образ жизни, уклоняясь от физической работы неоднократно учинял на видимых частях тела татуировки антисоветского циничного содержания, а именно: 15 ноября 1962 г. в жилой зоне 10 лаг. отделения Нефедов нанес себе на лобную часть тела татуировку дерзкого антисоветского содержания. На этот раз наколку производил заключенный Лаврентьев по просьбе Нефедова (уголовное дело на Лаврентьева выделено в особое производство). В связи с указанными татуировками за невозможностью пребывания в общей зоне, Нефедова перевели в 25 камеру спецлагпункта, названного лаготделения. Находясь в этой камере подсудимый Нефедов 6 декабря 1962 года повторно нанес татуировки аналогичного содержания на лице. Установлено, что эти татуировки подсудимый Нефедов наносил под влиянием, ныне подсудимого Бергер он же Колодеж, который всячески после нанесения очередной наколки говорил Нефедову, чтобы последний наколол такой лозунг или призыв, который мог бы привлечь внимание более широкого круга сотрудников исправительно-трудовых учреждений. 23 марта 1963 г. в камере 32 Нефедов вновь учинил татуировки антисоветского содержания, порочащие одного из видных деятелей коммунистической партии (“Хрущев, хлеба!” и “Долой хрущевскую демократию”, – прим. Э.К.) и советского государства, а также содержащие призыв к свержению существующего строя в нашей стране (“Долой советский Бухенвальд!” – Э.К.). Татуировки антисоветского содержания на лице подсудимого Нефедова сохранились до настоящего времени.

Наряду с этим, Нефедов будучи в местах заключения, написал множество писем и заявлений в Советские партийные органы нецензурного и циничного содержания, которые свидетельствуют о явном неуважении к существующему в нашей стране строю и нежелании заниматься общественно-полезным трудом.

Подсудимый Бергер, он же Колодеж, будучи враждебно настроен к лагерной администрации и в целом к проводимым мероприятиям партии и правительства по перевоспитанию осужденных, грубо нарушал режим в местах заключения, провоцировал заключенных противодействовать лагерной администрации по перевоспитанию и исправлению заключенных. В этих же целях Бергер распространял антисоветские листовки. Кроме того, склонил нынче подсудимого Нефедова к нанесению татуировок на лице, а осужденному Пархневич отчленил ушные раковины в декабре 1961 г. при следующих обсто-

яательствах: в декабре 1961 г. Бергер содержался в камере 34 вместе с Парахневичем и Кулагиным, 20 декабря 1961 г. в уборной прогулочного дворика Бергер по согласию Парахневича отчленил ему острорежущим предметом ушные раковины. В крови с обезображенным лицом Парахневич появился среди заключенных, тем самым оказывал на них разлагающее влияние. Бергер впоследствии оповестил заключенных, что он отрезав уши Парахневичу “подкеросинил” администрацию.

Допрошенные по существу предъявленного обвинения, подсудимые: 1) Нефедов на предварительном следствии и в суде виновным себя признал полностью и пояснил, что 15 ноября 1962 г. по его просьбе татуировку антисоветского содержания ему сделал Лаврентьев в знак протеста того, что ему администрацией не была начислена зарплата за период с июля по ноябрь 1962 г. за выполненную работу. Однако этот довод не состоятелен и не может быть принят судом во внимание. Последующие татуировки – 6 ноября 1962 г. он нанес по подстрекательству со стороны Бергера, однако отрицает, что Бергер непосредственно сам наносил эти татуировки антисоветского содержания, тогда как на следствии Нефедов говорил обратное. 23 марта 1963 г., как разъяснил Нефедов, татуировки ему наносил Багаутдинов и Мануйлов-Морозов (оба они привлечены к уголовной ответственности и дела на них выделены в особое производство) и что татуировки он наносил с той целью, чтобы не выходить в дальнейшем на работу.

Кроме личного признания виновность Нефедова в содеянном доказана самим фактом наличия на его лице татуировок антисоветского характера, актом медицинского освидетельствования, показаниями свидетелей, а также материалами дела. Факт ведения паразитического образа жизни Нефедовым подтверждается теми данными, что за период с июля 1962 г. по март 1963 г. на содержание Нефедова затрачено государством 352 р. 77 коп. в то время, как им не заработано за указанный период ни одной копейки. 2) Бергер, он-же Колодеж, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании в содеянном виновным себя не признал, утверждает, что дело против него сфабриковано и никакой основы под собой не имеет. В частности отрицает, что Нефедову наколки антисоветского содержания наносили без его, Бергера, участия, что изготовлением он не занимался, Парахневичу ушные раковины отчленил и никаких провокаций, направленных на дезорганизацию правильной работы исправительно-трудового учреждения не чинил. Однако, вина Бергера, он-же Колодеж, доказана следующим: подсудимый Нефедов подтвердил, что никто иной как Бергер подстрекал его сделать такие наколки антисоветского содержания, чтобы администрация и более широкий круг со-

трудников могли обратить на это внимание. Что после произведенных наколок Бергер учил Нефедова как себя вести, если обнаружит надзор состав эти наколки. В день наколок не разрешил ему, Нефедову, выходить на прогулку, а если спросят, говорить, якобы накололся сам с помощью зеркала. Он-же Нефедов подтвердил, как Бергер будучи в камере рисовал карикатуры, извращающие советскую действительность, и предлагал ему, Нефедову, как только выйдет за пределы камеры расклеивать эти листовки на видных местах.

Свидетель Курников (по кличке Гитлер – свидетель обвинения на 6 процессах, – Э.К.) подтверждает, что Бергер находясь в его бригаде к работе относился плохо, занимался вредительством, вместо глины привозил землю смешанную с камнями. Открыто заявлял, “Я не ваш человек и работать на вас не буду”. Факт отчленения Парахневичу ушных раковин Бергером подтверждается следующими доказательствами: сам Парахневич, допрошенный много времени спустя, хотя и отказался дать по существу показания, однако в частной беседе заявил, что ему уши отрезал Бергер.

Свидетель Киенко подтвердил, что вскоре после отчисления (sic! – Э.К.) ушных раковин, когда он начал оказывать ему медицинскую помощь, Парахневич на его вопрос ответил, что уши отрезал ему Бергер. И далее Киенко пояснил, что Парахневич слабонервный человек, очень многих заключенных просил, чтобы ему отрезали уши и поэтому считает маловероятным, чтобы Парахневич сам себе отрезал уши. Кроме того Бергер впоследствии в разное время говорил заключенным, что уши Парахневичу он отрезал ножом, причем с его слов одно ухо пришлось отрезать с куском мышечной ткани шеи, так как глубоко вошел нож, что соответствует действительным обстоятельствам дела, нашедшим подтверждение о том, что Бергер вел паразитический образ жизни. Об этом говорит то, что за период с января 1962 г. по март 1963 г. на содержание Бергера затрачено государством 609 р. 17 к. в то же время Бергером заработано за это время 7 р. 72 к.

Как Нефедов, так и Бергер, он-же Колодеж, на меры воспитательного и длительного воздействия не реагировали и на путь исправления становиться не желали.

Предъявленное обвинение Бергер, он же Колодеж в том, что он склонил заключенного Подцветаева к нанесению татуировок антисоветского содержания, и что он систематически подстрекал Власова к членовредительству, достаточного подтверждения в суде не нашло и поэтому подлежит исключению из его вины. Уличающие показания Власова против Бергера суд расценивает как оговор, других же доказательств его, Бергера, вины в этом не добыто.

Судебная коллегия приговорила: Признать виновным и подвергнуть наказа-

нию Нефедова и Бергер, он же Колодеж, по ст. 14–1 Закона СССР от 25 декабря 1958 г. (ст. 77–1 УК РСФСР) к санкции, которой Нефедова подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу (он расстрелян, – Э.К.); Бергер – к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительно–трудовой колонии особого режима – с частичным присоединением неотбытого наказания – к мере наказания по настоящему приговору – 15 лет лишения свободы.

20.6. Я десятки раз был свидетелем самых фантастических самоистязаний. Килограммами глотают гвозди и колючую проволоку; заглатывают ртутные градусники, оловянные миски (предварительно раздробив их на “съедобные” куски), шахматы, домино, иголки, толченное стекло, ложки, ножи и... что угодно; заталкивают в уретру якорь; зашивают нитками или проволокой рот и глаза; пришивают к телу ряды пуговиц; прибивают к нарам мошонку и, проглотив сделанный из гвоздя крючок, прикрепленную к нему бечевку привязывают к двери, чтоб ее нельзя было открыть, не вывернув “рыбу” наизнанку; надрезают кожу на руках и ногах и снимают ее чулком; вырезают куски мяса (на животе или ноге), жарят их и поедают; напускают в миску кровь из вскрытой вены, крошат туда хлеб и съедают эту тюрю; обложившись бумагой, поджигают себя; отрезают пальцы рук, нос, уши, penis... всего не перечить. Но, право же, вблизи все эти кровавые фокусы не столь ужасают, как в подаче какого–нибудь кипящего праведным гневом самоиздатчика: вырванные из тюремного контекста, очищенные от шлаков повседневности, самоистязатели предстают неким символом мученичества, награждаются ореолом чистого страдания... Трагические жертвы режима, травимые, преследуемые, доведенные до последних степеней отчаяния, испробовав все другие формы протеста против беззакония и произвола тюремных и иных властей, прибегают наконец к самоистязанию. Этакие одномерные, вырезанные из патетического картона фигурки страдальцев. За редчайшим исключением, самоистязания – отнюдь не форма протеста (в смысле сознательного протеста), это, как правило, способ “урвать кусок” от жизни: попасть в больницу, где сестрички так лихо виляют бедрами, где дают больничный паек и не гоняют на работу, добиться получения наркотиков, диетпитания, посылки, свидания с заочницей и т.д. Более того: многие из этих страдальцев очень похожи на мазохистов, пребывающих в состоянии депрессии от кровопускания до кровопускания; у некоторых ярко выражены дегенеративные признаки (например, понижение порога болевой чувствительности кожного покрова тела). Правда, не уверен, не противоречит ли психическому складу мазохиста то, что в большинстве самоистязатели –

это агрессивные, неумолимо хищные натуры. Начинают они с того, что в бес- сильном гневе бушующие в них инстинкты разрушения, приступы ненависти и горячечные мечты о мести какому-нибудь начальнику, до горла которого не дотянуться зубами, обращаются на своих носителей. Так они начинают, а кон- чают тем, что самоистязание становится для них потребностью, удовлетво- рение которой (как припадки истерии у истериков) расчетливо приурочивается к наиболее удобному для “урывания куска” моменту. Но это начало и конец, а есть еще растянутая на многие годы середина, на которой некоторые застре- вают. “Середнячки”, в отличие от профессионалов, еще мало думают о выго- дах кровопускания, отнюдь не виртуозничают, самоистязание их носит харак- тер припадка, но уже с зачатками расчета. Например, получив неблагоприят- ный ответ на просьбу (“Всем дали сапоги. Мне не дали сапоги. Прошу выдать сапоги – заявление”), “середнячок” с неделю брюзжит, все более распаяя се- бя, потом пишет: “Я требую изменить Конституцию СССР” и в подкрепление этого требования глотает пару ложек, ему вскрывают желудок и извлекают их, он, едва откатят его от операционного стола, проглатывает какой-нибудь гра- дусник – и так до тех пор, пока ему не дадут сапоги.

21.6. Еще о самоистязателях. В массе своей это люди не просто малогра- мотные, но настроенные враждебно ко всему, носящему печать иной, незве- ринной жизни. Характерно, что чаще всего именно в тюрьме, в изоляторе и на спецу сталкиваешься с самоистязаниями: в отличие от открытой лагерной зо- ны, многолюдной, с ее группами и группками, картами, “дурью”, морфием, шеллаком и таблетками, камерные стены – непосильное бремя для ориенти- рованного вовне. Именно в камере его начинает терзать мысль, что жизнь уходит – и уходит впустую. Это самая мучительная для з/к мысль. Вот он ме- чется по камере и день, и два, и тысячу – еще молодой, еще ловкий и энер- гичный, чувствующий в себе силы совершить, что угодно... Жизнь уходит, 10 лет отсижено, 15 впереди, никаких надежд, никто его не замечает – его почти нет, если все кругом не ходит ходуном. “Начальник, – стучит он костяшками пальцев в кормушку, – дай иголку: надо рубаху зашить”. – “Не положено”, – бурчит тот в ответ. Опять стремительные броски из угла в угол, руки за спи- ной, брови сдвинуты к переносью, взгляд скользит с предмета на предмет, ни- чего не видя, губа закушена... “Начальник! – барабанит он в дверь. – Сходи в двойку – там мне Иванов конверт должен: надо старухе письмишко намоло- тить – хай сухарей да сала вышлет...” – “Не положено”, – все так же механи- чески угрюмо бурчит надзиратель. Через пару минут: “Начальник! Старшой! Возьми в тройке махорки – курить нечего!” – “Не положено”. – “А-а! – бьется

он всем телом о дверь. – Врача вызывай! Я тебе дам “не положено”!” Отбив о дверь руки, ноги и голову, он вскрывает себе вены – наконец–то беготня, врач, носилки... Наконец–то жизнь похожа на жизнь. Он – центр событий, он – личность, с которой носятся, которую ругают, бьют и лечат (впрочем, вот уже лет 7–8, как вскрывающий вены попадает после перевязки в карцер, вместо больницы. А рецидивист может быть судим все по той же 77–1).

Лишь в редких случаях самоистязание является сознательным протестом – против ли самого духа беззакония и произвола, которым пропитана тюремно–лагерная атмосфера, против ли того или другого единичного акта надругательства над справедливостью. Вообще же говоря, почти всякое нарушение режима – форма протеста, иногда дикого, безобразного, но и то, против чего он направлен (пусть и неявно), не менее дико и безобразно.

Интроверту легче – стены его не давят.

Не всякому удастся подняться над каждодневным безобразием тюремных порядков, не всякому дано, даже протестуя против него, сохранять свое человеческое лицо. Каким бы пустяковым, неосновательным до изумления ни был повод для бунта, в основе его – многолетний гнет и втоптывание в грязь личности (все–таки личности, сколь бы ни была она мне чужда преимущественным типом проявления ее стремлений к самоутверждению). Я тут выступал с позиции алчущего тишины, с позиции книгопожирателя – будто бы единственно истинной. При всяком вынужденном общении обоюдная неприязнь, мягко говоря, неизбежна. Человек, встречайся ты с которым раз в неделю, был бы тебе добрым знакомым, в камере – твой личный враг, хуже чекиста, ибо чекиста ты видишь редко, а его – каждую секунду. Вот он ходит, ходит и ходит, бормоча: “Ладно, большевики, я вам устрою... устрою... устрою... Вы у меня забегаете”. И начинает мастерить из простыни веревку. “Хлопцы, – обращается он ни к кому и ко всем, – если что – снимите”. Привязав веревку к оконной решетке, он принакает ухом к двери, выжидая, когда надзиратель направится к нашей камере. Расчет прост: за мгновение до того, как откроется глазок, он захлестывает на горле петлю и спрыгивает с койки, надеясь, что надзиратель успеет спасти его. Расчет столь же прост, сколь и ненадежен: надзиратель может почему–либо не заглянуть в глазок. Отсюда “Хлопцы, если что...” А “хлопцы” сидят и думают: “Да когда же ты, скотина, повесишься, наконец?”

22.6. Мученик это еще не все, этим человека еще не определишь, мученик – он же и мучитель подчас. Лишь из абстрактного далека всех страдальцев слезой сочувствия омыл бы... А вблизи – если бы не эта манера размахивать

руками, не эта ухмылка, так раздражающая черт знает почему... И такая мелочность, низменность непосредственных целей, ради которых совершается самоистязание... И более важное: подавляющее большинство заключенных – случайные жертвы режима, на самом деле плоть от плоти его. Им далеко до неприятия его в сути. Ими правят обстоятельства. Они могли бы быть и надзирателями, но обстоятельства сложились так, что они стали заключенными, их мучают в качестве заключенных, но и сами они неустанно ищут более слабых.

(\* Далее часть текста утеряна, – примеч. ред. \*)

...Но вот камерная ситуация: сильный бьет слабого. Помочь только потому, что он слабый? Однако всего лишь вчера он сам бил слабейшего и... завтра будет бить. Грызутся звери... О, если бы, говорю я, оказаться по ту сторону решетки, всей этой решетки – как в зоопарке. Но радоваться тут нечему. Да спасет меня Бог от умения холодной рукой ставить крест на ком-либо. Все-таки сочувствуешь слабому зверю, сочувствуешь и лезешь в его защиту, надеясь, что он сбросит звериную шкуру... И вечно обманываешься. И все же нельзя, исходя из холодной уверенности в завтрашнем зле, спокойно смотреть на сегодняшнее. Завтра – всегда проблематично, сегодня – явь, в которой надо участвовать и не столько ради общего завтра (неопределяемого ни наивным, ни диалектическим оптимизмом приверженцев добра ради всечеловеческого счастливого будущего), сколько ради себя в завтра.

Черт возьми! Дело уже к отбою, а я так и не исчерпал тему. Временные ресурсы минимальны. Только воскресенье, практически. Нет ни времени, ни сил на поиск точных формулировок – пишешь с разбегу, урывками и тайком. Тема эта (о самоистязаниях) не простая – обязательно вернусь к ней попозже. Мне смешны сентиментальные всплески руками, но и подальше от крайностей объективизма с его бездушными ярлыками, развешивание которых неизбежно сопряжено с приданием угловатому, корявому явлению обтекаемой формы. Упущенные или едва намеченные аспекты темы (учесть!): отрезающий от себя куски мяса хотел бы отрезать их от врагов своих, но не может или не осмеливается на это и пожирает в бессильной ярости себя; что, впрочем, ничуть не облегчает вины палачей; укушенный собакой не имеет права становиться на четвереньки и кусать ее в ответ – есть человеческие способы отражения собак; условия, поощряющие низменные инстинкты; китайская месть: набрать в рот говна и плюнуть в лицо врагу; разговор в 1969 г. с экзальтированной девочкой о “фюрере” демохристиан Огурцове И.В., с которым я сидел во Владимире (“Ну и как вы с ним?” – “Да ничего, раза два, правда, чуть не до драки разругались, но расстались тепло”. – “Неужели иделогические разногласия до-

стигали у вас такой остроты?” – “Какие там идеологические разногласия? Раз – из-за махорки, другой – из-за параши”); принципиальная противоположность жизни на виду у всех; недовольство властью лишь потому, что тебя не подпускают к пирогу; Брюховецкий, поджигавший себя, ныне работает пожарником на 3-й зоне (найти описание аналогичного случая в Германии: Гитлер назначает самоподжигателя начальником пожарной команды. В “Науке и религии”?); лагерное преломление проблемы: доступ относительно широкой прослойки населения к предметам потребления, ранее символизировавшим принадлежность к партийно-государственной элите, не означает уничтожения фактического неравенства, но говорит лишь о степени участия советского обывателя в системе мероприятий, направленных на стабилизацию режима путем более утонченной маскировки элитарных прерогатив; белорус, который боялся изнасилования и привязывал на ночь фанеру на задницу; голодовка – тоже самоистязание, дело, следовательно, не столько в форме протеста, сколько в соотносении его с общим духовно-интеллектуальным обликом субъекта и его целями; крайние формы самоистязания – кошмар, пусть и не провоцируемый непосредственно условиями жизни в тюрьме; такая форма протеста (при всех но) все же лучше – в некотором смысле – “европейских” способов борьбы со злом, борьбы рационального с иррациональным, законнического с беззаконием по сути, – ибо приходится принимать правила игры (не настоящие, внутренние, но декларируемые вовне, камуфляжные) “чужого монастыря” и уже одним этим оправдывать существование его устава, но кошмар на кошмар, иррациональное на иррациональное – это взрыв изнутри, это тяжело предусмотреть и включить в систему; коварство “естественного права” на противозаконные (в общечеловеческом смысле) средства, когда несостоятельность легальных средств очевидна...

27.6. На днях меня прямо с работы вызвали в кабинет начальника лагеря, где и состоялось знакомство с заместителем председателя КГБ Мордовской АССР подполковником Блиновым, кряжистым синеглазым мужичком, неуклюже и сурово восседавшим за столом. Присутствовали еще трое в гражданском – далеко не столь солидные, как Блинов, подсюсюкивали и подавали ему реплики. На предложение рассказать о нашем деле я ответил отказом – можете, де, ознакомиться по официальным источникам, – рассуждения о матери-родине не совсем деликатно прервал заявлением, что СССР для меня синоним тюрьмы. Пытались пристыдить меня за нежелание пребывать в русских, спрашивали о национальности Юры и Алика. Воспользовавшись моментом, я высказал соображение такого рода: “Вы отлично знаете, кто они, но



приказали своим ребятам – уголовникам и полициям – распусть слух, что Федоров и Мурженко евреи – и теперь они, как и я, “жиды” со всеми вытекающими отсюда последствиями”.

Все-таки вышколенные нынче ребята в КГБ – еще пяток лет назад я бы непременно услышал: “Попадись ты мне в году пятидесятом...”, а сегодня такое прочтешь разве только что в глазах. Но что будет завтра?

29.6. Понемножку собираю всяческие данные об обитателях спеца. Составил было анкету из 95 пунктов – увы, это нереально, в чем я убедился очень быстро: здесь все так прогнили, что стоит задать два вопроса подряд, как возникает угроза разоблачения и доноса.

Ограничусь десятком основных вопросов, ответы на которые можно получить сравнительно безопасно (ценностные ориентации, сопоставление verbally выраженных установок с реальным поведением... и т.п. – отложить на будущее, так как это требует массу времени). Очень жаль, что с прошлого года перестала выходить управленческая многотиражка “За отличный труд”. Прелюбопытная, помню, была газетенка: из-под дерюги примитивнейшей, грубейшей и наивнейшей до умиления демагогии такие углы выпирали! Не потому ли какой-нибудь по-столичному выученный идеолог-контролер и прикрыл ее? А я еще в Большом Доме наметил ее для контент-анализа: явные и подспудные представления редакции и корреспондентов о национально-социально-духовном облике хорошего и плохого з/к и т.п.

1.7. ...С сегодняшнего дня работаю на прессе. Это самая тяжелая из здешних работ. Пытался отговориться близорукостью – тщетно. Узнал по секрету, что управление приказало впредь использовать меня на самых тяжелых работах. Прессы допотопные, нормы дикие – ничего удивительного, что добрая дюжина з/к только за последние два года осталась без рук.

Нам троим создали особые условия: всякий наш шаг под усиленным контролем, к каждому из нас приставлен десяток стукачей. Трудно отличать просто подлость от провокаций. Нужно найти форму осторожности, которую не принимали бы за слабость, иначе конец: любителей чужих шей не оберешься.

5.7. Бергер, живописуя свои блатные подвиги, ревет – аж стекла трясутся. Но более всего он неистовствует, когда рассказывает о том, как его судили в 1962 г. “Кто свидетели? Тот полицейай, тот педераст, тот кумовский работник – и все до одного позорные антисемиты! Жид им сто лет поперек горла торчит! Вызывают Могилу... Ну, думаю, мразь, еще ведь и полгода не прошло, как я

тебя от Гитлера спас (он ему кирпичом в висок метил). Ах ты тварь, говорю, ты что там на меня налил? А он: “Кому ты веришь? Чекистам? Век свободки не видать...” Прокурор зачитывает его показания: терроризировал, отрезал уши, подстрекал и т.д., а Могила ни в какую: не говорил, мол, этого – хоть ты тресни. Судья его было стращать, ну тут я как заору: “Вам что – еще один процесс Бейлиса нужен? Ритуальное преступление съете? Не ем я христианских ушей! Поняли? Не ем! Не выйдет! Вы уже сотни Нефедовых расстреляли – на Бергерере сорветесь!” Судья: “Успокойтесь, Бергер, успокойтесь”. Потом спрашивает Могила: “Вы давно его знаете?” Тот: “Давно”. “А что из себя Бергер раньше представлял?” “Да как вам сказать, уважаемый гражданин судья, – Могила ему. – Вы так Сталина не боялись, как боялись Бергера на Дергачке, например. Там его слово было законом”...

15.7. Вчера виделся с Люсей и Виктором Хаустовым (35) С Виктором дали всего 20-минутное свидание. Как всегда, надули: сказали, что дают 4 часа на свидание с теткой, а потом без предупреждения урезали наполовину. Provokatsiya чистой воды. Не дали даже пачки сигарет, а полицаи выносят со свидания пуды сала.

Сегодня вызвали меня с работы и как есть чумазого ввели в кабинет начальника лагеря: из 2-х в штатском один оказался майором Лесниковым, начальником Ленинградской следственной группы, занимавшейся нами. Все одно и то же: прощупывание настроения, заезды издали на предмет раскаяния, посулы, угрозы. Почему, спрашиваю, украли у меня вчера 2 часа свидания – пленка что ли кончилась? Да нет, пленки, говорит, у нас хватает. Это, поясняет, намек тебе: веди себя хорошо – и все будешь иметь. Как, спрашиваю, хорошо? Сотрудничать с вами или, может, в “Известиях” всю “правду-матку” изложить? “А почему бы и нет?” – ласково так улыбается он. Тут я вспомнил, что ребята там в промзоне чай заварили, того и гляди выпьют без меня... Ну, говорю, я пошел – работа не ждет... “Так как же?” – не отстает майор. Вспомнил я лагерные наблюдения: кто резко говорит чекисту “нет”, того он не пытается вербовать, тогда как всякая уклончивость двусмысленна, – и решил не церемониться. Не знаю, говорю, правда или нет, но рассказывают, что чеки провозгласили такой печальный лозунг: “Пусть нас ебут, но подмахивать мы не будем”, – в ближайшие 15 лет это будет и моим лозунгом. На том и расстались.

Вечером я, возвращаясь с работы, самовольно влетел в кабинет Колгатина.  
Диалог:

Я: Почему мне сначала дали 4 часа, а потом...?

Он: Я вам с самого начала подписал два часа.

Я: Дежурный офицер сказал, что 4.

Он: Этого я не знаю.

Я: Почему именно 2, а не 4? Я ведь никаких взысканий пока не имею.

Он: Но и ничем хорошим себя не зарекомендовали.

Я: Когда у меня будут заслуги, вам придется меня чем-то поощрять. 4-часовое же свидание предусмотрено законом, и сократить его можно лишь в качестве наказания. Так за что? Физиономия моя вам не нравится или, может, цвет лица?

Он: За такой тон я мог бы сразу оформить вас на 15 суток.

Я (подчеркнуто четко и напористо): – Запомните, начальник, еще пара таких провокаций, и я сдохну, но укажу вам ваше место!

Я ожидал, что нажмет кнопку под столом и меня утащат в изолятор, но он как-то растерялся, заюлил глазами и сказал, что это не он, что это приказ сверху.

Администрация еще не нашла нужного тона в обращении с нами. Этому мешают поднятая вокруг нас пыль, в которой слишком назойливо мелькают синые погоны. Любопытно, что их (администрацию) намеренно дезинформируют: рассказывают о наших связях с ЦРУ и Мосадом, о том, что по нашему делу расстреляли шестерых (слова замполита старшего лейтенанта Лосева – по его уверению, так сообщили им во время специальной лекции в управлении). А недавно по местному радио зачитывали опубликованную в спецжурнале для работников МВД “К новой жизни” статью о нашем деле – роман да и только.

20.7. По вошедшему в силу в 1969 г. закону рецидивисты, отсидевшие треть срока, должны содержаться в бараках обычного (открытого) типа, а не в камерах. Сегодня на работе Колгатин, отвечая на вопрос Бергера, почему нарушается этот закон, сказал, что мы особый лагерь, и у нас свои законы. О нарушении же данной статьи знает сам генеральный прокурор Руденко – так что все, дескать, в порядке.

31.7. Писать все труднее – устаю очень. Всякий день надо решать мелкие проблемки – удачное решение их мало что дает, хотя и выматывает предельно, промахи же болезненны. Типичный пример. Зэка Репейкину кто-то сказал (кто именно, он скрывает), что я хочу его избить, за что – неясно. Я его, собственно говоря, и узнал – то только после того, как меня спросили, за что я собираюсь его избить. Пошел к своей “жертве” объясняться, она от меня бегом. А вечером Воробьев сказал, что посадит меня в одиночку, если только я осмелюсь приблизиться к Репейкину. Очевидная нелепость ситуации никого ни в чем не убеждает. Важен донос, а все остальное – так себе.

6.8. Вызвал капитан КГБ Кочетков. Явно в связи со вчерашней беседой с Алик Мурженко: пытался его завербовать – сперва льстил и доказывал, что ему, украинцу, с евреями не по пути, потом обещал досрочное освобождение (лет через 8). Кроме прочего, сообщил по секрету, что я и Юра давно предлагаем ему свое сотрудничество, но он наши предложения отклоняет, так как мы люди несолидные и не внушаем ему доверия. Закончил он угрозами скомпрометировать его, а когда и это не оказало должного действия, сказал, что создаст такие условия, что нового срока не миновать. Алик взбеленился и заявил, что ему нечего терять, и он сумеет броситься в пропасть в обнимку с тем, кто его в нее сталкивает. Кочеткову, видно, важно было выяснить, пересказали ли Алик нам вчерашнее.

Он: Что это вы все с протестами какими-то? Все вам не нравится.

Я: То есть?

Он: Да вот ваше заявление о конфискации писем.

Я: Уточняю – незаконной конфискации. Здешняя администрация страдает комплексом провинциализма: стоит им увидеть в письме иностранное слово, как им чудится черт–знает что...

Он: Передайте Мурженко, что я забыл его угрозы. Погорячились мы оба...

Я: Зачем же было так грубо вербовать человека?

Он: Вербовать? Может, скажете, что я и вас вербовал?

Я: Нет, зачем же. Но и свои услуги я вам не предлагал. Или вы и этого не говорили Мурженко?

Он: Ну и выдумщики вы! Да зачем вы мне нужны? У вас такие сроки – слишком хлопотно с вами связываться.

Я: Казалось бы, наоборот: большой срок гарантия верной службы.

Он: Не всегда. Вас быстро разоблачат, и вы будете балластом на нашей шее: будете требовать льгот, помилования и т.п., а толку от вас никакого.

Я: Ну мне–то это не грозит.

Он: А зря вы так настроены. Я ведь могу вам и насолить.

Я: Например?

Он: Буду вас вызывать к себе каждый день – все решат, что вы стукач.

Я: И только?

Он: Включу вас в списки лиц, намеченных к вывозу на строгий режим. А так как вам до половины срока далековато, все поймут, что вы мой работник.

Я: Мои друзья этому не поверят, а остальные меня не интересуют. Оно бы даже и к лучшему: тут такая зона, что даже мнимое сотрудничество с ЧК может огородить человека от многих неприятностей. Так что действуйте. Кстати, как вы сочетаете такие методы работы с законом?

Он: Закон законом, а жизнь жизнью. Диалектика! Иногда для соблюдения закона нужно отступать от него.

Я: Иногда? А кто дозирует?

Он: Вы на спещу, а не где-то там. Тут не исправительное заведение, а карательное. Наше дело – согнуть вас в дугу, чтобы шелковыми стали. Ясно?

11.8. Написали обращение к генсеку ООН У Тану... Как его переправить за проволоку? Проблема. Стерегут нас крепко. Даже из Владимирского централа я ухитрился писать на волю, минуя цензора, а тут, как ни бьюсь, придумать ничего не могу – пока. Тем, кого отправляют в больницу, даже клочка газеты не разрешают брать с собой; у освобождающихся заранее изымают все бумаги и книги и тщательно исследуют их в поисках тайнописи; перед свиданием исследуют все дыхательно-пихательные отверстия и переодевают в “хозяйскую” робу; надзиратели, безбоязненно спекулирующие чаем и продуктами, бледнеют при одном упоминании о бумагах...

13.8. Вчера после обеда, только я развалился на бревнах подремать до гудка, подсел Стовбуненко и открыл мне душу, точнее – приоткрыл, пытаюсь наиболее выгодно для себя осветить ее потемки. Его связь с КГБ – секрет Полишинеля, и он, желая и капитал приобрести, и невинность соблудности, предложил мне свои услуги в качестве поставщика чекистам дезинформации и моего осведомителя о их планах относительно нас троих. Я дал ему выговориться. Оказывается он, узнав от Синявского, вместе с которым был тогда в больницы зоне, что нас посадили, решил продаться ЧК, чтобы войдя к ней в доверие, потом помогать нам. (А я-то думал, что чистой воды альтруизм – химера!) Это именно он устроил так, чтобы мы с Юркой попали в одну камеру – плюс он сам и кабинет КГБ за стеной. (В определенные дни Кочетков выдает ему “разговорную” пачку чая: предполагается, что чифир располагает к болтливости). На мой вопрос, что интересует КГБ, он ответил: “Все! От знакомства на воле до личных особенностей: привычки, характер, темперамент, степень общительности и даже сны”. – “Чем же ты, болезный, помочь нам хочешь?” – спрашиваю. “Ну, во-первых, – говорит, можно посадить любого из твоих врагов на воле, создав видимость, что он играет роль связного между тобой и Западом. (Хм, говорю.) Во-вторых: мы поставляем ЧК ложную, но правдоподобную информацию, а она поддерживает ходатайство моей матери о помиловании (мать, говорит, моя – старая коммунистка, не без связей... но не хочет хлопотать за меня, пока я не исправился, не стал вполне советским человеком, – причем услышать она об этом хочет именно из начальственных

уст), я освобождаюсь, женюсь на иностранке, получаю доступ в какое-нибудь посольство и... краду ребенка... иностранного, конечно... Дескать, выпускайте на волю Кузнецова, Федорова и Мурженко, а не то ребенка не верну”.

“Киднэппинг, значит, – понимающе поддакиваю я. – Это мысль! Но куда же ты спрячешь иностранного ребенка? Тут ведь не Америка с частными особняками...” – “Уж куда-нибудь спрячу. А можно просто усыпить его порошками. Да если бы даже и умер!... Ради такого дела...”

Что-то вроде как щелкнуло вверху, из-за туч заступился бледно-сиреневый свет (“утки крикнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, проснулась гамаюн-птица, зашевелился зеленый бор...”), все чуть-чуть сместилось... явь ли беременная бредом, бред ли рядящийся явью, Иван Карамазов и дите в фундаменте... А, может, запустить в черта чернильницей, то бишь врезать ему промеж глаз?

Голос посланца трезвой реальности – надзирателя Панкина: “Почему не работаете? Запишу!” – “Ты же, командир, – говорю с облегчением, – писать не умеешь”. Это чистой воды правда, однако Панкин почему-то рассвирепел. “Кузнецов! – кричит он. – Рабочее место!.. Рапорт! Интеллигент вшивый!”

Я так и не пришел к окончательному выводу относительно побуждений Стовбуненко. Что преобладает? Глупость, подлость, моральная глухота или болезненная потребность в сентиментальной дружбе – с клятвами у склепа и расписками кровью. (В том году Динмухаммедов вскрыл себе вены и попросил Стовбуненко препятствовать оказанию медицинской помощи. Дело было в больничной зоне, в камере, пышно зовомой палатой, они сидели вдвоем и, видать, подружились. Разумеется, перевязать Динмухаммедова не представляло никакого труда, несмотря на решительные вопли Стовбуненко, но врачи с удовольствием умыли руки... и к утру имели труп. Тогда Стовбуненко еще не работал на ЧК и двигала им дружба, романтическая верность торжественно данному обещанию... и тайное желание насолить администрации, увеличив процент смертности.) Перед съемом с работы я подошел к нему и сказал, что в такие игры не играю – не в смысле только иностранного дитяти, но и вообще. И не столько потому, что на таких условиях игра с ЧК неизбежно идет вслепую, бесперспективна и чревата возникновением личной ненависти ко мне Кочеткова (одно дело, когда он травит меня в качестве рядового врага и другое – как человека, пытающегося его обыграть, т.е. посягающего на его погонные звездочки), сколько потому, что я вообще шарахаюсь всего, что связывает...

(\*Далее утрачена часть текста, – примеч. ред. \*)

Стовбуненко, между прочим, сказал, что ЧК интересуется тем, как можно понудить меня к максимальной болтливости – на любую тему – в кабинете. Он

считает, что ЧК собирается из магнитофонных записей моей болтовни смонтировать покаяние. Насколько это верно – трудно сказать.

22.8. Симутис дал мне копию заявления, отправленного им в прошлом году в Президиум Верховного Совета СССР. Ему интересны мои соображения, которые он хочет учесть при составлении нового заявления. Я старался, сказал он, избежать всего, что зовется антисоветчиной, но не ценой искажения той правды (я даю лишь самый минимум ее), без упоминания о которой вообще не могут быть поняты условия, в которых оказались многие из нас, литовцев – теперешних лагерников.

Полагая, что заявление, отправленное в Президиум, не будет открытием для чекистов, если они все-таки обнаружат мои бумаги, я решил переписать его, не спросив разрешения Людвиг.

Президиуму Верховного Совета СССР  
от Симутис Людвикас Адомаса,  
1935 г. рождения.

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне было 5 лет, когда мне показали труп моего отца. Половина лица опухшая, синяя, другая половина кровавая. Выколоты глаза. На руках и ногах кожа белая, отставшая от тела, обваренная. Язык вытянут и перетянут веревкой. Половые органы раздавлены (об этом я узнал позже). Рядом много других так же изуродованных трупов. Плач моей матери и многих незнакомых мне людей. Проклятия в адрес большевиков.

До этого я не слышал слова “большевики”. О большевиках первую информацию жизнь мне преподала в виде ими изуродованных трупов и в их адрес посылаемых проклятий: людоеды, изверги, уроды, подонки человечества... Эти проклятия произносились не пропагандистами, а от ужаса и горя теряющими сознание матерями, женами и даже мужчинами.

Это было в июне 1941 г., после отступления Красной Армии. Мне тогда было 5 лет.

Под знаменем антисоветской подпольной организации “LLKS” (“Движение борьбы за свободу Литвы”) я оказался не потому, что мне не нравились идеи социализма – я тогда был слишком молод, чтобы достаточно разбираться в теориях, – а потому, что Красной Армией принесенная в Литву советская власть расправлялась с неприемлющими непонятные новые порядки людьми с чрезмерной и преступной жестокостью. “LLKS” же представляло собой в

Литве общеизвестную и довольно внушительную силу, выступающую против оккупации Литвы Советской армией, против ею навязываемого советского строя.

Шла борьба неравная, поэтому жестокая. Борьба не на жизнь, а на смерть – что не ново в истории людей. Если партизанам Вьетнама сегодня идет обильная помощь не только из Советского Союза, но и от компартий многих других стран, то защищавшим свою маленькую Родину от могущественного агрессора партизанам Литвы извне по сути дела не помогал никто. Почти все честные люди мира (если после всего этого их можно считать честными) молча смотрели на избиение литовцев советскими солдатами.

Пять послевоенных лет не прекращалась в Литве стрельба, лилась людская кровь, стонали люди как от советской власти, так и от руки “LLKS”. Но я знал, что в “LLKS” литовцы, свои, а солдаты советской армии говорили на непонятном, чужом, русском языке. Я знал, что революции в Литве не было, что Красная армия пришла в нашу страну и стала наводить в ней свои порядки без приглашения и что это называется оккупацией. Я знал, определенно знал, что не “LLKS” довело борьбу до такого ожесточения, ибо “LLKS” еще не существовало, когда чекисты уже варили руки еще живому моему отцу, раздавливали ему половые органы.

Я хотел жить и учиться, и играть. Но какая жизнь, когда третьи сутки лежит на улице убитый сосед и никому не разрешено его хоронить... Какая учеба, когда то один, то другой школьный друг перестает появляться в школе – их вместе с семьями в заключенных товарных вагонах увезли в Сибирь... Какая игра, когда плачут взрослые...

О том, что я не сгущаю красок и не занимаюсь клеветой, свидетельствуют цифры. Вот некоторые из них: “С июля 1944 г. по декабрь 1945 г. ликвидировано 1067 антисоветских подпольных организаций и групп, 839 вооруженных бандитских групп (наши партизаны обзываются бандитами – Л.С.), 11.870 контрреволюционеров” (Партархив ЦК КП Литвы, фонд 1771, оп. 1771, од. сб. 89, лист 88). Сравните: “За годы Великой Отечественной войны в антифашистском подполье и партизанском движении участвовало 9187 человек, из них погибло 1422 человека” (Штарас “Партизанское движение в Литве в годы Великой Отечественной войны”. Кандидатская диссертация, 1965, лист 243).

В моей груди билось живое сердце, не каменное. Остаться в стороне я не мог. Не мог!

Моя антисоветская деятельность была честной и бескорыстной. Я делал только то, что искренне считал необходимым или полезным для дела борьбы с чуждой литовскому народу советской властью. Ничего не делал ради лич-



ной выгоды или славы. Я был убежден, что борюсь против несправдливости, что исполняю свой гражданский долг перед своей Родиной, своим народом и всем человечеством.

Меня не смущало, а наоборот – воодушевляло – то обстоятельство, что антисоветское движение в Литве, объединявшее в первые послевоенные годы десятки тысяч людей, через 10 лет борьбы стало крайне малочисленным. Я находил нужным бороться не только за себя, но и за тех, кого сразили пули врага, и за тех, кто попал в руки чекистов и с номером на спине, умирая с голоду, добывал уголь на Воркуте, а также за тех, кто, испугавшись пыток и Сибири, испугавшись того, что не видно победы, подняли или опустили руки.

Я был арестован не в 1952 г., когда органы госбезопасности получили достаточно данных о моих связях с антисоветским подпольем, о том, что у меня имеется оружие, что я распространяю нелегально издаваемые “LLKS” газеты, брошюры и листовки. Меня арестовали спустя три года активной моей деятельности, в 1955 г., при том тогда, когда я, поверженный туберкулезом позвоночника, по прогнозам врачей залег на три года в больницу, лежал в гипсе, был не в состоянии ходить.

Это не способствовало мне проникнуться уважением к чекистам, не побуждало менять отношение к Советской власти. Только публичное осуждение КПСС культа личности Сталина и признание, что в стране имели место ряд ненормальных явлений, как репрессии против невинных граждан, жестокость, очковитирательство и т.п., и что “это не должно повториться” (Хрущев), поставило передо мной вопрос: неужели Кремль изменит свою политику так, что борьба против власти станет ненужной?

Притом к тому времени я уже ясно осознал, что политдеятельностью я занялся не по призванию, а по необходимости, что быть политдеятелем я не могу, ибо нет у меня ни нужных способностей, ни желания, ни достаточного образования.

Поэтому я встал на путь мирной, спокойной, трудовой жизни. Стал повышать свой общеобразовательный уровень. Приобрел пару трудовых специальностей. Стал работать, хотя по состоянию здоровья от работы освобожден. Напряг все силы, чтобы избежать нарушений установленного в заключении режима, хотя признать его справедливым не могу. В течение последних 8-ми лет (до 1970 г.) я непрерывно был голоден. Было очень тяжело. Но я молчал, хотя такое отношение власти к заключенным, особенно к политзаключенным, признать справедливым не могу. Почти непрерывно нам здесь дают хлеб настолько плохого качества, что даже голодные люди не в силах съесть свой паек. Этим же хлебом снабжают и жителей близлежащих населенных пунктов.

Но раз молчат полноправные граждане, молчу и я – заключенный, хотя такое молчание считать нормальным не могу. Оно не соответствует духу “морального кодекса строителя коммунизма”. Ибо теперь не голодные для страны послевоенные годы, теперь, судя по газетам, есть из чего сделать хлеб нормальным.

Меня представители советской власти часто обзывают преступником, бандитом. Я молчу, хотя считаю такое отношение ко мне несправедливым. Несправедливым не только потому, что я не бандит, а и потому, что официальная политика советского государства декларирует уважение к инакомыслящим. И т.п.

До сих пор я не проникся доверием и уважением к советской власти, к идее коммунизма. Это наверняка потому, что мое пребывание в заключении не способствовало, а наоборот – мешало этому. Здесь представители советской власти, борцы за коммунизм (по крайней мере по занимаемой должности) мне часто советуют: “Меняй взгляды. Другого пути на свободу нет”. И тем самым лишают меня возможности относиться к ним и к представляемой ими власти и партии с уважением. Ибо кому, если не им, положено знать и понимать учение Маркса о том, что взгляды человека формируются в зависимости от многих и многих факторов, но только не от собственного желания занять такие-то или иные взгляды!

Трудовая сторона воспитательной работы здесь, в исправительно-трудовой колонии особого режима, где я содержусь, тоже поставлена так, что кроме от-вращения и к труду, и к администраторам этого труда, больше ничего мне дать не может. Я люблю трудиться от души, в поте лица, творчески. Об этом свидетельствуют благодарности в моем личном деле за хорошую работу и примерное поведение. Но когда здесь от меня требуют работу, для выполнения которой мне не дают ни материалов, ни нужных инструментов, в связи с чем я вынужден работать плохо, когда первую половину месяца работы вообще нет, а вторую половину приходится работать за двоих, когда любая попытка изготовить недостающий для работы инструмент или приспособление сопровождается подозрительными взглядами надзирателей, а то и настоящим следствием, и часто квалифицируется как нарушение режима, – такой труд меня не облагораживает.

Прошло 15 лет моей жизни в заключении. Понимаю, что этого срока слишком мало, чтобы притихла боль в сердцах близких Осипова, погибшего от моей руки. Но ведь и в моем сердце до сих пор не утихла боль за зверски чекистами замученного моего отца, который был арестован по подозрению и виновность которого (даже перед советской властью) так и не была доказана.

Даже на реабилитацию его не могу надеяться, ибо он был замучен до суда, вернее, без суда. А все его знавшие люди мне говорили, что он был очень хорошим человеком.

Я против, категорически против мести.

Мое поведение в заключении свидетельствует, что я способен вести трудовой, мирный образ жизни, быть лояльным к советской власти, если она серьезно борется за исправление своих ошибок.

Понимаю, что это свидетельство не обязательно должно быть воспринято как доказательство. Разве мало людей, лицемерящих целую жизнь, не только 15 лет!

Но все-таки. Мне теперь уже не 15–19 лет, когда я был способен бить лбом об стену. Я теперь склонен к расчету. Я знаю, что органы госбезопасности при содействии советской армии давно ликвидировали “LLKS”. Газеты и журналы советской Литвы, которые я имею возможность в заключении читать, утверждают: литовский народ понял, что коммунизм не только неизбежен, но и прекрасен, что союз Литвы и России не только прочен, но и полезен, поэтому для антисоветской деятельности теперь в Литве почвы нет. Следовательно, нет основания полагать, что я возобновлю антисоветскую деятельность, если бы меня освободили.

До моего ареста я, будучи антисоветчиком, сумел быть и комсомольцем, даже комсомольским активистом. Теперь я тоже сумел бы сыграть роль раскаявшегося преступника, каковым здесь меня хотят сделать. Сумел бы исписать целую простынь хвалебств в адрес и начальника отряда и всей исправительно-трудовой системы советского государства и советской власти вообще. Сумел бы наговорить кучу приятных обещаний. Этим заслужил бы ходатайство администрации колонии о помиловании меня. Но я этого не делаю. И не сделаю. Ибо это было бы не от души. Если нет нужды говорить, если это надо, я умею и могу о многом помолчать. Но лгать, тем более лгать ради личной выгоды уж очень не хочется.

Я верю в торжество справедливости.

Это не означает, что я в советском строе не вижу ничего хорошего. Не об этом здесь речь. Здесь я только подчеркиваю, что не бороться против советской власти я не мог, что преступником я не был и не стал, что моя жизнь в заключении не способствовала разрушению моей враждебности к власти советского государства. И нет оснований ожидать, что положение в скором времени изменится, ибо разрыв между официальной линией советского государства и конкретным положением вещей здесь слишком глубок. Наблюдать же изменения, происходящие за забором, в достаточной степени не могу, ибо от

них я надежно изолирован. (Может ли кто-нибудь в мире поверить, что я до сих пор не видел телевизора?! Но это правда.)

Понимаю, что меня, с оружием в руках выступавшего против советской власти, чекисты не могли не арестовать и не содержать определенное время в заключении. Но не понимаю, почему меня в заключении морили голодом, всячески надо мной издевались. Притом теперь, когда борьба уже закончена, когда мы уже побеждены, мое пребывание в заключении становится бессмысленным.

Тем более, что мое состояние здоровья в последнее время стало заметно ухудшаться. Если теперь я еще способен работать и заработать себе на жизнь, то в ближайшее время в условиях заключения я могу стать неспособным к труду. Тогда освобождение для меня стало бы более горьким, нежели смерть в заключении.

Из вышесказанного следует, что дальнейшее мое пребывание в заключении не может воспитывать во мне уважения к власти советского государства, а наоборот – будет мне указывать, что, несмотря на громкие обещания, все-таки повторяется то, что “не должно повториться”, подтвердит уже зародившуюся во мне мысль, что тогда, в 1956 г., Президиум Верховного Совета СССР отменил решение Прибалтийского Военного Трибунала о расстреле только для того, чтобы меня не просто расстрелять, а замучить невыносимыми условиями жизни в заключении.

Прошу меня освободить.

19.8. Меня тянет прокомментировать это заявление и передать впечатление о самом Людасе. Но я этого не буду делать – все по той же причине: минимум сведений о честных людях, дабы не повредить им невольно. Надеюсь, для меня еще наступит время обобщений и выводов, но и тогда осторожность да не оставит меня. Иногда мне кажется, что я-таки соберусь с духом и посягну на художественный вымысел – он не освободит меня от “уголовной” ответственности за написанное, но зато его непросто использовать во вред другим. А пока несколько цифр о литовцах. Здесь их семеро. Лишь один из них – Багдонас – имеет заслуги перед ЧК: пойманный в 1955 г., он помог госбезопасникам арестовать группу партизан (в том числе и Симутиса), однако был приговорен к расстрелу, который ему потом заменили 25 годами, 16 из которых он уже отсидел, тайно сотрудничая с ЧК. Однако на очередное моление о помиловании ему ответили отказом, крайне его обескуражившим. Создается впечатление, что по отношению к прибалтам и западным украинцам – ведь именно на этих землях Советы наиболее откровенно демонстрировали свою суть – действует не только закон беспощадной мести – всяк, не спешащий встать на колени, да сгниет в тюрьме (месть обладателей абсолютной истины, радикальных преоб-

разователей мира неизбежно кровава и беспощадна), – но закон ненависти к тем, кому причинено наибольшее страдание. В нашем лагере сейчас 120 заключенных (и 35 человек администрации, включая и надзирателей), 7 литовцев это чуть меньше 6%, тогда как число литовцев от 240 миллионов составляет около 1%. Одному – Шлимасу – снизили срок до 15 лет, троим другим добавили срок за какие-то лагерные дела. Таким образом всего у семерых сроку 182 года – по 26 лет на брата, из них они отсидели 125 лет – каждый в среднем по 18 лет. Их средний возраст 46 лет. Все они католики. Ни один из них не резался, не делал никаких наколок на лице (подозреваю, что и то, и другое – преимущественно русские формы бунта), так же как никто из них не стал наркоманом или гомиком. Очень дружны между собой, образуют вид землячества, исключительно порядочны, трезвы, не авантюристичны, соблюдают дистанцию в отношениях с нелитовцами, особенно с русскими, никаких проявлений антисемитизма (во всяком случае явного), все они люди безусловно мужественные, не помышляющие о драке в кустах. На фоне уголовно-полицейской публики, задающей тон в нашей зоне, литовцы производят отряднейшее впечатление. Им сулят досрочное освобождение, если они осудят свое прошлое и возопят о любви к победителю, но никто, кроме Багдонаса и Шлимаса, просьб о помиловании не писал: Багдонаса обманули, несмотря на сотрудничество с ЧК, а Шлимасу снизили срок до 15 лет, очевидно, потому, что он считается душевнобольным (за 15 лет он не произнес и сотни слов).

Кроме русских и украинцев, есть еще несколько молдаван, цыган и башкир, о которых я еще не собрал данных. Помимо этого у нас есть латыш, эстонец, немец, грузин, армянин, узбек и казах.

	лат.	эст.	немец	грузин	арм.	узбек	казак
возраст	32	43	55	75	35	36	32
срок	13	25	15	15	?	14	20
расстрел по суду		да	да	да			
отсидел	12	16	5	5	?	13	15
стукач	да	нет	да	да	нет	?	нет
наркоман	да	нет	нет	нет	нет	да	не
гомик – активный	?	нет	нет	нет	?	да	нет
гомик – пассивн	да	да <sup>1</sup>	нет	нет	нет	нет	нет
уголовник							
в прошлом	да	нет	нет	нет	да	да	да
полицай	нет	нет	да	да	нет	нет	нет
взгляды <sup>2</sup> :	а)националист; б)демократ; в)потребитель; г)быватель.						
	в)	а)	г)	в)	а)	а)	г)
самоистязания:	а)резался; б)голодал						
	а)	б)	нет	нет	б)	а)	нет

Сноска см. на стр. 133

Евреев четверо. Хотя, если верить лагерным юдофобам, которым всюду чудятся евреи (по их убеждению, и Брежнев, и Косыгин, и вся кремлевская рать – евреи), их здесь человек 20 (причем подозреваемые в принадлежности к Божом избранной или проклятой – как кому – расе возмущаются этим несказанно и, “маскируясь”, рядятся в тогу патологически-агрессивного юдофобства). И так, евреев здесь четверо. Это 3,3% всех з/к в зоне, тогда как в СССР евреев меньше 1% (Брежнева и Косыгина я не считаю), на других зонах (в Мордовии) процент евреев достигает 6–8. Средний возраст – тридцать пять лет; отсижено по 14 лет; в случае освобождения “по звонку” (очень вероятный случай) будет отсижено по 22 года; трое в прошлом уголовники; трое мечтают об Израиле; двое уголовники (по типу отношения к жизни) и сейчас; один, похоже, стукач; двое – наркоманы; один – активный педераст; трое прибегали неоднократно к голодовкам; один резался.

5.9. Нам зачисляют на лицевой счет около одной пятой заработка (50% сразу вычитаются на нужды карательного аппарата, потом 14 рублей за питание, 5 за одежду и т.д.).

Интенсивность работы на прессах – предельная. Выматываюсь до дрожи во всех конечностях, до отупения... Скоро, видно, взбунтую...

19.9. Время от времени через больницу просачиваются сведения о наших подельниках. Все ведут себя очень мужественно, чему я несказанно рад. Пару

---

*1) Сидит за участие в национально-освободительном движении. На почве медицински засвидетельствованного психического заболевания считает себя женщиной.*

*2) Это черновая прикидка - взгляды я здесь характеризую очень условно, намеренно ограничиваясь доминирующим признаком: а) Националист - человек, болеющий за судьбу своего народа и готовый служить его интересам бескорыстно. Он может быть и демократом, и монархистом, и кем угодно еще, но если все это на втором плане, я зачисляю его в националисты - за неимением возможности собрать более полные сведения; б) Демократ - тут все понятно; в) Потребитель - точнее агрессивная разновидность такового, уголовный вариант: разгул инстинктов, бездуховность, цель жизни - удовлетворение низменных потребностей любой ценой; г) Обыватель - существо аморфное, пока безобидное, потенциальный потребитель (в вышеприведенном условном смысле).*

раз пересылали нам продукты (сахар, молоко в порошке, чай). Главное – чай. У них он свободно продается в магазине, а у нас запрещен и идет из-под полы по 3 рубля за пачку. Так выгодно начальству: можно выкачивать деньги из зоны, по дешевке покупать информацию (ни для кого не секрет, что и опер, и ЧК расплачиваются со стукачами чаем) и выменивать за чай всякие безделушки и небезделушки, которые з/к мастерят. Большинство чайных каналов контролируются кумом (опером). В нашей зоне чай все еще считается наркотиком, хотя в других лагерях он – не наркотик с 1969 г. Все еще в ходу легенда о вреде так называемого чифира (не видел, чтобы кто-нибудь сыпал более 8–10 грамм чая на 100 грамм воды) – когда-то она была лишь плодом некомпетентности лагерных чинуш, теперь она – прикрытие “воспитательных” мероприятий.

Сильва, кажется, больна – так я понял некоторые намеки в ее письме. Беда. Казнит себя за легкое верие, с каким воспринимала выверты следователей. Пишет: “Не дает покоя мысль, что я не смогла выдержать в известное время и вела себя недостойно (мягко говоря). Не могу себе простить, что представленные мне “доказательства” (ты и все другие от меня отвернулись и наперегонки поставляете нужную информацию) я восприняла на веру...” КГБ всем нам дает весьма горькие уроки о правилах советской жизни (увы, не на дармовщинку это учение!).

Сильва еще и за день до ареста была почти равнодушна ко всему, что не имело прямого отношения к репатриационной проблеме. Суд для меня заканчивается не столько судейской скороговоркой: “Смертная казнь, смертная казнь...” и наручниками, сколько ее вскриком сквозь слезы: “Ненавижу все здесь! Ненавижу!” И теперь ее письмо – что ни слово, то гнев и сарказм, направленные в совершенно недвусмысленный адрес. Ее случай – отнюдь не исключение. Единожды попавший в чекистский лабиринт (как бы это ни было нечаянно!) если и добирается до выхода, то с таким мощным запасом ненависти, что его хватает и до Ваганькова и до Тель-Авива. С того момента, как репрессивное государство вынуждено перейти к более гибким формам властвования и уже не может привычно убивать всех инакомыслов, оно сталкивается с проблемой выползающих из лабиринта. Российскому репрессивному государству неизбежно не хватает гибкости для политики интеграции разномыслов в свою систему, оно их давит, формируя из них или притаившихся врагов или живые трупы, которые могут однажды воскреснуть – пусть пока не для победы, а для поражений. Но тот не видит дальше своего носа, кто скептически вопрошает: “Ну поднялись чехи... И что? Против такой-то силы?” Для побед, сколь бы ни было до них далеко, нужна традиция борь-

бы, легенды и ореолы мученичества – иначе национальный характер захиреет. Ануйевская Жанна (36) говорит, что Бог хочет даровать победу французам, ставшим героями и свободолюбцами в битвах. Ему не с руки разбазаривать блага просто так, за здорово живешь, Он протягивает их сверху, а ты тянись за ними.

24.9. Третий день мучаюсь желудком. Небывальщина. В жизни ничем не болел и, хвастаясь здоровьем, говаривал, что гикнусь, видать, в одночасье, от натуги – на унитазе или на женщине. И вот – приступы боли в эпистолярной части желудка, рвота и прочее. Язвенные симптомы. Капитан Табаков, фельдшер по профессии и чекист по призванию (наш начальник медчасти), сказал буквально следующее: “Ничего у тебя не болит”. – “То есть как это так! – вяло возмутился я (ведь очень непросто пересилить себя и всерьез доказывать, что ты не симулянт, когда боли столь непреложно реальны, что муки твои, ты считаешь, должны быть очевидны всякому). – И рвоты...” – “И рвот никаких нет”, – проникательно взглянув на меня, сообщил Табаков и пару раз ткнул мне рукой в живот, видимо, полагая, что это пальпация. Когда лежу на нарах – еще так-сяк, но стоит порезче дернуться у пресса, как прошибает холодный пот, гнет пополам от боли и тошнит. Сода-матушка кое-как выручает пока. Таблетки же, выдаваемые Табаковым (что это такое, он не говорит), не помогают.

27.9. Все то же и еще хуже. Не чаял, что придется хлебнуть медицинского горюшка. Диагноз могут поставить только в больнице (т.е. в 3-й лагерной зоне), так как здесь ни лаборатории, ни рентгена, ни главного врача. Люди воют от боли месяцами, прежде чем их отправляют в больницу (там тоже не велика помощь). Табаков сказал, что если боли (он в них поверил, вроде бы) не прекратятся, то в феврале – марте он отправит меня (может быть!) в больницу. Перспектива! Хорошо, как они утихнут... Непохоже.

4.10. Терпение мое лопнуло. Сегодня тошнило непрерывно, от боли зубами скрипел, еле конца рабочего дня дождался – Табакова ждал, словно кудесника-избавителя от всех бед (таково могущество белого халата, что, замученный болью, забываешь все, что знал о том, кого этот халат облекает). И он-таки сунул во взыскующую бальзама ладонь три таблетки – на этот раз в упаковке, на которой значилось: “Энтеросептол”. (Не зря нам запрещено иметь медицинские книги и справочники). Не захлопни он кормушку, я бы его, наверное, кипятком ошпарил: настолько-то я разбираюсь в медицине, чтобы



знать, что энтеросептол прописывают при детских поносах, диспепсии и в качестве бактериостатического средства. А он дал его как болеутоляющее. С завтрашнего дня объявляю голодовку.

5.10. Утром вручил дежурному офицеру заявление: “В течение двух недель меня изводят сильные боли в желудке и рвота. Несмотря на заявления капитана Табакова, что я абсолютно здоров, они не прекращаются. Попытку использовать энтеросептол в качестве болеутоляющего расцениваю как издевательство. Требую оказания мне квалифицированной врачебной помощи. С сегодняшнего дня я в состоянии голодовки”.

Наконец – то я один – все ушли на работу. До четверти шестого я могу упиаться одиночеством и относительной тишиной (полностью тихо на спецу никогда не бывает, даже ночью: гомонят надзиратели, колотится о дверь какой-нибудь бедолага, вымаливая “хоть чего-нибудь от желудка – помираю”...). Радостная догадка: а ведь голодовка это возможность почитать и пописать вволю! В моем распоряжении минимум три дня, потом посадят в одиночку – ни книг, конечно, ни ручки, ни курева. Последнее, впрочем, и к лучшему: голодать и курить – жечь свечу с обоих концов.

Несколько слов об истории спеца. До декабря 1962 г. 10-я зона состояла из одного барака с дюжиной маленьких камер – человек на пять каждая. Признанные ООР (особо опасными рецидивистами) содержались в 4-ом лагере, в полукилометре от 10-го. Это обычная зона, как говорят з/к, открытая – в смысле свободы передвижения в пределах лагеря. И только злостных нарушителей режима переводили на различные сроки – от 15 суток до 6 месяцев – в камеры 10-го лагеря. Однако летом 1962 г. был построен новый барак. Сооружали его з/к “иностранный” зоны, так как, с одной стороны, тогда еще была жива арестантская традиция: не строить для себя тюрем, – а с другой, нельзя ведь доверять строительству тюрьмы тому, кто точно знает, что именно ему придется в ней сидеть: возможны тайники, туннели для будущих побегов и т.п. Новый барак – приземистое кирпичное строение, длиною в сотню метров. По обе стороны коридора камеры – 30 общих и 14 одиночек. Общая камера: 18–19 кв.м, двухъярусные нары, параша, стол, вот и вся обстановка. В 63–64 гг. я сидел в 21-й камере, было нас 15 человек. Летом адская духота, все нагишом – в одних трусах, – пот ручьями по жилистым спинам, то в одном конце коридора, то в другом истошный вопль: “Стража! Воды!” – и гулкая дробь ударов оловянной кружкой в дверь, а ночью свист, звон разбиваемых окон и скандирование: “Врача! Врача!” – значит, какой-нибудь сердечник “вырубился”. Зимой легче, хоть и холодно – пальцы карандаш не держат; спичка тут же гаснет от духоты: эмпирическое постижение обяза-

тельной синонимичности слов “свежий” и “прохладный”. По воскресеньям час прогулки, на которую – бегом, чтобы, отстояв очередь, нырнуть в дощатую дверь уборной. (Иногда свобода – это возможность справлять нужду в любое время). К утру параша переполнена, содержимое ее частично наполу... Бичи: холод, жара, духота, теснота, параша, начальство и, конечно же, голод. Частенько избивали кого–нибудь до полусмерти (а одного–таки и убили) за кражу пайки. Ни магазина, ни передач, ни посылок, ни бандеролей – ничего. И так вплоть до осени 1969 г., когда новый “Закон об исправительно–трудовых учреждениях” облегчил жизнь ООР (кстати только ООР – для других режимов он оказался не подарком): 4–рублевые закупки в магазине ежемесячно, в год две килограммовые бандероли, личное свидание раз в год, а когда срок перевалит за половину – 5–килограммовая посылка ежегодно тому, кто “не нарушает режима”. На спецу тогда было 450–470 человек. Преобладали бывшие уголовники. О количестве сидевших за то или иное вероисповедание ничего определенного сказать не могу; их держали отдельно, как и педерастов. В моей 21–й камере было: 3 “чистых политика”, 1 полицией и 11 уголовников. Распороть себе живот или загнать якорь в уретру, чтобы в больнице наесться вволю и запастись махоркой – обычное дело. Уехать в тюрьму – попасть в Эльдorado (ведь там раз в полгода посылка и закупки в ларьке на два пятьдесят): совершали новые преступления, чтобы только попасть в тюрьму. Такова далеко не полная картина спеца в 1963–64 г. Надо бы несколько слов о самоубийцах (один из них, 22–летний латыш Сусей, за день до того, как повеситься – под Новый 1964 г. мы с ним сидели в соседних одиночках карцера, – подарил мне во время прогулки ботинки и портянки), надо бы и об убитых, и умерших, но у меня пока нет о них полных данных, а тема не из тех, где извинительна приблизительность.

На сегодня достаточно – меня ждет пара книг, которые я давным–давно обещал вернуть владельцу: то времени нет, то от работы туп, как два большевика вместе взятых...

6.10. Нелегко слышать, как сокамерники месят челюстями хлеб – помнится, сырой, кислый, но... такой пахучий сегодня.

Ныне в зоне 120 человек, на следующей неделе будет 110 – десяток уезжает в общий лагерь (среди уывших в январе 1972 г. Бергер. Он отправлен на 17 лагпункт Дубравлага). Это целое событие. По закону после половины срока всякий подлежит вывозу на строгую зону, если он не строптив, однако здесь по крайней мере каждые два из 3–х отсидели больше половины срока, служат начальству верой и правдой и все же... как обойтись хоть без одного нарушения в год, а этого достаточно.

К сбору сведений о наших солагерниках я привлек Федорова с Мурженко – на сегодня мы имеем кое-что о 9 десятках человек. К остальным 30 подобрать сложно – это инвалиды, которых не гоняют на работу, это бунтари, не вылезавшие из одиночек, это мелкие нарушители спокойствия, которые работают в спецкамерах. Опасения за бумаги не оставляют меня ни днем, ни ночью. Я чувствую, что надвигается пора все более откровенных репрессий, которым мы попытаемся противостоять, что чревато всяческими неожиданностями. Поэтому я хочу хоть как-то обработать собранный материал и на этом временно закруглиться – бумаги спрячу понадежнее и надолго откажусь от дневника, чтобы стукачи забыли, как я выгляжу с авторучкой в руке, а то обыск за обыском, а ничего, кроме невинных выписок из книг, найти не могут – есть от чего беситься синим ребятам. Сейчас они распустили слух, что у нас много денег – порядка 7–8 тысяч, – чтобы “крысы” не спускали с нас глаз в надежде поживиться: бдительность, подхлестываемая жаждой наживы, неистощима – глядишь, что-нибудь поценнее денег обнаружат. (Впрочем деньги у нас действительно есть – 23 р.) Прием старый. Правда, в данном случае он не только оперативный, но и антисемитский. Характерно, что после нашего ареста по всему Союзу пошли слухи, что мы пытались вывезти в Израиль чемоданы с золотом. Тогда как 10-и из нас судья зачитал: “Без конфискации имущества за неимением такового”.

90 человек, разумеется, достаточно полно представляют 120, обобщения правомерны, но не без оговорок. Например, средний возраст нашего рецидивиста был бы выше, имей я возможность потолковать с непохороненными старичками из инвалидных камер. А тут только подберешься к кормушке, как надзиратель рывкает... “Дедушка, – спрашиваешь второпях, – сколько же тебе лет?” “Много, сынок”, – шамкает он в ответ. “А сроку сколько?” “До конца советской власти, сынок”. Вот и весь разговор. Итак, 90 человек. Средний возраст 45 лет, причем средний возраст русских 45,5 лет, украинцев – 44, литовцев – 45, евреев – 36, молдаван – 44. Из этих 90 человек 41 русский, 29 украинцев, 7 литовцев, 4 еврея, 2 молдаванина, 1 немец, 1 грузин, 1 бурят, 1 эстонец, 1 латыш, 1 узбек и 1 белорус. На сегодня в среднем каждый сидит по 16 лет, если же все освободятся “по звонку” (т.е. не будет ни амнистий, ни комиссий по пересмотру дел, ни помилований – а в вероятность таковых верят лишь те, кто сидит первые пять лет), то на брата придется по 24 года. Причем русские на данный момент сидят по 17 лет, украинцы, литовцы и молдаване по 16, а евреи по 14 лет. Отсидят же русские по 26 лет, украинцы и евреи по 22 года, литовцы по 24, а молдаване по 21 году. Из этих 9 десятков 37 человек сотрудничают – кто тайно, а кто и явно – с КГБ или оперотделом, 7 находятся на подозрении в сотрудни-

честве. "Тайно" это значит, что стукач пытается делать хорошую мину при плохой игре, тогда как есть и такие, которые не кривляются, не прячут клейма доносчика и провокатора. На русских приходится 20 стукачей и 4 подозреваемых в доносах, на украинцев – 11 и 2, на литовцев 1, на евреев 1 на подозрении, немец, грузин, латыш, узбек и белорус – явные стукачи. Из 20 русских стукачей 8 полицейских и 12 уголовников, 4 подозреваемых – уголовники. Все без исключения полицейско-украинцы – доносчики, числом 11 человек, а 2-е подозреваемых – уголовники. О Багдонесе я писал раньше; один из "подозрительных" евреев – уголовник; немец и грузин – полицейские; латыш и узбек – уголовники, а белорус – ни то, ни се: получил вышак, позже замененный 25 годами по статье 58-8, т.е. за политический террор (на самом же деле убийство было совершено им на бытовой почве). В полицию я заносил тех, кто сотрудничал с фашистами из шкурных побуждений – а таковы они все, кроме кое-кого из РОА. (37) В уголовниках у меня числятся те, кто из уголовной "масти" перекинулся в политическую сугубо по лагерным соображениям, видя в этом выход из той или иной тяжелой для него лично ситуации. Таким образом лишь 36 человек являются поистине политзаключенными, остальные: полицейские (21 доносчик) и уголовники (числом 33). По национальностям соотношение... Впрочем, я вижу, что удобнее дать все эти цифры в сводной таблице – так нагляднее будет.

	рус	укр	лит	евр	молд	нем	груз	бур	эст	лат	уз	бел
количество	41	29	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1
средн. возраст – 45 лет, а по национальным группам	45,5	44	45	36	44	55	75	32	45?	33?	36	37
отсидено в средн. по 16 лет, а по нац. группам	17	16	16	14	16	5	5	15	16	12	13	14
будет отсидено по 24 года, а по нац. группам	26	22	24	22	21	15	15	20	25	13	14	25
всего 37 стукач., из них:	20	11	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1
7 вероят. стукачей, из них:	4	2	-	1								
кол-во поистине полит. з/к – 35,												
из них:	11	12	7	2	2				1			
уголовников – 34, из них:	22	6		2	1			1	1	1		
полицейских, из них:	8	11				1	1					
кол-во стукач. среди полиц.	21											
среди уголов 15 явных стукач.	12									1	1	1
и 6 неявных	4	2										

	рус	укр	лит	евр	молд	нем	груз	бур	эст	лат	уз	бел
вероисповедание:												
православные	4	2										
католики			7									
ИПЦ <sup>1</sup>	2	1										
Свидетели Иеговы	1	5				2						
иудеи				1 <sup>2</sup>								
униаты		2										
Всего верующих 27 ч–к, из них осуждены именно за антисовет. деят–сть на религ. почве 10 ч–к из которых:												
ИПЦ	2											
Свидетели Иеговы	1	5			2							
Общее кол–во судимостей 331,												
из них	182	89	9	12	6	1	1	3	1	3	3	1
кол–во судимостей по 58 ст. <sup>3</sup> – 152,												
из них:	67	58	9	5	6	1	1	1	1	1	1	1
из них за побег за границу:	2	2		1								
педерасты:												
активные	12	4										1
пассивные <sup>4</sup>	5	1							1	1		
самоистязания												
(кроме голодовок):	19	2		1						1	1	
голодовки:	14	7		2								
антисоветские наколки	11	2										
наркоманы <sup>5</sup>	20	3		1						1	1	
политические взгляды <sup>6</sup> :												
демократы–националисты:	1	8	7	2						1		
демократы–интернац–сты:	1	5		2								
монархисты:												
сторонники												
абсолютной монархии:	4											
констит. монархисты:	2											

*Сноски см. на стр. 141*

7.10. Ввели новое положение о голодовке: кормят по “жизненным показаниям”, а не как бывало на 7–й день и потом через день.

23.10. Вчера вернулся из больницы. На 8–й день голодовки – уже из одиночки – меня вызвал Кочетков и сказал, что отправит в больницу, если я сниму голодовку. С 15–го по 22–е я был в больнице. Диагноз не поставили (рентгена не было), давали по витаминине в день, стерегли, как 40 тысяч каторжников вместе взятых.

Все же умудрился переговорить с одним из наших. Решили в годовщину суда над нами объявить 3-дневную голодовку протеста, а в годовщину суда над нашими “двоюродными” подельниками – ленинградцами, рижанами и кишиневцами – однодневные голодовки.

17.11. Сегодня мы (я, Юра и Алик) отправили в Президиум Верховного Совета СССР заявление об отказе от советского гражданства.

---

1) *Истинно-православная церковь.*

2) *Олег Шибанов исповедует иудаизм, точнее фантасмагорический винегрет из обрывков иудаизма и православия. Безвылазно пребывает в изоляторе за отказ от работы в субботние дни.*

3) *По сохранившейся в лагере традиции я весь круг статей, охватывающих “опасные государственные преступления”, именую 58 статьями.*

4) *Как известно, педерастами (они же: козлы, петухи и гребни) в лагере считают только пассивных гомиков. Активные же (глиномесы, печники и т.д.) не считаются извращенцами. Еще 7 лет назад “козлов” содержали в отдельных камерах, у них были меченые ложки, миски и кружки - в качестве кастовых знаков существ бесправных и открытых для любых издевательств. Сейчас в отдельной камере сидят только двое: Тильга и Любка Кулева. “Я дама солидная, - говорит Любка, поглаживая себя по бокам. - Хоть и жизнь вела воровскую...” У Кулева (имени я его не знаю, сам же он упорно величает себя Любкой) самый большой в СССР стаж непрерывного заключения - он сидит 36 лет, да еще в конце 20-х - начале 30-ых гг. отсидел пару лет. Когда-то на Воркуте Любка была хозяйкой “козлиного барака”: за плату выдавала желающим Нюрок, Нинок и Светок. Гомосексуальные страсти нередко кровавы. Разыгрываются целые драмы ревности, измен, охлаждений. В 66 г. некто Панов выпустил себе кишки и, намотав их на руки, ходил по прогулочному дворику изолятора (это было в II лагерной зоне), пока его не утащили в медчасть. Причина? Ему донесли, что “жена” изменила ему, пока он томился в изоляторе, он написал “ей” записку, требуя, чтобы “она” пришла объясниться, а “та” не явилась, вот и...*

5) *Не всегда потребляющие наркотики, ибо достать их трудно, но всегда готовые к их потреблению.*

6) *Очень условно, примерно в том же ключе, что и раньше (там, где о представителях национальных меньшинств).*

18.11. Алик объявил голодовку. Мы к нему присоединимся 1-го декабря. Его лишили свидания ни за что. Отрядный проговорился, что и меня, и Юру ждет то же. Нащупали больное место. Будем голодать, пока не отменят это постановление. Нас травят все энергичнее. Создают предкриминальную ситуацию. Распускают всяческие слухи, натравливают на нас уголовников. Три дня тому назад один, наглотавшись каких-то таблеток, искал с отверткой в руках Алика. Хорошо, что наткнулся на меня и стал объясняться в любви (“Ты хороший человек, а Мурженко я сейчас запорю”).

Хотим попробовать найти адвоката, дабы хоть немного оградить себя от давления сверху и снизу. Беда, что адвокату потребуется допуск от КГБ – нашему его не дадут, а кому дадут, тот будет не наш.

На заявление от отказа от гражданства придет такой ответ: “Вопрос о гражданстве может быть рассмотрен только после отбытия вами заключения”.

23.11. За непосещение политзанятий имею 3-й выговор. Старший лейтенант Беззубов сообщил на последнем политзанятии (уровень-то каков!): “В Китае зверствуют сионисты и хунвейбины. Но китайский народ – не дурак, он им еще покажет!”

28.11. Через три дня присоединяемся к Алику. Надо победить, иначе нас затравят. Готовься к битвам Иозеф Кнехт! (38)

Несмотря на 4-й том “Курса советского уголовного права” (поистине “басни”!) скоро будут приговорены к расстрелу (это точно) Тарасов и Цветков – по ст. 77, 1. Цветков сделал Тарасову наколки на лице – и это признано актом, терроризирующим администрацию. Причина: Тарасову не оказывали медицинскую помощь, хотя у него сорок болезней.

# МОРДОВСКИЙ МАРАФОН

## ЗАРЕШЕЧЕННОЕ ОКНО

...Вот еще напасть: едва-едва шевельнется в голове какая-никакая мыслишка, чуть-чуть проклюнется мелодия, запульсирует ритм – барабанят в окно. То один, то другой подкрадываются к моей зарешеченной форточке и говорят, говорят, говорят... Тот шепчет, доверительно брызжа слюной и опасливо косясь по сторонам: “Не верь ему, он сволочь и падла...!”, а едва он развернет за угол, подкрадывается другой и мямлит какие-то запутанные истории о коварстве, интригах и предательствах первого, а там, глядишь, и третий уже топчется неподалеку, ожидая своей очереди приникнуть посинелыми губами к форточке исповедальни... Я всех их выслушиваю, ритмично помахивая головой в знак полного согласия, сочувствия и доверия, стараясь, чтобы на лице не отразилось снедающее меня тоскливое нетерпение. “Оставьте меня в покое! – беззвучно кричу я. – Ты, ты, ты и ты!.. Я всем вам верю, не веря ни одному. Мне даже лень угадывать ваши истинные намерения. Вам меня не обмануть, ибо обмануть можно или губошлепого простофилю, или обманщика, который, азартно посверкивая глазками, сам идет в западню, надеясь перехитрить хитреца. А я ни тот, ни другой. Я сам по себе, как бываешь сам по себе, невольно оказавшись в компании жуликов: я пью с вами вино, преломляю хлеб и сочувственно выслушиваю ваши душещипательные истории, но, ради Бога, держитесь не так близко ко мне, чуть-чуть подальше, вот так... чтобы ветерку было где прогуляться между нами. И если вы хором затынете громкую песню, я тоже буду разевать рот – кому какое дело, что я пою не о том и не на том языке...”





Мой дед, мелкий купчишка, разорился после нэпа, в качестве классово чуждого элемента был выслан из Москвы и помер в ссылке где-то году в тридцать четвертом. Это, известное дело, изрядно сказалось и на жене его, и на семьях обоих его сыновей и дочери. Впрочем, камня за пазухой они на власть никогда не держали, привычно трепеща при одном упоминании о политике и безропотно горбатясь под бременем полунищенского существования, как бы ниспосланного свыше и потому критике не подлежащего.

До самой моей посадки в шестьдесят первом мы жили втроем (мама, бабушка и я) на двенадцати квадратных метрах. Матушка моя – человек болезненной порядочности (и по совестливости, и по оцепеняющему страху перед законом) и даже в войну, которую мы пережили на крапивных щах, нитки не вынесла со своей ткацкой фабрики, где трудилась бухгалтером. Я и до сих пор не могу взять в толк, как это она сумела и сама выжить, и меня вытянуть. Над ней же все подсмеивались, обзывая ее “святой Зинаидой”. Я помню обидный вкус этого слова: ирония, подначка, сочувственно-пренебрежительная снисходительность... Чтобы быть причтенным к лику святых или, как минимум, блаженных, надо лишь не красть. Впрочем, в иные времена не красть – поистине мука мученическая.

Единственная затрещина была заработана мною при следующих обстоятельствах.

Было мне тогда лет десять или около того. Я уже и раньше не раз слышал и во дворе, и в школе, что Сталин застрелил свою жену Аллилуеву. Рассказывалось об этом без тени недоумения, безоценочно, без какого-либо намека на вопрос: за что? – просто доверительным шепотком доводился до сведения факт: Сталин застрелил свою жену. И точка. Ни удивления, ни возмущения. Мысль о следствии и уж тем паче о суде, я уверен, никому и в голову не приходила. Сталин убил – значит, так и надо. Не могу припомнить, с чего это я вдруг вроде как бы споткнулся об эту тревожную мысль... “А почему вот, – спросил я матушку, – товарищ Сталин застрелил свою жену, а его не судили?”

Помню панический ужас в ее глазах... Она преобильно треснула меня по затылку, от неожиданности я заревел, и она, тряся меня за плечо, все допытывалась, как это я додумался до такой глупости, не говорил ли об этом еще кому-нибудь, а потом сама заплакала и упрашивала меня никогда не задавать такие вопросы. Я побоялся спросить, какие “такие”, но что-то смутно уже забрезжило в моей головенке...

Как учительский шлепок когда-то выявил и закрепил у Руссо мазохистские наклонности, так, возможно, и эта затрещина вместо того, чтобы выбить из

меня опасный интерес к запретным темам, напротив, стимулировала таковой.

Так я пострадал от культа личности Сталина.

...Кто же не знал в те годы об умилительном жесте великодушия, коим Ленин спас от расстрела злодейку Каплан? "Пусть, – прошептал он непослушными устами, уже теряя сознание от коварной раны, – пусть она доживет до окончательной победы коммунизма, которая не за горами, и сама убедится, как она заблуждалась..." По слухам, Каплан, уже старенькая, седая, после войны работала библиотекарем в Бутырке и выучила сочинения Ленина наизусть.

Спонтанная христианизация вождя традиционным народным сознанием? Возможно. Похоже, что легенда эта родилась в низах, а верха всего лишь не опровергали ее и даже полуофициально санкционировали ее бытование.

Историю у нас вела моложавая дама – глыба бледного жира, чудовищных бугров которого не могли скрыть ни бордовая юбка до щиколоток, ни полувоенного покроя черный пиджак с острыми плечами. Она была сентиментальна, истерична и зла, глаза носила маленькие, нос тувелькой, плоские бесцветные волосы прятала под серым платком. Сзади она походила на приземистый дедовский комод с выдвинутым ящиком, чьи пудовые полусферы юные пионеры увешивали мстительными соплями, метко посылая их щелчком пальца.

Звали ее Крепись. Едва ли не первым знанием, которым переступив школьный порог, обогащался первоклашка, было оснащенное сочными подробностями изустное предание о том, как "историчка" поехала на фронт повидаться с братом и была изнасилована взводом солдат: она плакала, а они, трудясь над нею, взывали к ее гражданскому мужеству, приговаривая: "Крепись, крепись!.." Отсюда и прозвище.

В том году в нашем классе завелся новичок – крутощекий крепыш с васильковыми глазами, сынок какого-то крупнозвездного отставного военного, только-только пробравшегося в Москву (такие сперва оседали в пролетарски-хулиганских районах вроде нашего – лишь бы зацепиться за московскую прописку, – и только потом перебирались в более уважаемые кварталы). На переменках новичок, возбужденно жестикулируя, расписывал нам – в основном безотцовщине – героические подвиги своего папаши, утверждая, что тот закадычный друг самого Клина Ворошилова и запросто бывает в святой святых. Я ему почему-то верил, простодушно раззявив рот. Наверное, потому, что каверзной насмешливости чумазных оборвышей так победительно-великолепно противостояла неопровержимая явь – невиданная кожаная курточка с карманами на молнии, хромовые сапожки и – предмет особой зависти – толстая "самописка".

Как-то Крепись, сентиментально присюсюкивая, поведала нам трогательную историю о добром дедушке-Ленине и злой чернявке-Каплан. “Брет она все, –шепнул мой краснощекий сосед. – Ее сам Дзержинский шлепнул на другой же день”. Я оторопел: “Ты как знаешь?” – “А вот знаю... Бате Клим Ворошилов рассказал”.

В самом конце урока, когда Крепись сладким голосом призывала задавать вопросы по пройденному материалу, а класс тоскливо елозил по партам, томясь по звонку, словно какой-то бес толкнул меня в локоть, и я поднял руку.

“А как же вот вы говорите Каплан?.. – я похолодел, уже зная, что сейчас случится что-то непоправимо ужасное, что надо замолчать, замереть, исчезнуть... – А ее Дзержинский расстрелял”.

Лицо Крепись взялось багровыми пятнами, глаза зловеще сузились, она стремительно шагнула по проходу меж партами и наотмашь, словно киношный Чапаев, вытянула меня указкой по спине. “Кто тебе сказал? А ну, гаденыш? Дома? А ну?!”

Не дожидаясь звонка об окончании урока, она потащила меня, жестко вцепившись в плечо, в директорский кабинет, где после крикливого допроса я, размазывая сопли и слезы, написал объяснительную записку, в которой признался, что услышал эту гнусную клевету от незнакомого хулигана на улице, и клялся, что больше никогда не буду этого делать.

Так я соврал на первом своем допросе, как бы репетируя многочисленные последующие.

Едва Люся написала мне, что в начале июля собирается приехать на краткосрочное свидание, как начались начальственные маневры. Один кое-чем мне обязанный околкабинетный человечек шепнул, что начальство хочет под предлогом ремонта дома свиданий оттянуть приезд Люси месяца на полтора-два – то ли хитрая аппаратура у них вышла из строя, то ли еще что – черт их закулисные хлопоты ведает. Я себе места не нахожу, досада меня берет – уж больно мне надо бы повидаться с Люсей, шепнуть ей кое-что. А тот мой добродух, чтоб ему пусто было, оказывается, еще кое-кому протрепался (всякий почти заключенный – трепло и невозможная баба), и в конце концов начальство узнало, что их секрет уже не секрет.

В общем, вызывает меня начальник лагеря капитан Калгатин... Премерзкая, надо сказать, фигура, жирный червяк, обожает при заключенных яблоками хрумкать, выуживая их одно за другим из стола. Но в тот день он забавлялся редиской...

Ах да, вспомнил: как раз передо мной был у него в кабинете “Генерал

Безухов” (тот самый, которому Бергер во время оно ухо отхватил), увидел красную редиску, плюхнулся на колени и ну лобызгать начальственный сапог: “Барин! Дай редисочки попробовать!.. Красенькой! Двадцать лет не едал!..” И Калгатин насыпал ему целую пригоршню. Этот “Генерал” – прелюбопытная фигура, вроде шута, которому многое с рук сходит. Его только стараются прятать от наезжего начальства – уж больно он страшен: безухий, огромная челюсть с черными пеньками зубов выдвинута далеко вперед... ..Да к тому же он имеет обыкновение подкрасться к приезжей шишке и закричать: “Барин, отдай мои уши!” – или еще что-нибудь в этом роде. Шут с печальными, как и подобает подзаборной дворянке, глазами.

Ну ладно, к делу, а то этим отступлениям конца не будет. Я, собственно, не столько хотел рассказать о своих пятнадцати сутках, сколько о той парадоксальной форме общения с начальством, когда что ни слово – все не о том... Мелькнула у меня вначале какая-то не совсем ординарная отсылка к подтексту хемингуэзовых диалогов, да пока болтал о том о сем, она улетучилась. Подожди-ка!.. Нет, не вспоминается. Ну да Аллах с ней.

Он: Вы, я слышал, ждете свидания?

Я: Да, в начале июля.

Он: Дело в том... в общем, сообщите домой... Ставлю вас в известность, что с середины июня дом свиданий закрывается на ремонт... Надо печку переложить... к зиме, покрасить, побелить...

Я (возмущенно): – То есть, как это на ремонт? – искренности моего возмущения ничуть не мешает то, что я уже был готов к этому разговору. И вообще вся тонкость ситуации как раз в том, что он знает о моем знании, но оба мы делаем вид, что ничего не знаем. – Ведь вы его в апреле ремонтировали!.. Этак вы все фонды поистратите!

Он: Пусть это вас не печалит... О вас же заботимся!

Я: Спасибо, премного благодарен... Только беда в том, что закон не предусматривает для отсрочки свиданий такой повод, как ремонт... Сколько, говорите, это займет времени?

Он: Месяца полтора–два.

Я: Ну вот... Да ведь можно где-нибудь там найти уголок – всего ведь четыре часа каких-то...

Он: Ну что вы, какое же это свидание?.. Кирпичи там всякие будут валяться, мусор... нехорошо.

Я: Месяца два! Да вы что? За два-то месяца на Западе небоскребы возводят, да я и сам на стройке работал, мы за два месяца, бывало, этажа три ус-

певали отгрохать! А вы – печку!.. Так вот, гражданин начальник, в законе четко сказано, что я имею право раз в год на свидание длительностью до четырех часов, а про печку там ни слова – это ваша забота, а не моя... В этом году на два месяца позже, в другом... а в результате вы у меня украдете два-три свидания за пятнадцать лет. Вот так: или официально лишайте меня свидания, или предоставьте его в срок!

Он: Надо будет – лишим!

Я: Вот именно! Так-то оно будет честнее! А то мы с вами все не о том говорим...

Он: Как это не о том?

Я: Да так!

Он: А все-таки?

Я: А все-таки? А все-таки нам бы следовало говорить так. Вы: “Мне велено оттянуть твое свидание на пару месяцев. С удовольствием вообще лишил бы тебя его, да опасаясь, что ты опять закатишь голодовку. Оно хоть и черт с ней, с голодовкой-то, да начальство давит: учись, дескать, работать потоньше – не те времена... Хорошо им поучать издалека-то!.. А потому я выдумал ремонт...”

Я же вместо того, чтобы делать вид, что не знаю ваших целей, и пытаться вас усюветить ссылками на закон – что вам закон? что вы закону? – должен был прямо сказать:

– Вы, гражданин начальник, сволочь! Что я и говорю: вы сволочь!

И вот за столь дешевое удовольствие (он и глазом не моргнул) – пятнадцать суток. Так мне и надо – не мальчишествовай, не распускай нервы.

Но пятнадцать суток, их ведь тоже не без пользы можно отсидеть. Это как, например, с однодневной голодовкой. Ну что такое, приходится порой слышать, один день? Ни умереть не умрешь, ни добиться чего-либо не успеешь... Это так, но есть ведь и другие измерения: это же целых 24 часа голода (кстати, наиболее чувствительного именно в первый день), когда ты зол, как сто чертей на тех, кто тебя вынудил голодать, это тот огонь, на котором закаляется твоя непримиримость. Так и пятнадцать суток в ШИЗО. Пока голодный корчишься от холода на цементном полу, многое успеет в душе затвердеть прочнее бетона.

Зимой себя спокойней, уравновешенней чувствуешь – не так тянет на волю. Самая мука весной – так и взвыл бы серым волком. Весной смиренномудрая зимняя душа – “немочь бледная” – складывает свои горные крылышки и затихает, забивается в дальний уголок, смущенная неистовым косноязычием воплей и метаний пробудившейся сестры-язычницы, пьяной вахханки, расpiraемой все-

ми земными соками и страстями. Весной сизифов камень обуздания плоти, с таким трудом вкаченный на холодную и чистую вершину, вдруг стремительно срывается вниз, все сокрушая на своем пути к живительной влаге родного озера... летит, пока не уткнется в околюченный забор – каменной всех камней. Ни верху не удержаться, ни вниз не упасть – лишь томиться, вновь и вновь мысленно блуждая все по тем же дорогам странствий души человеческой, то замороженной надзвездными хоралами, то хрюкающей в болотной жиже всеядного вожделения. Помнится, Достоевский говорил, что о народе (да и о человеке, конечно) следует судить не по тем пропастям, в которые он падает, а по тем вершинам, на которые он способен подняться. Я бы заменил противопоставительное “а” на рядопологающее “и” – ведь вершин не бывает без пропастей. Ни от чего нельзя отречься, надо быть верным себе и в хорошем, и в плохом – жизнь человеческая слишком сложна и коротка, чтобы успеть выработаться в бесповоротного ангела: лучшим и удачливейшим из нас всего лишь удастся повиснуть между небом и землей, то задевая головой свод небесный, то загребая сапожищами болотную грязь... Нельзя отречься ни от неба, ни от земли, в этом, может, суть мужественной и трезвой мудрости – мужественной мудрости признания, что подвешенное состояние – это единственное, что пока заслужил человек, трезвой мудрости понимания, что минимум утешительных автомифов – это хоть какая-то профилантика наиболее кровавых болезней человеческого духа и истории.

Сколько можно сидеть! Надо, уговариваю себя, писать о чем-то, не охватываемом диспозицией ст. 70-й. Впрочем, она так резинно сформулирована, что по мере надобности ее легко растянуть для охвата любых словес и деяний... Говорю... и не могу – таким мертвым грузом придавил меня лагерь, что ничто другое нейдет в голову, хоть тресни. Меня отравили угаром тюрьмы, и, пока я не отдышусь на вольном воздухе, ни за какую иную тему не сумею взяться.

Когда я в очередной раз мучаюсь над настройкой себя на что-то внелагерное, я неизбежно вспоминаю Вальку Соколова (где-то он сейчас горбатит, бедолага?), которого когда-то по неопытности сердечной упрекал в узости тематики: что у тебя, мол, все лагерь да лагерь!.. А что у него могло еще быть! Он к тому времени уже 18 лет отсидел. Значит, никуда от него, проклятого, не деться, пока эта тема не будет исчерпана – в жизни и в слове. Вместе с тем я не хочу на ней паразитировать, сказать о себе: “я заключенный – и тем интересен” – обидно.

...Он знал об узости своей базы, но уже не пытался расширить ее, маскируя свою ограниченность “принципиальными” соображениями в духе интуитивиз-

ма, философии жизни Бергсона, Филтена, Зиммеля.. Он ссылаясь на них, имея о них, конечно, самое смутное представление (хотя и ухватив некую суть) и не желая признать, что они–то могли позволить себе роскошь пренебрежения классическим наследием и логикой рационализма именно потому, что вполне владели ими.

Но природы он богатейшей, у него не было лишь того, что недодало или отняло у него общество.

Мы с ним маялись вместе пять лет – с 1962 по 1967 год. Первый раз он отсидел девять лет, а во второй – десять. За всяческую болтовню, но в основном за стихи. Как пишутся стихи? Очень просто: сел – написал – сел... Правда, первые девять лет ему позже простили – реабилитировали.

В последние лагерные годы он несколько сдал: обрюзг, увял, поскуцнел... А вообще он беспутевщина, раблезианец, веселый враль (ведь поэт же!), обжора и скареда... Но ему ни одно лыко не идет в строку, ибо ярко самобытен чуть ли не в каждом жесте и слове. Мне хотелось бы рассказать о нем во всей его противоречивой сложности, как о всамделишном живом человеке, на чьем лице хаотическая пляска бликов света и тени, так смущающая всяческих пуристов, которых никогда не били резиновыми шлангами, не доводили голодом до пеллагры, не щупали за задницу (“Ого, еще есть мяско... – на лесоповал!”). Несмотря на всю свою мясистость, дух его надрывно трагичен. Однако его образ не вписывается в тот болезненно–артистический ряд, в котором Новалис держит за руку Ницше, а тот – Адриана Леверкюна. Скорее уж, вспоминаешь более земных, более полнокровных и более бездомных: гуляку, во-ра и висельника Вийона, Бодлера, Рембо, Хлебникова...

В 1969 году, получив письмо: “Сдыхаю с тоски, записался до свинства, словом перемолвиться не с кем...”, мы с Юркой бросили все и с единственной (заемной) сотней в кармане, покатали к нему в угрюмый Новошахтинск – спасать от запоя и одиночества. Он разрыдался, увидев нас... Тогда же я записал Вальку на магнитофон (тоже заемный), но в декабре 1969 года, узнав, что пленкой заинтересовалась гэбня, уничтожил ее (ибо известность – это хорошо, но третий срок – плохо). Кстати, стихи свои он подписывал “Валентин з/к”. Валек – ходячая трагедия и вместе с тем анекдот. Я и жалел его до слез, и хохотал до колик. Вот характерная сценка. Он только–только вернулся со свидания с женой и тут же нырнул под одеяло, сказавшись больным, а на другой день я узнал, что пришли с вечерней смены работяги, глядь, а Валек сидит на койке, увязнув зубами в огромном, килограмма на два, шмате сала, который он, как выяснилось, ухитрился тайком пронести в зону. Я ему, хохоча: “Ты что же, Зэка, ночью–то?” А он: “Что же, днем, что ли? Сало ведь... Увидят – про-

силье будут, а я ведь все равно не дам... Уж лучше ночью, чтобы не дразнить людей..." – "Гуманно! Ну ладно, им не даешь, а мне-то? Я ли с тобой не делюсь?" – "Тебе – дело другое... Да ведь ты, известно, сало-то не любишь". – "А то бы дал?" – "Спрашиваешь? Хай мне, если вру, член на пятаки порубают!" – "Да выйдут ли пятаки-то? Может, всего лишь гривенники?"

Он враз скукислся, губы задергались, поползли куда-то вбок, он отвернулся, отмахиваясь от меня обеими руками, как капризный ребенок... Так я узнал, что он страдает комплексом Фитцджеральда, и мне пришлось его утешать ссылками все на те же античные статуи, которые эталон мужской красоты и пропорциональности, а главное – приобщением к старинной мудрости: дело не в габаритах, а в стойкости...

Вот так-то – смех и горе... Но все эти анекдоты – шелуха, суть его – стихи и то, как он их читает: он ими живет, он их выстрадал, они его кровь и боль, его голос дрожит, он задыхается... Я не мог не волноваться, слушая его, я остро ненавидел тех, кто в это время шушукался. (О, тогда какая была еще воля вольная в лагерях-то: по воскресеньям мы собирались человек пять-шесть в укромном уголке слушать стихи!)

Он не только стихи свои подписывал "Валентин з/к", но и письма, и всякие там заявления. Как бы ни сложилась в дальнейшем его жизнь, он – Вечный Зэка, ибо, не говоря уж о его политических антипатиях и счетах, его никак нельзя втиснуть в серые будни производителя материальных благ – это не его сфера, он богема, а богеме и всякой там цыганщине нет места в системе поголовной паспортизации, нумерации, прописки... Где-то году в 1972 ему дали пять лет за хулиганство: "В пьяном виде нецензурно выражался в адрес видных советских и партийных работников, при задержании оказал сопротивление сотрудникам милиции..." – так мне сообщили уже в лагере. (39)

(Из контрабандного письма Сильве Залмансон – вероятнее всего, весна 1974 года, – примеч. ред.) ...Две недели назад я вернулся из Саранска (40). Злой, как зимний волк, и такой же голодный – даже спички и то приходилось выпрашивать у конвоя... Ну, спички-то не стыдно просить, а хлеба ведь не попросишь. Да и кто его даст? Возили в связи с "Дневниками", терзал меня некто полковник Михал Михалыч Сыщиков (вроде бы начальник КГБ Орловской области). Фигура колоритнейшая, почти киношная – эдакий Порфирий Петрович и, между прочим, автор нескольких шпионских детективов, о чем мне с восхищением и гордостью поведал юный лейтенантик из его свиты, утаив, правда, литературный псевдоним своего шефа. Хотя я с самого начала и знал, что сейчас мне срок вряд ли грозит (нецелесообразно: добавить можно только три года – до



потолочных пятнадцати, а скандалу не оберешься), это, однако, отнюдь не смягчило драматизма моей схватки с Сыщиковым – уж больно ему хотелось выйти на Боннэр с Сахаровым. Козырей у него была полная рука (мои лагерные опекуны, конечно же, суетливо выдали меня с головой на съедение, снабдив Сыщикова пухлой папкой с описанием моей драгоценной личности – чего-чего там только ни было, разве что записи первого ясельного лета), и Сыщиков весьма профессионально облизывался, предвкушая, как вот-вот вцепится мне в глотку, а потом обглодает и косточки. Совсем невредимым я из этой схватки не вышел, бока поободраны, но все же уцелел – ценой напряжения всех сил.(41)

В отместку за то, что я так или иначе выскользнул из всех капканов и запутал следы такими петлями и скачками, что ни один лягавый не разберет, сей полковник устроил мне арест на переписку, и теперь я не имею права ни отсылать писем, ни получать их. Больше он не сумел бы меня лягнуть. Одного он не учел: он – то налетел и нет его, а местному начальству куда же от меня деваться. Едва я, приехав в зону, узнал о наложении этого ареста и о том, что он продлится не менее года, как недвусмысленно дал понять, что если в последние год-полтора я вел себя, что называется, благоразумно, то теперь этому конец: через их же человека я “нечаянно” посвятил их в столь ужасные планы мести, что они, имея весьма завышенные представления о моих способностях и возможностях (на чем я время от времени спекулирую), поспешили разрешить мне переписку с тобой (но и только с тобой), благо ты тоже сидишь и наши письма – из лагеря в лагерь – идут спецпочтой, которую орловская прокуратура контролировать не может.

Рад бодрой тональности твоих писем, но не разделяю твоих надежд на досрочное (и тем более в ближайшее время) освобождение мужского большинства нашей группы. Тебя вырвут, это несомненно, а нас – вряд ли, а если и случится такое чудо, то уж меня – то оно своей милостивой дланью коснется наверняка в последнюю очередь, и лучше смотреть правде в глаза, а все иллюзии побоку. По статьям за политические преступления тех, кто не ползает на коленях, не только не освобождают досрочно, но рады бы и вовсе не освобождать – до коренного перевоспитания посредством “деревянного бушлата”, который уж наверняка и окончательно исправляет всякого горбуна.

Зарубежные требования освободить нас слишком легко парируются демагогическим кивком на одиозность самолетного аспекта нашего рывка на свободу. Наш голос, пытающийся растолковать, что мы не воздушные пираты, не удалые, неразборчивые в средствах насильники, слишком слаб, чтобы прорваться сквозь гул праведного возмущения трусливой жестокостью заурядных самолетных террористов. И похоже, что случаи самолетного пиратства будут

учащаться, становясь все рискованней и кровавей, и каждый такой акт будет все безнадежнее заглушать наш голос. Питая судорожное отвращение ко всем формам диктата – как явным, так и закамуфлированным, – я в нашем случае шарахнулся в другую крайность: излишне положился на коллективный разум, возможность обнаружения оптимального решения путем суммирования хаотической многоголосицы... И переоценил свои арифметические способности.

(Здесь утрачена часть текста, – примеч. ред)

Что же касается твоих опасений насчет засилья в Израиле социализма (как на уровне идеологии–психологии, так и на уровне государственных структур), то, признаться, я мало что об этом знаю. Разве что из когдатошней самиздатской книги Кестлера “Воры в ночи”. Вряд ли социалистический идиотизм тридцатых годов, описанный Кестлером, дожил до наших времен. Хотя кто его знает. Идиотизм он ведь куда как живуч. Конечно, без угарной (и такой возвышенной – в тогдашем контексте) одержимости социалистической мифологией первопроходцам в Израиле не удалось бы зацепиться за землю, вгрызться в нее зубами, но... было, спасибо и – хватит! Впрочем, легко сказать “хватит”, а на деле сдох и нацизм (национальная версия социализма), когда–нибудь, надеюсь, окачурится и коммунизм (интернациональная разновидность социализма), а праматерь их – собственно социализм, боюсь, вечен. Как неизбывен и вечен общечеловеческий соблазн (скушайте, мол, детки, яблочко с древа познания добра и зла, и сами станете, как боги) выдумывать теории перекройки мира (само собой – ради всеобщего блага) и жить по их таким простым, всеобъясняющим канонам, не обращая внимания на сопротивление им самой жизни и загоняя в лагеря всех супротивников–ретроградов. В общем, склонности к социализму псевдоинтеллигенции и примкнувшего к ней хама Шарикова не победить. Разве что более или менее обуздать. Кстати, на Западе нет российского понятия “интеллигент”. Там это (хотя и не совсем “это”) называется “интеллектуал”. То есть по–русски – умник. Этим все сказано, полагаю.



На заборе грязного вонючего дворика потьминской пересылки, разрисованного небывалой непотребщиной, увидел стон: “Боже, и когда же это все кончится?! Надя”.



Общая площадь нашего зверинца вроде бы солидна, но мы же не на каторге времен Достоевского (который, помнится, подходил к забору и выглядел наружу) и не в обычном лагере. Пятнадцать часов – в камере, восемь – в цеху и час на

одном из трех прогулочных дворикив. Остальная часть зоны для нас под запретом.

Нам с Юркой еще повезло – мы попали в маленькую камеру, на четверых. Несмотря на гробовую тесноту, мы рады – в больших–то камерах (18 кв. метров) сидят по десять–двенадцать человек. Это тесное, мрачное, зловонное узилище, муки которого тем ужаснее, чем больше в него втиснуто грешников. Конечно, у нас не так тесно, как в аду Ансельма Кентерберийского, где грешнику не шевельнуть рукой, чтобы извлечь червей, гложущих его глаза, однако и у нас не разгуляешься: на двух метрах от нар до двери двоим, даже и гибко–тощим, не разминуться. В свободное время лежим на нарах нос к носу, как в вагонном купе, – все куда–то едем и едем... Только ничего не мелькает за решетчатым окном: все тот же опутанный проволокой забор, все то же поросшее осокой болотце, гнилые воды которого омывают щелястое заведение, кое–как сляпаное из корявых досок, – вместилище “благовоний” и жирных крыс.

Третьим у нас Саранчук – хороший мужик (после войны он отсидел 12 лет за участие в бандеровском движении, сейчас мотает семилетний срок за агитацию). А вот четвертый, тот, что надо мной лежит, – бес, уголовник с десятком судимостей, приземистое, юркое существо с желтым приапическим лицом, истерично вспыльчивый и озлобленный на все и вся. В такой теснотище, разумеется, и ангел может бесом показаться – в камере все мы друг для друга черти (и, между прочим, нет того чертея, кто мнит себя ангелом), но он–таки и в самом деле сволочь. Это одна из самых больных наших проблем. Можно его, конечно, поколотить и изгнать, но и дня не пройдет, как толкнут другого, такого же, всеобязательно – начальство строго следит за тем, чтобы в каждой камере была хоть одна сволочь. В конце сентября я написал об этом генеральному прокурору следующее:

“Советское исправительно–трудовое право в силу общей своей запущенности не регулирует такой жизненно важной для заключенных сферы, какой является порядок и принципы комплектования камер. Эта лакуна открывает перед лагерной администрацией широкий простор для создания травмирующей психику ситуаций, путем...

(Здесь утрачена часть текста, – примеч. ред.)

Вопрос о комплектовании камер – всего лишь частный пример общего бесправия заключенных. Я полагаю, что, поскольку СССР претендует на известную европейскость, необходимо обеспечить заключенным некоторый минимум правовой защиты от произвола лагерной администрации. Я вновь обращаю ваше внимание на необходимость привести советское исправительно–трудовое законодательство в соответствие с пенитенциарными нормами демократических государств”.

Каков же был ответ? “Вы осуждены правильно, оснований для пересмотра дела нет”.

## О “СТРАННОМ НАРОДЕ”, АЛЬБЕРТЕ И ВООБЩЕ

### Страшная штука тюрьма... Нет ей оправдания.

Б. Вильде

“Кто же не читал Достоевского? Всякий читал Достоевского. И тем более “Записки из Мертвого дома”. Но, как правило, давненько уже. Тут как-то автору пофартило раздобыть эти самые “Записки”, и он поразился: да полно, того ли Достоевского читал он когда-то, уж не подмененного ли какого? Каким же надо быть верхоглядом, чтобы столько не заметить! А может: сколько же надо самому отсидеть, чтобы столько лишь теперь заметить!.. Наверное, чтобы вполне постичь “Преступление и наказание”, надо самому быть в какой-то степени Раскольниковым (в большей, чем все мы им являемся), и только тогда... Впрочем, кроваво-крестные судороги – слишком, как ни верти, дорогая цена за постижение романских глубин, равным образом и многолетнее заживо-гниение в “Мертвом доме” не облегчит кичливым сознанием, что зато теперь все детали бывшего каторжного быта ты видишь словно наяву и от затхлого осторожного духа перехватывает горло. Как бы ты ни обмирал перед величием литературных гениев, вряд ли стоит, домогаясь сопричастности их опыту, канючить у судьбы корч и Голгоф, как, к примеру сказать, вряд ли стоит желать себе бесповоротной смерти ради того, чтобы, оказавшись в аду, убедиться в невеловеческой прозорливости Данте... Но коль скоро ты там все же окажешься, то, румянясь на раскаленной сковородке или стеклянно леденя в сатанинском холодильнике, все будешь сопоставлять ад нынешний с тем, давним, дантовским – если только тебе будет до того, если твои мозги не расплавятся окончательно или не замерзнут.

Всякий арестант вмиг встрепенется... Впрочем, не всякий. Вот рассказывают, Мандельштама, цветаевского “Божественного мальчика”, в последний раз видели в каком-то пересыльном лагере под Владивостоком. Оборванный, скрюченный доходяга с дряхлым провалившимся ртом и тусклыми застывшими глазами безумца, он рылся в помойках и спал возле них – из барака его выгоняли, чтобы не воровал хлеб... Как нет деревни без своего юродивого – в соплях под лиловым носом, с гусяно-красными распухшими ногами на рождественском снегу, – так нет зоны, даже и самой крохотной, на задворках которой не ютились бы закутанные в тряпье, смердящие призраки с воспаленными безумием глазами. Такой уже не встрепенется.

Почти всякий арестант вмиг встрепенется, услышав, что вот, дескать, в особом отделении каторжного острога середины того века пекли такой хлеб (“чистяк”), что ему и в городе завидовали, что за деньги можно было иметь свой стол, что там и водочка водилась и даже – с ума сойти! – девочки... Это на особом – то, в отделении для самых страшных преступников, так сказать, прадедушке нашего “спеца”. Поневоле вздохнешь завистливо (конечно, не о кандалах и палках), вздохнешь и, вспомнив о слезах сокрушения и сострадания, которые, говорят, проливал над “Записками” сам Александр II, загорись дерзостным намерением, не покушаясь на соревнование с всеохватной гениальностью и глубиной Достоевского, описать некоторые частности жизни правнука того каторжного острога: вот, дескать, там было то–то и то–то, а у нас совсем даже хуже, там так–то и так–то, а у нас и вовсе ни в какие ворота не лезет и т.д. И, казалось бы, ради Бога, – в меру сил и способностей... Да прослезится хоть кто–нибудь! К тому же в наши демократические времена можно не опасаться, что рукопись не допустят к печати на том основании, что лагерь изображен в ней не столь уж страшным, дабы трепетно ужаснуть читающую публику и тем отвратить ее от преступлений. \*

Только не надо уподобляться Видоку, сделавшему достоянием широкой публики, а вместе с ней и тюремного начальства, некоторые из сокровенных тайн кандалников, чтобы не заслужить злобно–презрительного хрипа обвинения в предательстве арестантских интересов – чего бы то ни было ради: эфемерной ли славы, вящей ли занимательности на потребу праздному читателю, розового ли упования на реформаторскую милость слезливых на досуге монархов... \*\*

---

*\* Тут автор тонко намекает на трудности с публикацией второй главы “Записок”: председатель петербургского цензурного комитета противился ее появлению в “Русском мире” на том основании, что Достоевский не показал ужасов каторги и у читателей может создаться превратное впечатление о каторге, как слабом наказании для преступников.*

*\*\* Писатель А. Мельшин дал прочитать “Мертвый дом” одному бывшему союзнику Достоевского. “Задавить бы его надо, а не читать, – злобно прохрипел тот, вместо того, чтобы умилиться. – За то его задавить надо, что он все арестантские тайны начальству выдал”. Якубович П.Ф., “В мире отверженных”, т. 2. Л., 1964.*

Ну и, казалось бы, пиши себе на здоровье... Так-то оно так, но вот беда: где эту рукопись хранить? Вот пока ее пишешь-то, да и потом, написавши? Это же не десяток-другой листочков, которые в матрачных стружках можно припрятать, втиснуть в каблучный тайник или еще куда-нибудь... А посему автор, приравливая свой темперамент к объему тайника (который, конечно, не в матрасе и не в каблуке), не без известного сожаления ограничивает себя лишь одной темой: рассказом о "странном народе". Вместе с тем ему (автору) кажется не лишним для освежения читательской памяти привести с дюжину цитат из "Мертвого дома", а также сказать несколько слов о тюрьме вообще и о своей в частности. При этом автор исполнен решимости быть предельно объективным и по возможности откровенным – предельно объективным во всем, что касается затронутых им тем, и по возможности откровенным тогда, когда ради полноты картины возникает необходимость выявить отношение самого автора к тем или иным событиям или вопросам.

Пусть специалистов (или мнящих себя таковыми) не смущает то, что автор порой именуется тюрьмой и так называемые исправительно-трудовые колонии – делает он это, во-первых, для краткости, а во-вторых, это только законодателю кажется, что тюрьма хуже лагеря: было время, когда арестанты совершали новые преступления лишь бы уехать из голодного лагеря "особого режима" в менее голодную тюрьму, и только начиная с 1969 года, когда на "спецу" стало чуть посытнее, а тюрьма окончательно превратилась в рабочий дом, они перестали существенно отличаться друг от друга (и уж тем более для обитателей лагерей "особого режима").

Итак, вот краткие и немногие извлечения из "Записок из Мертвого дома":

1. Это был ад, тьма кромешная. 2. Весь этот народ работал из-под палки, следственно, он был праздный, следственно, развращался; если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. 3. Конечно, остроги и система насильственных работ не исправляют преступника, они только его наказывают. 4. В преступнике острог и сама усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие... 5. ...тягость и каторжность работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная, из-под палки. 6. ... пища показалась мне довольно достаточною... многие имели возможность иметь собственную пищу... 7. Между тем в мастерскую явились калашницы. Иные были совсем маленькие девочки... Войдя в возраст, они

продолжали ходить, но уже без калачей... 8. Арестант–именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени; он наедался как вол... Потом появлялось и вино... 9. У некоторых арестантов на форштадте были любовницы. 10. Обыкновенно я покупал кусок говядины, по фунту в день. 11. К вечеру (на Рождество – Э.К.) инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядины, поросят, гусей. 12. Подаяние приносилось в чрезвычайном количестве в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряников, шанег, блинов и прочих съедобных печений. 13. ...есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: вынужденное общее сожительство.

## ВООБЩЕ

**Дальше едешь - тише будешь.**

Лагерная пословица

Предваряя краткий экскурс в историю того почтенного учреждения, в котором автор ныне обретается, он во избежание возможных кривотолков и недоразумений решительно заявляет, что к существованию такого социального института, как тюрьма, он относится положительно. Тюрьма нужна. Куда же без нее? Сколь бы пристально ни всматривался автор в лучезарную даль блаженного будущего, к которому, согласно предначертаниям известных пророков, человечество мчится на всех парах, он решительно не способен усмотреть впереди эру бестюремной жизни. Не видать. Слухи–то, конечно, ходят. Но автор, человек скептический и, что называется, себе на уме, не склонен им верить. Вот, например, один очень великий государственный деятель публично клялся в свое время, что вот–вот ликвидирует преступность, так как написано–де, что для нее у нас нет социальной почвы. Ликвидирую, говорит, и лично пожму руку последнему преступнику. Хотя в то время автор был еще довольно молодым человеком, однако и тогда он как–то не верил этим бодрым клятвам. С одной стороны, и правильно сделал, что не поверил, так как некоторое время спустя вдруг выяснилось, что сей великий государственный муж не столь уж велик, а совсем наоборот, но, с другой стороны, эта манера не верить государственным мужам (независимо от того, чем они окажутся впоследствии) сказала пагубно на карьере автора в качестве рядового законопослушного гражданина.

Автор принципиальный сторонник так называемой раскованной манеры письма, позволяющей достаточно произвольные отступления от темы, а потому не может отказать себе в удовольствии поведать читателю, что, честно говоря, свои первые семь лет он получил за сущую ерунду: стихи, участие в самых ранних самиздатовских журнальчиках, тайное обсуждение проектов демократизации России и т.д., и т.п. И, возможно, автору удалось бы демократизировать эту самую Россию, если бы он более почтительно относился к вышеупомянутому государственному мужу: ведь формальным основанием для возбуждения против него дела о государственном преступлении послужил донос его сокурсницы, обнаружившей в тетради автора с конспектами “Диамата” портрет Хрущева, на оборотной стороне которого были написаны такие роковые для автора слова: “Щедрин не прозорливец, а великий мастер подмечать национальные типы, столь живучие, что от их гримас и ужимок нас и ныне в дрожь бросает”. А далее следовал и сам Салтыков–Щедрин: “Да, Толстолобов ни перед чем не остановится, этот жестоковыйный человек! Он засеет все поля персидской ромашкой! И при этом будет как вихрь летать из края в край, возглашая: га–га–га! го–го–го! Сколько он перековеркает, сколько людей перекалечит, сколько добра изгадит, покамест сам наконец попадет под суд! А вместо него другой придет и начнет перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га–га–га! го–го–го!”

Автора утешает лишь то, что, во всяком случае, в глазах своей очаровательно–бдительной сокурсницы он предстал эдаким любителем литературной классики. Автор краснеет, воображая, как была бы шокирована эта прелестница, найди она не Щедрина, а, скажем, такую вульгарную частушку, родившуюся после вынужденного ухода Хрущева на пенсию:

“Стыд и срам на всю Европу!  
Темнота мы, темнота!  
Десять лет лизали жопу –  
Оказалось, что не та!!!  
Но мы ждем, не унывая, –  
Уж такой у нас народ! –  
Наша партия родная  
Нам другую подберет!”

Разумеется, автору известно, что тюрьма не внеисторична, подвержена различным модификациям и – теоретически – стремится к светлой перспективе превращения из карательного учреждения в сплошь перевоспитательное. Ав–



тор не мнит себя эдаким совершенством, однако без обиняков заявляет, что лично он не хочет, чтобы его перевоспитывали и исправляли – ни сегодня, ни в перспективе, что вовсе не значит, что он в принципе отрицает необходимость перевоспитания явно антисоциальных лиц. Отнюдь. Ну и т.д.\* Наше дело наметить некоторые тезисы, а там уж всякий сам найдет, что сказать по их поводу. Тем более, что в принципе автор не отрицает, что его отношение к тюремной проблематике, возможно, излишне тенденциозно. Оно и неудивительно, если вспомнить, что его перевоспитывают уже 10 лет и собираются еще аж целых 12...

Очевидно, более подходящего момента не представится, чтобы оповестить читателя со всей свойственной автору прямоотой, что он из числа тех довольных неприятных фруктов, которые решительно не ведают, что такое раскаяние или даже просто сожаление о содеянном. И не потому, что пьяняще уверен в несомненной оптимальности всего, что ему уже удалось натворить, а, скорее, напротив: он убежден, что как бы он ни поступал, все равно это далеко от того, к чему заносчиво тяготеют его сокровенные помыслы, а следовательно, плохо. Ну и т.д. Можно ли тут говорить об исправлении? С таким-то характером?

Автору довелось своими глазами видеть людей, которые, за какую-нибудь сущую ерунду попав в заключение со сроком один-два года, никак не могли оттуда выбраться лет по 20–30 – очевидно, в связи с трудностями того процесса, который зовется исправлением. К сожалению, практически невозможно установить теперь первоначальный облик того преступника (как правило, малолетнего), чтобы в меру достоверно судить о благотворности процесса исправления и перевоспитания, затянувшегося на несколько десятков лет. Вообще говоря, автор отнюдь не мнит себя специалистом в этом вопросе, однако он не считает нужным и утаивать от читателя следующее:

1. Лично он никогда не видел ни одного исправившегося и перевоспитавшегося. 2. Лично он никогда не слышал от заслуживающих доверия людей, что они видели хоть одного исправившегося и перевоспитавшегося. 3. Автор лично знал тех, кто, по мнению лагерного начальства, исправился и перевоспитался, и у него создалось стойкое впечатление, что все они поголовно лицемеры и сволочи. 4. Автору приходилось читать о чудесах исправления самых закоренелых преступников, но все это случалось где-то в другом месте, автор же в данном случае имеет в виду конкретное учреждение – “спец”.

Итак, автор считает, что тюрьма – явление в некотором роде непреходящее.

*\* Автор и впредь намерен при каждом подходящем случае прибегать к излюбленному им “ну и т.д.”. Он надеется, что это будет воспринято не*

И сколь бы расчудесным ни рисовалось ему всечеловеческое будущее, он уверен, что всегда найдется, за что посадить человека, это хитроумное и очень неожиданно устроенное существо. Как ты его ни воспитывай, как ты его ни исправляй, как ты его ни опекай на каждом шагу, он, “проваренный в чистках, как соль”, все равно “отколет какую-то моль”.

А посему автор убежден самым твердым образом, что тюрьма – дело серьезное и отмахиваться от нее не следует. Вместе с тем автор сознает свою теоретическую неполноценность и ни в коем случае не претендует на новое слово в тюремоведенье, он всего лишь хочет пролить толику света на то своеобразное учреждение, которое так радушно приютило его и о существовании которого, как ему кажется, мало кто знает.

Официальное наименование его звучит не очень уклонже: “Исправительно-трудовая колония особо строгого режима для особо опасных рецидивистов, совершивших особо опасные государственные преступления”. Среди своих его просто зовут “спецом” – по традиции, так как в свое время все исправительные учреждения с особо суровым режимом назывались спецлагерями.

Раз уж мы коснулись разного рода названий, уместно будет сообщить, что, вопреки довольно частой смене официальных наименований узилища, большинство кадровых заключенных упорно кличут его лагерем, очевидно, в память о первом имени – концлагерь. Точно так же не прижилась и официально рекомендованная замена термина “заключенный” (или реже – “арестант”) на “осужденного”, и надзирателей никак язык не поворачивается величать “контролерами”. Ох уж эта консервативность традиций, не любит она эвфемизмов, хоть ты ей кол на голове теши!

---

*как свидетельство скудности его мышления или недостаточной информированности в том или ином затронутом им вопросе (такая неосведомленность всегда будет специально оговариваться автором), а, скорее, как знак доверия к читателю, попытка апелляции к читательской активности: автор дает некоторые исходные данные, пытается вдохнуть в них толику жизни и обозначить тенденцию их развития; всю остальную работу может проделать сам читатель, если захочет, конечно, а коли не захочет, значит, он вполне удовлетворен и тем, что уже сказано. Вообще автор искренне убежден, что читатель тоже человек и в качестве такового нуждается в некоторой доле свободы – как от нудной дотошливости авторов, так и от навязываемой последними односторонности прочтения ими написанного. Ну и т.д.*

Наш герой не с луны свалился, хотя и – существо капризное, претенциозное, часто меняющее имена – может показаться неопытному человеку Иванов–родства–не–помнящим. Конечно, про себя–то он очень даже хорошо знает свою родословную, но послушать его, так он вроде бы сам по себе. Правда, некоторых почему–либо приятных ему родственников, он иногда снисходительно признает, от других же неистово отрекается, особенно от закордонных, злобно плюет в их сторону и гордо выпячивает грудь при этом. И действительно, взаимоотношения с родней у него непросты. Трудно сказать со всей определенностью, кто из них более неправ. Автор уверен, что все они по–своему хороши. И вообще, как известно, хорошо там сидеть, где нас нет. Однако автор воздерживается от развернутых сравнений досконально известного ему героя с его заграничными родичами – в первую очередь потому, что еще не имел счастья узнать их лично, описание же их, во всяком случае те, что ему доступны, не удовлетворяют его. Но, конечно, автор целиком и полностью согласен с таким, например, утверждением, вычитанным в “Исправительно–трудовом праве” (“Юридическая литература”, М., 1971 г.): “По своей сущности тюремные системы современных капиталистических стран являются реакционными и антинародными”. Автору приятно сознавать, как ужасно ему повезло в том, что он сидит в социалистической стране, где тюремная система прогрессивна и народна. Однако его радость иной раз смущают газетные сообщения о реакционности и антинародности тюремной системы Китая, который тоже ведь социалистическая страна. Так и сяк поразмыслив над этой заковыкой, автор в конце концов пришел к утешительному выводу, что диалектика – штука тонкая, не всякому по карману, и то, что, так сказать, неискушенному уму мнится черным, уму диалектическому – сплошь белизна.

Как известно, рабовладельческое и феодальное право не утруждало себя такими гуманными понятиями, как исправление преступника, ему было решительно невдомек, что, если злодея лет 20–30 покормить тухлятиной и приучить к работе из–под палки, он может исправиться; оно больше специализировалось в области усекнования главы, охотно прибегало к огню, воде, веревке, гарrote и тому подобным орудиям правосудия или же, в знак особой милости, только отсекало тот или иной преступный член, а то и вовсе ограничивалось вырванными ноздрями, клеймом на физиономии да сотней–другой плетей.

Только с возникновением буржуазного общества тюрьма становится довольно веским аргументом в споре с политическими противниками, а позже и основным средством борьбы с общеуголовной преступностью. Даже не будучи

марксистом, помешанным на срывании всяческих надстроечных покровов ради обнажения экономических подоплек, легко сообразить, что буржую, которому главное – деньги, ни к чему преступник без рук–без ног и уж тем более без головы (в прямом смысле слова) – разве что для изготовления мыла, но, к счастью для преступников, в те времена мыло еще не пользовалось спросом. Значительно выгоднее исправлять злодея тяжким трудом.

Сначала на Западе возобладала пенсильванская тюремная система, а затем ее сменила к 1838 году так называемая прогрессивная (ступенчатая) система, суть которой состоит в том, что в начале срока заключенный имеет максимум ограничений и минимум прав, а к концу срока, если ему удастся внушить начальству, что он исправляется, его ограничения и права приближаются к таковым свободных граждан.

На Западе первые тюрьмы, работные дома и другие пенитенциарные учреждения появились в конце XVI в. В России с этим было проще: как чего – так в Сибирь... В 1586 году в Тобольске уже функционировал Разбойный приказ, занимавшийся ссылкой в Сибирь беглых крестьян, бунтарей и уголовных преступников. И позже Россия особенно–то не утруждала себя поисками там разных систем: сажали как придется, бессистемно и держали где ни попадя; кого в Кишиневе, кого в Сибири, кого на Кавказе, кого на Сахалине; тот умирал от чахотки в Петропавловске, другой, отбывая срок, умудрялся стать вице–губернатором земли поболее какой–нибудь там Бельгии... Ну и т.д. После Второй мировой войны многие ужаснулись способам, которыми тоталитарные государства расправляются со своими оппозиционерами, и стали слышны требования гуманизации тюремной политики. Вопросы организации и деятельности пенитенциарных учреждений становятся предметом обсуждения на нескольких послевоенных международных конгрессах (Женевском в 1955, Лондонском в 1960, Стокгольмском в 1965, Токийском в 1970 гг.), в решениях которых неизменно подчеркивается необходимость гуманного обращения с заключенными, недопустимость их эксплуатации и применения жестоких и вредных для здоровья методов воздействия. Все это, конечно, относится к тем реакционным странам, где еще существуют социальные условия для процветания преступности. Там тюрьма всегда – способ подавления бунта протестующих против режима, и потому необходима борьба всего передового человечества за ликвидацию их. Другое дело страны, где нет социальной почвы для преступности, где светлые юридические головы точно вычислили, что преступление в такой стране – это вина личности (носителя пережитков прошлого и объекта разлагающего влияния буржуазной пропаганды) да изредка – результат стечения неблагоприятных (преимущественно личных же) обстоятельств сугубо локального значения, а потому и ответственность за пре–

ступление целиком лежит лишь на данной личности. В еще большей степени это относится к политическим смутьянам, ибо они все заведомые реакционеры. Это и есть отправная точка для желающего постичь диалектические кульбиты “нового гуманизма”: свободу (или, как минимум, либерализацию тюремного режима) прогрессивным узникам в реакционных странах, голодную тюрьму и беспощадную суровость каторги реакционерам в прогрессивной стране!

К сожалению, автор не может позволить себе роскоши подробно останавливаться на этих вопросах, как и злоупотреблять сравнениями разных пенитенциарных систем, дабы не быть ложно истолкованным. Вместе с тем он считает не лишним подчеркнуть свое отличие от большинства арестантов, которые любят порассуждать на тему, где лучше и где хуже. Автор уверен, что сидеть везде по-своему хорошо, но еще лучше нигде не сидеть; и потому его сокровенная мечта (трансформация детских фантазий) – обзавестись шапкой–несидимкой. Ищите шапку–несидимку и остальное приложится вам.

Впервые упоминание о концлагерях как местах заключения прежде всего контрреволюционеров мы встречаем в постановлении СНК от 5.IX.18 г. “О красном терроре”. В нем сообщается, что “необходимо обезопасить советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концлагерях”. Первым концлагерем особого назначения, который может в некотором смысле считаться дедушкой нашего “спеца”, был так называемый СЛОН (соловецкий лагерь особого назначения), организованный в кельях Соловецкого монастыря в 20-е годы. Там спасались от бурных превратностей мирской жизни члены контрреволюционных организаций, белогвардейцы и торговцы опиумом, то бишь реакционное духовенство. Основной задачей таких лагерей была строгая изоляция враждебных элементов. Сначала было не до исправления и перевоспитания, поэтому принуждать к труду в таких лагерях стали только в 1926 году.

В 1918 году тюремное управление было реорганизовано в Карательный отдел, который с 1921 года стал называться Центральным исправительным отделом.

Потом в связи с резким обострением классовой борьбы пошла всякая неразбериха: переименования, реорганизации, указы, введение десятилетней ссылки, закона об уголовной ответственности родственников преступника и т.п. Вообще говоря, ужасно увлекательная история, но, к несчастью, она слишком раздвинула бы и без того опасные просторные рамки данной работы, и потому автор со вздохом сокрушения сердечного опускает ее. Но вот Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года никак нельзя обойти молчанием, ибо этим Указом, введившим каторжные работы на срок от 15 до 20 лет, ознаменовано появление на свет божий существа чрезвычайно мрачного и сурового – отца теперешнего “особого режима”, то есть “спеца”.

Да и сам “спец”, о рождении которого торжественно оповестил мир Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1961 года, оказался не лучше своего папаша. Рождению его предшествовали газетные выступления трудящихся, дружно и слово в слово требовавших покончить с санаторным режимом в тюрьмах. К мнению трудящихся прислушались в верхах, и вот уже депутат Б. И. Самсонов потребовал, чтобы заключенные “воспитывались в условиях более тяжкого труда, чтобы в памяти остались не только хорошее питание и культурные развлечения”. \*

В ноябре 1963 года автор целых пятнадцать дней педантично изучал кумачовый транспарант с этими словами: он украшал один из барачных спецлагеря №10, как раз напротив карцера, и автор, за неимением других занятий, упражнялся в остроумии, тщась угадать, что это такое – “культурные развлечения”. Однако аристотелева логика оказалась бессильна, в других же хитроумных логиках – диалектической, математической, кремлевской... – автор профан профаном. Зато относительно “хорошего питания” никакие недоумения автора не посещали: при виде того, с какой стремительностью он уничтожает четырехсотграммовую пайку хлеба, никто не усомнился бы в том, что она кажется ему очень-очень вкусной... хотя могла бы быть и побольше. Да и в карцере автор в тот раз угодил именно из-за порочной страсти к гурманству: возвращаясь с рабочего объекта, он пытался тайком (за пазухой) пронести в жилую зону десяток чудом раздобытых полугнилых картофелин...

(Здесь утрачена часть текста, – примеч. ред.)

Автор считает, что тюремный режим слишком очевидно нацелен на превращение арестанта в беспросветного конформиста или откровенно лицемерствующего негодяя. Между прессом внешнего и стихиями внутреннего есть крохотный зазор – плацдарм для попыток самореализации человека в соответствии с личным проектом, зазор, конституирующий ответственность человека за то, чем он является. Беспредельно утяжеляя пресс внешнего и поощряя низменные стихии внутреннего, тюремный режим сужает этот зазор до минимума. И не последнюю роль тут играет принудительный труд.

В идеале следует предоставить арестанту право заниматься чем его душе угодно; его отличие от еще не посаженных за решетку должно сводиться лишь к существованию этой решетки. В известной мере обязательным может быть лишь труд, необходимый для оплаты питания самого заключенного. Содержание же охраны, возведение тюремных замков, ремонт лагерных заборов и

---

\* “Заседание Верховного Совета СССР 5-го созыва, 2-я сессия. Стенографический отчет”. Изд. Верховного Совета СССР, М., 1961.

решеток, стоимость полосатой униформы и наручников аморально взваливать на спину узника – во всяком случае, узника политического.

Даже если быть таким тупицей, чтобы искренне воображать, что многолетний рабский труд способен превратить арестанта в законопослушного гражданина, производителя материальных благ, то зачем вечером загонять его в тесный и смрадный хлев? Почему бы не дать ему возможность, отгорбавив восемь часов, заниматься своими маленькими человеческими делами? Не все же посвящают свой досуг картам и домино... Но существующие тюремные порядки не усматривают в арестанте личности, их не волнует уровень его духовных запросов, их интересует лишь степень покорности раба начальству. Ну ладно, если никак нельзя без того, чтобы не превращать реформаторий в экономически рентабельное предприятие, то уж извольте кормить арестанта по-человечески, хотя бы на те деньги, которые он у вас зарабатывает, вас обогащая!! Автор считает, что в настоящее время тюремный труд – это и в самом деле не только кара, но и средство развития государственной экономики. По расчетам, произведенным в ГУИТУ МВД СССР,\* для возмещения расходов по содержанию арестантов (тюрьмы, карцеры, охрана и т.д., и т.п. плюс, конечно, и само Министерство внутренних дел)\*\* надо удерживать с каждого работающего заключенного не менее 40 рублей в месяц. В 1966 году в среднем с каждого работающего заключенного государство удерживало ежемесячно по 47 рублей\*\*\*.

А если помнить, что лагерный труд не засчитывается в общий трудовой стаж, если помнить, что попавший в заключение пенсионер лишается своей пенсии, то... кто же усомнится, что арестанта заставляют работать только для того, чтобы он поскорее исправился?

В данное время тот “спец”, где пребывает автор, насчитывает всего 83 человека, втиснутых в камеры с таким расчетом, чтобы на каждого приходилось не более двух квадратных метров жилплощади.

Когда автору случается вычитать о комфортах, коими наслаждаются заключенные некоторых западных тюрем, у него порой мелькает крамольная мысль: на Западе что может быть тяжелее лишения свободы? Поди, потому и не теснят их слишком – то в тюрьме. А тут само лишение свободы еще почти и не наказание –

---

\* *Игнатъев Л.А., “Отчет по теме 23/27”. М. Фонд ВНИИ МВД СССР, 1967)*

\*\* *Свое питание и одежду заключенный оплачивает сам из тех денег, что остаются у него после того, как он накормит и оденет своих тюремщиков)*

\*\*\* *Обследование, тайно проведенное автором в начале 1973 г., показало, что за типовой рабочий месяц заработной платы, начисленные на лицевые счета заключенных (с учетом коэффициента понижения). После всех*

мало упрятать человека за решетку, надо еще всякий день его наполнить муками.

Хотя отношение автора к тюрьме теперь, после десятилетнего с нею знакомства, значительно отличается от первоначального, оно далеко не так просто, чтобы можно было выразить его одним словом (любимым одним словом). Это отношение прошло различные стадии – от крайне горячей ненависти до более или менее прохладного отвращения – и в данный момент автор затрудняется как-либо однозначно определить его. Тяжко, муторно, больно, безысходно... Ну и т.д. Это ад в квадрате, это тьма крошечная в кубе!

Вот то небольшое, что автор в данной работе мог позволить себе сказать о тюрьме вообще и о своей в частности. Его утешает лишь соображение, что ранее ему уже случалось писать о “спеце” и, следовательно, интересующимся есть куда обратиться за дополнительными сведениями.

### **“СТРАННЫЙ НАРОД”**

**Не внемлют! - Видят и не знают!**

**Покрыты мглою очеса:**

**Злодействы землю потрясают.**

**Неправда зыблет небеса...**

Державин, ода “Властителем и судиям”

В свое время автор, как, наверное, и большинство рядовых, еще не ушибленных каторгой читателей, не понял там и сям разбросанных в “Записках”

---

*удержаний, составили: у 25% - до 10 руб.; у 32% - от 10 до 20 руб.; у 18% - от 20 до 30 руб.; у 5% - от 30 до 40 руб.; у 2% - от 40 до 50 руб. У 18% работавших заключенных после всех удержаний заработка для зачисления на лицевой счет не осталось. (Разумеется, обследованный автором состав не может считаться репрезентативным.) Из всего заработка сперва удерживают 50% (в тюрьме, в отличие от лагеря, 60%), а потом оставшуюся сумму облагают подоходным налогом и вычитают стоимость питания и одежды. В результате социального обследования, проведенного в 1970 г. (см. Журавлев И.П., Миклин А.С. “Общая характеристика осужденных к лишению свободы”. М., ВНИИ МВД СССР, 1972 г.), были получены данные о наличии денежных накоплений на лицевых счетах осужденных. До 20 руб. на лицевом счету было у 13%, от 20 до 50 - у 19%, от 50 до 100 руб. - у 21%, от 100 до 200 руб. - у 9%, свыше 200 - у 11%. Не было совсем денег на лицевых счетах у 27% осужденных (на лицевом счету автора за два года работы скопилось 196 руб.*



намеков на некий “странный народ”, из числа коего был и Лакомка–Сироткин, разгуливавший по острогу в красной рубашке, и тот, что “шестерил” Горянчикову–Достоевскому. “...Только один Сироткин и был из всех своих товарищей такой красавчик, что же касается других подобных ему, которых было у нас всех человек до 15–ти, то даже странно было смотреть на них: только 2–3 лица были еще сносны; остальные же все такие вислоухие, безобразные, неряхи; иные даже седые. Если позволят обстоятельства, я скажу как–нибудь о всей этой куче подробней”. И еще раз (в другом месте) Достоевский сулит рассказать об этом “странном народе”, но так и не рассказывает ничего, ограничившись несколькими незначительными штришками да намеками, – или потому, что больно уж тема–то по тогдашним временам скабрезная, или, может, потому, что вследствие своей малочисленности этот народец был относительно незаметен... В нынешние времена он изрядно расплодился. Если из 250 каторжников обрисованного Достоевским острога только человек 15 были пассивными педерастами, то, например, в нашей зоне из 83 человек их насчитывается 18, то есть чуть ли не каждый четвертый, да голов 30 активных, которых попробуй назови педерастами – хлопот не оберешься.

Вследствие ли сходного комплекса причин, по каким уличный позор липнет именно к женщине, а не к мужчине, вследствие ли того, что, как правило, лагерные “травести” – люди, при всей своей наглости, слабодушные, не умеющие за себя постоять, в результате ли еще каких–то неясных автору причин (возможно, тошнотворно–физиологических, а может быть, уходящих корнями в такой тантрически–магический мрак, в котором и специалисты–то блуждают, спотыкаясь на каждом шагу), в лагере позор содомии падает лишь на пассивных педерастов. То же, очевидно, было и в старорежимных узилищах. Хотя специально Достоевский по этому поводу не высказывается, однако такой вывод возможен на примере вампира Газина, который, судя по тексту, был активным педерастом, но Достоевский отнюдь не причисляет его к “странному народу”. Напротив: Газина боятся, Газина уважают, перед Газиным заискивают...

О внутрилагерном статусе гомосексуалистов в 20–е годы автору ничего не известно, относительно же 30–х годов ему удалось установить лишь то, что в больших зонах пассивные “гомики” жили в отдельных бараках, которым командовала “бандерша”, то бишь “хозяйка” дома терпимости. “Она” устанавливала плату за посещение, поддерживала порядок, при разборе блатными конфликтных ситуаций ее допускали на “сходняк” – представлять своих подопеч-

ных и отстаивать их интересы; следила за тем, чтобы “девки” не нарушали закон: трепетали перед блатными и не обирали “мужиков”\*.

В те времена их называли “военными”, а того, кто был готов и к иным формам сексуального сервиса, звали “военный с гармошкой” или “пастух с дудкой”.

Лишь о 40–х годах можно сказать с полной уверенностью, что правовое положение лагерных потаскушек не отличалось по существу от теперешнего. Но как в годы войны, так и какое-то время спустя число гомиков в лагерях было незначительным. Хотя в те дистрофически голодные годы все обхаживание “невесты” зачастую сводилось к лишней пайке хлеба, миске супа или жмене махорки, но доходягам до любовных ли игрищ?!.. “Наложниц” имела лишь воровская элита да “сучня” – вооруженная ножами и дубинами банда нарядчиков и бригадиров. К тому же, в те годы мужские зоны зачастую объединяли с женскими общая шахта, стройка или завод, и в лагерях возникали семьи и бардаки. Иные обзаводились гаремами, где натуральные одалиски и их суррогаты строили друг другу козни, воюя за расположение “султана”, который купил их за бутылку водки, выиграл в карты, обменял, сманил, выкрал или отнял у другого “султана”, саданув ему в бок финкой.

В самом конце 40–х годов ГУЛАГовские Песталоцци и Макаренки ввиду чрезвычайно щекотливых, нередко кроваво-драматических сложностей, возникших с созданием особых лагерных яслей для бушлатных детишек, приняли решительные меры к поощрению нравственности: каждая вновь прибывшая зэчка тщательно обследовалась на предмет выявления девственности, и ежели таковая обнаруживалась, то счастливой обладательнице ее выплачивали денежную премию (что-то рублей 50) до тех пор, пока на очередном специально учрежденном ежемесячном осмотре не устанавливался прискорбный факт дефлорации\*\*.

Но в массе своей в тот период заключенные были бесполоми: в ватных бушлатах и брюках, грязные и тощие, они все были на одно лицо, и имя этому лицу – Голод.

---

\* *Право обирать “мужиков” (они же “фрайера”) принадлежит лишь ворам в законе. Не так ли и всякое тоталитарное государство суровейшим образом управляется с теми, кто тоже хочет обирать мужиков? Автору уже однажды доводилось писать о поразившем его факте исчезновения так называемой организованной преступности в Италии и Германии с момента воцарения в них фашизма.*

\*\* *Именно об этих временах пишет лагерный поэт В. Соколов в поэме “Гротески”: “За бараком кто-то раком девку начал... и не кончил... - Кто-то, варварски утончен, поманил пустой посудой... Обманул... Назвал паскудой...”*

Когда в 50-х годах заработанные деньги стали выдавать на руки, в зонах завелись коммерческие столовые. Вчерашние беспольные зэчки начали обзаводиться жировыми зачатками женских прелестей и учились быстро и изящно выпрыгивать из ватных брюк, а недавние доходяги теперь завидовали не только разносолам лагерной элиты, но и ее эротическим забавам. Поножовщина достигла небывалого размаха. Женщин отделили\*.

И сразу же катастрофически возросла численность “странного народа”. Пришлось создавать для “девок” отдельные лагеря и тем еще более множить их число, ибо увезенным тут же находили замену среди тех, кому вчера кое-как еще удавалось отбиваться от гомосексуальных домогательств.

Несмотря на то, что мужеложество карается законом (сроком до 5 лет), случаи уголовного преследования по этой статье единичны\*\*.

Специально историей вопроса об отношении к педерастии в России никто вроде бы не занимался. Как-то автору случилось наткнуться на свидетельство одного иностранного наблюдателя, но оно произвело на него впечатление откровенно недоброжелательного, и он даже не считал нужным ни запомнить имя этого иноземца, ни переписать в свою тетрадь его наблюдения. Таким образом, единственное известное автору вроде бы объективное свидетельство принадлежит Юрию Крижаничу, жившему в России во второй половине 17 в.,

---

*\* Автор не осмеливается утверждать, что отделили их из-за поножовщины, хотя бы и грандиозной, поскольку убийства в 30-е-40-е и частично 50-е годы были лагерной обыденностью. Но там, где замешаны женщины, процесс взаимоистребления враждующих уголовных группировок труднее поддавался контролю, возникали и сложности с натравливанием уголовников на политических заключенных. Зачастую неуправляемой становилась и межнациональная вражда среди самих политических заключенных...)*

*\*\* Лично автору известен лишь один такой случай, да и то десятилетней давности. Тогда “супругам” дали по три года, но при этом все отлично знали: дело не в том, что, устроив засаду, их накрыли на горячем и пахучем, а в том, что накануне они проникли в кабинет самого начальника лагеря, украли несколько пачек чая и сожгли все рапорты на нарушителей режима. Сделано было чисто, но, как водится, нашлись доносчики. Однако доказать что-либо было трудно, и тогда начальник лагеря публично пообещал “заделать козу” наглецам - и заделал. О других случаях осуждения за гомосексуализм автору неизвестно, но, чтобы избежать упрека в расширительном толковании личного опыта, он позволит*

в царствование Алексея Михайловича. Крижанич – ученый–серб, пламенный славянский патриот, видевший в русском царе единственного государя, который может объединить всех славян. Выдержки из его книги “Политические думы”, которые С. М. Соловьев приводит в 13 части своей “Истории”, чрезвычайно интересны, но мы процитируем лишь то, что непосредственно относится к нашей теме: “У турок нам следует учиться трезвости, стыдливости и

---

*себе сослаться на таблицу (№27) “видов преступлений”, за которые были в 1971 году осуждены лица, уже отбывающие наказание в ИТК особого режима”. Вот эта таблица, выписанная автором из бесстыдно похищенной им у начальника отряда брошюры под названием “Памятка практическому работнику ИТК особого режима” (М., ВНИИ МВД СССР, 1972 г.) 1. Действия, дезорганизующие работу ИТК (ст. 77 1 УК РСФСР) – 8,1%. 2. Хищение государственного или общественного имущества (ст.ст. 89–93, 96) – 3,4%. 3. Умышленное убийство (ст.ст. 102, 103) – 16,2%. 4. Умышленные тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения (ст.ст. 108, 109) – 17,9%. 5. Изнасилование (ст. 117) – нет. 6. Мужеломство (ст. 121) – 0,4%. 7. Кража (ст. 144) – 0,8%. 8. Грабежи, разбой (ст.ст. 145, 146) – нет. 9. Побег (ст. 188) – 19,5%. 10. Сопротивление представителю власти (ст. 181) – 8,2%. 11. Хулиганство (ст. 206) – 11,5%. 12. Изготовление или сбыт наркотиков (ст. 224) – 0,9%. 13. Прочие преступления – 13,1%.) и возбуждается такое во все не для пресечения гомосексуализма, а из соображений иного порядка – чаще всего в качестве кары за то или иное противодействие начальству, за смутьянство или нечто такое, расследование чего требует особых хлопот или сопряжено с какими-либо скандальными разоблачениями... Это всего лишь частный случай широко практикуемых способов непрямого использования закона (не для пресечения конкретного деяния, а как мести за что-то иное) – удобная маскировка всяческого произвола и всех видов дискриминации: наличие ряда законов, утративших жизненную силу, уже не осознающихся в качестве запретов и всеми безбоязненно преступаемых, дает возможность в любой момент привлечь к суду всякого неугодного, сколько бы он ни вопил, что “других-то ведь за это не судят”. Для того ли, чтобы всегда всегда иметь под рукой такую резервную статью, так сказать, статью в засаде, потому ли, что и в советское псевдопуританское захолустье доползли слухи о бисексуальной природе человека и о том, что в иных случаях гомосексуальные наклонности – скорее болезнь, нежели преступление, вследствие ли понимания, что если судить за недерастию, то подавляющее большинство нынешних лагерников вообще никогда не освободится, в силу ли каких-то других неизвестных автору причин, но гомосексуализм в лагере практически не карается.*

правосудию. Эти неверные не менее нас грешат противоестественным грехом, но они соблюдают стыдливость; никто у них не промолвится об этом грехе, не станет им хвастаться, ни упрекать другого. Если кто проговорится, то не останется безнаказанным, а у западных народов сожигают таких преступников. В России же этот гнусный грех считается шуткою. Публично, в шутливых разговорах, один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху, недостает только, чтобы при всем народе совершали преступление... пора поднять стыдливость против содомии". Свидетельство очень яркое, но по своей единичности оно вряд ли может считаться достаточным для сколь-нибудь серьезных обобщений.

Если в прежние времена рассадником гомосексуализма была по преимуществу армия (особенно флот), то в нашу гуманную эпоху наиболее многомиллионная форма насильственного отрыва особой одного пола от другого – лагерь. Когда и на воле – то гомосексуализм нынче не велика диковинка, то что же удивляться тюрьме? Тем паче, что содомия давно утратила привкус богопротивности, а этический релятивизм, которым чаще всего лишь маскируется оголтелый имморализм, – печальная данность этого столетия, нравственный сифилис, которым больны чуть ли не все поголовно: нос уже провалился, так давайте не прятаться, а расхваливать пьянящее чувство свободы, расторможенности, даруемое бледной спирохетой!..

По отзывам бывалых людей, девять десятых уголовников – гомосексуалисты. Но собственно педерастами (они же “козлы”, “петухи”), по лагерным представлениям, считаются только пассивные гомики, которыми, ориентировочно, являются около 10% всех уголовных преступников. Быть активным педерастом – это такая заурядная норма, что для них даже и особого названия нет. Лишь наиболее фанатичных приверженцев однополой любви зовут “козлятниками”, “петушатниками”, “глиномесами” или “печниками” – насмешливо, пренебрежительно, иронически или почтительно (в зависимости от контекста и ступени, занимаемой “трубочистом” в лагерной иерархии), но никогда – презрительно. Иное дело “пидор”, “козел” или “петух”.

Вот уже несколько десятилетий лагерь (как мужской, так и женский) является поставщиком сексуальных извращенцев всех мастей, а такие ругательства, как “козел”, “петух”, “ковырялка”, “кобел”, давно уже вплелись в красочную гирлянду уличной матерщины. Ну, пока такими оскорблениями осыпают друг друга школьники, это еще полбеда, но, дорогой читатель, упаси вас боже обозвать “петухом” лагерника. Он тут же потребует доказательств, а за отсутствием таковых имеет право и убить: тюремный закон императивно предписывает в таком случае как минимум избивание, иначе звание “петуха” счита-

ется правомерным. Для лагерника это не оскорбление, а обвинение. И дело вовсе не в каком-то особом чувстве чести, а в том, что звание “петуха” влечет за собой весьма существенные житейские невзгоды. Это обвинение (как, кстати говоря, и обвинение в стукачестве) должно быть смыто непременно кровью или, как минимум, публичной зуботычиной, иначе – падение на социальное дно. “Петух” должен жить отдельно от всех, а если и в общем бараке или камере, то где-нибудь в уголке, у параши или под нарами. Его кружка-ложка помечены дыркой. Уголовный быт казуистичен и ритуализирован, в казуистике и ритуалах его претензия на бытие, значительность, неслучайность, стабильность в качестве особой социальной группы, вечной и неистребимой. “Петуха”, посмеявшего выдать себя за простого “мужика”, бьют усердно, но не до смерти, если же он “канал по первому кругу”, то есть прикидывался блатным и ел-пил из одной с ворами миски-кружки, жизнь его под большим вопросом: сотрапезничество с “петухом” – пятно на воровской репутации и, не будучи смыто кровью, может самому вору стоить жизни. “Петух” – безгласное, бесправное орудие удовлетворения сексуальных потребностей, и только в эти минуты прикосновение к нему не оскверняет. Все прочее время он – пария, неприкасаемый. Особенно строго этот закон блюдетсЯ в лагерях для малолетних преступников. Жизнь “малолеток” всесторонне ритуализирована и табуирована, каждый следит за каждым, и всякое отступление от правил преследуется жесточайшим образом. Даже случайное прикосновение к “петуху” чревато взрывом массового энтузиазма – роль инквизитора, охотника, палача, могучего в праведности гнева и презрения своего, так упоительна... И в ту же ночь легион распятых и искалеченных принимает в свои ряды еще одного несчастного.

(Здесь утеряна часть текста, – примеч. ред.)

Чем занимаются во мраке взрослые люди на воле – их личное дело. На свободе гомик не обязательно подлец; в лагере он почти всегда вынужден быть стукачом: не защищенный общеарестантской поддержкой, он, в сраме своем, беззащитен и перед начальством – угрожая ему новым сроком за гомосексуализм или разоблачением в глазах матери или жены, “педагоги” в конце концов вынуждают его к доносительству.

(Здесь утрачена часть текста, – примеч. ред.)

Уже Достоевский отмечал, что наружность обитателей “Мертвого дома” зачастую чрезвычайно безобразна. Наблюдение верное и для наших времен. Вообще, бездуховность, низменность помыслов и стиля жизни накладывают каинову печать безобразной животности на облик большинства обитателей уголовных джунглей. Верно замечено, что до какого-то времени человек живет с

лицом, данным ему небесами и родителями, а потом – с тем, какое сам заслужил. Но особенно безобразны “петухи”, и более всего они отталкивающе отвратительны совмещением в себе черт крайней униженности, заботности, несчастности и чрезвычайной жестокости по отношению к слабейшим, подлости, трусливой наглости. Что и зафиксировано в лагерной поговорке: “Нет наглее наглого педераста”. Не без исключений, конечно. Вот, например, живет в нашей зоне всесоюзно знаменитая Любка, “дама” весьма совестливая (по “петушиным” меркам, конечно), очень строго блюдущая кодекс староуголовной морали. Она громогласно обличает тайных “петухов”, призывая их сбросить маску, а главное – не ходить по “кумовским” кабинетам. О себе “она” заявляет: “Я воровская пидараска”, ест из отдельной миски, никогда не пойдет, хоть убей, в общую камеру, время от времени подновляет выколотую под левым глазом мушку, каковой в былые времена клеймили членов петушиного клана, и с удовольствием демонстрирует любопытствующим отвислое брюхо, на котором корявыми буквами запечатлен лозунг: “Лучше умереть у красивого юноши на хую, чем на лесоповале”. 8-го марта “она” повязывает голову цветастой косынкой и, повиснув на оконной решетке, целый день визжит бабьи частушки, а во время прогулки стыдит “политиков” за то, что они не “мужчины” и кланчит у уголовников подарки: “Что же вы, мужчины, ничего мне не дарите на мой-то праздничек?”

Любке уже за шестьдесят. Сидит “она” безвыходно что-то лет тридцать, да до того и на Соловках сиживала, и всю Сибирь исколесила в этапных вагонах... всего лет 40–45 наберется. “Она” уже и “сама” забыла, где, сколько и за что сидела. Последний “четвертак” Любка отхватила в 1952 году за убийство начальника режима (не то капитана, не то майора): он застрелил “ее” супруга и погиб от Любкиного топора. “Ей”, конечно, пришили политический террор. Начальство старается “ее” обходить, так как “дама” она нервная, истеричная, может и огреть чем ни попадая, а увидев какого-нибудь чужого, случайно забредшего в наш лагерь начальника, тут же скидает портки и, нагнувшись, демонстрирует выколотые на ягодицах голубые глаза. У Любки гипертония, порок сердца да к тому же вместо нормальных рук – одни ладони (пальцы “она” отрубила, спасаясь еще в те годы от работы), и потому “она” признана нетрудоспособной. Любка так давно сидит, что лагерь окончательно утратил для “нее” значение кары, и “она” громко повествует о том, как проведет одну-единственную неделю на свободе. “Откидываюсь я, мужчины, в одна тысяча девятьсот семьдесят седьмом году 25 января, – сладким напевным голосом повествует “она” во время прогулки. – Сразу еду в Москву-матушку, покупаю

новую малированную миску с цветочками... да... рубля за два, а то и за три... и мохнатое полотенце с красными петухами... Да... Потом весь свой капитал – у меня ведь 65 рублей на счету! – пропиваю с мужчинами... Яблочков бы не забыть, я их, почитай, годков двадцать не едала, да... и на другой день иду к этому поганому Сталину – Руденке, скидаю портки и говорю...” – “Кто тебя, старую дуру, к Руденке пустит!” – перебивают “ее”. “Ну тогда подхожу к первому милиционеру и говорю: “Вы, жандармы, Гитлеры тухлые, а ну, сажайте меня обратно! Срать я хотела на вашу колхозную свободу!.. Только не к политическим, а к ворам... к молоденьким ворам. И... – Эх!” – визжит “она” разухабисто и призывно шлепает себя беспальными ладонями по ягодицам.

(Здесь утрачена часть текста, – примеч. ред.)

Никто из новичков, особенно молодых, не застрахован от тяжелой “женской” доли. Но даже и в другие, более откровенно–ножевые времена, как бы вор ни пылал страстью к какому–нибудь смазливому “красюку”, он не спешил насильничать – “законней” и безопасней принудить пассиву к “добровольному” сожигательству, сперва так или иначе деморализовав ее, коварно загнав в безысходный угол, где выбрать можно лишь один из двух ножей – железный или кожаный.

Профессиональные уголовники – порой пронизательные сердцеведы. Они знают, как важно ошеломить жертву, вызвать у нее моральное замешательство, навязать ей чувство вины, заставить оправдываться: кто оправдывается – уже не боец, кто объясняется – наполовину побежден. Знающий правоту свою иной раз и ножа не страшится, даже толстый фрайер в ночном переулке может ради имущества своего не пощадить живота своего и, обезумев от праведного гнева и страха, учудить нечто героическое. Но если правота его под вопросом, он куда смиренней. Надо заставить его оправдываться.

– Дя–я–денька, дай часы поносить, – канючит малец.

Почтенный обыватель, сперва опешив, наливается гневом:

– А ну, иди, иди отсюда, пока милицию не позвал... Ишь ты! Сопляк, а туда же – часы ему!

– Дя–я–денька... – не отстает тот, нахально цепляясь за полы пальто.

– Ах, наглец!.. Брысь!

Оборвыш шлепается на землю и ревет что есть мочи. Из ближайшей подворотни мгновенно выворачиваются двое–трое громил:

– Ты чаво, гад, над пацаном измываешься?!

– Да я... да он, – заикается тот. – Понимаете ли...

Но поздно – его уже колотят... вроде бы за малыша, но при этом не забывая обобрат его до нитки.



Способов загнать жертву в западню много. Обычно авторитетный вор, облюбовав “красюка”, демонстративно приближает его к себе, пока тот не привыкнет к заискивающей почтительности всяких там шестерок и мужиков. Потом втягивает его в карточную игру и оплачивает его долги, но, когда они достигают значительной суммы, вдруг впадает в гнев и требует вернуть все истраченные и проигранные деньги. Но где их взять? Вчера еще в почете, вчера еще он сам травил, избивал, а то и участвовал в убийстве “неплательщиков”, а сегодня... Кругом виноват, всякая шавка, недавние льстецы и лизоблюды теперь язвят и оплеывают его всенародно. И срока всего два дня... Затравленный, считая себя сплошь виноватым, он, съезжившись от страха, ждет смерти или чуда. “Не боись, паря, – хрипит ему искуситель. – Никто не узнает. Опять заживем как боги... Не боись: один раз – не пидарас...” И все, человеку конец.

Есть и другой исход – куда более достойный, но и куда более необратимый, окончательный – в смерть. В начале лета этого, 74-го года в запретке уголовного лагеря #3 был застрелен молодой, лет девятнадцати, парень. Сроку у него было всего два года, до свободы оставалось что-то месяцев пять-шесть; загнанный в угол, он участи “петуха” предпочел смерть и среди бела дня полез, не спеша, через забор. Автоматчика, как водится, за меткую стрельбу наградили именными часами и дали двухнедельный отпуск.

## **АЛЬБЕРТ**

**От тюрьмы да от сумы не зарекайся.**  
Народная мудрость

Пару недель назад из Владимирской тюрьмы вернулся Февраль и привез скорбную весть о смерти некоего Альберта С. Скорбную лишь для автора, так как, кроме него, никто в зоне и не знал, что такое этот Альберт. Февраль потому и зовется Февралем, что у него “не хватает”, и надо было потрудиться, чтобы извлечь из немногословной невнятицы более или менее отчетливое представление о последних днях Альберта.

История этого Альберта поневоле заставляет задуматься над страшным смыслом все той же народной мудрости о тюрьме... Никто, никто не застрахован от тюрьмы, а следовательно, и от участи, постигшей Альберта. Но автор предуведомляет читателя, что судьба Альберта в некотором роде нетипична – не тем, что с ним (Альбертом) случилось, а тем, как он воспринял случившееся.

Пренебрегая законами занимательности, рекомендующими постепенное и

непрямое подведение читателя заранее известной автору сути или, как минимум, подачи ее в самом конце рассказа, автор дает ее в начале. Вот она.

1. Какой богатый человеческий материал пропал ни за что!

2. Честному и умному тюрьма – трижды тюрьма.

3. Если закон не защищает человека – он вынужден сам быть судьей и палачом. Он прав и... горе ему! 4. Упаси тебя Боже, читатель, от участи Альберта! Но если бы всякий из нас не щадил живота своего, мстя подлецу своему, то, может, подлецов стало бы меньше на белом свете.

Вместе с тем, заранее изложив эти горестные выводы, к которым любознательный читатель, ознакомившись с историей Альберта, пришел бы и сам, автор очень надеется, что проницательный читатель обнаружит в этой истории и некие иные смыслы.

Кроме всего прочего, судьба Альберта поразила автора еще и тем, что наглядно опровергла его давнее мнение, что русскому человеку несвойственно жертвенно-фанатическое служение некой мстительной цели. Он существо по преимуществу смиренное, но и вдруг порывистое, вскидчивое, готовое в эту минуту на любую крайность, однако быстро отходчивое. Чтобы годы и годы посвятить какой-нибудь там вендетте – это здесь не водится. Пушкин с его гениальным чутьем недаром такого мстителя окрестил не каким-нибудь там Петром Ивановичем, а Сильвио.

Хотя Альберт тоже не ахти какое русское имя. А впрочем, почему бы и не русское? Не в смысле соответствия православным святым, а в том смысле, в каком русскими являются имена чад шарахающихся из крайности в крайность родителей: то это принимающая порой патологические формы любовь к дремучей патриархальщине, то периоды какой-нибудь галло- или англomanии, то полосы горделивого верноподданничества... В этом смысле русскими являются и такие, дававшие в тридцатые годы имена, как: Октябрь, Сталина, Баррикадина, Вилена (В. И. Ленин), Медера (Международный день работницы), Одвар (Особая Дальневосточная Армия), Лагшмира (Лагерь Шмидта в Арктике), Персострат (1-й советский стратостат), Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине) и даже Пятвччет, что означает пятилетку в четыре года!

В первых числах января этого года, только-только мы изгнали из своей камеры уличенного в воровстве и доноситељстве уголовника и вздохнули облегченно, мечтая спокойно зажить втроем, как к нам посадили новичка, прибывшего в тот день с этапом. Зона у нас крохотная – в 1-й камере чихнут, из 12-й – “чтоб ты сдох, скотина!” кричат. Так что новичка еще только обыскивали в ко-

мендатуре, а все уже знали, что он из уголовного лагеря и сроку имеет 13 лет.

Как и положено, прежде чем переступить порог камеры, он спросил:

– Вы не против, ребята?

Мы были, конечно, против: на восьми квадратных метрах и троим–то нечем дышать... Но по лагерным законам нельзя не впустить в камеру человека, о котором ничего плохого еще неизвестно. К тому же только накануне мы с большим шумом выселили Чертогона, и нарываться на новый скандал охоты не было: скажи мы “против”, надзиратели начнут силой заталкивать его в камеру, он будет упираться, они его – в спину из коридора, а мы – в грудь из камеры... А человек–то он новый и вроде бы ничего с виду.

– Давай, – промямлил один из нас.

Расстелил он на верхних нарах жиденький матрац, кинул в изголовье набитую книгами сетку и говорит:

– Давайте знакомиться: я Альберт С.

Ну Альберт и Альберт – черт с тобой, раз уж не удалось от тебя отвертеться...

Заварили ради знакомства чифирку, приглашаем его:

– Не пью, – говорит. – Спасибо, ребята.

Удивились мы, но промолчали, а он разлегся на нарах и в книгу уткнулся... “Эге”, – сказали мы себе и немного приободрились. Обычно эта публика – мерзавец на мерзавце, а тут вроде... Впрочем, ухо держим востро – не приучены мы в исключения–то верить.

Вечером, перед самым отбоем слышим:

– Мужики, иногда я храплю – толкните, если слишком уж...

Час от часу не легче! Храпел он и в самом деле ужасно... Да что же сделаешь – на то она и камера: храп – еще не повод для изгнания.

Ну ладно, сидим день, два – он все так же молчит: с работы придем, он сапоги скинет, влезет на нары и за книгу. Автору это понравилось: он всегда считал, что, будь ты расподлец, стукач или даже “петух”, лишь бы сидел тихо и не мешал ему книги читать и думать свою думушку. Даже такой–то, с изьянцем, и лучше порой какого–нибудь шумливого честиныги – такого–то легче усмирить, рявкнув: “А ну ты, змей, не забывайся!..”

Минуло дней пять–шесть, и вот как–то в цеху подходит к автору Альберт:

– Можно тебя на пару слов? Где бы нам приткнуться?

А приткнуться в нашем цеху и впрямь негде – ни раздевалки, ни душа, ни единого укромного закутка... Уселись мы с ним на слесарном верстаке, благо слесарь в это время шлифовальный станок ремонтировал, и автор услышал следующее:

– Я хочу вот что сказать... Все равно это станет известно... да и наплевать... В общем: я “петух”...

Автор растерялся, не зная, как реагировать на такое признание, а Альберт усмехнулся – то ли грустно, то ли иронично – и продолжает:

– Ужас какой, правда?.. Впрочем, я и не думал, что ты обрадуешься этому известию, но и бледнеть – то так к чему? Не ты ведь, а я... Хотя и поневоле. Или тебе до лампочки? – Взгляд его был внимателен и строг. – Что по склонности, что поневоле?

– Нет, почему же... – смущенно бормотнул автор, усиленно соображая, как ему теперь быть с таким сокамерником.

А он, так и не дождавшись вразумительного ответа, продолжает:

– Как я понял, в вашей зоне особенно – то с этим не носятся... Да и полно их у вас, вижу... В вашей камере я бы передохнул малость. Долго – то я здесь все равно не засижусь... Можете, конечно, выгнать меня. Это ваше право. Я не обижусь... Но когда – нибудь вам будет стыдно. Все, – он соскочил с верстака.

– Пока все.

– Подожди – ка! Мне же надо с сокамерниками поговорить. А как сказать?

– Так и говори...

– Но ведь...

– Плевать: я не скрываю!

Посоветовавшись, мы решили пока оставить его в камере, а там видно будет. Вместе с тем мы пришли к заключению, что доверять Альберту нельзя.

В логике наших рассуждений внешне все было правильно: общеизвестно, что почти всякий убежавший из уголовной зоны – сукин сын, а уж “петух” и того паче. Так – то оно так, но эти печально – строгие глаза, эта горькая усмешка, вообще весь его облик, все манеры?.. В жизнь бы не подумал, что уголовник! Что – то тут не то, глубокомысленно решил автор. А почему бы, спросил он себя, не попытаться, отложив на время книги в сторону, попристальнее присмотреться к этому Альберту?

Поставив перед собой задачу понять Альберта, автор всячески уговаривал себя относиться к нему непредвзято и, однако, не мог не отдавать себе отчета в том, что всякий раз, едва подумав об Альберте, он как – то внутренне съеживается, готовый вздрогнуть. Не так ли и тот, кто не жалуется приязню даже собакам, этих испытанных друзей человека, с тайным содроганием и опасливым отвращением смотрит на какую – нибудь там змею, и должно пройти немало времени, прежде чем он научится понимать ее, признает и за ней право на жизнь, перешагнет наконец через питающееся мифами и предрассудками отвращение и даже – не исключено – проникнется к ней симпатией. Вскоре ав-

тор узнал Альберта поближе и уже не только не думал, что Альберт такая уж змея, но порой начинал подозревать, что, может, он, совсем даже напротив, не змея вовсе, однако так и не сумел преодолеть в себе некоей антипатии, опасливой настороженности, ожидания какого-нибудь подвоха...

Но однажды из книги Альберта выскользнула пожелтевшая фотография, автор поднял ее и увидел кучку ребятни под большой, судя по мощному стволу, липой.

– Ты где? – спросил он.

– Вот, – ткнул тот пальцем.

Похоже, именно после того как автор увидел на этой карточке Альберта-малолетку, он с удивлением и недовольством собой обнаружил, что ему опять с изрядным трудом дается роль бесстрастного исследователя – на этот раз по иной причине: змея оказалась довольно симпатичным существом. И стоило автору признаться в этом себе, как словно некая пелена спала с его глаз...

Единственным источником сведений об Альберте был сам Альберт (за исключением последнего известия, привезенного Февралем), и потому перед автором с самого начала встала проблема оценки достоверности получаемой им информации (крайне скудной, кстати сказать). Только в самые последние дни общения с Альбертом автор воспринимал каждое слово на веру, а до этого он конспективно заносил в особую тетрадь все услышанное от Альберта об Альберте и на полях напротив каждого более или менее значительного факта выставлял оценку достоверности по следующей системе: 0 – заведомая ложь, 1 – очень малая степень достоверности, 2 – не исключено, но маловероятно, 3 – ни то ни се, серединка на половинку, 4 – заслуживает доверия с весьма незначительными поправками, 5 – совершенно достоверно (конечно, в пределах человеческих аналитических возможностей). Позже автор, просматривая эти оценки, признал, что вполне мог обойтись и четырехбалльной системой – без 0 и 1.

Теперь, спустя значительное время, автор сопоставив одно с другим, зная и то и се, проанализировав третье и десятое, просуммировав когда-то проставленные им отметки и разделив на число зафиксированных фактов, оценивает все сведения, сообщенные Альбертом об Альберте, на “четыре с плюсом”. Но пусть бы лучше 3, лишь бы располагать большим количеством сведений. Увы! Альберт был небогат, очень редко принимал участие в обычной камерной трепотне и ни разу не вымолвил ни единого пустого слова – слова ради слова, лишь бы что-нибудь сказать... Для камеры это находка, но в данном

случае для автора это обернулось большой потерей. Особенно мало ему удалось преуспеть в получении сведений о лагерном периоде жизни Альберта. В общей сложности все сообщенное Альбертом уместилось на трех тетрадных листах, таким образом, сведения, которыми располагает автор, не только не полны, но и удручающе отрывочны. Вся динамическую часть истории Альберта автор мог бы изложить на двух страницах. Может, тем и следовало бы ограничиться, ибо и безотносительно к облику Альберта она, эта динамическая часть, достаточно впечатляюща, чтобы разбередить душу. Наверно, так, ибо лучше дать вкратце сухую суть, чем пытаться сказать больше, не имея возможности сказать всего. И все же автору важно попытаться хоть несколькими штрихами очертить облик Альберта – без оглядки на литературные каноны, требующие цельности картины, плавности переходов, отчетливого выявления психологических пружин и т.д. Автор сообщает ровно столько, сколько он знает сам, к домыслам в угоду литературной эстетике он не склонен. Слишком серьезная это штука – жизнь, чтобы подправлять ее.

Возможно, более удобного момента не представится, чтобы сообщить, что даже непродолжительное (неполных два месяца) общение с Альбертом оказало на автора большое влияние, основной смысл которого можно передать так: есть люди, чья доля тяжелей твоей тысячекратно, но они не стонут.

Автор всегда с насмешкой относился к так называемому “анкетному знакомству” (год рождения, национальность, прописка, семейное положение и т.д.), но благоразумно уточняет, что оно ему не нравится, если им начинается взаимодействие людей и уж тем более им и ограничивается. Вообще же он не отрицает некоего подсобного значения анкетных данных в длительном и заковыристом процессе взаимопонимания или взаимопожирания людей. Именно поэтому он считает не лишним сообщить об Альберте следующее: родился в Москве в 1938 году, русский, из рабочей семьи, образование среднее плюс один год пединститута, стаж армейской службы три года (запас 1-й категории), звание: рядовой, по специальности пулеметчик-автоматчик, холост, из родственников имеет только мать, трижды судимый: в 1962 году он получил 3 года за хулиганство, в 1964 году лагерный суд приговорил его к 15 годам за убийство, в 1972 году он получил 7 лет за антисоветские листовки, причем суд, присовокупив неотбытую по предыдущему приговору часть наказания, общий срок определил равным 13 годам 11 месяцам и 2 дням и велел считать Альберта особо опасным рецидивистом и государственным преступником.

Таким образом, если бы Альберту здорово повезло (то есть: если он не за-

болеет и не зачехнет преждевременно, если не получит нового срока – не говоря уже о расстреле, – если его не пырнут ножом в какой-нибудь драке, если... ну и т.д.), то он освободился бы в 1986 году в 48-летнем возрасте, отсидев к тому времени ни много ни мало – 24 года, то есть натурально полжизни... Но уже недели через три после появления Альберта в нашей камере автор узнал, что ему вряд ли удастся освободиться так скоро – в восемьдесят-то шестом году, а через какое-то время автор понял, что Альберту, может, и вовсе не суждено освободиться.

Сведения автора о душевной жизни Альберта, о его образе мыслей и взглядах весьма скудны, следовательно, надо попытаться подетальнее передать хотя бы его внешний облик.

Роста он самого что ни на есть среднего, а может (по теперешним стандартам), даже и чуть менее того.

– Хорошо, что во времена моей юности такой рост был нормой, а то быть бы мне еще с одним комплексом (Альберт о себе).

Любопытно это “еще с”, возьмем его на карандаш. Если специально приглядываешься к человеку, пытаешься втянуть его в беседу, а он явно уклоняется, отмалчиваясь, и вдруг, вклинившись в чужой разговор, эдаким образом выскажется, то, услышав такую оговорку (или откровенность), невольно подберешься внутри и не удержишься от того, чтобы не бросить пронизательно-высматривающего взгляда. У него (автора) создалось не очень приятное впечатление, что не только он изучает Альберта, но и тот весьма пристально приглядывается к нему? Как же быть? Расценивать ли это “еще с” как откровенность, или как форму зондажа, или чего там еще? Сперва автор решил, что это что угодно, но не откровенность и не оговорка, но позже, когда Альберт стал поразговорчивее и автор получше узнал его, он понял, что это была правда, и разведка в то же время.

Вес 75 килограммов, вроде бы больше нормы (особенно если учесть диетическую малокалорийность лагерного питания). Но так может сказать лишь профан. Специалист же прежде всего поинтересуется типом сложения, то есть в первую очередь объемом грудной клетки и, услышав, что таковой равен 107 см (при вдохе – 112, при выдохе – 91), скажет, что 75 кг – абсолютная норма для роста 170 см.

Вылеплен Альберт превосходно – накинь ему сантиметров тридцать росту, сохранив все его пропорции, и смело можешь утверждать, что именно так выглядел Геракл. При нынешней моде на астенических верзил, выдающих свою чахлую узкогрудость за изящную стройность, Альберт, конечно, не смотрелся. Дешевенький магазинный костюм (а иных, насколько автору известно, он

не носил) тем более не мог подчеркнуть достоинств его сложения, скорее, наоборот. Но если бы хоть раз в год все человечество, веселое и чуточку пьяное, собиралось на вселенском нудистском пляже, Альберт там был бы не из последних, отнюдь. Эта стройная колонна шеи (41 см), рельефные бугры бицепсов (38 см), атлетическая мощь великолепно развитой груди, спина в тугих узлах мышц, панцирь брюшного пресса, эти пружинистые, устойчивые стволы ног и – коль скоро уж мы оказались среди нудистов – довольно представительный детородный орган – все это, отлично пригнанное друг к другу, живое, динамичное и вместе с тем прочное, надежное, все это невольно приковывало взгляд, вызывая мысль об идеальной приспособленности такого организма ко всем жизненным перипетиям, требующим мышечной мощи и выносливости – будь то поле брани, альковная эквилибристика или многолетние запроволочные мытарства.

Кратко обрисовав физические стати Альберта, следует сообщить, что с небом ему ничего не падало, ничего и никогда! Но он не только не обращал горе скорбно-упрекающих или обвиняющих очей, но даже с некоторым подозрением и недоверием поглядывал на баловней судьбы. Вот буквально слово в слово его ответ на вопрос автора, уродился ли он таким здоровым или это результат занятий спортом?

– Куда там! Уродился–то я так себе, ни рыба ни мясо... Оно и хорошо, по своему. Я счастливичков этих, выигравших по генной лотерее, не перевариваю. Смотришь: он едва вылупился из материнского лона, а уже двухпудовыми гирями играет. Значит, быть ему богатырем... Но, заметь, до первого серьезного щелчка судьбы. Потому как без пота в богатыри выбился. Мой лозунг: в поте лица своего добывай мышцу свою. С акцентом и на “мышце”, и на “поте”.

Надо ли говорить, что у этого физкультурного разговора был определенный подтекст?

Со спортом отношения у Альберта сложились таким образом. Начав с 13 лет посещать спортзал, в 17 он уже имел первый разряд по боксу. Судя по физическим данным, твердости характера и смелости, быть бы ему незаурядным спортсменом, когда бы не болезненная тяга к книгам, результатом какой явился слишком ранний интерес к так называемым “вечным (они же “проклятые”) вопросам”. В 17 лет он заметался между требовавшим все большего времени и пота спортзалом и библиотекой, в пыльных недрах которой, казалось, где–то притаилась некая истина.

Очевидно, именно этот период своей жизни имел в виду Альберт, как–то сказав (по другому поводу и вовсе не автору): – Только в розовой юности на–



деешься однажды наткнуться на книгу, в которой будет все обо всем, – и, помолчав, добавил поясняющее: – Я, конечно, не об энциклопедии, сколько бы ни было в ней томов: юности нужны не справки, а некая суть.

В 17 лет он расстался со спортом. Не без сожаления. И это сожаление становилось чем дальше, тем сильнее, так что в 1970 году, когда ему было уже 32, он вновь начал усиленно “потеть над мышцей своей”, то есть бегал на месте, прыгал, отжимался от пола и где-нибудь в укромном уголке боксировал с воображаемым противником – на большее в лагере человек не способен, будь он хоть помешан на спорте: ни времени, ни места, ни, конечно, оборудования, да и питание не позволяет больно-то физкультурить, а обзавестись там какими-нибудь гантелями или штангой – упаси Боже!.. О футболе, боксе и борьбе не упоминай – они прямо запрещены законом и за них строго карают.

Нетрудно сообразить, что это возвращение к спорту находилось в некоторой, хотя и очень отдаленной, зависимости от результата попыток обрести ту самую “некую суть”. Альберт не то чтобы с годами охладел к Истине, – скорее, он разуверился в принципиальной возможности найти ее... и вновь занялся спортом. Но теперь уже не ради самого спорта (возраст не тот) и не потому, что признал правильность бергсоновской дефиниции человека в качестве занимающегося спортом животного, а ради некоторой другой цели, о которой автор не преминет сообщить в должном месте.

Альберт никогда не обращал должного внимания на свою одежду, но единственно по недостатку средств и времени – ни из отутюженных, ни из помятых брюк он философии не делал.

Здесь арестант сейчас, наверное, единственный в мире, кого ежемесячно стригут наголо. Де-юре он еще даже и не заключенный, а всего лишь подследственный, ан нет – уже оболванен, ибо всем известно, что раз тебя арестовали, то так или иначе срока тебе не миновать. Лишь тем, кто сидит под следствием по обвинению в государственном преступлении, разрешают носить волосы, и потому, увидев в этапном вагоне лохматого, смело утверждай, что он, только-только получив срок, едет из следственного изолятора КГБ.

В первый по прибытии в нашу зону день Альберт еще был с волосами и только на следующее утро его остригли. Волосы у него были замечательно хорошие – густые, в меру вьющиеся, русые...

Специалисты утверждают, что не полысевший к 40 годам и в гроб сойдет волосатым. Альберт, к слову сказать, не из тех, кто вечно обеспокоен тем, как он выглядит, тем более его никогда не волновало соображение, будет ли он из

гроба сиять лысиной своим неутешным родственникам и друзьям или сохранит юношескую буйную растительность, да и саму возможность respectfully покоемся в гробу он полагал для себя довольно проблематичной. Несмотря на то, что у него были замечательные волосы, он редко пользовался расческой, так как большую часть своей жизни был острижен наголо.

Автор на глазок прикинул, что из прожитых Альбертом 35 лет 23 года он проходил, что называется, оболваненным. Первый раз его остригли под машинку в четырехлетнем возрасте – из гигиенических соображений: педикулез в те годы был явлением нередким, а мыло – товаром дефицитным; позже его стригли наголо из соображений экономии: стрижка под машинку дешевле – пусть и на мизер – самой какой-нибудь простенькой челочки.

К великому сожалению, у Альберта не сохранилось ни одной фотографии (он их все уничтожил), за исключением той, детской, о которой уже упоминалось. Позже автору удалось внимательней рассмотреть этот снимок, и тогда же автор узнал, что сделан он в начале лета 1945 года неким “дядей Васей-старшиной”, который привез с фронта не только два ряда медалей и костыли вместо правой ноги, но и объемистый сидор с часами, кольцами, зажигалками, бритвами и громоздким фотоаппаратом фирмы “Кодак”. Все трофеи он, конечно, быстро пропил, а фотоаппарат шмякнул в пьяном кураже о стену дома и, свирепо матерясь, долго топтал его ногами под фальшиво соболезнующие охи и ахи соседок и голосистые проклятия жены.

Однако в первый день по возвращении из фронтового госпиталя дядя Вася, молодецватый, несмотря на костыли, веселый, в рыжих усах, снимал, озорно балагуря, всех жителей двора, старых и малых, скопом и поодиночке. Фотокарточки он отпечатал уже значительно позже и сам разносил их по квартирам, выклянчивая в обмен рублевку, а за отсутствием таковой – всякую всячину: от порожних бутылок до коробки спичек. Это было уже в те времена, когда дядю Васю-старшину начали замечать у Преображенского кладбища. Там таких дядь-Васей видимо-невидимо собиралось, от рынка к кладбищенским воротам, один возле другого – шеренга исковерканных статуй: кто без рук, кто с костылями, а тот и вовсе увешанный медалями обрубок... и перед каждым рваный трех или измызганная “сталинка” с горстью медаков.

Альберту в том году исполнилось семь лет. На снимке он стоит с тряпичным мячом в руках, лицо в разводах грязи, рот до ушей в счастливой улыбке. Автор с чувством щемящей грусти отметил, что из всей футбольной оравы лишь один Альберт острижен наголо. (“Жили мы беднее бедного: отец погиб в 1942 году, а мать всю жизнь была уборщицей”, – пояснил Альберт, очевидно, поняв целенность вопросов автора о том, когда и сколько раз его стригли под машинку.)

В том же 1945 году Альберт пошел в школу. Времена были серьезные, и у тех, кто за лето обрастал легкомысленными вихрами, учителя насильно выстригали полосу поперек головы. И только в седьмом классе школьникам позволялось носить волосы – не более пяти сантиметров. Таким образом, с четырнадцати до девятнадцати лет – самый “волосатый” период в жизни Альберта. Потом его забрили в солдаты, а там – после небольшого перерыва – пошли лагеря.

По словам Альберта, всякая стриженность у него ассоциируется с тюрьмой, казармой или школой.

Впрочем, следует заметить, что безволосость не уродовала Альберта, в отличие от подавляющего большинства людей, как уже оболваненных, так еще и прячущих под волосами корявые, седловидные, сплюснутые черепа. Автор, сам большую часть своей жизни проходивший стриженным, припоминает, как, освободившись в 1968 году после первого срока, он не раз ловил себя на том, что чуть ли не всякого встречного–поперечного невольно рисует в воображении оболваненным и обряженным в полосатую робу... и многие тут же утрачивали в его глазах свою важность и самоуверенность: в лагере они бы сникли, съезжились, как проколотый воздушный шарик; в лагере многие из них стали бы тем, что автор не очень интеллигентно именует “дерьмом”. Об Альберте же можно даже утверждать, что как одежда скрадывала совершенство его пропорций, так и волосы частично прятали его отлично вылепленный череп.

Лицо у него грубой резки (из тех, которые, пока его обладатель молод, редко нравятся своим юным сверстницам, но часто – умным климактеричкам), несомненно волевое, порой жесткое, замкнутое, нередко ядовито–ироничное, глаза серые, до оторопи внимательные, нос прямой, не очень толстый, губы хорошо очерчены, верхняя чуть уже нижней, подбородок крутой... Впрочем, все это очень приблизительно.

Автор долго сидел, грыз кончик карандаша, мучаясь поиском слов, способных обрисовать лицо Альберта так, чтобы поточнее передать натуру. Но увы!.. Альберт не без оттенка горделивости сообщил автору, что одно время он подрабатывал в Суриковском институте натурщиком и никому не давалось его лицо, так что в конце концов преподаватели художественного института стали рекомендовать его студентам лишь как натуру для торсовых рисунков, поясняя, что “это лицо им пока еще не под силу”. Но оказалось, что “это лицо не под силу” и профессионалам (очевидно, все же средней руки): уже в заключении Альберта пытались изобразить два дипломированных художника (кого только не встретишь в лагере!), и каждый из них потом оправдывал очевид–

ность своей неудачи тем, что, несмотря на резкость черт, есть в этом лице некая особая живинка, все как-то странно одушевляющая, и вот именно ее-то никак не ухватить.

На осторожный вопрос о том, была ли у Альберта девушка, прозвучал довольно резкий ответ: “Была да сплыла”. Автор более не осмеливался затрагивать эту деликатную тему. Однако позднее он все же узнал, что Альберт сам отказался поддерживать какие-либо отношения не только с этой девушкой, но даже и с матерью.

– Пока не расплачусь с этой сволочью... – сказал он.

– Так мать-то тут при чем? Ей-то каково? Ей ведь вся эта грязь непонятна!

– Знаю, – отрубил Альберт, отвернувшись к окну (автору почудилась мучительная слеза в этом резком “знаю”). – Я, – помолчав, добавил он, все так же смотря в сторону, – написал ей и все объяснил... Она два раза приезжала на свидание, но я не пошел... И письма тоже не беру.

В 1970 году мать Альберта вышла на пенсию и получает от государства 50 рублей. Он ежемесячно отсылал ей почти все заработанные деньги (когда 10, когда 20, а то и 30 рублей), оставляя себе лишь десятку – на ларек и на книги.

По мнению автора, лучше бы он вместо денег посылал ей письма.

О политических взглядах Альберта автору практически ничего не известно. Лишь однажды, когда в камере вспыхнул на редкость горячий спор по поводу восклицания Дубельта после ареста петрашевцев, Альберт неожиданно вклинился в наш крик и сказал нечто, заслуживающее воспроизведения на этих страницах в качестве единственного свидетельства его политической неблагонадежности.

Автор затрудняется восстановить горячую путаницу камерного спора: один кричал одно, другой – другое, третий – третье, и в конце концов оказалось, что каждый имел в виде нечто четвертое... Вот какой это был спор.

Неожиданно Альберт, молча, но явно заинтересованно слушавший наши препирательства, приподнялся на нарах и спросил:

– Как он, этот Дубельт, сказал? Я не все уловил...

Автор повторил слова Дубельта: “Вот и у нас заговор! Слава Богу, что вовремя открыли. Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки! Всего бы лучше и проще выслать их за границу. А то крепость и Сибирь никого не исправляют...”

Альберт желчно усмехнулся и опять было разлегся на нарах, но потом сел, свесив ноги вниз:

– Российскому бы “порядку”, – серьезно и негромко заговорил он, – толику западного “беспорядка” – цены б ему не было. А так что же? В жизнь бы не поверил, чтобы за пару вшивых листовок могли вклеить семерку. А вот вклеили же мне: я думал, года два дадут, ну три... Ан нет! Да и вы вон все: за что сидите? С ума сойти! И вдруг, бывает, вычитаете, как в той же Америке расхваливают советские порядки – с души воротит!.. Поехать бы туда и предложить... – он замолчал, задумался и насмешливо хмыкнул.

– Ну? – подтолкнул его один из нас. – И что бы ты там?

– Да так, фантазия одна... Вот мелькнуло: ввести бы там 70 статью, аналогичную здешней.

– Ты что? – дружно обрушились мы на него. – На кой ляд тогда тебе США, если там будет семидесятая статья.

– Да нет, вы меня не поняли, – он насмешливо сморщился. – Там же тех, кто расхваливает СССР, видимо–невидимо. Ну пока они лают свои порядки – это их дело, но когда они выставляют СССР в качестве демократического образца, вот тогда бы к ним и применять семидесятую – точно так, как ее применяют здесь. Так сказать, для наглядной демонстрации советской демократии. А еще бы лучше: сажая тут за антисоветскую агитацию какого–нибудь Иванова или Рабиновича – и там тоже сразу: цап двоих за просоветскую агитацию; этим по семь лет – и тем тоже, да еще указать, что Иванов и Рабинович всего–навсего осмелились заикнуться вот о чем, а эти десятки лет гремели и с трибун, и в газетах... Да создать точно такие, как здесь, лагеря и держать в точно таких же условиях... В таких же! Только доступных для любопытствующих: приезжайте, желающие, гляньте на образцовую демократию! И заявление: сколько вы арестуете – и столько мы, вы судебную комедию – и мы тоже. А? – он громко хохотнул.

Автор едва удержался от ядовитой реплики типа: “Вот истинно русский мальчик! Америки и в глаза не видел, а порядки ее перекраивает”. Но вместо этого он провокационно–поощрительно произнес:

– Да ты, я вижу, законченный контрик!

– Не–е–т, – протянул Альберт и как–то безнадежно махнул рукой. – Все это меня мало волнует. Конечно, больно за Россию, но и там тоже не лучше, по–своему... Мне не до того, – он коротко взглянул на автора, – не до того!

Упомянув в свое время о косвенном признании Альберта в подверженности каким–то комплексам, автор об одном из них фактически кое–что уже рассказывал: о комплексе поиска истины.

(Во избежание возможных недоразумений автор считает необходимым пояснить, что под комплексом он в данном случае понимает некую группу представлений, связанных единым мощным аффектом, группу, которая необяза–

тельно вытесняется в подсознание, чтобы осуществлять оттуда партизанские вылазки с переодеванием, фальшивыми документами и т.п., но, если даже она частично и вытеснена, она через своих полномочных представителей откровенно давит на сознание, диктаторски подчиняя себе духовно–душевную жизнь человека, в ущерб иным представлениям и аффектам. Ну и т.д. Специалист враз заметит отличие авторского понимания “комплекса” от традиционного психоаналитического, и автор спешит оправдаться, что данная дефиниция не претендует на широкое употребление и является всего лишь наспех со–оруженным подручным средством для решения локальной задачи: обрисовки внутреннего облика Альберта.)

Итак, об Альбертовом комплексе поиска истины, которому он был подвержен в юности и который был почти вытеснен другим комплексом.

Есть люди, которым все ясно. Они восхитительно уверены, что несут человечеству свет, – эдакие Прометеи. Другие, большинство, не шибко–то мучаются над всякими внематерными вопросами, но есть натуры, которым истина нужна позарез.

– Ну и чего же? – полюбопытствовал автор.

– А ничего.

– Не нашел?

– Нет.

– Но хоть теперь–то ты отдаешь себе отчет, что именно ты искал? Какую истину? О зарождении жизни на Земле? О некоей первопричине всего? О справедливом упорядочении людского хаоса?..

– И это тоже. Но не в первую очередь. Важнее понять: что человек? зачем он? что ему делать ради правильной жизни? и что такое эта правильная жизнь?.. Не бояться задать себе кардинальнейший вопрос: если нет запретельного смысла, то все же зачем жив человек – это вместилище вонючих кишок и духовных порывов? Конечно, спрашивали уже это, но спрашивали в том веке, когда даже атеисты были в глубине души верующими... А теперь? Неужели–таки чистый биологизм? А ведь к тому идет, увидишь через два–три десятка лет, когда окончательно отомрут ныне еще полуживые рудименты прежних моральных основ... Или зарождение новых религий? Или, может, ренессанс былых – после шабаша всяких сатанинских секточек? Вот в таком ключе.

– Да... – удрученно протянул автор. – Ну и? В конце–то концов, к чему ты пришел? Насчет человека–то?

– Насчет человека? Да считай, что ни к чему. Для себя–то я решил, что надо быть сильным и справедливым, независимо от возможного ответа на все

эти “что”, “зачем” и “почему”... Если такой ответ вообще мыслим... Только я и силу, и справедливость тоже по-своему понимаю: сильным не для того, чтобы властвовать над другими, а чтобы, упав в грязь, суметь подняться. А справедливым – это не “всем поровну” и даже не “каждому свое”, а, скорее: “за добро добром и за зло злом”. И еще я усвоил одну маленькую истину: святых нет, есть лишь святоши. Я согласен, что в человеческой душе заложена потенция добра, но у среднего человека она может реализоваться лишь в особо благоприятных условиях, когда доброта тут же оплачивается – хотя бы ответной благодарностью. А так, чтобы доброта несмотря ни на что – этого нет, этого не спрашивай. Да и до того ли? Не кусали бы друг друга – и то хорошо! Ну, а вообще-то, – продолжал он, – всеобъемлющей, для всех одинаковой истины нет, не может быть, и она, такая, даже и не нужна. А если объявится такая – я ей все равно не слуга: от нее заранее кровью пахнет. А есть живые люди и их отношения, и нет ничего важнее того дела, которым ты сейчас занят, той боли, которая сейчас болит, того человека, в глаза которому сейчас смотришь... Нельзя откладывать этого дела, не лечить эту боль, отворачиваться от этого человека ради каких-то других дел, болей, людей. Они только кажутся важнее этих или мы прячемся за ними, чтобы увильнуть от этих...

Мысль не из самых новых, но автору было не до того – он не мог не воспользоваться благоприятным моментом и с жаром воскликнул:

– Это верно! Ну так и плюнь на эти свои поиски того гада, живи, как говоришь: сегодняшним днем, болью, человеком! А то ведь...

Глаза Альберта холодно сузились:

– А та боль и есть моя сегодняшняя... всегдашняя. Более ее и сегодня ничего для меня нет. Вот вылечусь, тогда посмотрим...

– Ну, брат, это софистика! Так-то и всякий вывернется, назвав отвлеченнейшую идею своим сегодняшним делом и болью... Так-то и через трупы ближних перешагивают, не говоря уже о дальних...

– Да, так... Я тебя понимаю. Пойми и ты меня. Поставь себя на мое место... Что глаза-то отводишь? Не можешь?! То-то! – он горько усмехнулся. – Конечно... Только не толкуй мне об идее фикс, мании, паранойе и т.п. Я сам все это могу сказать... Пусть я маньяк, но иногда только в качестве маньяка и можно остаться человеком. Ты ведь знаешь, как выглядят “петухи”! Или ты жалеешь, что я тогда не смирился? Чем бы я был теперь? Пустил бы ты меня к себе в камеру?

Автор не нашелся, что ответить, к тому же ему помешал примостившийся рядом каратель. Вообще все эти разговоры, трудные сами по себе, велись очень трудно еще и потому, что в камере на такие темы не разговоришься, ибо

они не терпят посторонних, а в цеху стоит отойти человеку в уголок, как рядом начинает вертеться, шевеля усами, всякая сволота.

Теперь самое время поведать о другом, ведущем комплексе Альберта, которому автор затрудняется дать благозвучно–лаконичное название. Может, “овидиев”... Имея в виду слова Овидия: “Справедливо, чтобы убийцы погибли от убийства”... Хотя нет, ведь тут речь идет о справедливости по отношению к убийце, а не к тому, кто его намерен убить, сам превращаясь в убийцу... Как же тогда? Наверное, придется обойтись без названия – тем более, что это чистой воды дилетантство.

Вообразите себе человека, которому нагадили в душу, и он помешался на том, что, пока не разыщет мерзавца и не убьет его, он не может считаться человеком. Вот приблизительно то, что автор тужится определить одним–двумя словами и не находит их.

Альбертом владела маниакальная потребность посредством некоего внешнего деяния очистить душу от дерьма. Так богобоязненный грешник однажды, бросив детей и дом, пускается в тысячемильное босоное паломничество, дабы, коснувшись святыни, очиститься от скверны; так верящий в магию ищет в древних манускриптах жесты и абракадабру, совершив и выкрикнув которые, он подчиняет себе духов... С той существенной разницей, что Альберт в глубине души знал, что внешним он свое внутреннее не вылечит. И все же потребность совершить некое магическое действие владела им всецело.

Альберт болезненно, слишком болезненно, реагировал на всякую несправедливость или на то, что казалось ему таковой. В этом одно из объяснений его трагедии. И первые свои три года он заработал из–за излишней горячей реакции на несправедливость.

Как–то засиделся он у приятеля допоздна и спохватившись, что мать будет беспокоиться, вприпрыжку припустился домой. На его несчастье, неподалеку только что кого–то зарезали, и двум оперативникам в штатском Альберт показался подозрительным. Они бросились выкручивать ему руки, он, приняв их за грабителей, начал вырываться. Тут подоспел милицейский мотоцикл, Альберта безжалостно избили и, бросив в коляску, увезли в отделение милиции. Наутро выяснилось, что Альберт был задержан по ошибке, и перед ним распахнули двери камеры. А он, вместо того, чтобы обрадоваться, отказался покинуть милицию, требуя наказать тех, кто избил его. Его стали выталкивать из камеры, он начал упираться и доупилался до трех лет по статье за хулиганство.

– В лагере я сперва то и дело вскидывался, – сообщил автору Альберт, – а





М. Дымшиц, сенатор Джексон, Э. Кузнецов – Нью-Йорк, 28.04.1979 г. (Фото И. Берез)



“Мало нам забот”, – думает, вероятно, премьер-министр Израиля Менахем Бегин во время церемонии встречи Э. Кузнецова в аэропорту им. Бен-Гуриона – 30.04.1979 г. (Фото М. Кругляк)



В доме президента Израиля Ицхака Навона: Г. Бутман, И. Навон, Б. Пэнсон, Э.Кузнецов, М. Дымшиц, А. Хнох, В. Залмансон, А. Альтман – 3.05.1979 г.



Мэр Нью-Йорка Эдвард Коч (в центре) вручает Э.Кузнецову ключи от города – лето 1980 г. (Фото И. Берез)



Глава нью-йоркского издательства "Stein & Day" мистер Райзман на презентации 2-го издания "Дневников" – Нью-Йорк, лето 1980 г. (Фото "Артс студио")



В. Буковский (со спины), бывший политзэк и поэт Вадим Делонэ и Э. Кузнецов на демонстрации против проведения Олимпиады в Москве – Париж, лето 1980 г.

# “ИНТЕРНАЦИОНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ” -

## чужое имя, чужие деньги, чужие цели

В 13-м номере «Московских новостей» вы перепечатали письмо, опубликованное во французской газете «Фигаро». Оно полно антисоветских измышлений, содержит выпады против тех благотворных пережек, которые происходят в нашем обществе. Письмо подписали несколько лиц, в свое время выезжавших или выдворенных из СССР. Все они являются членами интернационала сопротивления. Что это за организация!

КАК УЖЕ СООБЩАЛА наша газета, так называемый «интернационал сопротивления» появился в Мексико-Сити из ряда социалистических стран совместно с «контрас» из Никарагуа, Анголы, Кампучии и Афганистана.

«Интернационал сопротивления» (ИС) был создан в мае 1983 года. Западные средства массовой информации не купились на сообщения по этому поводу. Не устояли «Рядно Свобода», западногерманская газета «Ди Вельт» по-прежнему с комментариями. Отличались на события и антикоммунистические издания — журналы «Посев» и «Континент», газета «Русская мысль». Была обнародована декларация новой организации, ее руководители выступили на пресс-конференции, давали интервью, время от времени появлялись сообщения о деятельности интернационала сопротивления. Все это позволяет составить представление о программах и целях его создания, программы и других сторонах деятельности.

Предшественник интернационала сопротивления — так называемый «комитет борьбы с тоталитаризмом». Эта антикоммунистическая организация была создана в августе 1982 года.

В марте в парижской газете «Фигаро» опубликовано письмо «Группы сопротивления» ван докзательства. По объявленному замыслу это — попытка представить в «Московских новостях» из Москвы, которая емывается в последние время на «Запад» и даже смещение у многих местной людей как на Востоке, так и на Западе. По существу же это — письмо на демократические перемены, происходящие в СССР. Под письмом подписи В. Аксимова, А. и О. Зиновьевых, Э. Кузнецова, Ю. Любимова, В. Максимова, А. Плещина и Н. Названского, Ю. Орлова, А. Плюца — людей, известных по пути покинувших нашу страну. Не сей раз их объединила неименующая себя «интернационал сопротивления»: письмо опубликовано под ее вышкой.

Владимир СИБИРЕВ, избран его руководителем, организмом ИС стал Владимир Букковский, председателем — Эдуард Кузнецов, исполнителем — Владимир Максимов. Все они в разное время покинули СССР. Эти отщепенцы — мажорные антисоветчики.

В рамках «интернационала» были созданы так называемые национальные группы стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В поддержку ИС был организован также т. н. «комитет содействия». В состав его вошли реакционные политические деятели западных стран, кадровые работники спецслужб и другие подобные им представители. В частности, членами являются редактор немецкого издания антикоммунистического журнала «Континент» Корнелия Герстманн, члены английского парламента лорд Николас Беттелл и Уинстон Черчилль-младший, выехавший из СССР, Симон Византийский из Центра документации, бывший директор Центра документации, бывший редактор «Вестника», бывший редактор «Моссда», и другие.

ния в странах, где господствуют тоталитарные режимы, борьба «за дипломатическое признание тоталитарных режимов демократическими государствами, проникновение в движение сторонников мира на Западе, чтобы дискредитировать это движение и придать ему антикоммунистическую направленность, и т. д.»

Если внимательно изучить многочисленные положения программы действий этой организации, становится ясно, что на антикоммунистических режимах в некоторых странах возлупур. Все. Основная направленность программы — антисоветская.

Формы взаимодействия по отношению к СССР — деятельность, в котором прибегает интернационал, разнообразны. Это проведение антисоветских сборщи, митингов, де-

монстраций, пропагандистских акций с целью привлечь к себе внимание общественности западных стран. К примеру, в 1985 году по его инициативе были организованы так называемые «балтийский круж» и «антифашистский» на Ямайке, которые приняли участие отщепенцы, выезжавшие из СССР и других капиталистических стран, а также представители ультраправых организаций профессорских организаций западных стран.

В целях организации широкомасштабных пропагандистских акций руководители ИС активно используют события в Афганистане. 25 ноября 1983 года в Брюсселе Динни Европейского парламента провели конференцию, в которой приняли участие два бывших военнослужащих ограниченного контингента советских войск в Афганистане, попавших в руки бандитов и переправленных на Запад при своем участии функционеров интернационала.

Интернационал стремится объединить все антикоммунистические силы за рубежом. С этой целью он призывает контакты с организациями истонских, литовских, латвийских националистов т. н. «европейские проблемы, объединения».

репрессии и распространения в СССР и рассчитаны прежде всего на «идейное разложение» молодежи. К этой работе, в частности, привлечены платные агенты ЦРУ из числа бывших советских граждан: сотрудник комитета радио «Свобода» и «Свободная Европа» Кузнецов (ФРГ, Мюнхен), так называемый «директор» «интернационала сопротивления» Букковский, редактор антикоммунистического журнала «Континент» Максимов (Франция, Париж).

— всего там слово «тоталитаризм», значащая деятельность всемирных организаций и движений



Э. Кузнецов и лидер оппозиции в ФРГ Хельмут Коль – встреча для выработки совместной позиции партии ХДС и “Интернационала Сопротивления” относительно противостояния советскому тоталитаризму – Бонн, июнь 1984 г.



А. Ниссен (казначей “Интернационала Сопротивления”), Э. Кузнецов, А. Гинзбург, В. Буковский, В. Максимов на подходе к зданию Европейского парламента для участия в слушаниях “Права человека в СССР” – Страсбург, октябрь 1984 г.



Пресс-конференция о положении советских политзаключенных (краюхи хлеба символизируют скудную эзковскую пайку). В. Максимов, О. Свинцова (секретарь ИС), Э. Кузнецов, А. Гинзбург – Париж, лето 1985 г.



Групповой портрет с Окуджавой в мюнхенской квартире Кузнецовых. Войновичи (Владимир и Ира), Булат Окуджава, жена Кузнецова Лариса Герштейн-Кузнецова, Зиновьевы (Александр и Ольга). Сам Кузнецов торчит сзади – меж широких плечей Зиновьева и изящной шеи своей жены. Мюнхен, окт. 1985 г.



Организованные ИС слушания по теме "Поправки прав человека в СССР". Л. Плющ (бывший советский политзек), М. Михайлов (югославский диссидент, писатель), Ю. Любимов, А. Мелумян (герой французского Сопротивления), Э. Кузнецов – Париж, ноябрь 1986 г.



Организованная ИС венская конференция на тему "Денонсировать хельсинкские соглашения". Л. Плющ, В. Буковский, Л. Торн (из американской правозащитной организации "Helsinki Watch"), Б. Кон-Бендит ("Неистовый Бенни" – вождь студенческих беспорядков 1968-го года во Франции), Э. Кузнецов, Г. Келлерман (секретарь ИС) – Вена, весна 1986 г. (Фото Х. М. Вехс)



потом смотрю: нет, так пропадешь ни за понюшку табаку. Тут же волк на волке и концов не отыскать: вступишься за слабого, а он, глядь, завтра сам слабейшего жует... Ну и махнул я на все рукой, понемногу обзавелся книжками кое-какими и старался не смотреть по сторонам, чтобы сердце не берeditь.

В одном из случайных обменов репликами Альберт сказал следующее:

– Если ты не сделал все, чтобы ответить ударом на удар, – ты не человек. Отбрось в сторону все, ничто не может быть важнее – ударь любую ценой! И будь что будет!

Летом 64-го года Альберт находился в одном из больших лагерей Калининской области. Вел он себя тихо-скромно, тоскливо высчитывая дни, оставшиеся до конца срока. Видимо, обманутый его тихостью и скромностью, к нему несколько раз подкатывался один заядлый “петушатник” – все обнять норovil... И однажды Альберт прямым в челюсть послал его на землю. Через некоторое время (оставался 341 день до свободы) в рабочей зоне Альберта, ударив по затылку, чем-то тяжело-мягким, оглушили, связали и изнасиловали двое.

В тот же вечер Альберт, вооружившись молотком, разыскал одного из насильников и проломил ему голову. Второй, узнав об этом, убежал на вахту, его, как водится, спрятали в изолятор, а потом перевели в другой лагерь.

Следователю Альберт лишь в двух словах сообщил о факте насилия, а потом замкнулся и не отвечал ни на какие вопросы. Особенно плохую службу сослужил ему отказ от судебно-медицинской экспертизы.

На суде он тоже был чрезвычайно немногословен. Его объяснение мотивов убийства было сочтено бездоказательным. Привезли насильника. Он, конечно, все отрицал. “Но почему, – спросил председатель суда, – именно за вами и вашим дружком К. гонялся с молотком подсудимый?” Свидетель пояснил, что накануне С. из хулиганских побуждений публично избил его, свидетеля, тогда он со своим другом К. пригрозил С. мстью, и, очевидно, желая опередить эту мсть... Вскочив со скамьи, Альберт выкрикнул: “Найду и задавлю! И через сто лет! Где бы ты ни прятался!..”

За убийство из хулиганских побуждений Альберту дали пятнадцать лет.

– Ну и что же? – спросил автор.

– А вот и то же – ищу.

– Девять лет?!

– Почти девять. Теперь ведь не то что когда-то: блатные назначали какую-нибудь зону для всесоюзного воровского сходняка и ухитрялись съезжаться

туда из всех лагерей – от Карелии и до Магадана... Мне за эти девять лет удалось побывать в семи зонах и двух тюрьмах. Прослышу, что он где-то там поблизости, и начинаю мозговать, как туда попасть. Сам знаешь – через карцеры в основном. И все неудачно. Но зато теперь...

– Что теперь?

– Добрался. Он здесь.

– Как здесь? Кто?

– Самец.

– Самец? Так это Самец? Но он ведь в тюрьме сейчас.

– Ничего, теперь-то он от меня не уйдет. Это ведь не уголовная зона, из которой можно удрать в другую, благо их не счесть. Отсюда только одна дорожка – во Владимир. Там я его и поймаю.

Сказано это было до жути спокойно, как нечто, абсолютно не подлежащее никакому обсуждению. И все же автор не удержался:

– Да стоит ли, Альберт?

– Что? – удивленно поднял он брови.

– Да все это. Такой толковый мужик, и так тебе этот лагерь в печенки вьелся, что ты, ненавидя его, весь во власти его извращенной логики... во всяком случае, в этом вопросе. Ведь только за проволокой это такой уж позор, а на воле... Да ты так никогда и не освободишься! Плюнь ты на все это!..

Автору и сейчас тяжело, едва он вспомнит взгляд, которым отбросил его от себя Альберт.

Самец – здоровенный детина лет сорока, с широкой, как бабья задница, мордой, облепленной какими-то бородавками, с тусклыми глазками, шныряющими около сплюснутого ноздрявого носа, с жабьим ртом и луженой глоткой. Когда-то он ходил в блатных, потом “ссучился” и в конце концов, спасая свою шкуру, был вынужден бежать из всех уголовных зон. А бежать в таких случаях можно лишь двояко: в “запретку” под автоматный огонь или в лагерь для государственных преступников, для чего достаточно наклеить на стену барака пару-другую листовок – не важно, что в них какая-то чушь собачья, важно обложить матом власть и призвать к ее свержению...

В нашей зоне таких беглецов человек пятьдесят, из них лишь трое-четверо порядочные люди, а остальные – погань немислимая, что называется, пробы негде ставить. Нет такой подлости, на которую они не были бы способны ради пачки чая из начальственных рук. Мы бы и рады держаться от них подальше, но как с ними разминешься на нашем-то пятакче? И верховодил у них как раз Самец. Но, несмотря на верную службу, начальство все же вынуждено бы-

ло в конце 72-го года отправить его во Владимирскую тюрьму. Формально ему дали три года тюрьмы (что называется, из своего срока) за то, что он до сиреневости избил свою очередную “любовь”, некую Жанну, изменившую ему, пока он был в больнице. Но на самом деле, отправив Самца в тюрьму, начальство спасло его от мести политических заключенных, ибо дело шло к тому, чтобы расправиться с ним самым беспощадным образом за серию наглых провокаций.

Воскресным утром в конце февраля, когда надзиратель в коридоре прокричал: “Выходим на прогулку!”, Альберт сунул в руку автора записку: “Останься в камере – нужно поговорить”.

Это был самый долгий (40 минут) разговор за все полтора месяца, и многое из того, что автор уже рассказал об Альберте, он узнал именно в тот день.

– А вы что же? – подозрительно прищурился надзиратель, когда, закрывая дверь, увидел нас.

– Приболели, командир, – ответил автор и улыбнулся как можно искреннее. Дверь захлопнулась.

– Я хотел с тобой попрощаться, – начал Альберт. – Завтра утром заступает на дежурство Глинов – я его попугаю малость. Мне, конечно, все равно, с кем сцепиться, – все они хороши, но Глинов, я вижу, придирается к тебе по каждой мелочи. Я его попугаю немножко, а то им, гадам, платят двадцатипроцентную надбавку “за страх”, а они нас не боятся... Надо бы захватить ему под ребро, но тогда от статьи не отвертеться, а так: “убью, мол, такой-сякой” – дадут трешник из своего срока, и все. А главное – быстрее: вот увидишь, через пару недель я буду во Владимире.

Он был радостно возбужден, словно в предвкушении поездки на какие-нибудь райские острова, где лишь солнце и море, пальмы и пляж, по которому ходят голые девки с заграничной грудью.

В ходе этого разговора, из которого, как уже упоминалось, автор почерпнул наиболее значительную часть сведений об Альберте, он, в частности, узнал, какой крест целых девять лет нес Альберт.

– Знаешь, что такое в уголовном мире слыть “петухом”? Пусть и поневоле... Нет, это тебе только кажется, что ты знаешь. Конечно, оставь они меня в той зоне, где все началось, мне было бы легче: кому охота рисковать головой? Но меня же увезли в тюрьму, а там сразу: “Петух!” Ну, тому в зубы, другому... А они же кучей наваливаются бить. Из карцера я почти не выходил. Как еще только жив остался? И мысль, как кипяток: ну, убью одного-другого, а Самец как же? Ведь меня разменяют... Стиснул зубы и терпел. Так со стиснутыми зу-

бами и живу... У вас только немного отогрелся. Но пора!.. Правда, – продолжал он, – потом–то я нащупал более или менее надежный способ отшивать “петушатников”. Попадаю в новую зону или там в камеру, если в тюрьме, и сразу объявляю всем: “Так и так. Двое сук меня насильно опедерастили. Одного убил, другого найду и убью. По вашим меркам я “петух”, по натуре своей – нет! Если у вас сохранилась хоть кроха арестантской совести, оставьте меня в покое”. И меня обычно обходили – чувствовали, что дело–то серьезное... Впрочем, всякое бывало. Все свободное время я читал... Не будь книг, ей–Богу, давно бы уже повесился. А года два тому назад начал опять помаленьку спортом заниматься. Да, сам знаешь, какой в лагере спорт. Но все–таки... Ведь Семец все такой же здоровый?

– Здоровая скотина.

– Ну вот. Я, конечно, никогда не сомневался, что одолею его, даже не задумывался об этом сначала – лишь бы разыскать!.. Да и велика ли нужна сила, чтобы убить?

– Так какого же черта ты все читал, читал и читал, если все это идет к расстрелу?

– Погоди, – досадливо поморщился он, – я еще не все сказал. Конечно, надо бы его убить, мерзавца, но... честно говоря, и мне пожить еще охота. Я ведь еще не жил. Значит – и отомстить, и выжить. И невинность, как говорится, соблюсти, и капитал приобрести... Слаб человек! – он ядовито усмехнулся. – Сейчас у меня тринадцать лет. Ну, добавят до пятнадцати пару годиков. Это если я его в этом году поймаю, а коли в следующем, то уже три добавят. И так далее. Значит, чем скорее, тем лучше для меня. Удастся в этом году, то освобожусь в пятьдесят лет. Еще поживу немного... Раньше–то лишь одно в голове гудело: убить! Только теперь я другое надумал – думал, думал и надумал. Не–е–т, я его убивать не буду!

– А что же?

– Потом узнаешь.

Когда в коридоре послышались громкие голоса возвращающихся с прогулки арестантов, Альберт вручил автору тетрадный листок в косую линейку, сказав:

– Это копия объяснения, которое я напишу следователю, когда все свершится. Разговаривать с ним я не буду.

Автор приводит этот документ полностью:

“Объяснение. В ваших лагерях царят ужасные порядки. Честному человеку, случайно оказавшемуся в заключении, здесь нет жизни. В 64–м году я подвергся гнусному насилию. Ваш закон не может ни защитить меня, ни восста–

новить мое человеческое достоинство. Я сам судил моих обидчиков и одного покарал смертью – в том же 64-м году. Другой теперь тоже наказан. Только с этого момента я снова считаю себя человеком. Можете делать со мной, что хотите. Альберт С.”.

Утром во время развода на работу Альберт нарочно замешкался в камере, а когда прапорщик Глинов прикрикнул на него, взвился:

– Ты что, сволочь, цепляешься? Ты, я вижу, все к нашей камере цепляешься. Заявляю официально: или пусть тебя уберут из зоны, или меня, а не то расколю тыкву.

Ну и так далее, как водится в таких случаях.

Альберта упрятали в одиночку, а еще через несколько дней административный суд счел необходимым отправить его на три года в тюрьму.

Когда Альберта брали на этап, он крикнул на весь коридор:

– Прощай! Слышишь, прощай!

– Альберт! До свидания! Прошу тебя: до свидания!

– Прощай! – донеслось еще раз.

Я не мог сдержаться слез.

Осталось поведать о том, что удалось вытянуть из бесполового Февраля.

Если арестант впервые попадает в тюрьму, его держат на так называемом строгом режиме два месяца, а попавшего вторично – полгода, чтобы он стал более стройным и благородно бледным. Только после этого его переводят в общую камеру и начинают вместе со всеми гонять на работу.

Самец, прослышав о появлении Альберта, сперва не на шутку струхнул, но вскоре ему передали, что этот Альберт мужик тихий, забитый какой-то, все книжки мусолит и про Бога толкует: не то он иеговист, не то субботник – не разберешь...

Минуло полгода, Альберта наконец перевели на общий режим и, как обычно, сперва неделю продержали в тюремной больнице (чтобы не шатался на ходу), а уж потом вывели в цех. В первые два дня Самец не появлялся на работе, прикинувшись больным, на третий день он зашел на минутку в сопровождении надзирателя и, пошарив глазами, облегченно буркнул что-то в ответ на приветливый кивок Альберта. На следующее утро Самец появился в цеху как ни в чем не бывало. Альберта он еще сторонился, но уже не очень опасно.

Прошло еще несколько дней, была суббота, часов около 10 утра, когда Альберт с криком: “Защищайся, падал!” – бросился на Самца. Тот успел лишь за-

махнуться киянкой, как был нокаутирован хуком правой. Альберт выхватил из-за голенища нож и, обведя глазами притихших арестантов, громко сказал: “Кто сунется – зарежу!” Самец, немного придя в себя, приподнялся, очумело таращась на Альберта, – и тут же, оглушенный ударом киянки по лбу, вновь рухнул, уткнувшись носом в пол. Вытянув из кармана заранее припасенную веревку, Альберт связал Самцу руки, потом, полоснув ножом по его брюкам, спустил их до колен... Тут Самец очнулся, взревел медведем и задергался, как припадочный, едва не сбросив оседлавшего его Альберта. А тот опять потянулся за валявшейся рядом киянкой, и в этот момент с криком: “Что ты делаешь?” – на него навалился Тихоня–Нюня. Альберт ткнул его, не глядя, ножом, тот вскрикнул и, схватившись руками за живот, повалился на пол.

Сухо щелкнула киянка – Самец обмяк, Альберт перевернул его на спину и... кастрировал под самый корень.

Потом, бледнее бледного, отшвырнул нож и приник ухом к груди Тихони–Нюни.

– А ну! – хрипло крикнул он. – Зови ментов! Врача!

Самца спасли, а Тихоня–Нюня умер той же ночью.

Альберта успели допросить лишь один раз – сразу после того, как все это произошло. На следующий день, в воскресенье, он узнал о смерти Тихони–Нюни и, сказавшись больным, не пошел на допрос. До самого вечера он что-то писал, а ночью перегрыз себе вены на обеих руках... Утром его нашли мертвым.

– А что он писал? И куда это делось? – допытывался я у Февраля:

– Не знаю.

– Кто ему сказал о смерти Тихони–Нюни? Надзиратели или, может, кто из наших?

– А кто его знает?

– Ну ладно. А кто-нибудь подходил к его камере? Ну там, знаешь, словом перемолвиться или еще что? Держись, мол, говори так-то, а мы, дескать, подтвердим?

– Не-е-т, как будто. Не знаю.

– В окно кричал...

– Что?!

– Скажите Кузнецову... это... Ну вот!

– Да что же, черт побери, идиот ты безмозглый! Что? Что?! Ну вспомни, прошу тебя, голубчик!

– Какое-то имя и топор.  
– Имя? Почему имя? Какое?  
– Не помню. Еще и про топор.  
– Почему топор? Ты же говорил, у него нож был? А, да черт с ним, с топором этим – ты путаешь что-то... Николай? Андрей? Юрий?  
– Не-е-т, женское имя.  
– А-а! Наверное матери. Мария Федоровна.  
– Нет, вроде бы...  
...Я плюнул в досаде, и наказав Февралю напрячь память, пошел заваривать чай – напоить эту бестолочь, чтобы не обиделся. Насобирав обрывки бумаги и распалив костерок за угловым станком, я ждал, пока закипит вода...

В ту последнюю ночь, которую Альберт провел в нашей камере, я долго не мог уснуть, что-то холодное ворочалось в груди возле сердца и жалобно повизгивало подзаборным щенком, из дальнего угла камеры сквозь пепельную полутьму на меня немигающе уставился чей-то огромный глаз – влажный, сочащийся укором и вопросом.

Из цеха доносился скорбный визг шлифовальных станков, в коридоре лаяюще хохотали надзиратели. Вдруг мне почудились какие-то странные квакающие звуки, я насторожился, приподнял голову. Это плакал, уткнувшись в подушку, Альберт. Я натянул на голову бушлат и что есть сил зажмурил глаза.

Но сон, спасительный сон, все не приходил. Вот уже и цех смолк, вот уже и Альберт захрапел, сперва тихонько, по-домашнему уютно, а потом все сильнее и сильнее... Мне было совестно будить его – я лежал, таращась в темноту и тоскливо вслушиваясь в залиvistый жирный храп. Заворочался мой сосед, досадливо кашлянул раз-другой и громко зацокал языком – храп оборвался. Через минуту Альберт выпростался из-под бушлата и ныряющей походкой повлекся к параше... Я провалился в сон.

Утром во время завтрака тот, что ночью цокал языком, упрекнул Альберта:

– Ну ты и храпишь – аж мороз по коже!  
– Так разбудил бы, – ответил Альберт.  
– Да я тебя и так два раза будил... А потом ты кричал, помнишь?  
– Что-то было вроде... А что я кричал?  
– Про какую-то Лизавету, как-то: “Нет, только бы не Лизавета!” Девчонка твоя, что ли?

Альберт сконфузился и слегка порозовел:

– Нет, – буркнул он. – Сон про Раскольникова видел...

Экая литературщина, – мелькнуло неодобрительно у автора.

Отбросив кружку, я кинулся к Февралю.

– Лизавета?!

– Ага! – обрадовался он. – Лизавета! Так и крикнул: “Политики, политики! Слышите меня?” Мы ему: “Слышим!” Он и кричит: “Скажите Кузнецову: Лизавета и топор!..” Да вот в январе Колька–Журнал приедет, он тебе все расскажет – он как раз на решке висел...

Февраль еще шевелил толстыми губами, а я уже не слышал его.

Лизавета! Боже мой! Ведь это Лизавета Родиона Раскольниковова! Он шел вошь убивать, а подвернулась и блаженная!..



## О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ

...Какая мука – искать общий язык с дураками и нравственными уродцами. С превеликим удовольствием погнал бы их. Но куда их гнать? Ведь тогда они примкнут к нашим врагам. А нас и без того наперечет. Но всякому миролюбию, всякой заботе о сплоченном противостоянии неприятелю есть предел, за чертой которого измученное компромиссами нравственное чувство начинает судорожно биться в истерике, вопя: “Не нужно мне побед над врагом такой ценой – ценой союза с явной дрянью”.

Я давно уже утратил способность сострадать тем падшим, которые не только не ужасаются собственной низости, но, напротив, будучи уличены в таковой, легко находят себе оправдание: высоко вознесясь в собственном мнении, такой на сто лет вперед разрешил и простил себе все.

Воистину, не страшна тюрьма стенами, а людьми. Нелишне вспомнить и излюбленные мною “Записки из Мертвого дома”, где Достоевский говорит о русских дворянах в каторжном остроге, что “лучшие из них были какие-то болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени”, а о поляках сообщает: “...все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые”.

И еще: поражает, что на одного толкового бунтаря приходится минимум десяток бестолочей. Я не имею в виду поразительный феномен растерянности, паралича воли и откровенного страха, которыми одержим даже вчерашний фронтовой герой, ныне замахнувшийся на икону государства: подняться на государство – ведь это значит посягнуть на святыню, уже ниспровергнутую разумом, но перед коей подкорка дрожит священным трепетом, ужасаясь святотатству. Наиболее тому яркие примеры дает история декабристов: их сомнамбулическая суета и стояние на Сенатской площади, их фантастическая бестолковость на Украине, их покаянные стенания на допросах... лишь тот, кому лично ведомо ледяное пожатие благословляющей длани божества по имени тираноборство, не удивится бестолковости декабристов, не осудит допросной дрожи их колен, захлестнутый волной болезненно-стыдливого понимания, сопереживания и родственного сочувствия.

Нет, я сейчас о другой бестолковости, о бестолковости, так сказать, в чистом виде. Впрочем, и в охранке не велики мудрецы, но она может позволить себе роскошь комплектоваться всяческой бездарью, ибо мощь ее покоится не на качестве, а на количестве. Но черт с ней, с бестолковостью – то, это еще куда ни шло, хуже, когда под высокими знаменами рядом с теми немногими, кем движет бескорыстная любовь – ненависть, кишат случайные людишки, в основе политикообразного бунтарства которых лежит личная ущербность, неудачливость, честолюбивая по-

требность самоутверждения любой ценой или геростратов комплекс. Когда у тебя десять пальцев, расстаться с одним, пораженным гангреной, не велика беда, если их пять – тяжело, но еще куда ни шло, если же их всего два, то как отрубить один – последним и ложки не удержишь, и V не изобразишь, когда повлекут тебя к стенке... Вот и нянчишься с ним, кряхтя от боли, ночей не спишь, делая припарки–ванночки, а он день ото дня все черней да смердючей и уже распух в зловонную сардельку, грозя смертельной заразой последнему пальцу и всей руке...

Понятно, что хаотическая атомарность в нашей банке всячески поощряется экспериментатором, едва он приметит признаки возможного выпадения кристалла, как вмешивается властной рукой. Но времена меняются: то ли экспериментатор стал слабоват глазами, то ли отвлекают его и пугают внешние шумы, то ли еще что, но кристаллик–то выпал. Хотя всякий кристалл жестко организован, в его структуре должно быть место и слабым, и сильным молекулам, он отторгает лишь элементы, несущие хаос и болезнь.

Одно утешение: нас стало меньше, но зато несомненно возросла наша жизнестойкость, воцарилось согласие, взаимодоверие и дружелюбие. Далось нам это нелегко, порой мной овладевало отчаяние и казалось, что вся эта работа не достойна таких усилий.

Снова вечер. Я изрядно устал сегодня, и так хочется тишины. А мои сокамерники трещат без умолку – с трудом умиряю волны раздражения. Сижу у печки – спине жарко, ногам холодно, с потолка зловеще тарачится желтый волдырь лампы.

Никто из нас не лучше любого другого ни в каком отношении, всяк по–своему пригож и уродлив, каждый хорош на своем месте и черт–те что на чужом. Ведь это редко, чтоб и сапожник, и философ вместе, как Яков Беме.

Вот бедолага Горлопан – классный слесарь: железки всякие в его руках, что воск, – весело смотреть. Но в праздные минуты его влекут высокие материи – и горе обреченному слушать его! Вчерашний закадыка сегодня готов его съесть. Начальство наше опытно и хитроумно: ах, вы – друзья и все прогулочные 60 минут и шагу не шагнете врозь? Ну так дружите целый день, с подьема до отбоя... И все. И вроде бы даже гуманно. Но в камере, где на счету каждая крошка, каждый сантиметр, каждый глоток воздуха, горячая приязнь чахнет быстрее, чем прохладная терпимость. Дружке нужна дистанция. Пространственный инстинкт так силен в человеке, что он приносит ему в жертву и дружбу, и любовь. Любой пустяк готов стать поводом к войне... “Чего ты с ним сцепился?” – спрашиваю Мурженко. “Хиромантия ему – херомантия, френология – хренология... Ну, это еще куда ни шло! Но слышать, как он зовет спертый воздух спернутым, – это выше моих сил!”

Гоголь верно заметил: “Всякий из нас по сто раз на дню бывает то ангелом, то чертом”. То ангелом, то чертом – как раз и значит быть человеком. Когда бы не такая теснотища: сосед взмахнет крылом – с твоих ушей столб пыли, а чихнешь, глядь – у него уже рога торчат, и у тебя лоб засвербил... Рога куда сподручней, и оправдание им всегда найдешь: ведь каждый для себя такой умница и сплошь совершенство... Нет коварней ловушки самоупоения, и лишний раз высунуть себе язык куда достойней, чем носить тяжелый подбородок дуче.

Когда мне душно и совсем уж невтерпеж, нет лучше средства, как скорчить в зеркало гримасу и показать себе язык. Когда бы не ирония, разве вынести, не впад в цинизм, всемирный кавардак, когда б не юмор, разве ужиться с глупостью людской... и со своею тоже?

## ВЕЛИК ЛИ ЛАГЕРНЫЙ ПЯТАЧОК

Ну ладно. Чтобы такое еще запечатлеть? Не очень трудоемкое – мне, верно, легче сосредоточиться, сидя на гвоздях, чем в этом круглосуточном гвалте... Не очень трудоемкое, не слишком скучное и вместе с тем характерное, чтобы зафиксировать лагерный аромат. О старом, полуграмотном уголовнике по кличке Люцифер и о том, как он уже лет десять пишет повесть о членах некоей тайной антисоветской организации, которые еще в XVI веке начали из Забайкалья подкоп под Мавзолей – взорвать его? К началу XX столетия они докопали уже до Урала, но дальше никак не могут пробиться, так как у Люцифера то и дело конфискуют тетрадь.

Или об уголовнике по кличке Кобыла? Он заслужил это прозвище тем, что все события и явления делит на две примерно равные группы: те, по поводу которых ему просто нечего сказать, и те, в связи с которыми он может глубокомысленно сообщить: “Да-а, хорошо кобылу ебать, только целоваться далеко бегать”. (Поистине, нет в мире совершенства!) Ему можно верить: это не народная поговорка, первоначальный подспудный смысл которой не разглядеть в обманчивом тумане прошлого. Это афористический итог его личного опыта: в свое время он был лагерным возчиком и подрабатывал сутенерством – за чайную заварку или пачку папирос сдавал свою кобылу в краткосрочную аренду томящимся по женским крупам; за дополнительную плату у него можно было получить специальную подставку, а прислуживая особо почтенным посетителям, он собственноручно отводил своей Машке хвост в сторону. Хотя такой типаж и любопытен в качестве представителя здешней фауны, значительно интересней было бы исследовать ту луну, с которой он свалился, – благополучную советскую семью из папы-врача, мамы-учительницы и 14-летнего трудного подростка – дворового хулигана и воришки. Однажды мама-учительница с плачем обратилась в милицию: помогите, дескать, перевоспитать Вову. Наша милиция в таких случаях отзывчива – Вову направили в детскую колонию, и мама уже целых восемнадцать лет ездит теперь к нему раз в год на свидание. Вова давно уже стал Кобылой, но все как-то не перевоспитывается... Старинная сказочка с вопросом в конце: сумеете ли вы, детки, угадать, кто тут потаскушка Красная Шапочка, кто лицемер Серый Волк, и кто толстая дура Бабушка? Детки, конечно, вмиг все разгадают, но вот задача: кого им в этой сказке полюбить, кому посочувствовать, кого пожалеть?

А вот еще о луне, с которой падают нам на голову некоторые “государственные преступники”. Прочитал я как-то приговор некоего Волобуева, неплохого, кстати говоря, парнишки, выслушал его исповедь и вдохновил вкратце

описать свои мытарства. Переписываю его жалобу без всякой правки, в комментариях она не нуждается.

“В президиум Верховного Совета СССР от осужденного Волобуева Вячеслава Васильевича. Я хорошо усвоил, что прошение о помиловании пишется через половину срока, но поймите меня: бывает в жизни такое, что человек насытится по самое горло тем дерьмом, в которое его сунули, и, если ему не дать глотка свежего воздуха, он задохнется.

Я понимаю, что совершил очень тяжелые преступления (лишил человека жизни), за что получил 15 лет, а потом на 7 лет изготовил шесть листовок и четыре графических рисунка антисоветского содержания, и мне еще рано думать о помиловании, но знаете: с каждым днем мне становится все труднее и труднее жить в лагере – не сплю по ночам, бросаюсь из одной крайности в другую, думаю, мечтаю, переживаю, ругаюсь, смотрю на всех волком, окончательно опустился, совершенно перестал обращать внимание на свою внешность, месяцами не хожу в баню, в голове торчит колом такой вопрос: когда же, в конце концов, придет счастливая жизнь, когда я смогу жить по-человечески, когда кончатся волчьи скитания по свету и по лагерям???

Когда начинаю рассказывать кому-нибудь из приятелей-осужденных свои мечты о том, как бы я сейчас устроил свою жизнь на свободе, с меня все смеются и говорят: “Ты, Славка, попробуй еще доживи до свободы-то...”. А администрация просто-напросто не верит мне и злорадствует...: “Врешь, Волобуев, ведь ты не сможешь жить на свободе, тебя опять потянет в лагерь, и что ты уже привык к лагерной жизни, и что он для тебя как родной дом”.

От злости не нахожу себе места. Ну почему мне не хотят верить? Что я, прокаженный какой-нибудь или меня действительно считают пропащим человеком? Ведь мне же всего двадцать четыре года от роду, так неужели же в таком возрасте можно стать ненужным отбросом, которого необходимо держать в строгой изоляции от людей без всякой надежды на свободу???. Пусть и плохой, но все же человек!

Вот уже больше года, как я нахожусь в лагерной больнице – у меня двусторонний туберкулез легких. И это в двадцать четыре года, а впереди еще двенадцать лет, которые надо отсидеть. Сейчас туберкулез, а там еще какую-нибудь заразу подхватишь, начнешь чахнуть и сдохнешь как собака в этих проклятых стенах, так и не увидев жизни!

Во многом, очень многом виноват я сам, но надо бы и еще кое-кого посадить в лагерь за то, что жизнь моя пошла колесом, в первую очередь моих родителей и тех людей, которые своим воспитанием проложили мне путь к тюрьме и преступлению.

Сейчас напишу Вам, как я стал преступником, одним словом, опишу всю свою автобиографию, и тогда Вы поймете, почему мне так сильно хочется на свободу.

Из документов мне известно, что родился в 1952 году в Костромской области в хуторе Ершово. В 1953 году отец и мать разошлись, мать вместе с братом и сестренкой уехали к себе на родину, отец завербовался в Советскую Гавань, а я остался у его родителей в г. Ворошиловграде. В 1958 году отец вернулся и привез с собой другую мать – Шелегерд Нону Петровну. Вскоре они забрали меня от бабушки к себе домой.

Из жизни, которую я провел у отца и махечи, вспоминается все только отрицательное, ибо жилось мне у них несладко. Помню, что мне у них не нравилось жить, и я все время убегал к бабушке, за это мне крепко доставалось от отца.

Потом каким-то образом я очутился в Беловодском детском доме, но пробыл я там неделю, так как отец забрал меня оттуда снова к себе. В то время у них появились дети (мои сводные братья Саша и Сережа), и я стал чувствовать, что моя жизнь в этом доме никому не нужна. Махеча все время занималась своими детьми, которых я стал ненавидеть, а я все чаще стал получать вместо ласки затрецины и пинки по заднице. Хорошо помню, что меня очень часто били сухими стеблями от подсолнуха, а ночью часто приходилось стоять в углу за печкой на коленях, а если я умудрялся засыпать, то мне давали по шее и сыпали (где стоял на коленях) золу из печки, и приходилось стоять на этой золе до тех пор, покамест не попросишь прощения. Этим наказаниям я подвергался за то, что воровал на кухне продукты и не хотел называть махечу мамой.

Не подумайте, что я хочу опорочить вторую жену отца, но она действительно была злая как ведьма, а я был для нее не сын, а гадкий пасынок.

Позже я начал убегать из дому и стал бродяжничать, а потом нас с отцом вызвали в детскую комнату, и я не вернулся домой. Меня сначала отправили в детский приемник, а оттуда отвезли в Старобельский детский дом.

Отца лишили родительских прав. Он слишком часто устраивал по пьянке дома погромы. Помню, что после очередного погрома махеча очутилась в больнице с сотрясением мозга, он разбил об ее голову бутылку из-под шампанского, наполненную томатным морсом, – я это помню, потому, что целую неделю был дома за хозяина (ее отвезли в больницу, а его забрали в милицию), и мне пришлось смывать со стен комнат этот томатный морс.

В детском доме г. Старобельска мне жилось очень хорошо – воспитательницы, няни были все пожилыми людьми и относились к нам как к родным де-

тям. Позже детский дом расформировали и нас вывезли в Новый Айдар, в школу–интернат.

Не могу сказать почему, но нам, детдомовцам, не хотелось жить в школе–интернате, и мы очень часто собирались целыми стайками пацанов и убегали оттуда. Убежим и бродяжничаем по железнодорожным вокзалам и городам, пока нас не поймают милиция. Кормились тем, что лазили по чужим огородам и садам, а в зимнее время года воровали в магазинах с прилавков и витрин продукты питания, а иногда удавалось схватить за весами в коробке горсть разменной монеты и безнаказанно удрать.

В школе–интернате я пробыл до 1963 года, а потом нас собрали целую группу из бывших детдомовцев и как трудновоспитуемых отправили в детские приемники в г. Ворошиловград, а оттуда в г. Макеевку в детскую колонию.

Привезли нас туда зимой, в феврале месяце, и первое, что мне запомнилось, – огромные железные ворота и высокий каменный забор с колючей проволокой и горящими лампочками.

Завели нас на вахту, переодели в форменную одежду, остригли наголо и повели в карантин спать. И еще: как сейчас помню, баба–вахтерша в военной форме сразу же предупредила нас, чтобы мы выбросили из головы мысли о побеге, ибо за побег здесь сами воспитанники поотбивают почки.

Утром, не успели мы как следует выспаться, к нам в карантин пришли гости – это были пацаны в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, на правом рукаве курток у каждого из них были нашиты нашивки (как у курсантов) из желтого галуна. Мы узнали, что это были командиры отделений и отрядов, которым мы были обязаны беспрекословно подчиняться.

Нас спросили, можем ли мы заниматься уборкой помещения и заправлять спальное место (кровать). Все мы в один голос ответили, что можем, ибо этому нас учили еще в детском доме. Тогда они велели кому–нибудь из нас выйти из строя и показать, как заправляется постель. Кто–то из нас заправил кровать, как нас учили в детдоме. Но, увы... этого еще мало – нужно было заправить постель за то время, пока потухнет зажженная спичка в руках одного из командиров с желтыми нашивками на рукаве. Конечно, никто из нас не успел уложиться в положенное время, и за это нас начали избивать – били изо всей силы, не обращая внимания на наш визг и крик, били до тех пор, пока на пороге карантина не появился офицер – это был начальник колонии Николай Павлович (он любил, чтобы его звали “Батя”). Наверное, многие из нас тогда подумали, что он сейчас заступится за нас, но, как ни странно, он посмотрел на наши избитые морды и сказал: “Как я вижу, вы уже познакомились и с вами провели беседу”.

В карантине мы пробыли 21 день. За это время нас обучили всем премудростям колониистой жизни: научили ходить строевым шагом, петь походные солдатские песни, мыть зубной щеткой полы, а главное, чему нас научили, – это испытывать ужасный страх перед воспитателем и командиром отделения. Стоит воспитателю или командиру отряда выкрикнуть твою фамилию, как у тебя начинает лихорадочно работать мысль: за что будут бить, в чем я сегодня провинился? Когда нас распределили по отрядам, я попал в пятое отделение третьего отряда – тут находились самые младшие воспитанники колонии (мне тогда было одиннадцать лет).

Командиром отделения у нас был воспитанник Синегубов (кличка Абулегас), а воспитательница – молодая женщина (забыл ее имя–отчество). Приняли меня в отделении как–то отчужденно. Вечером после отбоя меня позвали в умывальник, я зашел туда, но там никого не оказалось, и я возвратился в спальню. Когда я открыл дверь и вошел, кто–то сзади набросил на меня одеяло, и меня начали бить. Надавали мне по роже и по бокам и разбежались по своим местам, я поднялся с пола, не понимая, за что меня опять избили. Кто–то приказал мне идти в умывальник и смыть кровь, а потом лечь под одеяло и молчать. Когда я умывался, ко мне подбежал совсем крошечный мальчишка и опять предупредил, чтобы я молчал. Я спросил его, за что меня били, и он сказал, что всех новеньких бьют – это называется “дать прописку”. “Прописка” – это священная церемония, которая заведена Бог знает когда и кем, и на такие пустяки уже никто не обращает внимания, а воспитатель или же учительница нисколько не удивятся, если на второй день у новенького будут светить “фары” под глазами.

Но это еще не все: в эту ночь я несколько раз просыпался от острой и жгучей боли в разных участках своего тела – это опять были колониистские штучки: когда новенький заснет, ему вкладывают между пальцами на ногах и руках пленку или же пластмассу от теннисных шариков и поджигают. Такая процедура называется “устроить велосипед”.

После всего этого у тебя появляется такое ощущение, как будто ты попал в ад – начинаешь бояться не только окружающих, а даже своей собственной тени.

Утром после зарядки и уборки, повели отряд завтракать. Да, питание в колонии отличное, но беда в том, что кто–то кушает, а кто–то смотрит. Одним словом, все основные продукты забирают командир отделения и его “шестерки”, а остальные воспитанники довольствуются кашей и хлебом.

В колонии разрешают каждое воскресенье приезжать родственникам. Сами понимаете: привозят всякие сласти, всевозможные вещи, но, увы... из всего,



что привезут родственники, тебе достанется только лишь то, что успеешь слопать на свидании и ухитришься незаметно передать пакет своему другу, а остальное попадет в тумбочку к командиру. Если соизволишь ничего не принести со свидания, тебя за это побьют и вообще будут при возможности издеваться над тобой. Когда кто-то из воспитанников идет на свидание, его зовут в каптерку к командиру отделения, и он дает указание, чтобы ты обязательно выпросил у матери денег. Тот, кому привозят деньги, начинает обживаться, ему уже делают поблажки, и он становится “шестеркой” командира.

Понимаете, как все получалось: на уроках учителя нас учили тому, чтобы мы были добрыми, честными и смелыми, читали нам о Павлике Морозове, Павке Корчагине, о молодогвардейцах, о Макаренко, но у нас до того были забиты головы и до того мы были запуганы и дики, что мы уже не соображали, что такое хорошо и что такое плохо.

Если в школе получишь “два”, то тебя избивают до такого состояния, что приходилось тащить тебя в уборную и поливать из шланга водой, чтобы пришел в сознание. Причем за нарушение наказывают так: получил “два”, тебя вызывают в воспитательскую (где сидят начальник отряда, воспитатель и все командиры отделений), начальник отряда подзывает к себе командира твоего отделения и хорошенько надает ему по морде, потом подзывает тебя и на пару с воспитателем начинают хлестать тебя “шутильниками” (это такой трехгольный ремень, который вращает вал у деревообрабатывающего станка). Такие “шутильники” имели каждый воспитатель и мастер (благо, что у нас было большое производство, где мы работали, и таких ремней валялось полно в каждом цехе). Они сами себе изготовляли каждый по вкусу такие ремни.

После каждой беседы с помощью “шутильника” воспитанник выходил из воспитательской с кровоподтеками и синяками на спине и руках. Если после такой “беседы” к тебе приедут на свидание родственники, то свидания не дадут (скажут, что болеешь). Отдадут только передачу, а свидание дадут только тогда, когда у тебя сойдут все синяки и ссадины. Но и тогда, прежде чем пустить на свидание, с тобой поговорит воспитатель и возьмет с тебя слово, что ты будешь молчать и не будешь жаловаться.

Хотя нас по приезде в колонию строго предупредили, чтобы выбросили из головы мысли о побеге, я, несмотря на это строгое предупреждение, решил во что бы то стало бежать отсюда.

Первый мой удачный побег из колонии чуть не кончился трагически (до того у меня была уйма попыток к бегству, но меня ловили). В этот раз мне помогло одно обстоятельство: в колонии был заведен строгий порядок о ночном дежурстве в бараке, то есть каждую ночь мы дежурили по очереди. В обя-

занности ночного дежурного входило охранять личное имущество воспитанников отделения (были очень частые кражи в ночное время личных вещей и обмундирования, вот поэтому и надо было сторожить). Как у нас говорили: “заступаешь на дежурство, чтобы поймать “крысятников”.

Вот в одну из ночей я заступил в такое дежурство. После отбоя мне командир отделения вручил на сохранение до утра три рубля денег, две пачки сигарет (курево в колонии запрещено и считается дефицитом) и свои расклешенные брюки. Деньги и сигареты я положил в карман, а брюки спрятал за пазуху и начал дежурство. Покуда все не спали, я стоял у дверей и болтал с приятелем, а когда все уснули, я сел на кровать и стал наблюдать за дверью. К утру я и сам не заметил, как, сидя на кровати, заснул. Проснулся оттого, что кто-то меня пнул под бок, и увидел кричащего командира отделения (в это время у нас был уже новый командир Анатолий Коваль). Оказывается, покедова я спал, один из “крысятников” вырезал у меня лезвием карман и украл деньги и сигареты. Коваль хорошенько меня отлупил и сказал, чтобы к вечеру я достал денег и сигареты или... Но достать их мне было негде, хотя я пообещал, что до вечера все верну. Вот тут-то я и решил бежать. Когда нас повели в производственные мастерские, я вышел в коридор, открыл в полу люк и залез под пол, где проходила теплотрасса, и начал уползать вглубь лабиринтов подполья. Наткнулся на глубокую яму, по которой проходили широкие трубы, постелил на трубы рабочий халат, лег и заснул. Когда проснулся, вокруг было тихо, ничего не слышно. Хождения и беготни над моей головой не было – значит, пришла ночь. Вылазить из подполья я побоялся, потому что меня могли искать, и решился несколько дней пересидеть в теплотрассе.

Когда просидел трое суток, то мне уже не захотелось оттуда вылазить: я мог спокойно сколько хочу спать, мечтать и фантазировать, не боясь того, что кто-то меня изобьет, – никто надо мной не командовал и не издевался, я был один, сам себе хозяин. Первые суток четверо мне очень хотелось есть, и я все время думал о еде, но потом я как бы смирился с голодом и мне совершенно не хотелось есть. Я только пил горячую воду – в этой яме на трубе отопления был большой кран для стока воды, вот я откручивал кран и пил горячую воду (правда, она воняла ржавчиной).

Сколько прошло дней, я не мог знать и решил вылезти ночью из подполья. Для того, чтобы выбраться за зону. Когда подполз к люку и начал его открывать, понял, что сильно ослаб. Все же кое-как открыл этот люк, вышел в коридор, хотел встать на ноги, но, когда поднялся, у меня закружилась голова и потемнело в глазах, на ногах я держаться не мог, но все же открыл окно, выбрался на улицу и ползком добрался до хозяйственного двора, а оттуда через дырку выбрался на свободу.

Это было зимой (не помню, в каком месяце), а я был одет в легкую спецовку и сверху рабочий халат и так вот по снегу полз в направлении железной дороги. Рядом с нашей колонией проходила железная дорога, я помню, что дополз до нее и все... Очнулся в городской больнице. Оказывается, меня подобрали у дороги лежащим без сознания шахтеры, идущие на смену в шахты. Уже в больнице выяснилось, что в теплотрассе под полом я просидел одиннадцать суток.

В больнице я пролежал больше двух месяцев. Раз ко мне пришел начальник колонии, и я ему рассказал, что боялся побоев, потому что ко мне никто не приезжал на свидание и негде взять денег, чтобы вернуть украденное. Когда меня снова привезли в колонию, то командира отделения А. Ковалева перевели в другое отделение рядовым воспитателем. К нам в отделение дали другого командира Валерия Макарова, но он ничуть не отличался от прежнего. Чтобы не быть голословным, приведу такой пример: у этого Макарова в отделении было несколько жен из числа смазливых и приятных на внешность воспитанников. После отбоя Макаров звал к себе кого-нибудь из этих мальчишек в постель и целую ночь развлекался с ним, как с женщиной.

Проходили годы, я становился взрослее и вместе с возрастом ко мне приходила злость, ненависть к людям, жестокость, замкнутость, сомнение в том, что на этом свете существует какая-то справедливость. А главное это то, что с каждым днем во мне формировался садист и преступник. Из каждодневных вечерних разговоров в спальне я уже заочно знал, как можно обворовать магазин, как открыть замок, как без шума выдавить стекло в оконной раме чужой квартиры, чем и в каком месте ударить человека, чтобы оглушить его. А ведь до приезда в колонию я таких вещей не знал.

Пришло время, когда я стал самым "старым" воспитанником в колонии и у меня появилась власть и могущество. Вначале из меня сделали командира отделения, позже я стал командиром отряда (в отряде от ста до двухсот человек). Вот тогда-то я стал отыгрываться за все старые обиды и издевательства. Я избивал воспитанников без всякой причины, бил, всячески унижал, грабил, муштровал их до десятого пота ради забавы и веселья. В этом я находил развлечение. Поступал так же, как когда-то поступали со мной, а может быть, еще хуже. Со стороны администрации притеснений и запретов я уже не ощущал, все мне было дозволено, ибо я наводил порядок в отряде.

Начальником отряда у нас в то время был Евгений Константинович Тимофеев. Он лично сам принимал участие во всех процедурах избияния воспитанников. Выглядело это так: вызывают в воспитательскую комнату того, кто допустил нарушение режима, к нему подходит Евгений Константинович и начи-

нает с ним мирно разговаривать, а потом резкий взмах руками – и воспитанник, зажав руками уши, садится на пол: начальник отряда очень любил двумя ладонями бить по ушам нарушителя. А когда насытится Евгений Константинович, он отдает этого воспитанника нам (командирам), говоря при этом: “Вы тут с ним побеседуйте, а я минут на двадцать отлучусь по делам”. Вот тут-то мы, командиры, приступали к своим обязанностям, а позже – начинается групповое избиение провинившегося воспитанника.

А с командиром отделения, в котором допущено нарушение, Евгений Константинович беседовал отдельно. После такой беседы командир отделения прибежал в спальню и начинал ужасное избиение того воспитанника, который сделал нарушение, ибо за нарушение начальник отряда лупил и командира.

Пробыл я в колонии с 1963 по 1969 год, а в мае 1969 года сделал оттуда свой последний побег.

Вначале вел образ жизни бродяги в г. Донецке, а позже поехал в Ворошиловград к бабушке.

У бабушки прожил до первых чисел июля, а потом решил ехать к своей родной матери (в колонии я узнал, где она живет).

На вокзале незаметно проскочил в вагон, залез на верхнюю полку и под стук колес начал думать о том, как меня встретит мать. Долго размышлять мне не пришлось, ибо думы прервали проводники. Я ехал “зайцем”, поэтому на первой же станции меня высадили. Высадили меня из вагона на ст. Белокуракино Ворошиловградской области. Местность была мне незнакома, я побродил по вокзалу и пошел к поселку, где меня никто не ждал. В Белокуракино я пробыл-таки трое суток, спал в заброшенном шалаше возле колхозного сада, а питался фруктами из этого сада.

На четвертые сутки вечером, проходя мимо продовольственного магазина, я увидел на светящейся витрине множество всевозможных продуктов, и у меня сразу же появилось желание обворовать этот магазин.

Долго не думая, я сходил на стройку, находящуюся рядом с магазином, принес оттуда железную арматуру, зашел с тыльной стороны магазина к двери, взломал ее и очутился внутри. Первым делом я забрался под прилавок, разложил вокруг себя разные продукты и стал есть и пить, а когда насытился, взял с витрины две хозяйственные авоськи, наложил в них продуктов, вина и сигарет, а перед самым уходом нашел под прилавком коробку с разменной монетой, высыпал ее в сумку и пошел на вокзал. Пришел на вокзал, сел в первый попавшийся поезд и уехал. Через несколько дней я уже был в г. Сочи, а затем в Адлере. А чуть позже – в г. Хосте. Меня поймали ночью в кафе “Сюрприз”, которое я хотел обворовать. За это меня судили и

дали два года с отбытием наказания в колонии для несовершеннолетних преступников.

В колонию меня отправили в г. Копычанцы Тернопольской области. В этой колонии воспитание, нравы и обычаи были такие же, как и в детской колонии г. Макеевка, но обжился я здесь быстро, ибо основную школу жизни я уже усвоил раньше, и здесь я был своим в доску.

По приезду в колонию, буквально через три месяца, меня назначили заместителем командира отряда, и я чувствовал себя как рыба в воде.

Когда мне исполнилось 18 лет, меня перевели во взрослую колонию. Во взрослой колонии я пробыл девять месяцев, и меня, как нарушителя режима, отправили в г. Житомир на тюремный вид режима. Здесь мне основательно пришлось узнать, что такое настоящие голод и произвол. Вы, наверное, знаете, что по приезду в тюрьму месяц сидишь на пониженной норме питания (горячая пища в житомирской тюрьме давалась через день), а потом месяц на строгом режиме, и только после этого переводят в общую рабочую камеру. За малейшее нарушение надевают наручники (да так, что руки на целый месяц становятся как протезы), волокут на кулаках вниз, в “бокс”, и начинают пинать, а от смиренной рубашки были случаи, что у осужденных после применения этой рубашечки ломались ключицы.

В 1971 году кончился мой срок, и я освободился. После освобождения мне дали направление на жительство в Белокуракино (туда, где меня судили), жил я в общежитии, работал в ПМК. Устроился на работу как плотник третьего разряда, а работать посылали кирпичи таскать, ломом долбить дыры в бетонных плитах для вентиляции. В общежитии был бардак ужасный, с утра до вечера пьянки, драки и разврат с девчонками (рядом было девичье общежитие). Потом произошел не слишком приятный случай, я убежал из этого общежития и решил ехать к родной матери (я ее не видел с 1963 года).

Приехал в Кострому, а ее там нет: она в Ростовскую область уехала. Приехал в станицу Лозновскую ночью. Возле клуба спросил у молодежи, где живет Волобуева Раиса Владимировна. Мне показали, и я пошел к этому дому. Подошел к крыльцу и постучал в дверь. На крыльцо вышла молодая женщина с приятным лицом, и я спросил, здесь ли живет Волобуева Раиса Владимировна. Она говорит: “Да, это я буду Волобуева”. Я сказал, что я ее сын Славка, она смотрела, смотрела на меня, а потом бросилась ко мне, начала обнимать и плакать, я тоже не удержался от слез. Вдруг в дверях показался мужчина и пьяным голосом начал орать: “Что здесь за целование?” Я говорю ему, что это моя мать, а он вылупил на меня и орет: “Ты что, парень, какая мать?” Она тоже сказала, что я ее сын, а он стал ругаться на

мать (оказывается, она никогда не говорила мужу, что у нее есть сын, то есть я). Приняли меня сначала хорошо – искупали в душе, накормили, переодели в чистое белье и уложили спать. Я, конечно, рассказал им, что я сидел в лагере, ибо они больно подозрительно смотрели на мои татуировки на теле.

Но потом на почве моего приезда у них начались скандалы. Сначала я заступался за мать и не давал ее в обиду, но позже перестал это делать, ибо ночью они помирились, а я оставался виноватым.

Прожил я у них около двух месяцев, а потом сначала перешел на квартиру, а позже вообще от них уехал.

Вскоро я оказался в Мурманске. В Мурманске я ночью залез в магазин, сработала сигнализация, и меня милиция поймала прямо в магазине.

Меня судили за кражу и дали четыре года, а позже, уже в лагере, я написал еще об одном случае “явку с повинной”, и мне добавили еще год срока. Таким образом, я заработал пять лет, и меня направили для отбытия наказания в ИТУ г. Рыбинска. В лагере я постоянно был в списках нарушителей и все время сидел в ШИЗО или ПКТ. Потом я начал задумываться над тем, почему все в жизни так складывается, но ответа своему вопросу не находил. Мне надоело, что на меня показывают пальцем, говорят обо мне только плохое, для администрации я был словно бельмо в глазу.

Никто никогда не говорил со мной по-человечески – меня всегда “обсуждали”, ругали и наказывали.

Бывали случаи, что меня за какие-нибудь нарушения приводили на беседу к начальнику ИТУ, но, увы... он делал кислую мину на лице и говорил: “Опять, Волобуев, отведите его в штрафной изолятор”. На этом вся беседа заканчивалась. За три года отбытия в Рыбинской ИТК я ни разу не покупал в ларьке продукты, я даже не знал, какие есть в ларьке товары, ибо все время меня лишали права приобретения покупок в магазине ИТК. Хотя ко мне некому было приезжать на свидание, но меня всегда на год вперед лишали свиданий. Одним словом, я был как какой-то прокаженный или что-то вроде огородного пугала. Ни один начальник отряда не хотел брать меня к себе в отряд. Бывали такие случаи: выпускают меня с ПКТ в зону и направляют в какой-нибудь отряд, так меня сразу же вызывает начальник отряда и начинает уговаривать, чтобы я перешел в другой отряд.

И до того мне все это надоело, что уже не знал, что мне делать, – от злости, отчаяния и обиды хватал в руки какую-нибудь железную арматуру и начинал гоняться с нею за кем-нибудь из активистов или начинал бить в жилом бараке стекла на оконных рамах.

Потом меня начали считать сумасшедшим и стали возить по психбольницам. Поймите меня, если человека держать всю жизнь в хлеву и говорить ему, что он свинья, то со временем он действительно захрюкает. Надоело все, я уже был как загнанный волк, ходил по зоне, а в голову лезли мысли одна хуже другой. Все чаще стал задумываться, зачем я живу на этом проклятом свете. Додумался до того, что хотел покончить жизнь самоубийством, но на это у меня не хватило силы воли. Правда, один раз в ИТУ–24 г. Рыбинска я решился на этот шаг, но по случайности меня увидели и сняли с петли. А потом сколько раз я хотел уйти из жизни добровольно, но у меня не хватало силы воли.

И тогда я решил в один вечер убить первого попавшегося человека для того, чтобы меня расстреляли. Я зашел в пятый отряд, попрощался с друзьями и сказал им, что кого–нибудь убью сегодня, но они подумали, что я шучу или же обожрался каких–то наркотических таблеток, и стали смеяться надо мной.

Когда я выходил из барака от друзей, в коридоре я встретил осужденного Пестова, и, когда он подошел ко мне на расстояние метра, я ударил его ножом в область живота, а потом в спину. Вышел на улицу, выбросил нож в снег, и пошел на вахту в надзорку, и сказал, что я зарезал человека. Меня посадили в штрафной изолятор и сказали, что теперь тебя, Волобуев, расстреляют. Оперативник Коханов обманул меня, сказав, что Пестов умер. А потом я узнал, что он жив, но меня это не обрадовало.

Меня увезли в дурдом, где я пролежал три месяца, а потом опять привезли в лагерь, но в зону не пустили, а посадили в ПКТ.

В ПКТ я все время ругался, кричал, бился головой в дверь, пока меня не “успокаивали”.

На работу меня не выводили – боялись, что я поломаю станки и оборудование. Ибо один раз вывели в цех, пообещали дать курить, но обманули, и тогда я разобрал по болтикам станок, кусачками изрезал всю готовую продукцию. На работу меня не пускали и поэтому кормили по пониженной норме питания, и дошел я основательно – весил пятьдесят четыре килограмма при росте 1 м 69 см.

Как–то в камеру зашел оперативник Сафонов, сперва начал подшучивать надо мною, а потом говорит: “Мы тебя, Волобуев, сгноим здесь, в штрафном изоляторе”. Я психанул, спрыгнул с нар, схватил табуретку и бросился с ней на оперативника. За это мне недели наручники, надавали сапогами по бокам и в одних трусах, босиком бросили в одиночную камеру. Целую ночь я пролежал почти что голым на цементном полу и в наручниках, а утром наручники сняли и дали пятнадцать суток карцера без выхода на работу.

Отсидел я эти пятнадцать суток, и меня перевели в общую камеру ПКТ. Все это время, пока я сидел в карцере, меня кормили через день – по пониженной норме питания. Когда я отсидел карцер, то меня должны были кормить общим пайком, но, сколько я ни требовал, меня продолжали держать на голодном пайке. Когда я требовал общий паек, мне отвечали, что так как у тебя нет нормы выработки в цеху, то тебя, Волобуев, будут морить голодом. Я объяснил, что они поступают не по закону, но администрация (капитан Комиссаров, прапорщик Дубов) только улыбались и говорили, что закон в наших руках, как мы скажем, так и будет, можешь, Волобуев, писать на нас жалобы, а мы будем тебя помаленьку морить голодом, и мы всегда будем правы. Я начал ругаться и сказал им, что если вы не выдадите мне мой законный паек, то к утру будете выносить из камеры трупы.

Собственно говоря, когда я пришел из карцера в камеру, ребята чем могли накормили меня (Аникеев дал мне полпайки хлеба, Честков дал половину тарелки супа), но поймите, ведь они сами были голодными и поэтому не могли меня ежедневно кормить своим пайком. Сколько я ни стучал в дверь, сколько ни требовал вызвать прокурора, на это администрация не реагировала, а стала мне угрожать, что опять наденет наручники и дадим по бокам.

Когда в понедельник все пошли на работу, я от голода не мог и остался в камере вместе с осужденным Машенкиным. Начали раздавать ужин, осужденному Машенкину дали ужин, а мне опять ничего не дали (был четный день, то есть голодный для меня). Вот тут-то я смотрел, как он ест, и начал злиться. Просить у него супа было стыдно, и я готов был разорвать осужденного Машенкина. Потом он, как назло, начал стучать ложкой об миску и, прихлебывая, глотать суп. Я одурел вообще, а потом что-то заорал на него, вскочил с нар и ударил его кулаком в лицо. Он упал, выпустил из рук на пол миску и суп весь разлился. Я бросился к нему и стал его душить.

Я не могу объяснить, зачем я это сделал. Помню злость, ярость и желание рвать и бить все подряд, а ведь осужденный Машенкин мне ничего плохого не сделал. Я даже толком не знал, кто он и что он за человек. Но тем не менее я лишил его жизни и стал убийцей.

Сидя в следственном изоляторе за убийство, я вдруг испугался расстрела и решил симулировать сумасшествие. Когда еще раньше я лежал в психбольнице, то знал одного парня, который в лагере совершил преступление, но его не судили – он написал всяких антисоветских листовок и все время орал: “Долой коммунистов!” За это его закрыли в психбольницу, а судить за ранее совершенное преступление не стали. Я решил сделать то же самое. В одну из ночей в камере следственного изолятора г. Рыбинска я написал от руки шесть лис-



товок и нарисовал четыре рисунка. В листовках я ругал коммунистов и еще что-то в этом роде, а на рисунках были изображены карикатуры на коммунистов и что не кормят. Утром я показал свою работу ребятам, но они начали смеяться и говорить, что ты, Славка, хочешь сделать вторую революцию и попасть в Кремль?

Суворову Володьке я сказал, что разбросаю эти листовки во время суда и меня отправят в дурдом и не будут судить. Но когда мы пошли на прогулку, то надзиратели нашли эти листовки у меня под матрацем.

После суда (мне дали 15 лет за убийство) меня вызвали прокурор и начальник из КГБ и сказали мне: “Ты, парень, прекрати заниматься этим делом, а то срок намотаем”. Я ответил им, что у меня не позволяет образование заниматься политикой. Но мне ответили, что “мы судим даже тех, у кого нет и одного класса образования, а у тебя целых шесть классов”.

На этом все прекратилось, меня отправили в лагерь, и я думал, что все обошлось. А через месяц меня опять привезли в тюрьму и предъявили обвинение по ст. 70. Сказали мне, что я хотел подорвать строй и мощь нашего государства. Спрашивали, читал ли я какую-нибудь запрещенную литературу и слушал ли “Голос Америки” и еще что-то в этом роде. Я, естественно, не мог слышать и читать, так как вообще не люблю читать (да и где взять?), а радио у меня никогда не было. Ну а в ходе следствия я начал задумываться над тем, что, может быть, я прав в том, что коммунисты обманывают народ и что такие, как я, необходимы как жертвы и рабы, ибо мне пришлось увидеть много плохого в жизни, хотя в газетах и по радио говорят совсем о другом, а на самом деле вокруг бардак и сплошное узаконенное беззаконие. Сколько в лагерях и тюрьмах гибнет молодежи, вся воспитательная работа пущена на самотек, а кадры для работы в лагерях подобраны отвратительные: грубость, хамство и кулак – это есть основа воспитания. Единственная хорошо и даже отлично отлаженная работа в лагерях – это оперативная работа. Да, здесь, ничего не скажешь, работают отлично – если оперчасти понадобится что-то узнать кое о ком из осужденных, то буквально через пять минут о нем будут знать все. Следят друг за другом днем и ночью.

А вот в этом лагере, где я нахожусь сейчас, разрешают таким, как я, все: можешь свободно играть в карты, заниматься половым сношением в задницу, одним словом, можешь делать все, что захочешь, главное – не заниматься политикой и антисоветчиной, а все остальное разрешается и даже поощряется, если согласишься следить за политиками.

Вот теперь у Вас на бумаге написана вся моя жизнь, и думаю, что Вы уделите моему делу внимание.

Поймите, лагерь и все эти проклятые воспитательские учреждения сделали из меня преступника. А то, что меня осудили на семь лет как врага народа и антисоветчика – есть большая ошибка. Ведь я родился в СССР, учился, государство меня хоть и плохо, но выкормило и воспитало. Я не был предателем и изменником родины, и вообще все это чепуха – сама администрация этого лагеря смеется и говорит: “И кто тебя, Волобуев, судил как политика, ведь ты малограмотный уголовник”. Я никогда не интересовался политикой, и для меня нет разницы, кто стоит у власти, – пусть хоть сам черт, лишь бы жить хорошо можно было бы по-человечески.

Поймите, я хочу жить так, как все люди, и прошу вас: не губите до конца мою неудавшуюся жизнь.

Сейчас я уже взрослый, стал кое-что понимать в жизни, и можете быть уверены, что меня больше не потянет воровать. Надоело все!!! Я хочу жить.

15.2.77 г.

Волобуев”.

Событий никаких. Питаемся туманными слухами, чувствуем, что варится какая-то каша, но какая? Отчаяние накатывает волнами. Бывает, за ночь глаз не сомкну – борюсь с тоской смертной и приступами холодной безысходности...

Впрочем, и с того, и с другого я умудряюсь получать рифмованные дивиденды: нынче полночи провздыхал о несчастной своей судьбинушке, а потом – дабы душевные корчи мои не пропали втуне – взял да и написал о том, как на душе темным-темно, как бьет чечетку дождь по крыше, как ночь таращится в окно рысьими глазами вышек... и только после этого заснул. Когда бы не уверенность, что, вздернувшись, я значительно больше порадую своих врагов (которым несть числа), нежели опечалю друзей (которых раз-два – и обчелся), право слово, может и не устоял бы.

Кстати, ходатайство Волобуева о помиловании вряд ли дошло до адресата – он умер в конце марта, как незадолго до того умер заразивший его туберкулезом Цветков. Теперь на очереди еще один – Демченко, тоже молодой парень, тоже заразившийся от Цветкова и тоже, хотя он отхаркивает кровь и куски легких, содержащийся в общей камере.

Узнав о смерти Волобуева, мы (20 человек) 17 апреля объявили голодовку (однодневную) и не вышли на работу. Начальство рассердилось несказанно, так как это воскресенье было объявлено ленинским субботником и всем нам еще недели за две до того усиленно рекомендовали проявить в этот знаменательный день повышенный трудовой энтузиазм.

Мурженко продолжает голодовку – ему не дали бандероль с лекарствами. Федоров, увидав на газетном снимке у Б. Чейвиса (42) бороду, решил тоже

обзавестись растительностью. Но едва его бороде исполнилось три недели, как пришли два амбала, завели бедолагу в комендатуру и так популярно объяснили отличие СССР от США, что у того наручники на запястьях лопнули. Мы узнали об этом лишь на другой день, врач отказался запротokolировать следы побоев... В общем, обычная история.

Об одной из наших зон ("37-й" – уральской) ходят слухи, что собрали в ней лишь примерных преступников и ублажают их всячески – работой не очень донимают, библиотека, говорят, приличная, крутят фильмы о веселой жизни зарубежных женщин, есть даже (верить ли?) телевизор.

Что бы сие значило? Двоим из этой зоны уже, говорят, предоставили возможность публично расхваливать лагерь – благоухающий сосуд всяческих гуманностей, от которых и самого матерого "врага народа" прошибает слеза умиления, и он быстренько исправляется в восторженного друга.

Неужто некие международные организации домогаются возможности ознакомиться с лагерями, их пока не пускают, но в предвидении тех горестных времен, когда придется (пронеси, Господи!.. А вдруг все же?..) пустить их, создается показательная зона? Конечно, можно было бы соорудить ее и в самый последний момент, но свежеиспеченное благополучие легче разоблачить. Сооружение потемкинской деревни тоже требует учета исторического опыта, а таковой подсказывает, что заблаговременно склеенные фанерные хоромы имеют более натуральный вид, да и пейзажу, попривыкнув к фанерному счастью, не столь обалдело выглядят, как сперва. Уж не являемся ли мы живыми свидетелями нового славного этапа в технике сооружения потемкинских деревень?

Только что случайно подслушал любопытную беседу двух уголовников в одном не очень благозвучном месте. Вообще–то говоря, клозет (как и вообще фекальная тематика) играет в здешней жизни чрезвычайно значительную роль, и избежать этой темы просто невозможно. Как–нибудь я расскажу подробнее о "дерьмометах" (как я называю тех, кто обливает начальство своим дерьмом, предварительно накопив изрядное его количество в какой–нибудь банке или в целлофановом мешке) и о любителях "фресок" (это те, кто до нужной кондиции разбавив в миске фекальную "краску", расписывают стены и потолок камеры похабщиной и разными лозунгами), о драках и даже о "контрреволюционных" бунтах, в основе которых все тот же клич: "В уборную!"

Ну ладно, сию я этаким печально–мудрым орлом... Странное дело: справляя большую нужду, всякий исполняется какой–то особой сосредоточенной

задумчивостью, словно чутко вслушиваясь в нечто сокровенное, и мысли в голову идут все неуместные какие-то, мудрые. Однажды в самом-самом зеленом детстве – лет этак шести или семи – меня именно в сортире посетила такая не вполне обычная для столь нежного возраста мысль: а вдруг и где-нибудь на Луне все точно так же, до мельчайшей черточки... и так именно в сию минуту сидит на унитазе точно такой же ушастик и думает: а вдруг где-нибудь на Луне... Стоп! Он ведь должен думать: где-нибудь на Земле... Вот уже не точь-в-точь. А может, для него наша Земля – Луна? И т.д. Но даже и не это забавно, а то, что вспомнил я об этом умствования лет пятнадцать назад – и именно в клозете, и с тех пор воспоминания об этих лунных размышлениях в невероятно далеком детстве нет-нет да и посещают меня... опять же только в сортире.

Ну ладно, хватит этих клозетных мудростей!.. Значит, сижу я в клозете, а за моей спиной смежное заведение того же типа, и в нем, не подозревая о моем застенном присутствии, беседуют, натужно побряхтывая, двое: некто Ш. и О. Грязному старичишке Ш. за шестьдесят. Лысый, с реденькой немойтой бородашкой и хитрющими пуговками гляделок, зимой и летом, днем и ночью он не вылезает из засаленных ватных брюк и двух бушлатов, весь обвешан самодельными крестами и медальонами, и, наверное, нет такой недели, чтобы у него не забрали пару-другую “иконок”, на которых персонажи священной истории занимаются всяческим непотребством. В прошлом бродяга, мошенник, вор и педераст (о чем свидетельствует и мушка, выколота под левым глазом), в конце 50-х годов он “уверовал”, объявил себя священником и, освободившись, пустился проповедовать по деревням... Много ли для этого надо: борода, бредовая евангелистика на хитрых устах да невиданная обрядность (через каждые 12 шагов он останавливается и долго кружится на одном месте, осеняя мелкими крестами то брюхо, то толстую задницу). И поползли к нему сгорбленные старушонки, завздыхали, запричитали, зашептали, вздымая к небу корявые ветви рук... Он плел им небылицы, упивался их самогонкой, блудодействовал и косноязычно пророчествовал. У нас он, несмотря на “сан”, числится в уголовниках, ибо таков его истинный образ мыслей. Кто зовет его “вертуном”, кто “шаманом”, кто “отцом-проходимцем” или “святейшим провокатором”. При стечении известных благоприятных обстоятельств он мог бы стать основателем какой-нибудь секты с изуверски-сексуальным профилем. Это маленький Гришка Распутин, но без его честолюбия, ума, силы и дерзости.

Другой – по кличке “Обезьяна” – хилое существо лет сорока, похожее на дряхлую лису, с мутными стеклышками глаз закоренелого мастурбанта, с ос-

трой измызганной и похотливой мордочкой – фигура заурядная, типовая для наших уголовников. Трус и наглый подлец, заядлый таблеточник и игрок, он, будучи в уголовном лагере, просадил в карты большую сумму и был “поставлен на четыре кости” (то бишь лишен невинности), неоднократно бит до полусмерти...

О.: А вот, поп, скажи мне – есть ад или нет? Да не гони, (43) честно скажи!

Ш.: А как же! Осподь с тобою, Безьяна... как же не быть–то? Вот мне намереди довелось беседовать с сыном Божиим...

О.: Да ладно гнать–то! Я тебя по делу спрашиваю...

Ш.: А что?

О.: Вот к примеру, я – в ад попаду иль в рай?

Ш.: В рай, Безьяна, и не сумлевайся... все мы тут мученики... поэты–и–писатели, пророки–и–учители, святые–и–философы... Осподь, он как сказал?.. Он...

О.: Ну, поплел блатной поп! В рай–то оно в рай, конечно... Вот был у меня один случай...

Ш.: Ну?

О.: Да как бы сказать...

Ш.: Дело хозяйское... Осподом Богом Саваофом я наделен силой связывать и развязывать, выслушивать и отпускать грехи хрестьянские...

О.: Гм, в рай... А я, например, в пятьдесят пятом году малолетку замочил на чердаке одном: кимарил, а она как раз белье приперлась вешать, я ее доской по балде, она и с копыт долой... засадил ей по самое некуда – сразу очухалась и завойдотила. (44) Ну, жалко мне ее чевой–то стало – на часы, говорю... Хорошие такие, рыжие... (45) Как раз перед этим у одного фуцина (46) вертанул. Да... ну и ходу с чердака... А тут как раз кто–то, слышу, идет по лестнице – я назад... Смотрю, она сидит и часы на руку примеривает... не плачет уже. Ах ты, блядь, думаю, – хватя у нее котлы, (47), а она как заверещит!.. Ну и придушил ее...

Молчание. А может, врет подлец? Или нет? Смотри–ка, даже Вертуна проняло... Врет или нет? Точнее: мог бы он или нет?..

Ш.: Молоденькая, говоришь?

О.: Лет двенадцати... конопатая такая, в сандалиях...

Ш.: Это ничего... Бывает... Она ведь пионерка сатанинская, небось, или, может, жидовка. Я вот сам раз...

О. (злбно): Да ты мне не плети, ты мне скажи, что там твой тухлый Бог думает?.. Ад, рай!.. Я вот в детдоме... спишь – и снится краюха под подушкой.

Вскинешься, руку сунешь, а там хуй на постном масле. А ты говоришь!.. Пускай даже и ад, мне плевать – лишь бы было что жевать.

Хлопнула дощатая дверь.

– Тут ад, там ад... – донеслось уже из прогулочного дворика.

– “Ой, колы ж мы наемся хлеба черного с повидлой?” – визгливо заорал он детдомовский гимн.

Ну прежде всего, конечно, хочется возмущенно завопить: вот они – послушное оружие в руках лагерной администрации, те, кому вы благоволите, кого противопоставляете нам, говоря: “Как бы то ни было, а они наши советские граждане, случайно оступившиеся, а вы – сознательные враги...” и т.д. Да что толку вопить – то, хочется понять.

Вот и я сижу сейчас и думаю, что тут нужно сказать – не можно, а нужно, ибо наболтать всякой всячины тут ничего не стоит любому читателю научно-популярных журналов. Они асоциальны, и вину за чудовищный оскал их морд нельзя целиком переложить на чьи-то плечи – такой социологизм все упрощает. Но кто определит меру вины личной и общественной, их взаимообусловленность и переплетенность? Это старинное вопрошание – глас вопиющего в пустыне доктринерства и фальшивого оплакивания неблагоприятных семейных условий, дурной наследственности и неудачного стечения некоторых социальных обстоятельств. Меня не удовлетворяет ни обличительный пафос одних, говорящих: “они антисоциальны, но в асоциальном обществе” (разумеется, по поводу аналогичных судеб в буржуазных странах), ни смущенная скороговорка: “они антисоциальны в нашем лучшем из обществ в силу своей порочности... родимых пятен капитализма и разлагающего влияния буржуазной пропаганды”. Даже если это отчасти и верно, меня больше волнует вопрос: есть ли для них исход сейчас? В принципе я такого исхода не вижу. Восхоти любой из них переродиться – ничто, ничто не способствует этому, но только препятствует и особенно в исправительно-трудовом лагере. Тут и нормальному человеку почти невозможно не деградировать, а для нелюдя обретение человеческого лица и вовсе невысказуемо. Разве что вмешается сам Господь Бог и сотворит величайшее из чудес – реорганизует лагерную систему. Если ему позволят в ГУИТУ.

Вспомнилось, как с полгода тому назад у меня с этой самой Обезьяной случилась небольшая стычка, закончилась она жалостливой нотой: он плакался на жизнь, а я сочувственно советовал ему не хитрить с судьбой, а тягаться с ней... Детство у него было кошмарным (опять же – по европейским стандартам), и, подавленный этим кошмаром, я все хотел допытаться: неужели не вынес он из детства ни одного светлого впечатления? Ну ладно – война, гибель

родителей, детдом... но ведь до войны—то целых пять лет жил с отцом—матерью... Нищета, самогонка, тюрьма (мать сидела шесть месяцев за опоздание на работу, отец – три года за кражу)... И ни в детстве, ни позже ни одной светлой, святой минуты, воспоминания о которой очищали бы душу, понуждали к тоске о нравственно прекрасном. Помнится, Алеша Карамазов призывал мальчиков всегда помнить, сколь они хороши в своей любви к Илюше, – потому что память об этом поможет им противостоять озлоблению и ожесточению, к которым жизнь неизбежно будет принуждать их. Это нечто вроде тайного капитала, проценты с которого вдруг могут спасти человека в трудные минуты от полного банкротства. Каждому необходимы такие минуты в прошлом – может, в этом вся соль детской педагогики.

Так кто же виноват? То—то же – кто?

Наше начальство любит один анекдот, исчерпывающий, на начальственный взгляд, вопрос о вине. “Как угодил в тюрьму?” – спрашивают одного. “Война виновата, гражданин начальник”. – “Как война? Она уж черт знает когда как кончилась...” – “Если бы не война, я бы не потерял ногу, не потерял я ногу, не было бы у меня костыля, не было бы костыля, я не убил бы им свою тещу... Все война виновата, гражданин начальник!” Оно, конечно, смешно, но война в смысле внешних обстоятельств и в самом деле виновата, и этот одноногий не так уж и неправ. При всем том, поскольку моей—то вины в создании этих внешних обстоятельств нет, ретроспективные сочувствия не помешают мне, защищаясь, поломать этой жертве войны руки—ноги. И я буду прав, хоть и не в той мере, сколь была бы права та конопатенькая, сумеет она выцарапать глаза похотливой Обезьяне.

Ну и больница! Дом с привидениями... Обтянутые пергаментной кожей полупризраки бродят по коридору или сидят на койках, раздвинув костлявые колени, отрешенно кивая заросшими щетиной лицами каким—то своим загробным думам. Каждый раз, проходя мимо палаты для умирающих, я чувствую, как что—то холодное сдавливает мне живот, словно кто—то там внутри меня смертельно замерз и судорожно рвется наружу – тошнотой. Это полутемная комнатуха, где на клеенчатых койках бесстыдно—внестыдно—метастыдно желтеют полускелеты, словно выползшие из груды трупов с какой—нибудь фотографии военных времен. С той разницей, что фототрупы не смердят. “А почему они голые?” – спрашиваю санитаря. Оказывается, чтобы не менять им белье. Зато, говорит, мы им жарче печь топим.

Конечно, и в вольных больницах тлен агонизирующей плоти бросает в оторопь, но смертные корчи в неволе... Есть в этом что—то особенно гнетущее. Тяжелее всего умирают каратели, людишки, как правило, препаскудные, по-

тому, наверное, и отходят они особенно мучительно и трусливо. Никому они не нужны, никто (кроме привлеченных относительно высококалорийным предсмертным пайком “крыс”) их не навестит, не склонится над изголовьем утешить, исповедать, пообещать, простить и проститься... “Эй, Репа! Бросай домино – латыш отходит!” – “А я ему чего? Отходит и отходит... Все там будем... Дупель шесть!.. Он уже вторую неделю коньки бросает, да все никак не отбросит. Да и чем я ему помогу?”

Больничная зона у нас, конечно, кошмарная. Но я решительно не разделяю популярного (особенно среди стариков–карателей) мнения, что здесь специально умертвляют эзков. Надлежащего лечения, ухода нет – это верно, а чтобы умертвлять – чушь несусветная. Основная беда в той легкости, с какой врачи меняют белые халаты на синие мундиры, руководствуясь в лечебной практике далекими от медицины соображениями. Давно канули в лету времена, когда врачебная этика предписывала не отличать белых от красных. С ростом политической сознательности населения надклассовость этой профессиональной этики стала опасным анахронизмом, и хотя Гиппократова клятва еще произносится свежееиспеченными врачами – она всего лишь ритуал... Лечить–то они нас лечат (когда лечат), но... спусть рукава. Для того они и меняют халаты на погоны, чтобы трубным патриотизмом прикрыть свою человеческую и профессиональную несостоятельность, нежелание или неумение врачевать. За малым исключением, они бесцеремонны, грубы, циничны, то и дело слышишь: “Не надо было в лагерь попадать! Жил бы на свободе, и все у тебя было бы – и лекарства, и диета...” Как видно, они полагают, что призваны бороться с самой испокон веку опасной на Руси болезнью – политической неблагонадежностью.

Начальник медчасти нашей зоны – глухой майор, маразматик с крошечным личиком, словно растрескавшимся от засухи, – не скрывает, что давным–давно перезабыл все лекарские премудрости, и мы никак не дождемся, когда он уйдет на пенсию. Как будто другой будет лучше... “Фамилия?” – лениво спрашивает он, когдаходишь в кабинет. “Кузнецов”. – “За что сидишь?” – “За попытку убежать из СССР”. – “Сколько дали?” – “Пятнадцать”. – “Ма–а–ло, – цедит он сквозь зубы. – Я бы расстрелял”. Мы и учиняли ему скандалы, и писали жалобы, и пытались бойкотировать – бесполезно...

Приличный–то врач бежит отсюда при первой же возможности. А так что же – больница как больница. Ну, конечно, фонды нищенские, ну лекарств мало (да и те зачастую с давно истекшим сроком годности), ну оборудование допотопное, ну штат заполнен лишь на треть, ну специалистов нет... все это так, но главная беда даже не в этом, а в полной безответственности лекарей, их не-



скрываемой небрежности, халатности. Нарочно они тебя не отравят, но вместо одного лекарства дать другое – это сплошь и рядом, специально они тебя не зарежут, но, удалив аппендикс, вполне могут забыть в животе ватный тампон... Бывало уже не раз.

Лежат тут в основном престарелые каратели, озлобленные на все и вся. Особенно они ненавидят “скубентов”. Зато всяческое начальство уважают до полного самозабвения. За глаза–то, бывает, и ругнут шепотком, а в глаза ни–ни – так и гнутся, так и стелются, хоть ноги вытирай. Такой, если понадобится начальству, и в детские штанишки втиснется, и пионерский галстук повяжет.

Я имею в виду популярный лагерный анекдот. Случилось как–то путешествуя по России знатному иностранцу наткнуться на концлагерь. “А это что такое?” – спрашивает он у сопровождающих. “Пионерлагерь”, – говорят. “Гм, любопытно. А нельзя ли его осмотреть?” – “Это завсегда, – говорят. – Хоть сей минут... Только, извиняемся, детки счас почивают. Разве что завтра...”

Завезли десяток машин речного песку, наскоро сляпали качели, разбросали там и сям детские игрушки... Строптивых упрятали в изолятор, а тех, что поспокойнее, обрядили в детские штанишки и повязали на шею красные галстуки.

Подходит иностранец к тому, что песочные куличи печет, и спрашивает: “Мальчик, а сколько вам лет?” – “Пятнадцать”, – хрипит тот. “Гм... я бы вам лет сорок дал”. – “Иди ты, падла!.. У нас больше пятнадцати не дают!”

Они обычные людишки, пугающие своей обыденностью. Завертела их война, поставила перед выбором и... на что же им было опереться? Что для них дороже собственной шкуры, что выше желания жрать? И сегодня, в лагере, они руководствуются сугубо шкурническими интересами. Какой с них спрос? Да и далеко ли от них ушли охраняющие их?

Друг другу они давно осточертели и потому с особой душевностью льнут к надзирателям. “Во гляди – тут, тут и тут покаржило, – задирает он рубаху. – А как же? Я ведь не сам перебежал. Наши–то отошли, а я лежу, холодеть уже начал... Я им на суде так прямо и говорю: “Что же вы меня не подобрали?” Сам–то, – переходит он на доверительный шепоток, склонившись к уху сочувственно понурившему голову старику–надзирателю, – убежали, а нас... И–эх!”

Именно в силу своей обычности они, как правило, не чувствуют своей вины, признавая ее лишь на словах, когда вымаливают какую–нибудь начальственную милость. Конечно, они знают о себе, что не герои, но и преступниками себя не считают. В качестве естественных людей они спасение своей жизни любой ценой полагают делом естественным, как естественно для них присесть по

надобности под ближайшим кустом, хоть бы и в парке, на виду у гуляющей публики – некрасиво, конечно, но и не велик грех... коли прижало. Кто не по нужде, а со зла или хулиганствуя усядется на аллее – это дело другое... “Вон Артамон–то, тот сам к немцу перебежал, из раскулаченных... Он, конечно, предатель. А я что же?.. Под автоматом!”

Сколь бы долго ты ни сидел, сердцем лагерь не воспринимается как непреложная реальность – все чудится в этом какая–то чудовищная случайность, какой–то кошмарный сбой нормального жизненного ритма, временное выпадение из естественного бытия... Тогда как для сажающего и охраняющего чужая неволя – зауряднейшая норма, потому он и не может взять в толк, чем питается неувыдающая наивность арестантов, жадно выпытывающих у него слухов об амнистии. Неизлечимее всего страдают амнистиоманией каратели. Задолго до начала программы новостей они начинают сползаться к коридорному репродуктору и, насторожив заросшие шерстью уши, пытаются вылущить из радиоплелвел некое сокровенное зерно – намек на скорую амнистию. В качестве такового намека может выступить что угодно: от предстоящих выборов президента США до землетрясения в Ташкенте. Один из таких как раз освободился вчера, отсидев свои законные 25 лет.

Говорят, что Остап Вишня любил рассказывать, как однажды (дело было в 1934 году) он вернулся в зону с работы и увидел у вахты толпу с фанерными чемоданами и сидорами. “Что такое?” – “Дык амнистия завтра! А знаешь, на станции какая очередь за билетами?..” Вот с тех пор и ждут амнистии... в связи с принятием конституции, досрочным завершением очередной пятилетки, разгромом Германии, смертью Сталина, XX съездом, “уходом на пенсию” Хрущева, к 20–летию победы, 50–летию революции, к юбилею образования СССР, к 30–летию победы... и т.д. Амнистия для политзаключенных была лишь однажды – в 1927 году.

Несу я сегодня ведро с углем, а передо мной ковыляет, едва переставляя спички ног и придерживаясь за стену, скрюченный дед, а над ним навис другой – грузный, в благообразной седине, с костылем под мышкой – и гудит: “Не бойсь, Митрич, вот в другом годе соберутся в Югославии иностранные министры и пришлют к нам комиссию. За что, дескать, маешься? Так и так, скажем, люди мы смиренные, трудящие, всем довольны, только по внукам соскучились... Виноваты, но достойны снисхождения... Будь она проклята, война эта и с Гитлером ихним! И отпу–у–стят, Митрич! Отпу–у–стят! А как же!”

Да, пронесся слух, что Сережу Бабича (48) опять посадили – 15 лет, говорят, дали. За что бы это? А мы так завидовали его освобождению!..

Согласно недавно вошедшему в силу “Пакту о гражданских и политических правах” (ст. 15), нашим 25–летникам должны скостить срок до нынешнего “потолка” – 15 лет. А они как сидели, так и сидят. Сколько же им маяться? Я не про карателей, хотя не прочь, чтобы и их поосвободили – у нас бы воздух почище стал. Правда, таких, как Пачулия... Хоть и грех мне, арестанту, кому бы то ни было тюрьмы желать. Да я ему и не тюрьмы, а лютой смерти желаю. Он то, что здесь зовется, бериевцем, то есть один из тех, кто отличался особо бесшабашной свирепостью и потом попал в козлы отпущения. Когда–то он был главным жандармом Абхазии. Говорят, до недавнего времени мать одной из замученных им девочек присылала ему в годовщину ее смерти телеграммы с проклятиями – пока он не взмолился начальству, чтобы ему их не вручали. Впрочем, 25–летникам, набившим покаянные мозоли на коленях, порой снимают часть срока. Вот и Пачулию недавно представили на суд. К сожалению, суд был закрытым, и до нас дошло далеко не все. Отклонив ходатайство лагерной администрации, расписавшей Пачулию смиренным агнцем, суд пояснил, что слишком велики преступления этого субъекта, который на протяжении многих лет превышением данной ему власти дискредитировал органы государственной безопасности. Пачулия разобиделся и принялся доказывать, что он всегда действовал в строгом соответствии с указаниями Центра. “А почему же, – оборвал его прокурор, – когда вам в 1952 году было велено закрыть карцеры, в которых люди сидели по грудь в воде, вы игнорировали этот приказ?” Пачулия пояснил, что он не игнорировал, а просто забыл о приказе, так как именно в то время случилась суматоха в связи со слухами о предстоящем приезде на Кавказ самого товарища Сталина...

Говорят, дело в том, что Пачулия убил какую–то родственницу Георгадзе – значит, сидеть ему свои 25. Впрочем, ему осталось всего года 3–4. И вот с такой мерзостью изволь соседствовать!

Велик ли лагерный пятачок? А каких только встреч тут не случается! Отец с сыном, брат с братом, враг с врагом, друг с другом, предатель с преданным, бухенвальдский узник со своим палачом, “ястребок” (49) с бандеровцем...

Помню, встретились два бывших командира: один когда–то возглавлял группу немецких карателей, другой командовал партизанским отрядом. Они в то время друг за другом охотились, и однажды каратель изловил партизана, бил, измывался над ним, травил собаками. А на другой день по дороге в районное гестапо партизану удалось бежать. И вот попадает он где–то году в шестьдесят четвертом в лагерь за антисоветскую агитацию – и глядь: кто это? Да Ланцов, говорят. “Как Ланцов? Это же Хохряков!” Верно, говорят, Хохряков, только мы его Ланцовым кличем – больно уж душевно он поет о Ланцове, аж плачет:

“Звянит звонок нащет разводу,  
Ланцов задумал убяжать,  
По чярдаху он все слонялся,  
И все вировочку искал...”

Разумеется, и в лагере Ланцов не давал жизни партизану – как и всякий почти каратель, он был членом СВП. (50)

Освободившийся в 67–м году Альберт Новиков, поэт, горячий поклонник Цветаевой и завзятый шахматист, рассказывал, что в юности был заядлым слушателем западных радиостанций – особенно, если не ошибаюсь, “Немецкой волны”, – и сам тембр голоса тогдашнего диктора этой станции ассоциировался у него с правдой, свободолюбием, рыцарственным служением идеалам демократии... И вот как–то, отсидев уже пять лет из своих десяти, попадает он в одиннадцатую зону (ту, что в Явасе) и слышит из–за двери кабинета начальника лагеря, где заседал Совет актива СВП, такой знакомый густой баритон, с той же задушевной искренностью и страстным напором клеймящий “отказчиков”, нарушителей режима и неисправимых антисоветчиков. Этого диктора (запамятовал его фамилию) каким–то образом заманили в восточную зону Германии... В лагере он “исправился”.

А вот совсем недавняя встреча, свидетелем которой мне довелось быть в последнюю неделю пребывания в больничной зоне.

Камера для “особорезимных”. Четыре койки в два ряда с узким проходом между ними: на той, что у печи, – я, напротив – Вася–дурак (молчит уже лет десять), на возлеоконных – два карателя: Реактивный и Флегма. Пятница – этапный день.

Реактивный: Ишь, как крысы–то под полом распищались! И Мурка куда–то ушлендала.

Флегма (штопает носки): Припрыгает.

Р.: Скукота... Ни радева, ни кина... В домино, что ли, сгоняем?

Ф.: Вот погоди, с носками управлюсь.

Р.: Может, кто из нашей зоны сегодня приедет. Что там новенького?

Ф.: А что там может быть?

Р.: Ну мало ли? Уже по времени пора бы этапу. (Мимо зарешеченного окна, глядящего на “запретку”, шмыгнул туберкулезник.) Эй, Чахотка! Чахотка! (“Тубик” подходит, опасливо озираясь: нет ли поблизости надзирателей.) Этап был?

Т.: Только что. Трое.

Р.: Из наших никого?

Т.: Не. Все из 19–й.

Р.: А кто да кто?

Т.: Два латыша и Полин.

Р.: Полин? С костылем?

Т.: Ну, да. (Уходит.)

Р.: Вот гад, и не сдохнет же!

Ф.: А что он тебе?

Р.: Да кабы не он!.. Из-за него, суки, сижу!

Ф.: Подельники, что ль?

Р.: Какой подельники! Он уже двадцатый добывает, а я только начал – три года.

Ф.: Продал, значит...

Р.: Продал, собака! Ищите его, говорит, на Донбассе, там у его сестра заму-жем.

Ф.: И то хлеб, что не раньше, когда четвертаки давали. Все-таки пятиалтын-ный – не четвертак.

Р.: Разве что! (На минуту замолкает, крутит махорочную сигарку, закуривает.) А все, я тебе скажу, из-за бабы началось. Мы с ним, Полином, значит, од-носельчане, с-под Воронежа. Он – бригадиром, комсомольский секретарь, да и я не шишка на ровном месте – тракторист. Ухлестывал я в те поры за сосед-ской девкой Анькой. Ох и девка! Ну всем взяла: и работающая, и певунья, и пля-сунья... Чисто ходила вся, да румяная какая! Что говорится, круглая как репа, жаркая как печь. Нынче таких и не водится чтой-то. Все уж у нас слажено бы-ло, уж о свадьбе поговаривали, только, глядь – стала она выкобениваться: то да се, не надо, да не хочу, да погоду, да подожди... Я ей и сережки с городу, и платок, и конфет всяких – нет да и только, словно подменили девку. Не стерпел я раз, заманил ее на гумно, подол-то задрал, да и отхлестал...

Ф.: Бабу поучить завсегда надоть. Это дело известное.

Р.: Изве-е-стно! Тьфу ты, Господи! Она же тогда невестилась еще! Кабы жена моя, я бы ей и шкуру спустил!.. Да... А он-то, Полин-то, все около ей круги кружит да зубы скалит – и в поле, и на гулянке, когда случится. Ну, ду-маю, погоду, секретарь! И на престольный праздник, на Воздвижение, значит-ся, подпоил я хлопцев, и мы об энтого Полина с евонными дружками все жер-ди обломали. Ну ладно. Только на третий день прикатили из самого Вороне-жа двое в кожаных польтах – так и так, говорят, ты есть фактическая контра: товарища Сталина и колхозы матерно ругал – раз! Секретаря вражески измо-чалил – два! Трактор у тебя в летошнюю посевную вредительски ломался – три!.. Я тык-мык – куды там!.. С тех пор вот и живу с чужими зубами. Да... загнали меня в Воркуту, шахты долбить. Год долблю, два... Все, думаю, тут и

смертушка моя. А молодой еще, помирать–то ой как не охота. Плетешься это с шахты, мокрый, голодный, и плачешь... А до зоны–то аж двенадцать километров, ну–тка каждый день туды да обратно, покель до этой шахты проклятущей дотащишься... Жить неохота! Ладно... Только и случись тут война. Уж мы, веришь ли, возрадовались ей, как царствию небесному – и хотели добровольцами, добровольцами... Ан, нет, брат: иди сюда – стой там, не всякого поперву–то, с перебором – через комиссию... Ладно, попадаю я в штрафбат. Это, я тебе доложу, войско!

Ф.: Как же, знамо дело.

Р.: Да ты–то откуда знаешь? Был, что ли?

Ф.: Бывать не бывал, а видал. Немцы их шибко боялись. Где горячо, там их и суют, да коли попятятся, так их пулеметами сзади–то свои же подпирают... А то они у нас как–то двух баб ссильничали до смерти...

Р.: Двух ба–а–б! Тьфу бабы! Наша братва вот раз цельный лазарет на лопатки положила, врачешек–то энтих да сестер. Артобстрел как раз был, они и дриснули в овраг прятаться, а там нашенские... Оружие нам выдавали только как в атаку идти, но... всякие там вальтеры у нас навсегда водились... Мужиков, которые были, постреляли, конечно, а мокрощелки сами растелились!.. (Он вдруг замолчал и на всякий случай испугался.) Я–то там не был, ты не подумай, я этих делов страсть как не люблю...

Ф.: Гм, хорошего мало... Дак война – то ли еще бывало.

Р.: Ну да!.. Потом, ясное дело, трибунальские наскочили, да куда там! Утром мы штурмовали одну высотку, так, почитай, половина там полегла – по-ди разберись... Ну, ждал я, когда меня заденет, чтобы, значит, под суд да из штафбата смыться. Только когда задело под Ростовом, думал, хана – обе ноги перебило и спину покорежило... Наши–то откатились, а я лежу без памяти – ну, немцы и подобрали, подлечили малость...

Ф.: Чегой–то они так сразу?

Р.: Так жить–то охота!.. Я, как потащили, враз смикитил, что хана, и кричу: так, мол, и так – заключенный, за контрреволюцию, на фронт силком пригнали! А там, думаю, драпану как ни то. Да где! Двое наших–то драпанули, дык их партизаны повесили на опушке... Да, оно бы, конечно, можно, ежели по правде говорить, да как–то оно все неладно складывалось. Вот у меня, к примеру, был случай раз. Веду я двух – немцам сдавать, а они мне: бежим, мол, с нами – к партизанам, стало быть. Да... А уже немчуру энту жмут, жмут ее со всех концов – и дураку видать, что капут ей. Самой бы времячко метнуться в лес. Только все оно не так просто, как вот в кине–то кажут. Вот и тогда они мне: давай, мол, с нами – прощенье тебе выйдет... А я уж и сам подумывал.

Только в тот раз никак нельзя мне было: башка болела, мочи нет – раненый, значится, был... Какой тут лес! До лазарету бы как докандыбать, вот на станции, куда я вел–то их. Э, думаю, другой случай будет, когда подлечусь малость... Вот как оно бывает–то.

Ф.: Ну, а Полин–то?

Р.: Чего?

Ф.: Полин–то, спрашиваю – где ты его встрел?

Р.: Это еще до того, зимой – аккурат в декабре 43–го. Он тоже в плену очутился да убежал – партизанил... Только возьми и попадись немцам–то, ну и, знамо дело, спужался – весь свой отряд продал... У немцов–то не на собрании кулаками махать, как бывало: мы–де то, да мы–де се, дадим стране угля, пятилетку в три года! Да... Он меня тогда и видел–то всего мельком, а вот, вишь, вспомнил: ищите его, мол, на Донбассе... Это он в заявлении так: осознал, мол, свою великую вину перед партией и народом и дюже каюсь, а такого–то ищите на Донбассе... Ну и нашли.

Ф.: Да, это негоже: одно дело – не выдюжил человек под плетями, али там когда к стенке прислонили. Это понятно, это по человечеству... А так: сам то–ну, так и ты пузыри пускай, это уж от подлости.

Р.: Вот и я говорю: что ему оттого легче, что ли, что он меня посадил? Отпустили его? Шиш с маслом! И не отпустят, хоть ты всех пересажай! Так и будет свои 25 гнутья. И так ему и надо, кобелю подзаборному.

Ф.: Ну, это ты зря языком–то мелешь – двадцать пять никому желать не след, и врагу лютому, уж лучше сразу к стенке. Это я тебе от сердца говорю – сам одиннадцатый год маюсь... Ты–то еще начал только, погодь – так ли еще взвоешь!

Р.: Да за что вить–то?.. Было бы за что, а то ведь за так! Приписали мне всяку небывальщину...

Ф.: Что ты мне заливаешь! Не на следствии небось... Что приписали – это само собой. Это завсегда, но ведь зато и мы с тобой не как у батюшки на духу: на, товарищ следователь, кушай нас с потрохами...

Р.: Еще чего! Когда бы знать, что они спишут свои враки, тогда – дело другое: я вам всю как есть правду–матку, а чего не было – того не было. Вот на меня повесили две тысячи. Две тысячи – это же дело нештутейное! А какие там две тысячи, если я только в оцеплении стоял и ни разу не стрельнул? А? А ты говоришь!

Ф.: Это конечно. Я вот много об этом думал и смотрю на нашего брата так. Были, которые среди нас злодейничали, были, чего уж там... Но все больше, которые по злобе убежали к немцу али из партийных: им же не так чтобы ве-

рили, вот они и лезли из шкуры – услужали. А наш брат, простой солдат, с него какой спрос? Ну там, в роте, чтобы все по приказу, не оплошать. Это само собой, это наше дело, а в плен попал – все, уже не солдат, и дай ты мне спокой... Ан нет. Это же звери, а не немцы! Вот меня, к примеру... А, да что там говорить – и вспоминать–то неохота. И бежать–то не больно убежишь: мы же Сталина приказ все знали – раз пленный, то и предатель... Разве это по правде? Конечно, которые сами пошли к фрицу или которые раньше громче всех ура кричали, – вот с этих и спрос. И мы, по правде–то, не без греха, чего уж там... Так ведь не по своей же воле. Правильно я говорю?

Р.: Еще как! Вот Полин–то энтог как раз и есть такой: что ни собрание, уж он за столом раскорячился и ну кричать: мы–де то, да мы–де се, а ежели фашист–германец на нас, мы его враз укоротим – будем–де бить супостата на евонной земле... Ох–хо–хо! (У окна появляется высокий мужчина – лицо суровое, в красных прожилках, губы ехидно сжаты, в правой руке палка. Это Полин.)

Полин: Где тут мой землячок? (Распахивает форточку.)

Р. (вскочив с койки): Ты дивись! Он же меня посадил, и он же землячок! А ну катись отсюда, не доводи до греха, юда!

П.: Вот те раз! Я же и юда!

Р.: А кто же – я, что ли?

П.: А то не ты!

Р.: Я!?

П.: Ты! Кто меня фрицам продал?

Р.: Сам попался!

П.: Сам–то сам, да кабы не ты, я бы как ни то вывернулся... А то: господин следователь, он комсомольский секретарь, я его знаю. Ух, шкура! Из–за тебя я и парюсь тут и всей заслуженной карьеры лишился. У меня уже орден был и две медали...

Р.: А ты меня за что посадил в тридцать девятом?

П.: Я, что ли, тебя посадил? Да и за дело!

Р. (хватает чайник и замахивается): – Уйди–и, гад! Убью–ю!

П. (отступает на шаг от окна и злобно смеется): – Давай, земля, давай! Бей по решке – может, сломаешь, а я тут тебя палкой встречу... Думал, подвел Полина под монастырь, а сам фрукты–яблоки будешь кушать? Нет, земля, погрызи вот теперь арестантского хлебушка вволю, а то до войны–то, видать, не накушался его!

Р. (чуть не плача): Уйди! Христом Богом прошу, уйди от греха!.. (Из–за угла вывернулся надзиратель.)



Надзиратель: Эт–та что такое? Что за крик?

Р.: Гражданин начальник, убери его отсюда! К нашему окну запрещено подходить! Я буду жаловаться!

Надзиратель (Полину): Ты чего тут?

П.: Я, гражданин начальник, ничего. Это я так – мимо шел, а этот вот крик поднял на всю Ивановскую... Что же и пройти нельзя, что ли? (Уходит, прихрамывая. За ним – надзиратель.)

Р.: Ах, сволочь, ах, хриstopродавец! За дело, грит, я тебя посадил! А! Это ж надо! И чтоб мне его тогда шлепнуть, у немцев–то... Ну погоди, в другой раз я не оплошаю, юда!

(За неимением греческого хора, на сцене появляюсь я: мне эта трепотня изрядно надоела, и чем дольше я сдерживаюсь, тем бешенее горят потом мои глаза.)

Я: Слушай сюда, полиция! Вы здесь всего два дня, а у меня от вас уже голова трещит! Или вызывайте начальника режима – пусть он вас быстренько убирает в другую камеру, или сидите тихо, а не то я вам головы пооткручиваю! И про иуд ни слова: предатель на предателе, а все на евреев киваете! Сволота! Иуда хоть сам повесился, а вас в петлю и трактором не затащишь – жизнелюбы! Поняли?

Воцаряется гробовая тишина. Через минуту мне уже нестерпимо совестно, и я пытаюсь смягчить ситуацию: “Я вас предупреждал, что воплей и непрерывного трепа не перевариваю. Вы же не одни в камере. Раз уж мы вынуждены вместе сидеть, давайте считаться друг с другом. В идеале, каждый может заниматься чем угодно, но чтобы минимально мешать другому... Вы, понятное дело, без трепотни загнетесь через день, черт с вами – трепитесь, но не так громко и не беспрерывно...”

Они молча принимают за домино, а я в который раз погружаюсь в бесплодные размышления о проблеме карателей, а также о проблеме так называемого простого человека в экстремальной ситуации. Вспомнив брехтовского Галилея, я соглашаюсь, что “несчастлива” (то есть нестабильна, беременна грядущим распадом) та страна, где честность синонимична героизму и мученичеству. Однако в данном случае речь идет не о мирной повседневности, а о войне: правомерно ли требовать героизма от каждого, и за отсутствие такового столь сурово наказывать? Черт его знает. Если бы они были просто негрои, а то ведь они еще и каратели... В конце концов я признал, что у Флегмы и Реактивного есть некая своя правда. Ничего удивительного: вон в какие пропасти их бросало. Они прошли огни и воды и фаллопиевы трубы – благородства в них не ищи, но в известной житейской мудрости отказывать им не сле-

дует. Несомненно, основная вина за превращение пленного в карателя падает на то государство, которое принуждает к палачеству под угрозой смерти, и на то, которое заранее объявляет своих пленных предателями. Однако ничто не освобождает от ответственности самого человека, и эта ответственность тем больше, чем отчетливей были предварительные идеолого–личностные декларации и претензии данного лица.

Одновременно я прихожу к окончательному (так мнится, по крайней мере) заключению относительно вины государства в той трагической истории, которую я зову проблемой Павлика Морозова. Когда–то его смерть была идеологически препарирована и подана населению в качестве образца, достойного всяческого подражания. В лагерях Павлик Морозов давно уже синоним наипростейшего предательства – донос на родного отца. Да и сейчас наши уголовники, когда пишут покаяния, частенько упоминают Павлика Морозова как ярчайшее доказательство, на их взгляд, искренности раскаяния: я, дескать, всегда воспитывался на примере Павлика Морозова и только случайно оступился... В самом деле, проблема. С одной стороны, донос на отца, с другой – горячее (по крайней мере, по легенде) служение некоей идее, каковое, как ни говори, лучше обывательского равнодушия. Не мог же он делать исключение для отца (вспомним язвительное грибоедовское: “Ну как не порадеть родному человечку?”). Вот и выходит, что в смерти Павлика Морозова виновата патологически идеологизированная система, которая требует от несмышлениша фанатического обслуживания своих политических нужд и, вместо того чтобы наказывать ЛЮБОЕ несовершеннолетнее доносительство, поощряет его – за центнер пшеницы, выкопанный из кулацкого тайника, калечит мальчишеские души... Это первая степень подлости, а возведение смерти романтического доносчика в образец поведения для каждого – подлость второй степени.

Есть же уголовная статья за вовлечение несовершеннолетних в преступление, должна быть и статья за вовлечение их в политику, в том числе и в официальную. Иначе оправдан и гитлерюгенд с фауст–патронами в цыплячьих ручонках.

Кстати, одним из свидетельств некоторой гуманизации внутрисоюзного климата является и такой неброский штришок, как постепенное забвение “героического подвига Павлика Морозова”.



(Контрабандное письмо Елене Боннэр, – прим. ред.)

Я уже и не помню, когда последний раз писал тебе, минуя цензуру. Лет пять тому? С каждым годом Москва все дальше и дальше, подергивается дымкой некоей невсамделишности... Она уже почти не снится мне, разве что изредка, но не теперешняя, в унылых коробках окраинных новостроек, или наоборот – центральная, слишком модная, чиновная и сытенная, меня изгнавшая, за мной следившая, Москва–Кремль, Москва–Лубянка, Москва–Лефортово. Снится мне Москва моего детства, тополиный пух на тихой улочке, обставленной ветхими двухэтажками, дощатый забор нашего двора, в зеленых недрах которого звонко гомонит, потрясая ружьями–палками, чумазная орава, никак не умея разделить на “немцев” и “русских” – никто не хочет быть “немцем”... “А евреем кто хочет быть?” – спрашиваю я во сне. Никто. Уж лучше немцем...

Былое накладывается на вымысел, сны вклиниваются в сны, а память, смущенно почесывая в затылке, мямлит что–то неопределенное, и дело тут не столько в давности, сколько в некоей инопланетности всего запроволочного. Я еще не дошел до состояния тех несчастных, по бредовому убеждению которых, без кремлевских директив и солнце не восходит, и давным–давно нет никакой границы (а может, и не было никогда) – ее выдумали хитроумные вожди, дабы было на кого сваливать все экономические неурядицы... Я еще держусь, но порой ловлю себя на попытках шизофренически тонко обосновать ужасное подозрение–прозрение, что на самом деле лишь лагерь и то, что существует в связи с ним и ради него, вполне реальны, все же прочее – мираж, порождения одурманенного тухлой баландой сознания. Или вдруг взбредет в голову, что в тот небывалый вечер в канун нового, 1971 года, когда я шел умирать, меня действительно расстреляли, но, насмерть продырявленный в реальном мире, теперь я механически функционирую в каком–то иллюзорном, параллельном – порождении предсмертной неистовой мольбы о жизни... ну и т.д.

Впрочем, все это, скорее, уловки удрученного беспросветностью каторги сознания, которое с отчаянным видом мечется, брызжа тиной, по топким болотам странноватого мышления, но едва завидит подернутые зеленой ряской бочаги психических отклонений, разворачивается и, усмехаясь иронически, плетется к тверди трезвости. Другое дело, что и трезвость эта с изрядным перекосом... Возможно, тюрьма, как война, и убивает, и увечит – одних шибко, других не очень, одни потом, вываливая свои обрубки в пыль, выжимают из людского сострадания медяки, водку или дачу, похваляются своими подвига–

ми, но никогда уже не пойдут под огонь; другие до такой степени ненавидят войну, что готовы снова и снова рисковать жизнью, ради того, чтобы сцепить пальцы на жирной глотке хоть одного из конкретных ее виновников. Как же мне не быть уязвленному тюрьмой?

Надо признать, что я пересидел, чему верный признак накатывающие на меня волны апатии к радостям вольной жизни... Этим равнодушием я невыгодно отличаюсь от здешнего большинства. Холодность отходящего, угадавшего неизлечимость своего недуга? Клейкие листики, солнечные восходы и терпкое неистовство плоти его уже не волнуют: обращенным во внутрь взглядом он все пытается рассмотреть что-то другое, самое важное. Вряд ли это так, но иногда я подозреваю, что мне не удастся отсюда выбраться. Никогда. Слишком глубоко меня засыпало в этой могиле...

Что-то мрачновато у меня выходит, да? Постараюсь перестроиться, но пока дай выговориться–выплескаться. Положение у меня довольно тяжелое: начальство невзлюбило меня пуще прежнего, вцепилось клещом, наказания сыплются словно из рога изобилия – как ни повернусь, все не так. Сижу на голодном пайке, запретили даже курево покупать – пришлось в обмен на десять пачек махорки и две буханки хлеба расстаться с последней парой белья... Но это куда ни шло – не первой, выдюжу, к тому же голод, по слухам, полезен, а треугольный оскал островитянина мне более к лицу, нежели пиквикские полусферы. Все это не смертельно, тем паче учитывая мою выносливость и уникальную способность за пару дней нормального питания обретать привычные мышечные формы. А вот лишение свидания – это да, тут они лягнули меня в чувствительное место, и в первую очередь потому, что поездка матери в этом году была бы, очевидно, последней: влачить свою дряхлость в такую даль, по таким бездорожьям ей уже не под силу. Значит, теперь я могу рассчитывать только на двухчасовое свидание в декабре.

Ну ладно, постонал и довольно. В принципе, ничего страшного: ну, совпал мой депрессивный цикл с волной начальственного рвения по искоренению бунтарского духа в зоне, ну, голодный, ну, расхворался, ну, в долгах как в шелках, ну, света белого не вижу, ну, еще то да се по мелочишке... Ничего, злей буду! Карцером меня пока Бог миловал и то потому, что все одиночки занять, а когда освободились, я затеял голодовку.

Кстати, о голодовках. Я прибегаю к ним крайне редко, с большой осмотрительностью и лишь тогда, когда задеты не столько и не только мои личные, сколько общеарестантские интересы и, следовательно, можно рассчитывать, проведя соответствующую работу, на массовую поддержку. Настоящая голодовка (а иных я не признаю) – штука чрезвычайно мучительная, поскольку (в

отличие от лечебного голодания, при котором совсем иной настрой) муки физические неизбежно сопряжены с иными – следствием разностороннего психического давления тюремщиков. Подвинуть голодных к голодовке очень не просто, отчаяние должно быть помножено на надежду, а если таковая не оправдывается – надолго воцаряется дух уныния и распада. Ибо большинство не верит в сопротивление, предпочитая увиливать от ударов или урывать свой кусок нищенских благ рабским лукавством и терпливостью, считая большим достоинством тренированную мозолистую спину, которой не страшны палки, нежели умение орудовать мечом.

Всякий групповой протест здесь эквивалентен сотне на Западе, так как здесь полностью утрачены и без того достаточно слабые традиции сопротивления властям. Заключение – более истинные пролы (51), чем древнеримские (как и те, обладая лишь детородными органами, они лишены возможности пускать их в ход), и нет социального слоя, подымчивее их, но они способны только на индивидуальные бунтики, часто крайне уродливые. Причин тому много, но одна из очевиднейших – удесятеренная жестокость репрессий за групповые действия. Попробуй–ка, к примеру, в уголовном лагере заикнуться о забастовке или голодовке, руки до самой задницы пообрывают... как провокатору, поскольку участие в любых массовых актах протеста или неповиновения – это верная “дырка”, как называют лагерники высший акт исправительного воздействия на преступника – расстрел. Лишь с нами, благо нас мало и мы все более или менее на виду, стали последние пять лет поцеремоннее обходиться, а с уголовниками по–прежнему не больно считаются.

Меня известили о вялой реакции на наши голодовки тех, на чью помощь мы рассчитываем. Меня удивляют уговоры “беречься”. Словно мы голодаем с жиру или ради сенсации. С такой же убедительностью можно уговаривать самоубийцу не бросаться с моста, поскольку это нынче не в моде. Голодовка – практически наше единственное оружие. Следует печься о его остроте и эффективности, но отнюдь не складывать его.

Надо как–то помочь Людасу Симутису. На днях я получил от него письмо – его освободили наконец–то. В двадцать лет его втолкнули в зону черноволосым парнем, а вышел он в сорок два года седым инвалидом. Как–то ему удастся свободная жизнь?

Я в шестьдесят восьмом с куда более радужным настроением расплевался с узилищем, и то меня ненадолго хватил. А он, вижу, настроен для начала излишне мрачновато. Да вот письмо:

“Слава Господу! Дорогой Эдик, пишу тебе с Белорусского вокзала. Вчера, 3 февраля, в полпятого вечера, я вырвался из ада. Не знаю, обрету ли рай. Ме–

ня помиловали по просьбе матери, поданной в июне этого года. Не досидел всего три года и четыре месяца. Сажу на вокзал: до поезда на Клайпеду еще два часа. Чувствую себя очень неудобно – кругом все такие сытые, честные граждане, а я... Мой наряд привлекает всеобщее внимание. То и дело подходят милицейские – требуют справку об освобождении. Чувствую, что начинаю их ненавидеть, так и не успев полюбить. Ни к кому заезжать в Москве не стал. Скорей домой – обрадовать маму. Держитесь, Эдик, Алик, Юра, Петро, Михаил. Да защитит вас Господь! Вы в сердце моем. Я плачу. Людас. 4 февраля 1977”.

Тяжело ему будет, даже если замрет серой мышкой под метлой. Кто же поверит его смирению: шкура не дрожит и в глазах покорности ни на йоту...

Ты же помнишь, какой старорежимный оптимизм я имел наглостью излучать в первые послестюремные деньки? Это надо же до такой степени быть наивным, чтобы вообразить, будто они меня оставили в покое! А всего и крамолы-то – “нехорошие знакомства” да пристрастие к рукописной литературе. И что всего противней – они затягивают тебя в свою игру: начинаешь от них бегать, прятаться, пока и впрямь не почувствуешь себя ужасным преступником, вздрагивающим на каждом шагу, прозревающим во всяком собутыльнике Азефа, а в сопостельнице – Мату Хари. Частенько припоминаю не без нервного смешка, как однажды я часа два отрывался от “хвоста”. Сперва он держался поодаль, скромно, но, поняв, что разгадан, бесцеременно пристроился сзади, чуть ли не дыша мне в затылок. Очень обидно мне стало. Вот возьму, мелькнуло мстительно, и напишу жалобу самому Андропову: так, мол, и так, неudelikatно работаете, требую повысить общехвостовой уровень квалификации.

Выскочил я из-под земли на “Электрозаводской”, тут-то, я думаю, от тебя отвязусь – район известен мне досконально. Пристроил портфель на фанерный прилавок ларька “Пиво-Воды”, цежу пиво и прикидываю, как мне его половчее обдурить. А он стоит рядом и тоже свою кружку смакует, на меня поглядывает – с усиками и в голубом берете. Слегка моросило, смеркалось, на гастрономе зажглись неоновые буквы, подзеленив без того по-осеннему насморочные лица прохожих... И до того тоскливо сделалось мне от этой сырости, зеленой пасмурности и наглой усмешечки пухлых губ под стрелкой усиков, что я готов был убить его на месте. Аж в пот бросило. Закурил и думаю: нет, так дело не пойдет – начнет он вслед за мной петлять по глухим дворам, не выдержу – и огрею его по голове... Как же быть? Разве что... В самом деле!

А вот и телефон.

– Спасай, дружище! – шепчу, елозя губами по трубке. – Ровно в восемь жди с такси у метро “Измайловский парк”.

В восемь, минута в минуту, я вышмыгнул из метро и нырнул в такси.

– Скорей! – кричу шоферу. – Опаздываем на поезд!

Усатый “хвост” растерянно заметался по площади – ни одной машины! Я высунул ему в окно злорадный кукиш и, облегченно вздохнув, откинулся на мягкую спинку сиденья.

– Ну, спасибо, – говорю, – дружище, выручил!

– А что у тебя? – любопытствует он, косясь на таксиста. – Литература?

Я оторопел: ведь у меня ровным счетом ничего криминального с собой не было и ехал–то я домой, к матери, а не на какую–нибудь там конспиративную квартиру...

Вот в какие очень небезобидные игры в “кошки–мышки” вовлекаешься порой помимо воли.

Мораль сей истории такова: киске хочется кушать, и все, что хоть чуть–чуть шевелится, она принимает за мышь и норовит придушить ее зубками...

## КАНДАЛАМША

Полосатую колонну  
Первоклашка конопатый  
В драной курточке зеленой  
Расстрелял из автомата.  
Глазки яростью пылают –  
Дед его при Николае,  
Папочка при Сталине  
К лагерям приставлены.

“Вы уж, пожалуйста, присмотрите за ним...”

Толстая тетка в ядовито-зеленой кофте осуждающе поджала губы: “Не укрядут, чай”.

“Да нет, я чтобы он Потьму свою не проехал, – виновато зачастила мама. – Я и проводнице сказала... но все–таки”.

С верхней полки свесилась лохматая голова с красными спросонья глазами и тут же исчезла.

“Давай, казак, двигайся к свету, – дядька с усами, как у Чапаева, потянул Олега за рукав. – Глазей”. От него густо, как от папы, пахло табаком и вином. “А вы бы, дамочка, составили нам компанию. Что там до Потьмы–то!.. И нам бы весельше”.

“Ой! – вспыхнула мама. – Я бы с дорогой душой, да ведь за день не обернуться, а мне завтра в Москву вылетать – на врачебную конференцию”.

“Врет! И чего она все врет!” – Олег сердито вжался носом в окно.

“Олежка, сумку вот я тебе за спину ставлю, там бутерброды с сыром–маслом – поешь. На остановках не выходи, а там тебя дядя Витя или дядя Коля встретит – я им телеграммой вагон отбила. Да ты и сам смотри: дядя–то Витя – старший лейтенант, у него на погонах три звездочки треугольником таким, знаешь?”

“Да знаю я, мам, – буркнул он не оборачиваясь. – Ты иди, а то поезд тронется”.

“Иду, иду, родной. Да скажи им там в Сосновке, что через месяц я тебя заберу, сама приеду. Через месяц, слышишь? Тебе как раз в пионерлагерь очередь подойдет”.

“Ты же им все в письме написала”.

“Ну да, ну да... – она нагнулась и чмокнула его в затылок. – Ты там побольше гуляй – тебе кислород–озон нужен”.



“Ну же, тронулись!” – крикнул Олег про себя. Лязгнули буфера, и вагон чуть дрогнул.

“Ой! Ну я побежала, Олежек. Привет там всем и не болей. Слышишь?”

“Пока”. Он прилип к окну, словно увидел что-то такое интересное, от чего нельзя отвести глаза и на миг.

“Вот она молодежь-то нынешняя, – ядовито всколыхнулась зеленая тетка. – От горшка два вершка, а туда же – матерью родной брезгует”.

Чапаев хмыкнул что-то неопределенное и зашуршал газетой.

Посреди подернутого ряской пруда сонно покачивает гнилое бревно. На нем раскорячилась жирная, зеленая жаба – глупо тараща глаза, противно тряся дряблым подбородком, она квакает: “Фулиган на фулигане!” Но вот сзади, смешно взъерошив красный хохолок, весь дергаясь, как в мультяшке, появился аист. Раз – и жаба у него в клюве, только ножки дрыгаются, раз – и нет ее...

Снова зачастил дождь, исчиркав косыми кляксами стекло.

“Охо-хо! – протяжно вздохнул Чапаев. – Опять. И без того грязизи по самое некуда... Видно, и в этом году погниет все”.

“У вас все не слава Богу, – вскинулась жаба. – То жарой вас иссушит, то дождем проймает. Небось, как в пивнушку, водки проклятушей нажраться, вам и грязь, и метель нипочем, а как в поле...”

“Гм, – хохотнул Чапаев. – Это верно, без водочки-то мы никуда. Да ведь старые еще люди сказывали: “В кабак далеко, да ходить легко, в церковь близко, да ходить склизко”.

“Хозяина на вас нет – с палкой, вот и...”

“Вот бы ты, мамаша, и шла в колхоз, поучила бы нас, что к чему”.

“А что? И поучила бы! Перво бы наперво все пивнушки заколотила... Поменьше бы пили да раздавали разным Вьетнамам-Африкам...”

“Только бы и беды... Ну, ладно, маманя, мне тебя все равно не переговорить. Дреману-ка я лучше минуток двести, а ты мальчика, если что, толкни”.

Олег задумался, почему по радио все за Вьетнам и негров, а между собой их ругают, потом ему вдруг пришло в голову, что в Потье его могут не встретить или он не узнает дядю Витю и дядю Колю – он видел их всего два раза, еще когда в школу не ходил. Папа их почему-то не любит и ругает паразитами, кровососами и еще как-то.

Мимо окна мельтешили хилые деревца скучного осинника, неспешно проплывали пышные кусты боярышника, с механической обязательностью вы-

ныривали и пропадали телеграфные столбы, связанные друг с другом провисшей паутиной проводов...

“И зачем мне эта Сосновка? – вяло думал Олег. – Лучше бы в Кандалакшу...”

Олег сразу узнал дядю Колю по военному плащу и резиновым сапогам – точь-в-точь как на прошлогодней фотографии, где хоронили бабушку. И еще – по круглым мясистым ушам, смешно торчащим из-под фуражки.

“Ну, герой, сам приехал?”

“Ага”.

“Молодцом! Давай лапу... В каком классе?”

“В третий перешел”.

“Двойки есть?”

“Не-а... Тройка есть, по арифметике”.

“Молоток! Мой Васька тоже кое-как в четвертый переполз. А что у тебя в сумке-то? Ну-ка...”

“Там письмо для вас”, – вспомнил Олег.

“Ну, письмо можно и потом, в поезде, а то размокнет еще, – дядя Коля джвкнул молнией. – Ну-ка, ну-ка... Ага, мука блинная – хорошо! Ну, консервы рыбные – этого у нас полно, сыр тоже водится, а это что? Ух ты – рис! Молодец Настька!.. А дрожжей обещала, чтой-то не видать”.

“Дрожжей, сказала, нет нигде, ей обещали, но не достали”.

“Жалко, – дядя Коля разочарованно причмокнул, и толстое лицо его озабочено поскучнело. – В самый бы раз теперь надо”.

Местный поезд еле тащился, и когда они сошли в Сосновке, дождь уже перестал.

Грузный, как шкаф, дядя Коля вроде бы не спешил, но Олег едва поспевал за ним, то и дело спотыкаясь о шпалы. С обеих сторон узкоколейки то бесконечно тянулись какие-то потемневшие от дождя склады, то опутанные ржавой проволокой деревянные заборы, над которыми торчали сторожевые вышки.

“А где же лес, дядя Коль?”

“Лес-то? – чуть притормозил тот. – Есть. Как не быть. Во-он там, за поселком”, – махнул он куда-то рукой.

“И речка?”

“И речка. Вот погоди, пойдем и на рыбалку, и в лес. Из ружья постреляем. Стрелял когда из ружья-то?”

“Нет”.



На церемонии открытия "Садов Сахарова". И. Нудель (бывшая "узница Сиона"), Е. Боннэр, В. Слепак (бывший "отказник"), Э. Кузнецов – Иерусалим, 1991 г.



Геула Маген (дочь Ларисы Герштейн-Кузнецовой), Лариса, жена Мурженко – Люба, Э. Кузнецов, А. Мурженко – Моца Илит, Израиль, 1994 г.



Иерусалимская конференция, посвященная памяти сенатора Джексона, автора судьбоносной для советских евреев "поправки Джексона-Вэника" – Е. Боннэр, Э. Кузнецов, 1995 г.



Премьер-министр Израиля Эхуд Барак в редакции газеты "Вести" – Тель-Авив, 1999 г. (Фото Б. Криштул)

“Ну вот и постреляешь. И Ваську с собой возьмем”.

“А овчарка у вас есть?”

“Овчарка не овчарка, а был Казбек, да и тот копыта откинул, едри его под хвост... Обожрался чего-то. А что отец-то твой, бывает?”

“Ага. В январе приезжал...”

“Ну и где он сейчас?”

“В Кандалакше”.

“Это в Мурманске, что ли?”

“Не-ет, до Мурманска еще поездом. Он у своего друга дяди Леши. Добывает аппарат”, – с удовольствием выговорил Олег – он любил всякие непонятные и не очень понятные слова.

“А как же Настя, мать-то твоя пишет, он на путину завербовался?”

“Так то весной было, а сейчас третье июня. Уже вернулся, – сказал Олег и для точности прибавил: – Наверное”.

“А Василий-то Иваныч, дядя Вася, что ли, он как – ндравится тебе?”

“А он мне что? – Олег прикинулся равнодушным и побежал, балансируя руками, по рельсе. “Револьвер мне железный купил, – остановился он. – У меня его Витька Зарайкин из 4-го “Б” взял поиграть и врет, что потерял”.

Недавно этот дядя Вася выпроводил его в киношку – картина, говорит, что надо, еле билет достал. А там мура какая-то про стройку и про любовь, и в зале почти никого, он ушел с середины, а дома дверь на крючке – еле достучался...

“А знаете, дядь Коль, почему Кандалакша называется?”

“Нет. Ну-ка расскажи”.

“Там были каторжники, а когда пришла революция, они кандалы сбросили и сказали: все, кандалам ша! Конец, значит”.

“Гм. Вот оно что. Молодец! Мой тоже в четвертый перешел, а ни бельмеса...”

“Я в третий только, дядь Коль”.

“Тем более”.

“И это я не в школе, это мне папка рассказал, вот как зимой-то приезжал”.

Олег еще тогда спросил: “Они что, пап, были на каторге за народ?”

Отец как-то чудно хмыкнул и сказал: “За народ, не за народ... В общем, царя хотели сковырнуть”.

Тут вмешалась мама: “Они были герои-революционеры и боролись за счастливую жизнь для народа”.

“Ну коне-ечно, – процедил отец. – Они все позвякивали цепями да приговаривали: “Вот сейчас мы сидим за народ, а потом народ будет за нас сидеть”. Да как расхохочется, чуть со стула не свалился – он уже выпимши был.

Тут мать на него накинулась: “Ты что буровишь–то, пьянь несчастная! Мальчишке–то!.. Я вот на тебя заявлю куда следует! И пусть тебе категорически запретят портить ребенка!”

А он ей: “Плевать я хотел на твою “куда следует”. А приезжать все равно буду, ты мне никто, одно роковое заблуждение молодости, а он – сын!”

Из–за этого крика Олег так и забыл спросить, почему Кандалакша, а не Кандаламша? Правильно должно быть Кандаламша.

Дом ему не понравился. Он почему–то рисовался ему высоким теремом с винтовой лестницей и, может, даже с башенками, а оказался обычным деревенским домом. В палисаднике торчала черная рогатка раздвоенной посреди–не березы – то ли болезни и старость, то ли безжалостные руки хозяев ободрали с нее почти всю кору, – по двору разгуливали куры, с тыльной стороны к дому лепились какие–то сараюшки, посреди огорода гордо торчала, похожая на большой скворечник, уборная – в дощатой дверце ее зияло кособокое сердце...

В горницу он успел заглянуть только мельком, пока топтался у двери, при–страивая свою куртку на вешалке – утыканной гвоздями доске с грудой старых шинелей, пиджаков и солдатских бушлатов, – ничего, кроме большого телика на допотопно пузатом комодке да края широкой кровати с горкой подушек, он не разглядел. Четверть примыкавшей к горнице кухни занимала громоздкая, почти под потолок печь, перед черным зевом ее вызывающе белела газовая плита, вдоль другой стены тянулся большой стол, застеленный цветастой клеенкой, под его тяжелым, из толстых досок брюхом пристроился вы–водок табуреток. В красном углу висел портрет Ленина, простенок украшали какие–то грамоты и семейные фотографии под стеклом.

“А ну–ка, ну–ка, где он, мой внучок?” – задребезжал из угла дед.

“Да тута, тута он. Сейчас вот куртку–то повесит... Ты, пахан, пока Нинка–то не нарисовалась, покорми его чем–нито, яшенку, что ли, сваргань, а я в магазин смотаюсь – все–таки, едри его под хвост, происшествие сегодня, да и Витька грозился заглянуть. Иди, иди к деду–то”, – подтолкнул он Олега.

“А ну–ка, ну–ка, давай к свету... Орел! И пиджак вроде как военный”.

Дед был в валенках, под линялым кителем бугрился большой живот, кое–как выбритое лицо в сине–красных прожилках, края лысины окаймляли неоп–рятные кустики серых волос, одно ухо торчало, как у дяди Коли, а другого почти не было.

“Уроки учишь? Папку–мамку слушаешь?”

“Учу”.

“То–то. Много ли их там, уроков–то! Из школы пришел, уроки–задачи сделал, что надо по дому помог и гуляй себе на здоровье... Ты не болен, часом? Бледный вроде...”

“Я всегда такой. Малокровие”.

“Вот оно что. Город он и есть город... Обличьем ты вроде как в отца пошел – нос не нашенский и брови сурьезные”.

“Это вам на войне, дедушка, ухо оторвало?”

“Ухо–то? Считаю, на войне... Стервец один оттяпал, враг народа, значит”.

“Как оттяпал?” – не понял Олег.

“Зубами. А ты как думал? У нас тут хуже, чем на фронте – там–то война отвоевала и все, а у нас ей ни конца, ни краю не видать. Но ничего, мы ему за это все бока оттоптали, а потом его и вовсе шлепнули – к стенке, значит, поставили. А как ты думал! Посягнул на жизнь при исполнении служебных обязанностей!..”

“А зачем он вас куснул?”

“Эка что спросил. Озверел, значит. Не буду, кричит, на вас работать! Ах так? Майор говорит: “К лошади его!” В производственную зону, значит, волоком. Тогда еще порядок был ого–го! Которые не хотели социализм строить, их к стенке – саботаж называется, но сперва–то и по карцерам, вражина, насидится, и за лошадю поволочится. Вот так... Ну, я давай–ка глазуньей займусь, а ты поди пока погуляй, осмотришь – я в окошко кликну”.

“Дедушка, я не хочу – я в поезде два бутерброда, мамка дала, съел”.

“Ну смейся. Когда надумаешь, скажешь... А себе я все–таки сварганю штучки три”.

“А он на вас прямо бросился?”

“Этот–то? Ну да. Вот как мы его к лошади–то цепляли, повалили на снег, я и давай ему вязы выворачивать, а он тяп – и нету уха!.. Мне потом грамоту и премию дали деньгами”.

Олег задумчиво направился к двери, но та распахнулась, и через порог шагнула квадратная тетка в зеленом брезентовом плаще.

• “Ой, – запела она умильно, – вот он, племяшок–то... – Она сочно чмокнула его в щеку и, отступив на шаг, окинула взглядом с ног до головы, весело щуря глаза и одобрительно прицокивая языком. – Чистый какой да белый, не то что мой охламон... Не прибежал еще?” – обернулась она к деду.

“В магазин попер”, – отозвался тот.

“Ты про мужика, что ль? Так я его на дороге встрела... Я про Ваську.”

“А–а... Придет, куда он денется”.

“Я пойду погуляю, тетя Нин?” – спросил Олег.

“Иди, родненький, иди, – разрешила она. – Да сапожки резиновые, вон под вешалкой, надень – заляпаешься-весь”.

В чулане стояли какие-то бидоны и кадки, густо пахло старыми щами, в курятнике тоже ничего интересного не обнаружилось, а взобраться на чердак Олег не решился – лестница была так кучно обляпана куриным пометом, что ступить некуда.

Где-то за облаками солидно пророкотал самолет. В развилке черной березы сидела, нахохлясь, ворона, Олег пульнул в нее камнем – она даже не шелохнулась. Корявые стволы, почти без ветвей, как руки нищего, молитвенно воздетые к небу, – на руках его грязного зипуна тут и там белели латки.

“Та-та-та-та-та!” – слышалось где-то.

Олег вышел за калитку и замер: в дальнем конце улицы уныло плелась, увязая в грязи, толпа пленных немцев. Солдаты с автоматами на груди и с овчарками на поводках не спускали с них глаз. “Та-та-та-та!” – строчил по немцам чумазый карапуз – палка так и дергалась у него в руках.

Из-за угла вывернулся мальчишка. “Что за гусь?” – презрительно прищурился он.

“Сам гусь”, – не растерялся Олег и на всякий случай попятился к калитке – конопатый был на полголовы выше его.

“Чего у моего дома тусуешься? А ну вали отсюда!”

“Я к дяде Коле”, – ответил Олег, уже поняв, что это и есть Васька.

“А-а! – сообразил и тот. – Ты тетя Настин, из Саранска? Ну да, я и забыл... Держи пять, – протянул он руку. – Васька. А ты – как ныне собирает вещички Олег, да?”

Олег кивнул.

“В каком классе?”

“В третий пошел”.

“Сопляк еще. Я – в четвертый”.

“А зачем у вас немцев водят?”

“Каких немцев?”

“Ну вот с собаками-то”.

“Сам ты немец. Балда. Это же зэки”.

“Как зэки?”

“Ну жулье там разное, бандиты... А то еще есть лагерь – вон, где труба, видишь? – так там враги народа – шпионы и предатели. Дядя Витя у них начальником отряда работает, ему скоро капитана дадут”.



“Дядя Витя – летчик, мамка говорила”.

“Хуетчик, а не летчик. Летчик шмякнется – и в лепешку... А ты кем будешь?”

“Путешественником”. Олег хотел сказать “и пиратом”, но сдержался – с тех пор, как Раиса Сергеевна подняла его на смех на уроке “Кем я хочу быть”, он про пирата помалкивал.

“Это туда–туда мотаться? Без кола без двора?”

“Зато разные страны!”

“Больно надо. Вон я в кино смотрел: один на велике вокруг света ехал – вся морда грязная, и дождь по нему лупит... Сразу видать, что лопух!”

Олег насупился. “А я в машине”, – наконец нашелся он.

“А где у тебя машина–то? Она, знаешь, сколько стоит?”

“Мне папка купит “Запорожец”.

“Жопорожец” он тебе купит. А мы вот уже накопили – очереди ждем. Только долго. Я лучше достану денег и куплю себе мопед”.

“Ври!”

“Запросто! Вот ээк убежит, я его поймаю – все! Знаешь, сколько за него дадут?”

“Сколько?”

“Тыщу рублей! Раньше, дед говорит, мешок муки давали, ну это когда еще было, а теперь – деньгами. Тут как по радио сказали, что два опасных удрали, так все как кинулись ловить! Кто с чем! Я с ружьем хотел, да у пахана патроны запертые, так я с напильником...”

“Поймали?”

“А то!.. Только уже не здесь – за Молочницей. Одного застрелили – он на дереве прятался, а другому солдаты руки–ноги поломали, чтоб не бегал больше”.

“А Том Сойер и Гек Финн помогли убежать Джиму – он в цепях сидел...”

“Ну и дураки!.. А кто такие?”

“Они в Америке разбойники были”.

“Ну, ясно. Их самих за проволоку надо... Как у тебя с деньгами – мать дала?”

“Два рубля”, – вырвалось у Олега. Вообще–то у него была целая пятерка: два рубля мама дала “на мороженое и кино”, а новенькую трешку прислал в письме отец. За три рубля Олег надеялся купить старую, в разводах, пожелтевшую от соленой океанской воды “Лоцию”, в которой все моря, проливы и течения – без нее моряку гибель, – а два рубля нужны были на бинокль. Если бы он знал, что Васка спросит про деньги, он бы притворился и соврал что–нибудь, но тот спросил так неожиданно...

“Слушай, – схватил его Васька за локоть. – За рублевку я тебе такое покажу! Куда там кино?”

“А что?” – машинально спросил Олег, лихорадочно соображая, как бы ему отказаться от всего, что бы ни предложил Васька, отказаться и не заработать “жадину–говядину”.

Васька воровски стрельнул глазами по окнам: “На Молочнице... Ну где вот моя мать–то работает – два километра отсюда. Так там у Кольки–Жмота в пристройке две бесконвойницы живут – зэчки, которые без охраны, а наверху дырка, так он лестницу приставит, и все видно...”

Васькина таинственная скороговорка сулила какую–то ужасную тайну, на зов которой нельзя было не откликнуться. “А что там?” – невольно понизив голос, спросил Олег.

“Так к ним же солдаты ходят...”

“И что они?”

“Как что?! Не знаешь, что ли, что папка с мамкой ночью делают? А они при свете... Покраснел–то! Как девка!”

Олег отвернулся.

Расправив белоснежные паруса, поскрипывая мачтами, стремительная “Эс–паньола” лихо пенит изумрудные воды Карибского моря. Скрестив руки на груди, мужественные бородачи с ятаганам и широкоствольными пистолетами за красными кушаками не спускают с него преданных глаз. “На рею под–леца!” – сурово бросает он. “Пощади!” – валяется в ногах у него Васька. “Нет тебе пощады–прощенья во веки веков! Аминь!”

“Ты не обижайся, – тронул его за рукав Васька. – Это я так просто. Ты бы глянул только: обалдеешь, какие они там номера откальвают. А одна, Танька–Дешевка звать, толстая такая и сиськи, как у коровы. Так она и без солдат, выпьет когда, вся голая ходит, в одних чулках, или возьмет и на голову стает: “Я акробаткой работала!” – кричит, а чулки все в дырах. Колька, гад, по полтине с носа дерет, ему и кличка Жмот. Ну? Идем?”

“Не–а”, – мотнул головой Олег.

“Сдрейфил? – прищурился Васька. – Очко играет?”

“И не сдрейфил вовсе. Просто мне неинтересно и все”.

“Эх ты, сопля!” – Васька презрительно сплюнул и, шагнув на дорогу, смаху пнул консервную банку.

“Вась, – заискивающе позвал Олег. – А ты кем будешь после школы?”

Васька поджал толстые губы и снова сплюнул.

“Офицером, конечно, – снизошел он все-таки. – Как дядя Витя. Он деньгу зашибает что надо, и работенка не пыльная... Слушай! – вдруг загорелся он и шагнул к Олегу. – Займи мне полтину. До субботы верну, сухой буду! Возьму у пахана на кино, он обещал, и верну”.

“У меня нет... только рублями”, – снова заскучал Олег.

“Так давай рубль. Какая разница? Сдачу я тебе сегодня же верну”.

“Я не могу”, – смущенно промямлил Олег.

“Ну ты и жмот, ох и жмот! Сразу видать, что городской...”

“Сам ты жмот... Мне бинокль надо купить”.

“На кой он тебе хрен? Бинокль!.. Да у нас в магазине за полтора рубля такие бинокли – отсюда Потьму видать”.

“Врешь?!”

“Больно надо”.

“А где это?”

“В Молочнице. Только тебе все равно не продадут, они для взрослых, у кого паспорт. Но я могу, по благу: мы с продавщицыным сыном во какие корешки, на одной парте сидим. Для тебя так и быть – слетаю”.

Олег, нырнув рукой в брючный карман, на ощупь отделил хрусткую трешку... Васька, скользнув глазами по окнам, выхватил деньги и сунул их за пазуху.

“А сдачу я тебе в субботу верну. В крайности – в воскресенье”, – заверил он.

“А они с ремешком?”

“А как же! С желтым есть и с черным. Тебе с каким?”

“С желтым”.

“С желтым так с желтым. Ну, пока – я полетел. Да смотри, матери не проболтайся. Если спросит, скажи: в клуб пошел на бильярде играть. Понял?”

Береза, словно ставшая на голову баба, растопырила толстые, в венозных буграх ноги, сквозь дыры в черных чулках тут и там зияла белая кожа... Олег отвернулся.

“С биноклем все в порядке, но где разыскать старинную “Лоцию”? – задумался он. – Может, написать отцу? Пусть поищет у старых моряков – их там полно, ведь до моря рукой подать от Кандаламши”.

Засучив рукава засаленного цветастого платья, тетя Нина топталась у плиты. Пахло жареной картошкой.

“Нагулялся? – обернулась она к двери. – А где же Васька? У калитки ведь ошивался...”

“Он в клуб пошел, играть в бильярд”.

“Что же он не пожрамши–то? А ты садись–ка щец похлебай да картошка вот доходит уже, и марш на печь – полы буду мыть. Да и поспи малость – тоже, небось, с утра на ногах–то...”

“Мы в шесть встали, по радио”.

“А ты чего же не пошел на бильярде–то?” – дед отложил газету и снял очки.

“Я не умею, дедушка”.

“Это ты зря. Бильярд – первейшая штука, кто умеет. В доме офицеров или, скажем, на курорте шушера всякая футболы гоняет, а кто посолидней, тот на бильярде. И знакомство можно свести, и вообще”.

“Я в шахматы могу, – похвастался Олег. – Первое место в нашем классе”.

“Шахматы – тоже хорошо, но все же не то. Шахматы – игра умственная, увлекся и, глядишь, обыграл ненароком какое ни то начальство – ему и обидно. А в бильярд – ничего, в бильярд не обидно”.

Есть ему не хотелось, но из вежливости он кое–как дохлебал миску щей и, поковырявшись в сковороде с картошкой, вскарабкался на печь.

“И куда эта кобелина провалилась? – услышал он уже засыпая. – Опять нажрется до блевотины”.

“К Витьке, небось, заскочил, – успокаивающе пробубнил дед. – Вместе и придут”.

“Завтра с утра, – успел подумать Олег, – напишу отцу в Кандаламшу”.

Что–то грохнуло, и он проснулся.

“Он же как есть бродяга!” – выкрикнул дядя Коля.

“И нами вроде как брезгует”, – поддержал его дед.

Олег догадался, что сидевший спиной к печи остроплечий мужчина в зеленой рубаше – дядя Витя. На вешалке топорщился его китель с тремя звездочками на погонах.

“Значит, за хозяйственника выходит? – дядя Витя бросил письмо на стол. – Рационально”.

“Проворуется – к нам на семерку попадет или на первый”, – \* рассмеялась тетя Нина.

“Не проворуется, – осадил ее дед. – До полста дожил, под судом–следствием не состоял – значит, умный человек”.

“А что это она, Настька–то, в конце самом пишет рэ и пятерку? Пять рублей, что ли? А какие пять рублей, не пойму”.

---

\* *Номера лагерных зон в мордовском Дубовлаге.*

“Ну ты даешь, прапорщик! – развеселился дядя Витя. – Какие же это пять рублей! Это по–немецки пэ и эс – значит “после следует”. Всегда в конце письма ставится”.

“Ты смотри, – обиделся дядя Коля, – какие нынче грамотные все. Нет чтобы по–русски, давай им по–фрицевски... Шибко–то грамотные полосатую вон шкуру носят! А мне, – громыхнул он кулаком по столу, – плевать с высокой колокольни! Вот хоть Настыка – училась, училась на врача этого, а всего сто десять получает, а я неученый, а две сотни вынь да положи, и Нинка – сто шестидесят!”

“Грамота делу не помеха, – веско сказал дед. – Хотя при нашей специально–сти и без нее не велика беда! Я вот с 32–го по самый 70–й при лагерях, а скажи мне: иди министром – ни за какие коврижки! Сколько их за мой век, министров этих, скovyрнули – был и сплыл, а я, к примеру, как ходил в почете, так и на пенсию с музыкой проводили. Когда б не нога, я бы и еще послужил.

“Белую–то всю скушали, – тетя Нина поднялась из–за стола, вышла в сени и тут же вернулась с графином какой–то мутной, как кисель, жидкости. – Ну–ка домашненькой...”

“У меня тут, – дядя Коля пьяно икнул, – один штукарь, едри его под хвост, ручку, понимаешь, вертанул, – он подцепил из голубой миски кусок студня. – Да... Так обидно... За пачку индейского\* один, уже освободился, смастырил – наборная и с красной звездочкой на конце. Ну, мне показалось на одного, я его завел за баню да по боку, да по шеем, а тут узнаю – не он. Вишь, как оно бывает... Да, не он, а зверек один, армян, в больничке сейчас лежит. Ну, черножопый, приедешь – я тебе пропишу! Я тебе... В общем, жить будешь, а на бабу не потянет!”

“У нас бы за такое “по боку” крику не обобраться”, – сказал дядя Витя.

“Я потому и ушел от вас к жулью – с ними не в пример легче. Больно вы цацкаетесь со своими “политиками”.

“Скажешь тоже – цацкаемся! А посади–ка к нам любого блатного–разблатного – белугой взвоет... Можно и без “по боку” такой регламент учредить, что только держись! Впрочем, мы и физическими, так сказать, мерами не пренебрегаем, но чтобы без свидетелей”.

“Без физических нельзя, это так”, – подтвердил дед.

“Мо–ожно! – вдруг не согласился дядя Витя. – Еще как можно!.. Конечно, если пара тысяч контингенту – тяжело, а как у нас все наперечет, так если с него глаз не спускать, то всегда нашупаешь, где у него болит. Я вот его сви–

---

\* *Сорт чая*

дания лишу или на голодный паек посажу, а то, например, книги да тетради заберу на проверку вроде, да обложки пообрываю, да тетрадь–другую вроде как потеряю, да письма все перекрою, он и взвоят, а взвыл да обругал – пожалте, в карцер, на хлеб–на воду. Я сегодня как раз, хоть не курю, задымил “Беломорину” и захожу в одиночку к Зибельману – у него и слюнки потекли, думал – попросит, но нет – вытерпел... Как, спрашиваю, жалобы имеются? Ночью холодно, говорит, нельзя ли бушлат? Да вы что, я ему... у нас это строго – только на вы... да вы что – июнь на дворе! А так и в самом деле не так холодно, как сыро – под окнами–то болото, да и погода вон какая. Ну–ка попробуй на фунте да на воде, да в одной курточке тряпичной целый день ни присесть, ни прилечь... Июнь, говорю, на дворе уже. Он глазами так и сверлит – съел бы! Ах вы, кричит, такие–сякие, книги мои порвали, людоеды! Ах, ты так? Я сейчас сажусь – и рапорт: “За оскорбление и так далее” – пятнадцать суток ему еще обеспечено как пить дать”.

“Эка невидаль – пятнадцать суток! – дядя Коля заметно опьянел, лицо его взялось ярко–красными пятнами, глаза сделались неподвижные и мутные, как запотевшее стекло. – Мы бы за лайку эту сперва требуху ему оттоптали, а уж потом и пятнадцать”.

“Разве теперь карцер, – сказал дед. – Вот раньше был карцер”.

“Ничего, – утешил их дядя Вита. – Вон тот же остролов уже чирьями весь оброс. Я из этого Зибельмана сделаю Гибельмана, язычок–то я ему укорочу”.

Дед возмущенно крикнул: “Эх вы! Ра–апорт написал! Так разве укорачивают–то! Тьфу–ты, глаза бы на вас не глядели!”

“Ты, отец, устарел, – рассмеялся дядя Вита. – За новой стратегией следить надо!”

“Учи, учи, яйцо курицу. Укащику–то – за щеку, говорят”.

“Ну, отец, это ты, если на то пошло, органам скажи – их установка: пусть, говорят, лают власть, зато будем знать, кто что думает. Вот и терпим. Другой этой власти сует во все дыхательные и пихательные – терпим. То есть как терпим? До поры до времени... А этого Гибельмана я проучу, чтоб не острил. Вызываю я его, в январе еще, – с характеристикой годовой ознакомить. Ну там нарушения перечислил и все прочее, как предписано, и в конце: “Взгляды свои не осудил, к советской власти относится отрицательно”. А он: это ложь, я к советской власти отношусь очень положительно. То есть, я ему, как так положительно? А так, говорит – я на нее с прибором положил!”

“Ха–ха–ха! – закатился дядя Коля. – Во, дает, падаль! Так и ляпнул?”

“Ну да! А то еще...”

“Вот ты говоришь, – вклинился дед, – ручку сперли. А что же эти ученые-мудреные? Уже и в космос летают, и тому прочее, а нет чтобы, значит, такую пилюлю изобрести, чтобы как напаскудничал, утром встал и сам на себя донес в доскональности”.

“Ну ты, отец, и удумал, – рассмеялась тетя Нина. – Эдак всех пересажать придется – сторожить будет некому. Вот хоть бы и Виктор, не в осужденье будь сказано, где доски–то для сарая добыл?”

“Ну это ты...” – рассердился дядя Витя.

“Дак я в похвалу. Молодец! Это я вот бате – насчет его пилюли. Мы ведь тоже не лопухи, не из дому стремимся, а в дом”.

“А ты, не дослушавши, не таракти, – оборвал ее дед. – Нас эта пилюля не касается, а скармливать ее, которые на подозрении или замешаны, непутевые всякие, а пуще всего которые против партии и народа идут”.

“Во! – воскликнул дядя Витя. – Мудро! Вот ты, отец, и сочини этим ученым: так, мол, и так...”

“Сочинил уже”, – дед гордо выпрямился.

“Ну и?”

“Покамест молчат. А вот я предложение в ЦК написал – “Об улучшении в области лагеря” называется. Счас я вас ознакомлю”. Дед приподнялся и, запустив руку за портрет Ленина, извлек оттуда зеленую школьную тетрадь.

“А ну тебя, пахан, – сказал дядя Коля. – Люди повеселиться собрались, а ты тут...”

“Ну и дурак, коли так”, – обиделся дед.

“Вот ты в том году Конституцию писал. Послушали, что ли, тебя?”

“А как ты думал? – строго взглянул дед. – Что мне ответили–то, аль не читал? “Ваши предложения будут приняты во внимание”.

“Ну и где же их приняли? Нам эту Конституцию читали на политзанятиях, я уж слушал, слушал, а чтой–то насчет того, чтобы стрелять врагов народа не уловил...”

“Ничего, еще уловишь”, – сухо отрезал дед.

“Это ты, отец, и в самом деле перегнул малость, – сказал дядя Витя. – Сей–час другая линия – гуманизм”.

Дед с трудом выдрался из–за стола, тетрадку, свернув ее трубкой, кое–как запихнул в карман галифе, накинул на плечи шинель и отворил дверь. “Гума–ани–зьм! – передразнил он уже с порога. – Новая ли–ния! Понимала бы вошь в голове! Вы в партии без году неделя, чтобы меня линиям учить. У нас всегда гуманизм!” – отпечатал он и вышел.

“Во расхотился!” – хохотнул дядя Коля.

“С ума стал съезжать, тяжко с ним, – пожаловалась тетя Нина. – Тут как-то Вася-ка очки ему ненароком кокнул, так он нам всю плешь проел: в карцер его и все! Сам, кричит, буду дежурить! Да чтобы я родную кровь в карцер, – чуть не задохнулась она от возмущения, – как зэка какого-нибудь проклятого!.. Пет-тух старый!”

“В сарае он, что ли, задумал карцер учредить? Или в чулане?” – спросил дядя Витя.

“В сарае. Окно, говорит, заколочу досками”.

“Это он не со зла – без работы скучает... Вот и проекты оттого же пишет”.

“А ну его к хренам собачьим, – дядя Коля потянулся к графину. – Давай-ка еще саданем... Ты мне вот что разобъясни, – продолжал он, опорожнив стакан. – Ну вот ты кончишь свой институт на юриста этого, и что же?”

“Как что же?”

“Ну денег-то тебе, едри его под хвост, накинут или как?”

“Денег-то особенно не накинут, но...”

“Так на кой хрен, – перебил его дядя Коля, – мозги тогда сушить?”

“Ну, брат, сейчас в нашей системе без ромбика-то выше майора не прыгнешь”.

“Тяжело, небось, и учиться, и работать-то?” – спросила тетя Нина.

“Да не сказать, чтоб очень. Профессора к нашему брату эмвездэшнику с пониманием относятся – очень-то не жмут”.

“А в Горький ты чего из Саранска перевелся? Езды ведь больше... Лучше учат там, что ли, или, может, кралю там себе завел?” – тетя Нина весело подмигнула.

“Стал бы я из-за крала в такую даль переться!.. А я вот как на сессию-то поеду, так в Горьком-то хоть колбаски вволю наемся да пивка попою. А в Саранске голяк!”

“У нас один... – дядя Коля икнул и уронил на пол вилку. – Что, стервец, удумал. Москвич называется! Со свиданья шел, мать у него была, так передача-то ему не положена, а он взял и колбасу эту к хрену привязал”.

“Ну?” – спросил дядя Витя.

“А как же! Под ту колбаску мы в дежурке два пузыря раздавили. А стервца в изолятор, потому как колбаса им законом запрещена”.

“Это что! – как-то подвизгивая, захохотала тетя Нина. – Я вот вчера... Или когда? Да, кажись, вчера... Ну да, вчера... Ох, смеху-то!.. Верка у нас Шилова в изоляторе сидит. Оторва – я тебе дам! В том году за растрату пришла, тихоня такая, все плакала сперва да краснела, как матом кто пульнет, а теперь... Да, только сидит она всю неделю и, как ни взгляну к ней в камеру, все дым столбом. Ах ты, думаю, паскуда,



где ж ты табак–то прячешь? А днем на работу их гоняют, с изолятора–то. Ну, с работы идут, я ее наголо раздела, все то перещупала – нет ничего, хоть убейся! Да... глядь, а у ей вроде как нитка свисает прямо с того места. Я ка–ак дерну! Ну вот словно сапог из болота выдернешь – чвак! – так оттудова пачка махры и выскочила!”

Чтобы не слышать их хохота, Олег зажал уши руками и затаился, больше всего боясь, как бы они не догадались, что он не спит.

“А ну, играй песню, Нинка!” – крикнул дядя Коля.

“Эх! – взвизгнула тетя Нина, и пол затрясся от ее топота:

Нас четыре, нас четыре,

Нас четыре на подбор:

Аферистка, чиферистка,

Ковырялка и кобел!”

“Мимо тещинова дома, – заревел дядя Коля, – никогда так не пройду –

Либо свистну, либо дерну,

Либо жопу покажу!”

“Ай ту–ту–ту–ту–ту–ту, – топала тетя Нина, – Приходи в субботу ту,

Буду париться нагая,

Покажу она какая!..

И–эх! Ну же, Витька, давай, твой черед!”

“Да я новых–то не знаю”.

“Эх, ты, уче–еный! Ах ты, Витя–Витя–Витя, – снова задрожал пол, –

На тебя не угодишь –

То велика, то мала,

То лохмата, то гола!”

Олег тихонько соскользнул с печи, сунул ноги в сапоги и юркнул за дверь.

На крыльце, опершись палкой о землю, сидел дед. “А–а, – обернулся он к Олегу. – Черти полосатые, разбудили мальчика. Топают, как лошади... А ты погуляй, погуляй – вроде распогоживается”.

“Васька не приходил, дедушка?”

“Придет еще, куда он денется. Тоже неслух растет. Народ теперь все никудышный какой–то. Вот хоть бы и Зинка–почтарка. Сижу сейчас, а она мимо забора юбкой метет, я ей культурно: так, мол, и так, что же ты, милая, газеты–то через день на третий носишь? А она – фырк: “Надо, так сам сходи на почту!..” Страху никакого не стало, вот и распозлается все по швам. Раньше–то они, по–нонешнему сказать, 45 рублей получали и как за почту–то свою держались – лишь бы не в колхоз! А теперь ей 75 платят, и она же недовольна. Или возьми хоть моих. Вон огород–то, глянь – сорняку по пояс. И хоть бы что! Уродит – хорошо, а нет, так в магазине купим. Хозя–яева!..

Бывало пойдешь к майору, поставишь ему бутылку, так он тебе этих эзков пригонит – они и огород вскопают, и дров на всю зиму напилят–наколят...”

Дед вытащил из кармана тетрадь и аккуратно расправил ее на колене.

“Ты вот, – взглянул он на Олега холодными, как осенняя лужа, глазами, – по-слушай–ка, что я написал. Тебе полезно от старых людей умному поучиться”.

Васьки все не было, какое–то смутное беспокойство смущало Олега. Ему не терпелось выскочить за калитку, чтобы поскорее начать ждать...

“Об улучшении в области лагеря” называется. В Москву, в Центральный Комитет коммунистической партии Советского Союза.

Я, Бакайкин Кондрат Семенович, как верный большевик–ленинец с одна тысяча девятьсот тридцать четвертого года, – начал он размеренно и веско, – считаю своим партийным долгом сообщить. Я, как состоявший на воспитательной работе при лагерях 38 лет ветеран, имею драгоценный опыт. Награжден грамотами, медалью “25 лет победы над фашистской Германией”, значком “За отличную службу”, воинское звание – старшина в отставке.

Со всей беспощадной прямоотой, как нас учит товарищ Леонид Ильич Брежнев на 25–м съезде нашей родной коммунистической партии, сообщая. Сердце кровью обливается, смотря, как народ распустился. Анекдоты рассказывают, болтают, непочтение к властям оказывают. Народ должен любить порядок и иметь страх к начальству. Раньше хотя были временные заблуждения насчет культа личности, но вражеский элемент, который угодил в лагерь, не знал, выйдет ли отсюда живой. Теперь кормят их от пуза, как в народе говорят, а работают они легче, вот и не боятся. Бить, конечно, превышение, но и не бить нельзя, если он тебе в глаза всю родную партию, весь Центральный Комитет и Политбюро лает похабно. Это в лагере. А которые поставлены пресекать, сами радио капиталистическое слушают. Это, значит, глубоко зараза корни пустила, надо ее вырвать ежовой рукавицей, вымести железной метлой, чтобы земля под ногами горела. Надо объявить по всей нашей обширной бескрайней стране, чтобы добровольно ехать Сибирь покорять. А которые сибиряки, тех – в пустыне каналы строить добровольно. Это так просто, для бдительной проверки, как навроне учебная тревога в армии. Всех верных большевиков–ленинцев предупредить загодя, чтобы следили, которые уклоняются и высказываются. Бдительно следить и хватать. Так мы махом выpoleм все вредные сорняки.

И про лагерь. Чтобы только кому, как бывало, шепнуть “лагерь”, он бы бледнел и дрожал. Жулики всякие и бандиты–хулиганы – все это временный элемент, достоин снисхождения, потому по неосознанности, а с контрой никакой пощады. По первому разу кто болтает – 10 лет и работать без воскресенья по 12 часов. Потом, если переисправился, пусть выступит по радио или

в газете и покается, что он служил вражеской разведке и расскажет все про своих дружков-приятелей. А нет – еще 15 лет, по отбытии которых, если снова не переисправился, значит, подлежит к высшей мере социальной защиты через расстрел как в корне гнилой.

Прошу принять мое предложение для спасения любимой родины. С партийным приветом. Бакайкин.\*

“Ну?” – поднял он глаза на Олега.

Тот молчал, не зная, что сказать.

“Иль не понял ничего?”

“Понял... А их теперь хорошо кормят?”

“Моя б воля – я их вообще не кормил бы. А так, как бы тебе не соврать... баланду ихнюю раздают, так от вони с души воротит. И ведь какие закоренелые – ему говорят: пиши на помилование – домой пойдешь, а он – нет! Да от одной этой баланды, кажись, не то что помилование, сапоги бы лизал”.

“Дедушка, а магазин, где бинокли продают, до скольких работает?”

“Бинокли? У нас отродясь такого не было. Не знаю, и в Саранске – то вашем есть ли”.

Олег похолодел. “А в Молочнице?”

“Тем более... Кыс-кыс-кыс-кыс! Иди сюда, рыженький, иди сюда, иди... Кыс-кыс...”.

Из огородного бурьяна выскользнул рыжий котенок и, боязливо вздрагивая, захромал к деду.

“Кыс-кыс-кыс-кыс...”. С неожиданной ловкостью дед подцепил его снизу палкой – котенок шмякнулся об забор и, жалобно мяукнув, свалился в лопухи.

“Гад!.. Гады!” Олег выскочил из калитки и полоснул из автомата сперва по деду, потом по окнам, и строчил, пока не расстрелял всю обойму. Сначала взялась крыша, но вот лопнули стекла – из окон выпрыгнули красные языки пламени, и тут же весь дом скрылся в клубах огня и дыма.

Слезы мешали ему, и он то и дело спотыкался на бегу о шпалы. Смеркалось. Опять зачистил дождик. Где-то исходила истошным криком свинья. Над заборами всех трех лагерей враз вспыхнули лампочки и прожектора.

Он остановился, смахнул кулаком слезы и пошел, стараясь ступать как можно тверже: “Кан-да-лам-ша!”

---

\* *Примечание автора: Сии глубокие мысли - не плод досужей фантазии. Они заимствованы у прапорщика Глинова В.Р., с которым автор свел знакомство в Мордовии еще в 1962 году и до сих пор никак не может раззнакомиться.)*

## ИЩИТЕ ШАПКУ-НЕСИДИМКУ

Сегодня последняя темная ночь. Когда-то большой кровью было отвоевано право гасить в камере свет на ночь. И вот оно вновь утрачено. Перечисляя тюремные издевательства, Корвалан (52) назвал в числе таковых и ночное освещение. И надо было ему об этом вспомнить! Все прочее, названное им, у нас в избытке и еще много такого, что этому Корвалану в кошмаре не привидится. А вот с ночным освещением в самом деле неувязочка... Но завтра она будет ликвидирована, чтобы Пиночету не помнилось, что он хоть в чем-то может перещеголять нас.

Передовое человечество, увлеченно скандировавшее требование освободить Корвалана, было бы неприятно поражено, узнав, что нашло себе ревностного сторонника в лице такого отпетого преступника, каковым является Люцифер. Что ни вечер, едва погасят в камерах свет и чуть-чуть уляжется коридорная суэта, по всему лагерю разносится скрипучий голос Люцифера: “Отдайте свободу Люсе Курвалану!” И так целых три года. Но вот наконец Корвалан в Москве. Как же теперь быть Люциферу? Впрочем, он сидит с сорок шестого года, и будем надеяться, что за оставшиеся ему одиннадцать лет подвернется еще один Корвалан, чтобы требовать ему свободы.

В тот день, когда радио принесло радостную весть об избавлении Корвалана, наша зона страдала повальным разлитием желчи. А таковое, как ведомо, сопровождается не очень остроумными, но зато чрезвычайно ядовитыми репликами типа: “Три года промучился – и уже в Москве икру жрет!”, “Эдак и всякий бы не прочь – три-то года вместо пятнадцати...”, “Пусть бы и палками били”, “Продешевил Пиночет! Хотя бы выговорил нам какое ни то смягчение: забирайте, мол, Корвалана, а своих кормите по-человечески...”, “Читал? Люся-то Курвалан приемник имел! Жалуется, что посылки из СССР отдавали без этикеток, чтобы сбить с толку... Есть ли у них совесть вообще? Уж молчали бы о посылках-то? Какие посылки? Какие этикетки? Скорее бы лето – хоть одуванчиков нажраться, а то зубы шатаются и кровь из десен...”, “Меняю здешнюю гуманность на чилийскую жестокость”, “Ты смотри, Корвалан в концлагере с волосами и в вольных тряпках! А как же его сфотографировали? Разве так можно? Моя старуха уже лет десять просит, чтобы я ей свою фотку выслал... да где ее взять?” Ну и т.п.

Ехидство логики этих реплик и порочность их тональности столь же очевидны, сколь и простительны. С одной стороны, это реакция судорожного омерзения на трехлетний демагогический визг о спасении Корвалана, которого вот-вот скушает Пиночет, с другой – опустошающая душу горечь при мысли

о вселили отечественных держиморд, наловчившихся отпирать чужие уши-лица, при этом свято охраняя свои. Отчасти это можно рассматривать и в качестве типовой гримасы жителя страны, в которой, по преданию, за одного битого двух небитых дают. Таковой битый склонен презрительно хмыкать в ответ на истошные вопли откормленной немчуры, которая раз в год получает затрещину от полисмена. Вместо того чтобы нормально опечалиться: дескать, полицейская затрещина и раз в год – дрянное дело, битый кричит, язвительно кривя лиловые губы: “Ты смотри! Они еще плачут! Да у нас дня нет, чтоб нам руки не выкручивали да ребра не считали – и то не хнычем! Их бы к нам – они бы на другой день загнулись!”

Любопытно еще и то, что не слышать зависти к самому факту освобождения массы политзаключенных во многих странах – вот, дескать, и нас бы освободили... Это почитается за вещь совершенно невозможную (хоть тайно всяким и лелеемую), о которой солидному арестанту – в отличие от карателей – и заикаться – то неуместно. Вот кабы вожди чуть поотпустили, да кнут укоротили, да не соломы, а овсеца бы в кормушку сыпали, тогда еще куда ни шло, с овсецом – то...

Я полагаю, что освобождение Володи Буковского можно рассматривать в качестве обнадеживающего прецедента, такой обмен – по существу, нормальной вещь (разумеется, в той степени, в какой вообще нормально держать оппозиционеров за решеткой), это вроде обмена пленными после боя – перед началом следующего... Будем уповать. Раз уж жеманница позволила, чтобы ей запустили руку под подол, есть надежда, что она сбросит маску недотроги и нагишом сбцает цыганочку... Впрочем, не исключено, что, разок согрешив, она убоится пересудов и панически ринется назад – за толстые монастырские стены и на все крики извне: “Выходи! Все равно мы знаем, что ты шлюха! – будет лишь упрямо выставлять принципиальный кукиш.

Но будем надеяться. По многим признакам этот год обещает быть определяющим. Идет выбор пути для страны. Пока мольбы о свободах опирались только на зыбкую почву духовных потребностей человека, их можно было легко игнорировать посредством исконной логики, затрещин, кляпов и зычных рекомендаций всякому сверчку знать свой шесток. Теперь носителями вольнолюбивых претензий соделалась технократическая верхушка, что является выражением непреложной потребности экономики государства в вольном воздухе: она выпросталась из замаранных пеленок ручного и полуавтоматизированного труда, примеривает взрослый костюм электроники и тревожно заглядывает в будущее, заранее ломая голову над тем, как бы ей изба-

виться от жесткой опеки примитивных предков и где раздобыть деньжишек на фракционную пару, дабы не прослыть провинциалом в глазах европейцев, таких тонких насмешников. Что и говорить, времена государств, чья мощь определялась в первую очередь умением всех граждан браво маршировать в ногу, окончательно уходят в прошлое. Теперь, сколько ни производи чугуна и стали, технотронных мышц на них не накачать, таковые требуют более деликатного продукта – творческих мозгов, а последние возможны, если уже в школе не возбраняется спрашивать обо всем, сомневаться в чем угодно, на все иметь свою точку зрения. Таким образом, наши попечители стоят перед грозной альтернативой: приоткрыть окно и впустить некий минимум вольного воздуха с риском самим подхватить простуду или держать окна закупоренными, и пусть чахнет держава, лишь бы самим не кашлять. Я согласен, трудно отрешиться от традиционного понимания патриотизма, путающего понятие “благо отечества” с мерой личной власти и величиной казенного жалования, но куда же денешься – жизнь подпирает: держава – то не хочет чахнуть и все настойчивее пищит голосишками своих академиков и промышленников: “Воздуха, воздуха...”

За низовых – то патриотов, всякой директиве рявкающих “ура”, переживать не стоит. Им прикажи понимать под благом отечества умение расторопно вязать и сажать – отца родного увяжут и упрячут, а объяви, что таперича воля вольная, они хоть и сморщатся, а все же “ура” прокричат, потому как начальству завсегда виднее... За них можно не переживать, они в случае чего приспособятся, они на вверенном их попечению участке и на самую свободную свободу (ежели таковая приключится) такой хомут соорудят, да такие оглобли ей пристроят, да так валяжно рассядутся в мягких розвальнях, что только диву дашься. А вот тем, что повыше – тем, конечно, боязно: уж ежели случится им сверзиться – то в лепешку! А кому охота в лепешку – то!

...Путаная нить моих рассуждений была счастливо прервана визгом одного из тех, кто все свое время проводит, висая на оконной решетке: “Кино принес-ли!” Редчайшая удача: вместо типовой политико-воспитательной дребедени – документальная лента о студенческом движении на Западе. Какие лица сияли мне с экрана, махали кулаками, гримасничая от боли, ненависти, отчаяния и счастья! Из нашего смиренного райского далека порой кажется, что не столь уж важно, правы они на самом деле или нет, важна нездешняя осиянность их лиц поиском правды, важны те чувства, которые вытолкнули их на улицу. Я вспомнил Москву и попытался представить себе ее улицы затопленными волнами взъерошенной молодежи... Что – то такое вроде бы было... Не очень,

правда, молодежное, да и в лицах как-то нет того, если и веселость, то упорядоченная бодрыми маршевыми ритмами, если и буйное неистовство, то с запахом самогонного перегара...

Ба! Да это и не волны вовсе, а стройные колонны демонстрантов, это и не лица вовсе, а ритуальные маски “праздника трудящихся”, это и не люди совсем, а веселящиеся – в установленный начальством день – производственники!

Глядя на экран, я вспомнил надутую серьезность физиономий моих былых сокурсников по философскому факультету МГУ – все свободолюбие самых строптивых из них сводилось к поискам возможности поскорей пережевать обязательную идеологическую жвачку, чтобы после экзаменов выплюнуть ее и забыть навсегда. Шестидесятые годы. Кампусы западных университетов бурлят, на Востоке – тишь да гладь, да Божья благодать. Неужели вам все ясно, неужели нет у вас вопросов, от которых побледнели бы профессора, неужели вам хватает стипендии, неужто вы от всего в восторге? Так чего же вы так скучно молчите или невразумительно бубните затверженные мудрости? Гляньте на своих сверстников! Лучше юношеский инфантилизм мятежных метаний со всеми их идиотскими крайностями, чем маразматически смиренное приятие декретированных учебной программой истин... Покорный миру сему, мнящий себя обретшим и имущим, отчего так сер лик твой, почему зловонно дыхание твое? Будь ты проклят, довольный и тихий, буйствующий только в подпитии.



( Из контрабандного письма Сильве Залмансон, – примеч. ред.)

Неужели мои письма столь безудержно бодры, что им легко не верить? Какая такая особая в них бодрость? Откуда бы ей завестись? Очевидно, это впечатление – следствие разницы отношений, установок, восприятий, несоответствия систем отсчета: что одному норма, то другому – сплошь патология, что одному удача, другому кажется еще одним свидетельством повседневного кошмара. Помнишь, какой удачливый день выдался у Ивана Денисовича – и миску – то с баландой он закосил, и в карцер не попал?.. А со стороны это разве не сплошь кошмар? Но чтобы выжить, надо отучаться смотреть на себя со стороны. Сегодня здоров? – Более или менее. Письма доходят? – Так-сяк. Как с чтивом? – Гм... бывало и хуже. Ну и т.д. А уж если чуть-чуть за себя постоять удастся, какую-то мелочишку отвоевать, не совсем бесплодно сопоставляться враждебным обстоятельствам (тем, что в погонах), то и вовсе, бывает, приободриться, зауважашь себя. Ведь даже когда какой-нибудь дохо-

дыга–уголовник, беззубый и истрепанный жизнью до безобразия, хрипит, жалуясь: “Эх, жизнь наша каторжная – носим ношеное, едим брошенное!” (на воле, пока его еще не поймали в очередной раз в чужой квартире или просто на чердаке, он выкрикивает другой вариант этой жалобы: “Носим ношеное, едем брошенное”), в этом стоне легко расслышать нотки гордости и вызова; все равно, несмотря ни на что, и мы люди–человеки, да еще почище некоторых, которые сплошь рабы или надсмотрщики.

Ну и т.д. – на бесконечный мотив ярошенковской картины “Всюду жизнь”. Мы так втянулись в запроволочное (не–)бытие, что давно притупилась боль, мы научились не думать о женщинах, чтобы не свихнуться, не думать о “вкусной и здоровой пище”, чтобы подавить отвращение к баланде (“не едим, а давимся”), какой бы “изм” мы ни исповедовали на словах, в повседневной жизни мы поневоле стоики, мы разучились слишком пристально смотреть по сторонам, чтобы не отчаяться. Разве что порой обожжет словно кислотой. Вот ехали мы с Юрой из Саранска, веселые и довольные, – да вдруг скусилились враз... И случай–то вроде бы пустяковый, а поди ж ты!..

И езды–то до Саранска каких–нибудь 180 км, а добираться туда дней пять.

Когда годами сидишь в такой немислимо крохотной клетке, даже этап длиной в 180 км – настоящее приключение. То на пересылке кого–нибудь встретишь, то с уголовничками поболтаешь “за жизнь” да наслушаешься их любовных дуэтов с “крадуньями”, или с конвоем, бывает, такую дискуссию разведешь – аж самому стыдно своей горячности и красноречия. Сенсорный голод!

А окно–то в “столыпине”! Это ничего, что оно далековато от тебя и непрозрачно – летом в вагоне духота, смрад (особенно, если “мамки” с грудными едут), махорочный дым глаза ест поездом, так что хочешь–не хочешь, а надо его время от времени приспускать, хоть на ладошку. А преступничку и того довольно: арестантский глаз он хватистый, ему и щелки, бывает, достаточно, взгромоздишься на верхнюю полку, да так и вопьешься в оконную щель со всеми ее чудесами: березки да сосенки, поля, лужайка, речка, а вон–вон–вон домишки замелькали и – гляди–ка! – баба огород полет, да то–о–лста–я какая!.. ишь нагибается!.. Вольный ветерок в щелку–то залетает и в горле першит...

Все это с лихвой окупает бесчисленные этапные мытарства...

В Рузаевке наш спецконвой что–то там ошибся в расчетах, и пришлось нам с Федоровым ожидать поезда прямо на платформе. Трое прижали нас к вокзальной стене, руки на ремне – поближе к расстегнутой кобуре, а двое толпу распугивают. Так минут 20 мы простояли под обстрелом равнодушно–любопытных гляделок. И возьмиись откуда–то толстая баба в кирзовых сапогах и



солдатском зеленом бушлате в рыжих мазутных пятнах, уставилась на нас, сморщилась вся и заплакала, громко причитая: “Батюшки! В полосах–то все! Да молодые ишо... и в очках оба–два”. Начальник конвоя прикрикнул на нее, она куда–то быстро–быстро зашаркала, а через минуту опять тут как тут – с двумя пачками “Беломора” в руке и ну умолять “солдатики”... Куда там! Прошли крыловские времена, когда милосердие поощрялось, ныне оно вроде преступления.

А тут уж и поезд наш подкрался... Разлеглись мы на полке и пригорюнились. Даже и про окно забыли. А коли уж арестант в окно не таращится – дело, значит, совсем дрянь.

Вот оно как бывает, когда иной раз глянешь на себя глазами другого.



Единственный, с кем мне в больнице было интересно общаться, – Черновол. (53) Он, как и я, человек занятой, а потому и появлялся у моего окна только по делу. Такие визиты не раздражают. Ну и, конечно, чайком меня баловал, так и пили, стоя у форточки – он на улице, дрожа от холода и поглядывая по сторонам (чтобы не застучали надзиратели), а я в камере... Человек он живой, энергичный, очень толковый, его не зря называют в тройке лидеров украинских интеллигентов–оппозиционеров. Но, на мой взгляд, он слишком увяз в войне с лагерным начальством по всяким пустякам. В той или иной степени это общий грех многих малосрочников – эффе́ктная пальба из всех орудий по всем целям – и большим, и ничтожно малым... Они знают, что канонада будет недолгой и у них хватит пороху. Не то мы, нам приходится экономить боеприпасы.

Вот, например, некто ученый Б. (54) (доктор каких–то наук – кажется, физико–математических), хороший мужик, эрудит и стойкий боец... Ни один надзиратель не мог смотреть на него без скрежета зубового, и несколько раз они исподтишка поколачивали его. Значительную часть своих четырех лет он просидел в карцере. И за что? Вот он вручает цензору адресованное жене Любского (55) письмо: “Дорогая Галя, сообщи международной демократической общественности, что кэзгбня концлагеря 358/19 незаконно обогащается, расхищая продукцию лагерного деревообрабатывающего комбината...” Пятнадцать суток ШИЗО. Или посылает домой копии нескольких писем Ленина Крупской (опустив лишь подпись “Володя”), их, конечно, конфискуют “как подозрительные”, и он, размахивая соответствующим ленинским томом, строчит жалобы во все концы. Иной раз кажется, что такие энергичные поиски поводов для войны – способ снова и снова доказывать себе, что твои враги и

впрямь твои враги. Порой впечатление такое, что, прибыв в лагерь с двумя-тремя годами срока, иной спешит лично испытать все муки, которые он обещал себе, зная о лагере понаслышке, муки как плату за повседневный героизм... А повседневного героизма нет в природе. Тогда из страха унизительно-го разочарования он затыкает рот сомнениям и пытается искусственно героизировать повседневность. А на что-то серьезное таких подчас не хватает, ибо серьезное не терпит эффектных поз и жестов.

Впрочем, нет смысла соотносить эти слова с кем-то персонально, это ни о ком конкретно, но о целой группе. Я потому вспомнил о В., что как раз сегодня получил письмо от него. Да, порой ссылка хуже тюрьмы...

“Дорогой Эдик! Наконец-то я прибыл в п. Богдарин, Бурятской АССР. Это 600 км на северо-восток от Улан-Удэ (Забайкалье). Везли под конвоем более месяца. Остановки были в следующих пересылках: Потьма, Челябинск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ. Дорога была ужасной. Единственный участок, где доехал по-человечески, – это от Улан-Удэ до Богдарина, ибо здесь один вид транспорта – самолет.

Поселок имеет около тысячи жителей, кругом на сотни километров тайга. Зимой температура доходит до –50 градусов. Говорят, есть участки вечной мерзлоты. Дома только деревянные и переполнены до отказа. Жилья и работы нет. Выставили меня на улицу (ночью: –25 градусов) без гроша в кармане. Видите ли, начальник отряда лагеря Пикулин “забыл” переслать деньги с моего лицевого счета. Предложили жить и питаться с теми, кто отбывает в милиции пятнадцать суток. Хорошо, что один человек сжалился, дал рубль взаимы, я его истратил на телеграмму Ирине Корсунской, и она выслала мне шестьдесят пять рублей. Кое-как устроился в гостинице. После недели раздумий мне предложили место чернорабочего (80 руб.) при геологической партии и койку в общежитии. Буду воевать!

Со снабжением плохо. О колбасе и молоке здесь не слышали. Гнилые яблоки (падалка) стоят рубль семьдесят. Есть “северная надбавка к зарплате” (30%), но она не компенсирует дороговизны. В магазине нет промтоваров, в библиотеке – литературы. Комнату снять очень трудно. Единственное предприятие – прииск по добыче золота в соседнем поселке Маловск, но работы и там нет.

Но духом бодр. Я всех вас помню и люблю. Свободы!”

Малосрочники порой упрекают нас, жителей “спеца”, в скептицизме, с которым мы относимся к ряду их воинственных акций. Они не могут понять, что нам едва хватает сил отстаивать поистине жизненные интересы, а ловить “кз–

гзбно”, крадущую стулья из цеха, – для нас невозможная роскошь. Они – спринтеры, мы – марафонцы, нам иной раз не до побед, не сойти бы с дистанции – и то хорошо.

Впрочем, я склонен считать, что тот же Б. (не говоря уже о Черноволе), когда получит большой срок (а это с его неумным темпераментом и пренебрежением осторожностью почти неизбежно, если он, отбив ссылку, тут же не эмигрирует), научится соизмерять количество предстоящих ему заповолоченных лет с числом врагов и отделять главное от второстепенного, – пригнув голову, набывчившись для устойчивости, он впряжется в марафонскую лямку и будет мозолисто тянуть ее до конца. А иначе... иначе надолго его не хватит. Тому много примеров. Ведь, в конце концов, величина срока не является чем-то фатально определяющим поведение, да и целесообразность того или иного типа действий каждый понимает слишком по-своему. Один “мухач” с лихой отчаянностью насканивает на могучего тяжеловеса, зная, что будет нокаутирован, но, прежде чем его за ноги уволочут с ринга, ему бы хоть раз “достать” ненавистную квадратную челюсть; другой старается “держать удар”, маневрирует, финтит, уклоняется, выжидая момента для коронного хука... да так, бывает, и не ударит ни разу. Но зато уходит с ринга на собственных ногах, бормоча себе под нос: “Ничего, это еще не последний бой...”

...Я стараюсь не давать повода для преувеличенного представления о своих возможностях. Я не беру кредитов, ибо не желаю оказаться несостоятельным. Может быть, самое большое, на что я способен в жизни, – это честно сидеть. Решетка, конечно, здорово мешает жить, но при всем том я не склонен воображать, что только дайте мне свободу (“О, дайте, дайте мне свободу!..” – это ведь оперный вопль, равным образом и “дайте мне точку опоры...” – тоже из сферы декламации. За стенами же оперного театра и библиотечного кабинета дают только срок)... Я не склонен воображать, что только дайте мне свободу, и все ахнут. Нет, нет и еще раз нет! Всего лишь о нормальной человеческой жизни я тоскую. Хотя и мечтается порой (не без того – особенно на сытое брюхо, а значит, редко) о чем-то не совсем заурядном. Но это уж как случится.

А так чего ж, жить можно, бывало и хуже. И никто не застрахован от худшего. А пока удастся дышать между вчерашним “хуже” и туманно-мрачным завтра, оно и слава Богу! Выбора-то нам не дано, сделать-то ничего нельзя, ну, и тешишься тем, что сегодня, по крайней мере, еще жив-здоров, одет-обут, да еще и книжицу-другую удастся осилить. Так ведь и у тебя далеко не все гладко идет: то с квартирой беготня, то на работе не ладится, то третье, то десятое – и хамсины-то, и страна-то беспокойная, да маленькая... Но, как по-

ют арестанты, “лучше маленький Ташкент, чем большая Колыма, лучше летом у костра, чем зимой на солнце” – не говоря уже о прочем...

(Из контрабандного письма Сильве Залмансон, – примеч. ред)

...Мне не удалось прочитать те четыре листка, в которых ты рассказываешь об Энтеббе (56) – их изъяли из обоих твоих писем. Очевидно, ты изложила это славное событие как–то не так – ничем иным я не умею объяснить эту конфискацию.

Так или иначе, а самую суть мы все равно вычитали в советских газетах. Мы с Юрой и Пенсоном как раз были в Саранске и, узнав о захвате палестинцами самолета, начали гадать: пойдут на уступки террористам или нет, надо ли в таких случаях уступать, чем это чревато и как быть?.. Еще более уныло иронизировали по поводу предыдущих известных нам случаев воздушного пиратства, когда сперва ООП отрекалась от принадлежности пиратов к ее рядам, а потом заполучала их для “сурового” суда, о котором позже ни слуху ни духу.

Тебе не случалось сидеть в Саранском следственном КГБ? Прогулочный дворик такой миниатюрный – 12 квадратных метров, – чувствуешь себя как в глубокой цеметной могиле, а над головой, загораживая полнеба, маячит внимательный страж, ему не только виден любой твой жест и слышен всякий вздох, но и вздумай он плюнуть – точно в макушку угодит. Порядочный кролик в таком дворике сдох бы от тоски на другой день. Я пока сидел один, даже отказывался от прогулки – как ни туго летом в камере, но там хоть не чувствуешь на себе неотрывного взгляда надзирателя (если он и подсматривает в волчок, то не всегда это замечаешь)...

На другой день во время прогулки топчемся мы, значит, плечом к плечу, толкуем о том о сем, а попка наверху газеткой шелестит да на нас поглядывает.

– Эй, командир! – кричу. – Ну–ка, глянь, есть там что о вчерашнем?

А надзиратели там, надо сказать, ничего ребята (по сравнению с типовым ключником – явным охламоном, хамом и садистом) – преимущественно студенты–заочники, будущие кадровые чекисты. Но не потому они, конечно, “ничего”, а потому, что им велено быть помягче (одна система – а равно и всякое отдельно взятое учреждение – от другой еще и тем отличается, что она в среднем человеку в данный момент “поощряет” – добро или зло, жандарма грубого или вежливого) – ведь в этот невеселый особняк привозят главным образом для так называемого перевоспитания.

– А как же, – говорит и ухмыляется весело. – Есть для вас кое–что. Дали ваши прикурить! Держите! – приподнял краешек проволочной сетки – и газета спланировала в наш полусумрак.

Да будь там сказано, что нас всех освобождают, мы не были бы счастливей в те минуты. Дворик стал еще тесней – мы то и дело натыкались на плечи друг друга, не замечая этого, хохоча как дети, как сумасшедшие, на все лады повторяя новость (вот он где, выход–то! А мы то да се: уступать – не уступать?..) и то и дело заглядывая в газету, надеясь еще какую–то деталь вычитать. Я знаю, что весь Израиль праздновал освобождение заложников, и многие на Западе восторженно приветствовали дерзость этой операции... и мы, мы тоже истосковались по героизму. Неделю спустя я вернулся в зону и, словно официальный представитель Эреца, благосклонно–небрежно выслушивал многочисленные охи... даже из уст тихих антисемитов. (Явные у нас перевелись с декабря 1972 года, когда я, публично поколотив одну мразь, прокомментировал этот жест громогласным заявлением, что отныне всякое антисемитское действие или высказывание буду рассматривать как направленную лично против меня провокацию – реагировать буду мгновенно и безжалостно). Так что моя линия фронта проходит в Мордовии. Да простится мне сей пафос.

Я уже четырнадцатый год варюсь в таком котле, где национальные пристрастия – почти самая соль всей похлебки и, выбирая основу и стиль наиболее эффективного каждодневного поведения, я в конце концов нашел в качестве самых практических два отправных принципа: справедливость и сила – именно в такой последовательности.

Вроде бы не Бог вещь как нова находка, но одно дело вычитать ее в книге и другое – дойти до нее лично, под давлением жизни, и, главное, пытаться осуществлять в столь сложном социуме, каковым является “лагерь особо строгого режима для особо опасных рецидивистов, совершивших особо опасные государственные преступления”, как официально величается этот единственный на весь Союз зоопарк. Конечно, этика монады не указ Левиафанам, опыт Робинзона в качестве образца для сложных и больших социальных организмов пригоден лишь в некоем изрядно модифицированном виде. Все это так, но я ведь ни на что и не замахваюсь, я всего лишь пишу о себе, хотя порой мне кажется, что остров Робинзона отделяет от материка не столь уж непреодолимое пространство и всякий Робинзон не такой уж и Робинзон.

В восхищении арестантов угандийской операцией я усмотрел преимущественно восхищение дерзкой силой. Ведь справедливость – понятие относительное, нечто поддающееся всяческому перетолкованию, сила же – нечто близкое к абсолюту... во всяком случае, в момент ее торжества. Человек так устроен, что, сколь бы глубоко он ни сочувствовал несправедливо обиженному, побежденному и униженному, это сочувствие подпорчено таящимся в не-

драх душевных презрением к слабости, неспособности ответить на удар двойным ударом. И потому я целиком приемлю Энтеббе: когда наглый насильник получает по морде, мы в восторге, несмотря на всю формальную противозаконность самосуда. Конечно, почтенный обыватель не унижится до боксирования в темном переулке, а побежит, быстро-быстро семеня ножками, в суд. Ах этот суд! Ну зачем он такой Шемякин?.. И ведь почти сразу после Энтеббе – преступление в Стамбуле. ООН – ни слова осуждения. Вот и семени в этот суд – самому еще срок наматывают: зачем, дескать, вечером по улицам ходишь, вводишь в искушение бедных бандитов. И еще потому всякий арестант обязательно будет в восторге от такого чудесного десанта, что наш типовой заключенный, отсидев лет пятнадцать, и имея впереди чуть ли не столько же, может уповать только на чудо, а не на закон, может грезить только о чуде, ибо закон для него – синоним неправой и беспощадной жестокости.

И сколь бы ни были фантастичны такие грезы (мечтания о чуде десанта еще не из самых причудливых), вряд ли кто из нас не предается им тайком. При всей заземленности облика, изборожденного ранними морщинками прозаических забот, нет больших мечтателей, чем эски, мечтателей необузданных, фантастичнейших. И мечты эти далеко не безобидны. Нет, может, такого дня, а особенно ночи, чтобы и самый кроткий, тот, что “тростинки надломленной не ломает”, не становился в мечтах своих убийцей тех, кто так или иначе властвует над ним – порой даже самых близких людей, которых большую часть дня он искренне любит. Что же говорить о тех, чей день – год за годом – наполнен до предела неволей, унижениями, принудительным трудом и прочими исправительными прелестями, которые не могут не исказить лучшее в природе человека. И, сопротивляясь этому искушению, он бежит в грезы – компенсатор дневных унижений. Всякий нормальный человек по ночам стреляет врагов своих и устраивает рай для остальной части человечества. Но чем дольше я сижу, тем больше ночного времени уходит у меня на врагов... Не думаю, что я стал кровожадной. Скорей уж в реальной жизни убивают именно те, кто кроток ночью. Даже наверняка это именно так.

## **БРОДЯТ СНЫ ПО КОРИДОРУ...**

Он не находил себе места.

Неужели она сегодня не придет?

То приляжет на койку, то бесшумным призраком маячит от двери к стене, от стены к двери, туда и обратно, туда и обратно, мучительно постанывая, словно от зубной боли...

Неужели!.. Неужели?.. Мало ли что: заболела или не сумела достать... А вдруг они раскусили, что пропуск фальшивый? Он похолодел.

В коридоре что-то железно брякнуло, и грубые мужские голоса взорвались хохотом. Он приник ухом к двери... Нет, это они так, что-то свое обхохотывают. В животе громко заурчало – не надо было налегать на пшенку, утром опять изжога замучит. Да как удержаться – не каждый же день наваливают целую миску.

Ноги окончательно заledenели, и он залез под одеяло. А может, она обиделась? То: “Дорогая, единственная, плевать мне на все, лишь бы ты была рядом хоть изредка, ах как нежна твоя плоть...” То: “Да обожди ты со своими поцелуями – успеем еще. Что там у тебя в сумке? Нет ли чего вкусного пожевать?” А то и вовсе...

Дверь бесшумно приотворилась, и она, гибко скользнув в щель, замерла, босая на желтой дорожке коридорного света.

– Ты где, – прошептала она.

– Здесь... Дверь прикрой.

Теперь и он ее не видел.

– Ну?

– Сейчас, – выдохнула она рядом, зашелестело платье, и обозначился телесый контур. Он в нетерпенье откинулся на подушку, и она, юркнув под одеяло, такая неожиданно горячая, гладкая и тяжелая, навалилась на него, обняв за шею.

– Ты чего босиком? Зима ведь...

– А нынче жарко.

– Заждался я. Думал, случилось что...

– Да нет... Пока магазины обегала, то да се, а тут еще рейс отменили из-за пурги.

– Ну как?

– Раздобыла твоей любимой говяжьей тушенки и, вообрази, банку соленых грибов!

– Да перестань ты! – почти вскрикнул он в досаде. – До того ли! Я же о другом, не юли. Ну?

– Достала кое-что, – голос ее был робок и печален. – Только, дорогой... может, все же не надо? Разве мало, что я прихожу к тебе каждую ночь? А тогда... – уткнувшись ему под мышку, она тихонько заплакала, всхлипывая и подрагивая плечами. Он гладил ее густые волосы, досадливо пережидая приступ, и, слепо уставясь в непроглядную темь, искал нужные слова.

Что говорить? Разве не все уже сказано? И вчера опять эта облезлая кры-

са в мундире, этот гунявый капитанишка, жирно слюнявя пальцы, рылся в письмах и презрительно хмыкал, елозя лиловыми червячками губ... Нет, поднося листочки к близоруким глазам, он их не читал, он лишь обдавал их смрадом своей начальственной душонки, упиваясь собственной властью и бессилием, заливавшим лицо арестанта бледностью.

Нет, именно сегодня, сейчас, только сейчас, когда они все в сборе, на своем празднике, упившиеся и веселые...

– Ну, успокоилась? – спросил он как можно теплее. – Ты же знаешь, я больше не могу.

– А как же раньше? Ведь столько лет терпел...

Действительно, столько лет!.. Это звучало упреком.

– Терпел... потому что не было исхода, даже намек на исход. Мы терпим нестерпимое, выжидая, высматривая свой исход, возможность враз заплатить по всем счетам. Терпел, но теперь... с тобой... я больше не вправе гнуться. Не вправе, и... и это выше моих сил, выше всего...

– И меня? Нас с тобой?

– Выше всего... но ради нас с тобой. Выше и ради...

– Сейчас?

– Да, дорогая.

Нагнувшись, она пошарила рукой под койкой и, напрягши спину, положила ему на колени тяжелый чемодан. Он, шумно выдохнув вольненье, осторожно щелкнул обоими замками, откинул крышку, и в лицо ему пахнуло железом и смертью.

– Автомат и три гранаты, – шепнула она.

– А винтовка?

– Не смогла...

– Че-ерт!..

Она сжалась пружинкой.

– Ну ладно, – примиряюще бормотнул он и клюнул ее губами в щеку. – Спасибо, умница... Гранаты, правда, ни к чему, они ведь не разбирают правых от виноватых. Мне бы винта с оптикой!.. Ну ладно, ладно, и автомат сойдет.

Внезапно с лязгом распахнулась дверь – на пороге, пьяно привалившись мощным бедром к косяку, стояла здоровенная баба, совершенно нагишом, правой рукой она придерживала разъехавшиеся в разные стороны тяжелые груди, а опущенной вниз левой сжимала горлышки трех бутылок.

– Эй ты! – крикнул он. – Прочь! Ты ошиблась камерой. Ты из чужого сна!..





Поразительно все-таки, сколь большой сдвиг в сознании произошел за эти шесть лет – стоило лишь появиться щелям в китайском заборе, и вот мы уже осмеливаемся роптать, что наши робы сшиты не по европейским меркам. Сдвиг очевиден. И не у меня одного, у меня-то, может, как раз менее других, ибо я давно уже был “со сдвигом”. Или возьми то же унылое сомнение: “не чрезмерно ли жестоко с нами обошлись?” Словно я не знал, как со мной обойдутся, – ведь на этот раз (в отличие от 61-го года) правила игры мне были известны досконально. Не лицемерие ли теперь плакаться: ах, сколь вы оказались жестоки?.. Однако дело в том, что я ведь в установлении этих правил участия не принимал, хоть вроде бы раз вступил в игру, значит, и правила признал, но это всего лишь “вроде бы”. Я ведь отчасти потому и вступил в эту игру, что мне не по душе ее правила, как и невозможность изменить их, а потому и сейчас, проиграв, я имею моральное право требовать их пересмотра. В этом, может быть, основной смысл нашего проигрыша – быть жертвами жестокости... Печальный смысл...

Вроде бы, отсидев черт знает сколько, пора научиться без особых усилий воспринимать лагерь в качестве нормы бытия: успокоиться, привыкнуть и... просто жить (ведь не мучаемся же мы оттого, что, пленники земли, не можем вкусить прелестей и риска инопланетного существования), ан нет, воротит с души, да и только. Может, первейшая причина всяческого дискомфорта в тюрьме (как в специальном, так и в расширенном смысле) в неотвязном чувстве: коль скоро ты узник, то, чтобы ты ни делал, ты делаешь решительно не то. А когда человек слишком долго “делает не то”, что же удивляться его расчеловеченью, и, наверное, все мы отличаемся друг от друга еще и способностью перебороть, обмануть это чувство, творя – каждый на свой лад – иллюзии нужности своего образа жизни. Способностью жить иллюзиями, я думаю, можно отчасти объяснить и большую стойкость в разных передрягах – от драки до мытарств в следственных кабинетах – интеллигентов по сравнению с люмпенами...

Отнюдь не анахорет, типовой арестант обречен на уродливый и уродующий аскетизм: внешние оковы оправдывают и подстегивают разнузданность всеядной, жесткой, безлюбой похоти воображения, коей нет границ. Дабы не пристраститься к гинекологическому остроумию, которым повально больны все арестанты, дабы сублимировать вздохи приапического томления в поиски эффективных средств ведения своей войны, на эротические порхания фантазии нужно наложить добровольные и очень жесткие вериги. Я пугливо обхожу табуированные темы, чтобы не сорваться в пропасть безумных воздыханий о невозможном. Я не всегда так трезв, каким кажусь со стороны... Но мне позарез нужна эта трезвость. Неплохо бы системкой какой-нибудь обзавестись...

Но я всегда был изрядный путанник и потому ничего определенного (во всяком случае – однозначного) о философском фундаменте моих трепыханий сказать не могу. Как-то все не до того. До философствования ли, когда вот уже 14-й год, чтобы и чихнуть-то в свое удовольствие, укромного уголка не отыщешь... А главное, нет шибко большой потребности в систематизации и однозначной, окончательной определенности ради определенности. Была бы таковая – давно примкнул бы к какой-нибудь школе и – нос вверх. Вряд ли я одинок в своей растерянности перед необъятным многообразием философски упакованных истин. Уверен, что большинство из тех, кому не повезло обрести окончательную истину еще в детских яслях и кто пустился искать ее в дебрях школ и школок, наконец умучавшись, машут рукой на былую юношески высокую требовательность и прислоняются не к единственно истинному дереву, а всего лишь к наиболее близкому в данный момент: хоть какая-то опора – это все же лучше, чем ничего. Разве не о том свидетельствуют и переходы профессиональных философов из одной школы в другую, часто диаметрально противоположную? Не заблуждаясь относительно уровня своих философских способностей, я поставил себе скромную цель: в меру сил следовать за течениями философской мысли (по возможности, всех ее ручейков), чтобы сохранить форму и готовность к тому вожделенному моменту, когда вдруг обнаружится несомненная истина. Я хочу быть готовым и способным постичь и принять ее, сколь бы она ни была сложна.

Меня не должна отпугнуть холодная истина ее метафизики (вообще-то мало меня интересующей), лишь бы она в конце концов поддавалась переводу на язык повседневности. Это важно для меня – я все перевожу на косноязычный лепет обыденной жизни... Что-то вроде Сантаяновского: “Я стою в философии точно там, где я стою в повседневной жизни”. Человеку позарез нужна истинная философия, и не только для удовлетворения банальнейшей потребности к постижению, но и для того, чтобы философский плащ хоть отчасти смягчал грубые пинки нефилософствующей жизни. Человек – вот что меня всегда интересовало. Как ему быть среди людей, с людьми, с собой?..

Еще почти ничего толком не зная об экзистенциализме, но прослышав о его роли во французском сопротивлении, я понял, что это чудо, о котором только может мечтать основатель любого философского течения: философия как руководство к действию! Не политическая доктрина, а именно философия. (Кстати, почему ничего не слышать о японском резистансе? Был ли он вообще?) Но, похоже, французский экзистенциализм эпохи Резистанса был вершиной развития и жизни этого учения.

Увы, Гегель прав, говоря, что всякая философия – это философия своего

времени. Однако круг проблем, тип подхода к их решению остаются для меня близкими. Может, потому, что экзистенциализм генетически связан с древнеиудейским типом мышления, которое, в противоположность эллинистическому, я бы назвал иррациональным (куда более иррациональным, чем иррационализм китайско-индийских философий, которые в глубинной сути своей удручающе рационалистичны). Но, может, потому, что я полукровка, я не глух и к иным голосам, мне хотелось бы обрести нечто, снимающее антагонизм веры и разума, религии и науки, иррационального и рационального, конкретного и абстрактного, единичного и всеобщего. Однако это снятие все же должно быть с уклоном к иудейскому типу мышления, ибо мне не по душе эллинистический человек (разумное животное, обладающее речью и способностью к пониманию... Этакое эпистемологическое существо), мне ближе библейский иронический прищур: интеллект и логика – гордость глупцов, они не имеют отношения к изначальным истокам жизни. Вот в самом общем (и весьма неполном) виде та печка, от которой (и возле которой) я танцую.

Я всегда излишне доверчиво относился к книгам и потому лишь в последние годы начал понемногу избавляться от иллюзий, внушенных восприятием жизни через призму литературы, которая упорядочивает сложную реальность в соответствии со своими канонами. Болеезнее всего расставаться с мифом о благотворном влиянии трагедии на человека: дескать, трагичный молот судьбы кует личность.

Увы, такой взгляд – всего лишь один из литературных способов упорядочения жизненного хаоса путем сотворения некоей внесоциальной космодицеи (57), где и зло – благо. Мне очень долго помогала жить вера в то, что только душевно слабый пугается повседневности ужасов, сникает и опускается, замороженный мыслью об абсурдном трагизме, безысходной никчемности и нелепости человеческого существования; характерной же особенностью того, кто призван и обязан выстоять, является умение осмыслить все нелепости, случайности, ненужности и неспровоцированные кошмары, осмыслить и обратить себе на потребу, узрев в них нечто вроде питательного бульона для духовного роста личности.

Увы, я пришел к печальному выводу, что универсальной истинностью этот подход не обладает, но я еще цепляюсь (наверное, чтобы выстоять) за утешение, что он не вполне ложен в каких-то частных случаях. Иначе, как же мне тут выжить?

В письмах из Израиля часто мелькает: арабы, арабы!.. А что арабы? Когда все уразумеют, что приемами силовой борьбы евреи владеют искусно, когда минет время пушек (если, конечно, это вообще мыслимо), мы найдем с ними общий язык и растолкуем, что нельзя бесцеремонно вселиться в чужой дом и пытаться не впускать в него наконец–то вернувшегося хозяина. Это не их дом! И не вина хозяйна, что пришельцы уже привыкли к нему и забыли о началах... Зато хозяин–то всегда помнил о своем доме. Тем более, что иного ему не дано. Разве – вообразим невозможное – победи Гитлер Россию и вытесни русских за Уральский хребет, они лишились бы права хоть и через тысячу лет вернуться на землю своих предков и святынь... даже и с оружием в руках, оружием, обращенным уже не против тех, кто их когда–то изгнал, а против тех, кто всего лишь имел глупость и несчастье поселиться в их доме? Нет, право на возвращение всегда сохраняется за изгнанником, оно – сущностная характеристика самого понятия “изгнания”: “Ужо, злодей!”.. И почему ему должно быть дело до горя пришельцев, если им наплевать на его двухтысячелетнюю трагедию? И все–таки должно быть так всегда: кто–то обязан брать на себя ношу, тяжелее других, – тем он от иных и отличатся.

Я признаю своеобразную правоту арабов, и хотя она менее права, чем еврейская правота, не видеть ее невозможно. Где же выход? Как примирить эти две правды? Боюсь, что это невозможно. Великодушие! Вот что нам надо. Но великодушным может быть лишь тот, кто знает, что дело, которому он отдает себя, с некоторой точки зрения, не более истинно, чем дело его врага. Просто это МОЕ дело, без которого мне не жить, которое делает меня человеком, дает мне душевную полноту и т.д. И победить я должен не потому, что я абсолютно прав, а потому, что, целиком отдавшись своему делу, я должен быть сильнее врага, энергичнее, устремленнее, умнее и т.д. Тогда, победив, я смогу быть великодушным, в отличие от борцов за дело, осиянное нечеловеческой истинностью, – эти безжалостны.

В “Литературке” от 20 октября 1976 года статья о “биче нашего века – воздушном пиратстве”. Нельзя не согласиться с гневным выступлением американского госсекретаря Киссинджера на недавней сессии Генеральной ассамблеи ООН, нацеленным против “трусливых, жестоких, неразборчивых насильников”, но мне хотелось бы более пространным истолкованием его призыва “усилить борьбу с воздушным пиратством”. Неужели только пресекать, ловить и не предоставлять

убежища? А как насчет терапии корней?

Из нацистского лагеря смерти можно бежать путем захвата самолета, или тоже нельзя?

А что сказал бы господин госсекретарь насчет того, например, можно или нет бить человека золотым портсигаром по голове, душить удавкой, топтать офицерскими сапогами? Ужасное варварство!

1801 год. Павел I: политика, существенно ущемляющая интересы самого в то время жизнеспособного класса – дворянства (отмена дворянских выборов, запрещение выезда за границу, строгая регламентация ношения одежды, армейское пруссачество и т.д.), нестерпимое самодурство царя–психопата, царя–истерика, гнетущее чувство неуверенности даже у придворных фаворитов: то награды, то ссылка... Так почему же для устранения от власти безумца в ход пошли портсигар, удавка и сапоги? А потому, что российское законодательство всерьез усматривало во всяком царе–батюшке помазанника Божия и не предусматривало для ограничения власти свихнувшегося помазанника института регентства, как это практиковалось в западно–европейских странах. В Дании, например, при Христиане VII, в 1784 году регентом был провозглашен будущий король Фридрих VI. В Англии вместо душевнобольного короля Генриха III правил принц Уэльский. В России же выговорить слово “регент” было все равно, что сказать “революция”, и те, кто осмеливался толковать о регентстве, не столько толковали об этом, сколько оглядывались по сторонам. Вот и сапоги, вот и удавка... Как же их оправдать? Но, может, и Павел не совсем невинный агнец? Не мог бы господин Киссинджер посоветовать Павлу I поразмышлять над своим законодательством, дабы не вынудить кого–то к отчаянным средствам? Вот когда есть узаконенный институт регентства (или открыты границы), тогда удавка – варварство чистой воды. А так что же выходит? Я еще раз говорю, что борьба с симптомами – дело зряшное, признак бессилия медика. Дело истинного врача – терапия корней.

Я научился заказывать свободу тому капризному киномеханику, что заведует ночными видениями: в тот неуловимый миг, когда сознание еще мерцает едва–едва, сладостно проваливаясь в теплую темень небытия–инобытия–снобытия, надо успеть немножко напрячься – чуть–чуть, чтобы не спугнуть обволакивающий мрак покоя,– напрячься и вспомнить что–то дорогое, запроволочное... Порой свобода не отпускает меня всю ночь напролет, и под утро мне начинает сниться ужас–

ный сон, будто я... в камере. Но это так невероятно, что я тут же догадываюсь, что это всего лишь кошмарный сон. И привидится же такое! Но этот кислый запах! И это одеяло!

## **КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ**

Весь день он царствует не покладая рук: сам читает на заутрени ча-сы, молится о даровании ему наследника, устройении земств, погибели вражьей и спасении от хлебного глада, то указ какой начертает, то в думе бояр за бороды теревит, то казнь какую ни на есть спроворит да заговор откроет, а то, глядишь, соколиную охоту затеет или войну с поганим бусурманом али с подлым ляхом...

А вечером, упившись медовухи, вздохнет устало: "Тяжела ты, шапка Мономаха!" – и упадет замертво на свои семь пуховиков, чтобы опять увидеть все тот же сон:

Дугой сгорбившись над деревянной сохой, он тяжело ступает босыми ногами по борозде, от мошкары спасу нет, едкий пот жжет свежие рубцы от кнута, которым его наемни лупцевали на псарне. До воскресенья, то бишь – до кабака, еще черт знает сколько... Эх-ма!

Вечером, пошатываясь, он бредет к своей развалюхе, устало хлебает тюрю из кваса с луком, раскорячась вскарабкивается на печь, чтобы, едва ткнувшись носом в жаркую вонючую овчину, захрапеть и увидеть все тот же сон:

Весь день он царствует не покладая рук...

И приснится же Царю Великому будто он смерд смердящий! Экая чушь несусветная, наваждение сатанинское!.. Когда бы так не саднила спина...

Но почему мне одеялом полосатый бушлат?..

За несколько дней до того написал: “Я недостаточно легковесен для шалуни Фортуны – таким она не улыбается”. Не без гордости, не без горечи. “Вдруг” я не люблю и не верю ему, “вдруг” – это когда не знаешь, как на самом деле копится подспудно песчинка к песчинке, чтобы однажды утром гора – вдруг! А если и ураганом ее намело, то ведь и ураган, и то, что именно здесь ее вздыбило, – тоже не вдруг. Не отрицая возможность чуда как такового, я в то же время не считаю себя настолько важной персоной (ни вертопрахом, ни калекой), чтобы претендовать на особую опеку Небес. Но 27-го апреля меня так и подмывало если не выкрикнуть, то хотя бы прошептать это претенциозно-утешительное слово: чудо. Из тьмы – в свет, из смрада – в сад, из за гробья – в жизнь... Чудо! Но не выкрикивалось, не вышептывалось, задушенное, замороженное логикой: закономерное совпадение ряда объективных факторов, политическая конъюнктура – с известным допуском на случай...

Чтобы однажды грянуло для меня 27-е апреля, многие тысячи людей сделали столько-то тысяч шагов – ни на один меньше, они проделали этот путь, и ни один шаг не был настолько мал, чтобы без него был возможен конечный результат, и ни один шаг не был столь велик, чтобы обойтись без других шагов. При чем, казалось бы, тут чудо? Но многотысячный митинг в Нью-Йорке, но неподдельный энтузиазм израильтян, рукопожатия на улицах, объятья, смех и слезы старика-прохожего с кошелкой, в которой хлеб и помидоры, но многолюдные митинги по всей Европе... Вопросы, вопросы, вопросы – не праздное любопытство, а глубинный, из самого сердца интерес, сочувствие, сопереживание... Надо было, чтобы многие тысячи сделали бесчисленное множество шагов... Но почему они их сделали? Что их, таких разных, объединило и подвигло? Не сомневаюсь, что дотошному уму доступно и это объяснение. Дотошность – штука нужная, но перед этими лицами дотошность отдает скучным кощунством. Я затыкаю уши и уверенно говорю: сострадание, сопереживание, жертвенность ради дальнего, действенная солидарность – истинное чудо. Не то, что удалось почти невозможное недавно – вырвать из неразъемных драконьих челюстей недожеванную жертву, а то, что разбросанные в ледяном море мещанского всеравнодушия, близорукости и ожирения теплые островки человечности однажды способны, противостоя дракону, слиться в мощный материк.

#### 25.4.79

“Ни дня без клеветы!” – негласный лозунг нашей камеры. В том извращенном мире многое, начиная с Гегеля, перевернуто с ног на голову, и всякое слово оценивается не по шкале соответствия его реальности, а по хитроумной партийной таблице вредоносности его густому облаку лжи, окутывающему всю необъятную эзэсэсэрию. Не так ретивые начальнички простукивают стены–решетки–двери, как на всякую бумажку тигром кидаются: не столько побег их страшит, сколько утечка “клеветнической” информации – несмотря на все запоры, несмотря на все заборы...

В то утро, 25-го апреля, шлифовался окончательный текст “Заявления о положении верующих в лагерях и тюрьмах”. Как-то не очень ладилось – от недосыпа: с работы пришли в два ночи, а в шесть уже не до сна – проверка, оловянное бряцанье одаряющего пшенкой черпака, коридорный шум–тарарам... и мертвый вскинется. В камере нас было только двое – все остальные на работе. Он прикрывал спиной “волчок”, сторожко прислушиваясь к коридорной жизни, а я, залепив воском уши, писал и зачеркивал, писал и зачеркивал...

– Давай припрячем пока, – он меня тревожно за плечо. – Что-то не нравится мне: забежали, засуетились и стихло все вдруг. Не шмон ли генеральный?..

Только успели – смаху распахнулась, лягнув, дверь. Ухватив с тумбочки какой-то журнальчик, я прикинулся увлеченно читающим. Входят, почти полубегом – сперва два надзирателя с угодливой стремительностью, за ними кэ-гэбистский подполковник Романов и Тюрин – капитан из той же фирмы, и майор Некрасов – наш “хозяин”, и опер из Управления Дубравлага, и еще какие-то чины в погонах и без.

– Что читаем? – хозяйски тянет руку Романов (не крамола ли?).

Только тут вижу, что схватил “Сельское хозяйство” – с фотографии мудро-печально тарачится могучая корова из статьи об американском животноводстве.

– Ай да корова! – прицокивает из-за плеча начальника пройдоха Тюрин. – Ярославская, небось?

– Ну уж, – смеюсь как можно беззаботней, прикидывая, какого черта они приперлись. – Это же американская. Ужели сразу не видать? У нее даже и морда раз в пять умней колхозной – про бюст я уж молчу...

Романов хмурится.

– Все балагуришь, Кузнецов... С вещами! И поживей.

– Куда, зачем? – вопрос хоть и пустой, а не спросить нельзя. Молчат, конечно, и только поторапливают. Ну да мне ведь спешить некуда – срок все



равно идет, а раз им так невтерпеж, то мой прямой арестантский долг “тянуть резину” – и досадить хотя бы малость, и с мыслишками собраться, и, глядишь, в запальчивой досаде сболтнут чего–нибудь. Но чтобы и грань незримую не перейти – на карцер не напороться... Арестантская наука – тонкая, вся на полувзглядах, мелочах, намеках, на ножевом балансировании, особенно если что–то стоящее тайком делаешь, план некий в ночи вынашиваешь... Будь стражи поумнее, просекали бы: раз тих и покладист всегдашний непреклон – замыслил что–то, а если нос кверху и шапки не ломит, значит, смекай, скрывать ему нечего, удара хукового не вынашивает, потому и грудь колесом и глаза дерзкие – хоть так повоевать, гонор показать, даже и с риском угодить в карцер: не сломали, дескать, не раб я вам, хоть тресните... Тоже дело немалое, если нет на другое ни сил, ни сноровки.

Собираюсь помаленьку, с сокамерником нет–нет словцом перекинусь.

Шесть лет назад мне с трудом удалось отбиться от нового срока за книгу, а тут вторая, знаю, вот–вот должна выйти, и внутренне я был готов к следствию и суду. Знал, на что шел, решив: буду делать, что должно, а прочее – будь как будет. Но своих предупредил: если следствие, то с первого дня бескомпромиссно голодаю и на все вопросы – хоть о чем! – ответ один: “Будьте вы прокляты!” Однако нельзя исключать и более радужного исхода – уж больно оптимистичны намеки в последних письмах. Хотя не первый ведь год, обычно весной, что ни письмо, то “Держись, еще чуть–чуть...” Так что вряд ли. Лучше не думать.

– Всем нашим, – говорю, – привет.

– Не разговаривать!

– А я и не разговариваю. Привет вот передаю. Нельзя что ли? Да, если хреново, – скороговоркой другу, – так ты знаешь – поддержите в меру сил...

Браво–плакатный Романов рассердился не на шутку:

– Ведите его в кабинет – там обыщите.

– А если в большую зону, – это друг мне, – так не забывай...

Мельком скольжу по бритым, сытым лицам, выщупываю взглядом – не дрогнут ли? Не разберешь. И все же что–то невсегдашнее почудилось, кольнуло сердце: 16 лет, браток... И на том свете ни вас, ни их не забуду.

Увели, не дав прощально расцеловаться. Четыре часа каждую нитку теребили, всякую бумажку обнюхивали...

– А что же однодельцы мои? – зондирую. Молчат и усмеваются невнятно. Так все–таки куда меня: судить или, может, и вправду на свободу? Лучше не думать – выбора ведь все равно не дано. Не ты решаешь, уговариваю себя, не суетись – куда повезут, туда и повезут, это их забота, а твоя – не паниковать.

В коридоре ни души, все камеры на замке, у цеховых дверей бдительный надзиратель, только в пыльных окнах маячат белесые пятна лиц – не пойму чьих. Уже перед зевом обитого железом воронка делаю еще одну безнадежную попытку:

– Закон, – говорю, – хоть и не про вас писан, но все же вы обязаны объявить мне цель и конечный пункт этапирования. Нацистские у вас приемчики – “Мрак и туман”...

– А я тебе, – капитан Тюрин доверительным полусшепотком, – вообще рекомендую поменьше выступать. Не хватит ли с тебя? Живи тихо – тебе же лучше. Как мафиози говорят: кто глух и нем, к тому же слеп, тот проживет до сотен лет. Учти, на Западе ведь тоже умирают, и бывает – чаще, чем здесь.

Угрозу я пропускаю мимо ушей – не впервой, но – Запад?! Как это понимать? Чекист порой и правду скажет, не веришь. Почти утверждаюсь в мысли, что на этот раз меня поджидает какая-то чрезвычайная пакость. Но в боксике (колени холодит дверь, спину и плечи – стены), в сумеречной тьме – две узкие полоски света сквозят в щелку. Изогнувшись, вывернувшись винтом, приникаю и вижу: Гинзбурга ведут к другому воронку, а к третьему – минуту спустя – Мороза.

Ничего не понимаю! Ну, если меня влекут на расправу – это ясно, а их тогда зачем? Один в зоне без году неделя, насолить им еще не шибко успел, а другой и вовсе тихо-смирно сидел. Это, конечно, не довод – мало ли к чему могут прицепиться... Но вроде бы не те нынче времена. А вдруг времена изменились, а мы и не знаем? Откуда нам знать? Вот и газет уже три дня не давали, а радио молчит – сломалось, говорят...

В Потьме за нашей посадкой наблюдали человек пятнадцать разнопогонного начальства и бравый Романов с ними. По одному из воронка, по одному в “столыпин” – а он пустой, оказывается, специально для нас троих прицепили. Всяко у меня до того бывало: без “спецкараула” меня не возили, всегда отдельно от других, которых конвоиры ногами в зарешеченное купе заталкивают – по дюжине в “тройник”, – и в мягком пассажирском мне случалось ездить, хоть и в наручниках, и даже с собаками меня возили, так что весь “столыпин” сочувственно кричал: “Прощай, земляк! Не дрейфы!” – думали, что на расстрел... По-всякому бывало, но чтобы вагон на троих – впервой.

К караульному не подступись – словно и не слышит, а спрашиваю громче – вздрагивает и оглядывается опасливо.

Часа через два заступает новый караульный. “В какую хоть сторону-то едем?” Молчит, но глаз не отводит, словно гипнотизирует, и от решетки купе ни на шаг. Не очень-то уютно. Валюсь на скамейку ногами к нему.

– Не положено! – кричит, и в глазах испуг плещется. – Головой ко мне!

А там фонарный свет слепит, и противно, когда спящему тебе в лицо глядят. Мне бы поспать хоть малость: раз такая спешка, что–то серьезное предстоит завтра, а я и в ту ночь не добрал – руки–ноги не шевелятся, в голове кавардак.

– Головой туда я не засну.

– Не положено! – чуть не плачет. – А то я начальника караула позову.

– Зови хоть трех, – уже завелся я, – плевать я на вас хотел. Ну, повернете вы меня силой в ту сторону, а я опять сюда развернусь...

Прыщавый блин его пошел пятнами растерянности – похоже, что инструктирован не грубить, мнется, не знает, что делать, наконец, махнув рукой – была не была! – убегает и тут же возвращается вместе с каким–то лейтенантом.

– Вообще–то не положено, – мямлит тот. Ему явно неуютно – он привык рычать матерно на тех, кто за решеткой. – Инструкция... Но, – разрешающе машет он рукой, видя, что я лежу, не шелохнувшись, – ничего – отдыхайте.

Солдатик смущен, я начинаю проваливаться в сон, сладостно убежденный, что завтра я буду на свободе, только бы, думаю, дали в Москве хоть деньков несколько пожить, – с друзьями проститься, по улицам побродить, где родился и рос... И беспокойно верчусь с боку на бок, гоня прочь циничную усмешку румянощекого Романова. И двух недель не прошло, как он откровенничал: “Таких отпускать?.. Мы не настолько слабы. Сколько бы там ни кричали – именно мы сажаем и мы отпускаем... когда убедимся, что враг сломлен и разоружился до конца. А ты, не бережешь ты себя, не бережешь... Или думаешь, заговорен от смерти?”

26.4.79 г.

Утром конвойный приспустил армированное окно и в щелку замелькали до холодка в груди знакомые московские пригороды. Вот и Казанский вокзал, наш вагон отцепили и часа три гоняли с путей на пути, пока не затолкали в какой–то замусоренный тупик. Цепь автоматчиков, воронки и, наконец, старинная приятельница – лефортовская тюрьма КГБ. Вот и камера. Я резонно рассчитывал на одиночку, но навстречу мне поднялся долговязый парняга лет 30–ти – контрабандист, как выяснилось. Вероятнее всего “наседка”, а может и нет, но мне в любом случае не до него, не до психологических изысков и церемоний – мне бы побыть одному, чтобы сосредоточиться и внутренне подготовиться к любой неожиданности, а прежде всего – поспать. Стучу в кормушку, она мгновенно отворяется, и из нее, как чертик из коробки, – седая голова начальника корпуса: “В чем дело?”

– Я сюда не по масти попал, – объясняю. – Я же, вы знаете, государственный преступник, рецидивист и т.д., а человек, – киваю я на сокамерника, – всего лишь под следствием, по уголовному делу... Может, он и не виновен вовсе, а я, знаете ли, закоренелый – могу разлагающее влияние оказать... Статью 18-ю Исправительно-Трудового законодательства помните? Ну вот... Так зачем же нарушать? Прошу срочно перевести меня в одиночку.

Корпусный уверяет, что завтра доложит начальству – сегодня никак нельзя, поскольку никого уже нет. Приходится поверить – раз нельзя проверить.

Мой контрабандист на дыбы: не хочешь, мол, со мной сидеть, за стукача считаешь...

– Да я, – начинает он истериковать, – семеру отволок! Год как из лагеря! Да у меня, век свободки не видать, вся зона по нитке ходила!..

Я столько их перевидал, столько раз все это слышал, что рот зевотой сводит. Мне нет особого резона ссориться с ним, но он явно из тех, кого не осадит – на голову сядет.

– Вижу, – говорю, – что ты страсть какой блатной. Это дело твое, но я уже три ночи недосыпаю, с ног валюсь. Так ты уж, будь ты трижды козырной, постарайся не шуметь, а то я, хоть и не блатной, но тоже нервный.

Недвусмысленный намек, сопровождаемый как можно более твердым взглядом в глаза, – внял и потупился.

Едва я разделся – в кормушку голова: “Днем нельзя спать, только лежать поверх койки”. Я так устал, что мне наплевать – лезу под одеяло. Что они, в конце концов, могут мне сделать? Неспроста же они меня сюда привезли: если для нового срока или смерти, так повод всегда отыщется, а – на свободу, так тем более плевать – избить побоятся, чтобы синяков не было...

Сокамерник вздыхает, переживая поражение. Внешне он напоминает мне Юру-Людоеда – такой же верзила и железа полон рот, но характером куда пожиже. Одно время этот Юра трудился “дуборезом”, т.е. покойников потрошил в лагерном морге. И вот как-то, растерзав очередного мертвеца, он привязался к главврачихе Коломийцевой (она же супруга начальника лагеря): “Ты же видела, какой жмурик гнилой попался? Дай спиртыря... чтоб не заразиться”.

“Иди ты... – послала его улыбчивая врачиха в одно специально женское место. – Ты же его руками потрошил, – смеется, – а не зубами”.

Юра, не долго думая, цап покойника зубами за ляжку и ну ее тереть, урча по-собачьи. То-то смеху было, дородная мадам Коломийцева повалилась на стул, тряся всеми пудами своих полусфер... Юре, конечно, нацедили с пол-стакана медицинского спирту.

Но его вовсе не за это прозвали людоедом, а за то, что он играл в карты на

“мясо и кровь”. На нем живого места не было – рубцы самых причудливых форм, шрамы, сочащиеся сукровицей свежие порезы... В голодных спецлагерях, в карцерах и тюрьмах уголовники, проиграв пайку, ставят на кон “мясо и кровь”. Шмат мяса (из спины, живота, ягодиц, ляжки или икр) отхватывается на глазок – этак с котлету средних размеров, а для крови в каждой камере хранится тщательно градуированная самодельная мензурка.

Неглулый и наглый, он терроризировал политических, зарабатывая начальственные подачки. Как–то раз хитроумная судьба в погонах свела меня с ним в камере Владимирской тюрьмы. Но я давно уже, еще со времен драчливого мальчишества, усвоил одну счастливую истину: “Он боится больше меня”. Воспитанные на примитивном представлении о героизме, в ножевой ситуации, прислушавшись к сердечному трепыханию, с ужасом сознают, как далеко им до книжных героев. Плохие психологи. Им невдомек, что у врага тоже шкура дрожит, они тут же зачисляются в трусы и отступают в стыде. Секрет простой: всегда помнишь, что “он” тоже боится, и даже чуточку больше меня – самую чуточку, чуть–чуть, ровно настолько, сколько нужно, чтобы обратить его в бегство.

Не прошло и недели, как мой Юра простучал в соседнюю камеру: “Пригоните свинок”. Ладно, сижу читаю, но краем глаза слежу за ним, и ноги напружинил – вскочить, если что. Вроде читаю, а на самом деле, уговариваю себя: “Он боится больше меня, он боится больше...” Однако что же делать? Боль ему нипочем, чуть ли не удовольствие – мазохист. Чего он вправду боится? Конечно, голода – иначе не стал бы “людоедом”, но что это мне дает? И смерти. Сам рассказывал, как дважды сидя под “вышаком”, трясся и онанировал все ночи напролет, чтобы забыться. Значит, на убийство он не решится – третий раз от вышака открутиться трудно. Но вот ночью “подрезать”, т.е. пырнуть ножом не до смерти или глаз выколоть, это он может и делал уже не раз, даже и просто так, чтобы под следствием посидеть, отъесться малость. Расстрел за это не дадут, а сроку у него и без того под самую завязку. Ночь для меня опасна, значит, до отбоя я обязан обратить его в бегство. Ни взывать о помощи к начальству, ни убивать его – мне и в голову не приходило: первое вразрез с общепарламентской этикой, второе – с лично моей. Но выхода нет – надо демонстрировать готовность идти на любую крайность.

Мужик он был живописный (был – потому что лет через пять после того его, по слухам, зарезали в драке). Верзила, но узкогрудый, с длинными по–обезьяньи руками, вся голова в причудливых зигзагах шрамов, язык что бритва и мимика уморительная.

“Ну з–змеи, трепещите! – журавливо вышагивает он от стола к двери, и то

одну стену пнет ногой, то другую – жуть нагоняет. – Ты смотри, падла: читать я ему мешаю! Тут вам не академия тухлых наук, а тюряга, тут закон петушиный: клюй ближнего, сери на нижнего, а не книжки читать. – Всякий раз, поворачиваясь спиной к волчку, он дает ножу выскользнуть из рукава и увесисто качнув его на ладони, подбрасывает, ловит и снова прячет в рукав. – Ну твари–политики, трепещите! Хевра поперет на вас – обхезаетесь, фраера!”

Время шло, выдержка моя понемногу таяла, а вместе с ней улетучивалась и уверенность в себе. Нет ничего опаснее упустить момент наибольшей внутренней решительности. Надо было срочно разогреть себя до слепого безрассудства, до блеска одержимости в глазах... Он говорил, говорил и говорил, кочегаря себя и давя мне на психику, я молча бормотал свое заклинание – не очень–то воинственное, интеллигентски хилое, ему не слышное – он изошел бы хохотом, когда бы услышал. Склоненность над книгой, молчание – ему как предвозвестник белого флага, готовность сдаться.

А время идет. Прежде всего – встать. “Я тебя долго слушал, теперь ты меня послушай – рекомендую. Ты тут часа два уже с ножом разгуливаешь. Закон ты знаешь: взялся за нож – режь, иначе – руку пополам. Но ты рассчитываешь: он, мол, не блатной... Верно. Но много ты кровушки у наших попил – и хватит. Когда я замолчу, считай до десяти – или ты сам пойдешь на меня с ножом, или я просто отниму его у тебя и придушу как крысу. Твоя братва насчет ножа, не сомневайся, расколется – не так уж они тебя любят... Меня на этот раз не шлепнут, как бы ни хотели – уж больно биография у тебя не того, ножом ведь ты не впервой балуешься... И хватит. Считай!” Я распалился от собственных слов, и ртутный шарик страха, катавшийся по сердцу, противно холодя его, растворился в волне нерассуждающей ненависти к этому оскалу железных челюстей, выплевывающих: “Да сукой быть – зарежу! Ну иди! Иди!” Едва я, отлепившись от стены, шагнул к нему, он, взвизгнув, рухнул на пол и зашелся в истерике, сука по полу ногами. Тут же набежали надзиратели и уволокли его.

А через день мне выписали 12 суток карцера: был обыск, и под койкой оказался нож – несмотря на истерику, в последний момент Юра–Людоед успел его выбросить...

Неужели, – несмело размышляя я, – дело идет к концу, и я уже больше не буду видеть всех этих морд – ни чекистских, ни уголовных?

27.4.79 г.

Проснулся я от гнусавого шепота в самое ухо: “Подъем...” – надо мной склонился надзиратель. “Вот бритва”, – положив на стол безопаску, мыльницу с кисточкой и зеркальце, он вышел. Мой сокамерник тоже проснулся. Бы–

ло часа четыре утра, не больше – до законного подъема далеко. Что бы это значило?

Мой сосед засуетился:

– Точно – на свободу тебя!

– Если бы знать...

– Я тебе говорю – точняк. По всему видать... Так ты, браток, звякни моей бабе, пусть папиросы дурью \*род наркотика, анаша, – примеч. автора\* зарядит – мне через неделю передача положена. Телефончик простой – запомнишь, пока бреешься.

Пришлось запомнить. Условились, что я как бы забуду в камере пару пачек махорки, кусок мыла и носки. Пришлю за ними надзирателя – дела мои плохи, если же никто за ними не придет – значит, я пошел на свободу. (События потом развивались с такой стремительностью, что позвонить его “бабе” я не сумел – наверное, и по сию пору он ждет не дождетса вожденной “дури”. Вряд ли он знает, что я, совершив фантастический кульбит, приземлился, миная московские телефонные будки, за морем–за окияном. То, что мы сцепились накануне – одно, а арестантский долг – само собой. Он не сомневается, что я позвоню... Но не отсюда же! Я позвонил двоим своим друзьям в Москву – им сняли телефон. Вот и звони! Разве что врагам своим...)

Побрился, жду, стараясь ни о чем не думать. Поддакиваю контрабандисту. “Ведь зарекался же, – плачется он на судьбинушку. – Как подумаю, что снова в лагерь – волосы дыбом. Да разве на сто двадцать проживешь!.. Эх жи-исть!”

Но вот захлопали в коридоре кормушки – подъем. И тут же отворилась дверь, мне надзиратель ручкой – пошли, мол.

В просторном кабинете за столом хмурятся трое: полковник КГБ и два золотозубых старичка – жирные полупризраки с дряблыми лицами лемунов.

– “Указом Президиума Верховного Совета СССР, – торжественно–злбно засипел один из них... (Я оглянулся, ища глазами стул – напрасно. Все тонко рассчитано: они сидя объявляют мне высочайший указ, а мне положено выслушать его стоя, покорно склонив голову. Ну, насчет головы это еще как сказать, а постоять придется. Ничего – переживу как–нибудь)... государственный преступник Кузнецов Эдуард Самуилович лишается советского гражданства и должен покинуть пределы СССР в течение двух часов”... Вопросы есть?

– А как же. Я вот насчет двух часов любопытствую... Нельзя ли поскорее?

Они втроем буравят меня глазами, я, чтобы не распыляться, уставился на одного, того, который зачитал указ.

– Идите, – цедит он наконец.

Уже не в камере меня заперли, а в комнатушке, где накануне обыскивали.

Спустя минут пятнадцать тот же полковник – оказывается, новый начальник тюрьмы – принес мне гражданское одеяние.

– А как же мои однодельцы? – спрашиваю.

– Не знаю, – врет, не отводя глаз.

– Каков мой юридический статус? Меня, насколько я понимаю, не помиловали, приговор не отменили, срок не сняли... Значит, если я надумаю в Москву туристом, вы снова меня за решетку – досиживать свои шесть лет, или как?

– Не стоит попадаться, – советует. – В том числе и туристом...

– В какую страну я еду? Сегодня... Надеюсь, не в Китай–Вьетнам?

– А куда бы вы хотели?

– А то вы не знаете? Но для начала я согласен в любую, где вас нет, какие бы вы ни были – русоволосые или косоглазые...

Костюм чешский, туфли польские, рубашка болгарская и только галстук и брючный ремень эсэсэсэровские – чтобы повеситься на них, что ли?

– А как же мои книги и тетради?

– Книги мы проверим и позже отдадим, кому вы укажете, а тетради... Вы же знаете, что из нашего учреждения ни одного листка не может выйти.

– Да их же сотни раз проверяли и перепроверяли! Там никакого криминала. Девять лет работы, четыре тысячи листов – конспекты, мысли там всякие, наблюдения, сюжеты, фольклор... – Я начинаю не спеша раздеваться, полковник как-то дрогнул лицом.

– Вы что?

– Без рукописей я отсюда ни шагу – только на кулаках можете меня вынести.

– Нет, почему же, – засуетился он. – Если там действительно ничего нет... Сейчас товарищ, который просматривал их, принесет... – Он нажимает околodверную кнопку.

Я торжествую. Тем стыднее мне теперь, когда так очевидно, что ни рукописей, ни даже книг они мне не вернут.

Надзиратель принес мне мои тетради и, продемонстрировав их целостность–сохранность, аккуратно упаковал в картонный ящик, перевязав его, по моему настоянию, кокетливо–розовой бечевкой. Я было за ящик, но он опередил меня лакейски: “Не утруждайтесь”. Идем к машине, он маячит за спиной, сажусь – его и след простыл.

– А где же ящик с тетрадями? – я к подпирающим меня плечами охранникам.

– Не беспокойтесь – его сдадут в багаж.

И только в самолете, где всякое трепыхание уже бессмысленно, они мне со-



общили без тени смущения, что, дескать, произошла ошибочка, и тетради мне никак не могут отдать, ну никак!

Вереница “чаек” – штук десять, а перед нашим носом пылит милицейский “газик”, сигнализируя непрерывно. Законы нам не писаны: светофоры и орудовцы нам не указ. Прохожие оглядываются – испуг и любопытство в лицах: с такой стремительной лихостью проносятся лишь те, кому законы нипочем, кто сам закон–судья–палач – един в трех лицах.

Два упитанных молодца подпирают меня крутыми плечами.

– Мы с вами будем до конца. Меня звать Виктор, он тоже Виктор.

– Сплошная победа, – остро по привычке.

Я жадно впитываю давно забытые краски, звуки, запахи, верчу по–птичьей головой туда–сюда, успевая замечать все, в том числе и нервное вздрагивание моих Викторов – им всякое мое движение подозрительно: небось, нарассказали им обо мне разной детективщины – они не очень удивятся, если я выхватю из кармана браунинг и открою пальбу или просто выскочу в окно, или мало ли еще что... С переднего сиденья, полуобернувшись, не спускает с меня изучающих глаз дородный мужичок, мне как–то неуютно – все гадаю: где я его видел? То ли он сидел со мной, то ли сажал... И только на площади Маяковского все встало на свои места – я вспомнил: он вел мое дело 18 лет назад.

– Вот отсюда все и началось, – игриво кивнул он на поэта, угрюмо попирающего камень пьедестала. – В 60–м году.

– Началось все куда раньше – году этак в 17–м, – уточняю я.

С той самой минуты, как тюремные ворота остались позади, что–то как бы щелкнуло внутри... Всякий арестант воспринимает неволю как временное выпадение из нормальной жизни, некий патологический вывих бытия, невозможность, которая не может же длиться вечно! Умом он знает: может, но сердце этого не приемлет – так противна душе человеческой тюрьма. Отсюда и поразительная легковёрность арестантов, детская жадность до всяких, самых невероятных, слухов о грядущей амнистии. Но если он пересидел, то к чаянью свободы примешивается болезненное подозрение, что на самом деле она не для него – даже и по окончании срока что–то непременно случится...

Спустя несколько дней, уже в Тель–Авиве, я отказывался верить сам себе, оглядываясь назад. Настолько несовместимы две эти реальности – свобода и тюрьма, что разом сосуществовать в сознании они не могут, как невозможно быть одновременно и мертвым, и живым... Что–нибудь одно. Днем я недоуменно оглядываюсь назад, и только ночами нет никаких сомнений, ночами я все еще там.

Тюрьма и свобода несовместимы, но в тот день – на перепутье – они встретились и сцепились, борясь, тесня друг друга, шизофренически двоя мое сознание. Все пестрое многоцветье жизни слепило мне глаза, от уличных шумов трепетал, казалось, каждый нерв... но где-то внутри затвердела как бы ледяная корка, сквозь которую ничто извне не проникало – глубинное неверие в заправдашность свободы для меня, годами выработанный механизм самозащиты твердил вопреки всем очевидностям: “Не обольщайся”. Я ощущал себя вроде автомата: дышу и вижу, мгновенно реагирую на всякий внешний раздражитель и даже в меру остроумен, но сантиметрах в трех под эпидермой как бы железный кожух, прячущий винты, колесики, пружинки механизма, живущего особой жизнью. И только в сердцевине извивается скользкий червячок стыдливой догадки, что от бессилья и безвыборности каждый жест и ужимка с каким-то механическим привкусом.

Машины подрулили прямо к самолету. 11 часов.

Я с ехидцей:

– А как же высочайший указ? В шесть утра с такой претензией: чтоб не позднее, чем через два часа покинуть... А сейчас уже одиннадцать.

Молчат. А что же им делать? Признаться, что без лжи ни шагу? Во лжи зачаты, рождены, ложью питаются, ее вдыхают и выдыхают. Когда бы какой-нибудь неслыханной благодатью этой несчастной стране дарован был всего один денек без слова лжи – какой бы учинился грохот и как бы затрещало все по швам и, может, рухнуло...

Обычный “ИЛ”. Нас привезли загодя, а полчаса спустя я с любопытством глазел из самолетного окна на поспешающих к трапу пассажиров, дивясь нарядам и лицам, по которым завсегда отличишь иностранца от коренного советского гражданина, безошибочно угадывая в чисто вымытых бодрых старушках тех самых многократно описанных американок-туристок, что бродят, неумно щебеча, по всему свету и вот, гляди-ка, даже и до Москвы добрались.

КГБ не поскупилось: рядом с каждым из нас два замаскированных под нормальных людей чекиста, на задних креслах еще 10–12 штатских. Едва мы разместились, как пришли двое из американского посольства и сообщили, что по специальному соглашению между Москвой и Вашингтоном нас доставят в Нью-Йорк... Видимо, учтя большую психологию арестантов, они предъявили нам документы, из которых явствовало, что они и в самом деле американцы...

Мои сопровождающие вполне корректны и даже тужатся поразвлечь меня какой-то болтовней. Мне надо бы сосредоточиться, осмыслить этот свалившийся на меня день, но я боюсь чего-то, уклоняюсь от молчания, от необходимости погрузиться в себя... Будь что будет, говорю я себе в который раз.

Разговорчики все пустяковые, только где-то над Скандинавией пытаюсь зондировать их поглубже – ускользают, отмалчиваются или переводят в шутку.

– Не совестно вам, – спрашиваю, – в чекистах ходить? В чекистах – все равно, что в записных людоедах.

Сердиться на меня им не положено.

– Ну, теперь другие времена, – чуть ли не в один голос.

– Вы полагаете, что не в ответе за те времена?

– Сын за отца и то не в ответе.

Смотрят победно – это их козырной аргумент, слышанный мною не единожды. Специально натаскивают их, что ли, вдалбливают стереотипные реплики?

– Сын, – говорю, – отца не выбирает, а партию и тем паче голубой мундир именно выбирают – со всем его прошлым... Ну а если завтра, – задаю свой любимый вопрос, – опять то же самое, то вы как?

Мнутса – ни да, ни нет. Странно – обычно следует энергичный выпад: “К прошлому возврата нет!” Хотя это ложь: объяви ты по радио, что отныне милостиво даруется свобода – затылки ногами раздерут, прикидывая, что бы это такое могло означать, а прорычи зычно, что Сталин изволил воскреснуть – переглянутся молча, повздыхают тайком и воспримут как должное.

– Ясно, – резюмирую. – Как партия прикажет. Так?

Соглашаются, но как-то не очень бодро. Все-таки не тот нынче чекист пошел, без огонька, оправдываться порой норовит. Или насквозь циник.

Едва я на ноги – оба вскочилили: куда?

Объясняю, что всего-навсего в туалет. И мы, говорят, туда же.

– А что так? Я вроде бы свободен.

– Вы еще на советской территории – самолет ведь наш.

– Ах да, ведь приговор мне не отменен и советская территория для меня всегда – тюрьма. И все же в туалете я мог бы вполне обойтись без вас.

– Понимаете, – объясняет один из Викторов, – американцы что-то там темнят... и если с вами что случится, скандалу не оберешься.

– Что же я, в унитаза что ли выпрыгну?

– В унитаза не в унитаза, а вот если синяк какой на лице появится или царапина, скажут – мы тебя били.

– Ну и фантазия у вас! Как у потаскушки – днем она умело краснеет по всякому пустячку и все равно подозревает, что все знают ее подноготную.

– Пусть думают, что хотят – мы за свою репутацию не боимся, – парируют не очень логично.

– Но тогда почему бы вам не освободить меня пару месяцев тому назад, когда я едва ноги таскал от голода? Нет, сперва повезли в спецтюрьму, поса-

дили на больничный паек, расщедрились на посылку из дому... А почему бы вам не освободить священника Романюка – его перед отправкой в ссылку так избили, что, уверен, у него и сейчас еще синяки не сошли.

– В чем дело? – подскочил к нам один из тех, что с задних кресел пружинно обзирал весь салон. Да вот, объясняют, в туалет. Но что-то, видно, не понравилось ему, и скоро Викторов заменили мужички поголоворезистей.

– Как же так, – забубнил один из них, – жил, рос на нашей советской земле, как все, и на тебе!.. И происхождения вроде не буржуйского.

– А при чем тут, – возражаю, – происхождения? Мало ли которые из буржуев помогали вам? Вон хоть и Савва Морозов – какие миллионы отвалил вам на революцию, так вы же его и пристрелили потом. Да и теперь на Западе полным-полно ваших помощничков – вот уж взвоят они, когда вы до них доберетесь, не приведи Господи.

За окном режущая глаза неправдоподобная белизна громоздящихся друг друга облаков и яростная щедрость солнца... зажмуриться – сырая полутьмой камеры, болезненная прозелень скорбных лиц...

Когда варился в той невозможной тюремной каше, в самой гуще, казалось, что не позабыв ее, нельзя жить – память убьет. Может и так. Но и забыть никак нельзя – все равно не получится. И еще потому, что забыть – предать...

Посадка на промежуточном аэродроме в Канаде. Обмениваемся взглядом с Гинзбургом: похоже на правду – аэродром как подделка? Да и не верил я с самого начала в какие-то подделки, это все подкормка баракхлит, противится очевидному, выискивает подвох. Нельзя так жестоко с человеком: сразу из глубин подводных на солнце – резкий перепад давлений, кессонная болезнь, а попросту – расщепление личности, то бишь шизофрения...

В нью-йоркском аэропорту какая-то суета возле самолета, все пассажиры давно сошли, охрана наша явно нервничает и перешептывается–перемигивается. Тревожное предчувствие какой-то опасности. В чем дело? А вдруг, мелькает, что-то разладилось в их сверхсекретном соглашении? “ИЛ” развернется и снова – Москва, двухметровые стены лефортовского каземата, мордовская спецзона... После такого солнца – бетон, грязь и шлак, ни цветка, ни травинки!

Но вот какие-то машины у переднего трапа, и двое славянского типа неулыб неспешно поднимаются в самолет. Все засуетилось, задергалось, как в кинолентах начала века, и вот мы, наконец, на американской земле – рукопожатья, обниманья...

Уже в машине госдеповец сказал, что нас обменяли на советских шпионов. Мне как-то все равно – на шпионов, на трактор или корову. Чужая грязь не

марает – в любом случае я не шпион, не корова, не трактор. Обмен военнопленными, заключенными – старинная и почтенная гуманитарная институция. И не суть важно, сколько и чем заплачено за человеческую свободу – она стоит любой цены. Кроме чужой крови, даже и распоследнего злодея.

Впиваюсь в законные лица, еще странные моему глазу – что за люди? За километр видать, что не советские, но кто они, чем и как живут, что им ночами грезится? И дома чудные, как на открытках из Нью-Йорка, и мусором все тротуары завалены, как на снимках из московских газет о забастовках мусорщиков...

37-й этаж небоскрежного отеля. “Вот ваша комната”, – мне показывают. Вваливаемся впятером – не комната, а зала с двумя широченными, как нары на десятерых, кроватями.

– Официальное сообщение о вашем освобождении будет только ночью, – поясняет нам кто-то из сопровождающих. – Пока никто не знает, можете отдохнуть.

– Да, – подтверждает директор отеля. – Такая секретность... Мы думали, раз такие предосторожности, то ли шаха иранского следует ждать, то ли Ясера Арафата.

Что ж, отдохнуть так отдыхать – не раздеваясь, мы валимся на кровати. Какое-то замешательство на лицах наших хозяев. Через минуту все держатся за животы от смеха: привыкшие к советским стандартам, мы, не мудрствуя лукаво, решили, что эта зала нам на пятерых – кто бы мог подумать, что каждому из нас отведены отдельные апартаменты...

По общему решению, я наскоро составляю совместное заявление для утренней пресс-конференции. Глубокая ночь, увешанный огнями Нью-Йорк из поднебесного окна – голова кругом... Чудо! Чудо?..

Мело, мело песчинку к песчинке, чтобы однажды – 27-е апреля с видом из небоскрежного окна... Ну чем не хэппи энд?

Интересно, в какую отсюда сторону московский Кремль? Очень мне хочется язык ему высунуть.

2.07.1979 г.

(“Синтаксис”, №5, 1979 г. Париж)

## О ТОМ, КАК МЕНЯ САХАРОВ ОБОГРЕЛ

“Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем?.. Он сказал: не истреблю ради десяти”. (Бытие, 18:24, 32.)

Вот, например, Ахматова в двухтомнике Л. Чуковской. Кому – новые смыслы, иные прочтения известных строк, а другому – не только это. “Анна Андреевна жила, замороженная застенком, требующая от себя и от других неотступной памяти о нем, презиращая тех, кто вел себя так, будто его и нету”. (59) По мне, это ставит Ахматову в очень особый ряд, и слова Мандельштама о поэзии ее – “символ величия России” – обретают первичный смысл – нравственный.

Так, склонен думать, по-разному чтут святого румяный служитель культа и доходяга-прокаженный. Одному агиография лучится деяниями во славу и укрепление церкви, другому житие – тлеющее надеждой повествование об исцелении язв. И хотя вполне прав только третий – синтетик, которому все значимо, – я все же говорю: то, что Сахаров – ученый, для меня не суть важно. Ученых полно... По лагерному присловью: народу много, да людей мало.

А теперь – о голодовке.

Начальнику лагеря майору Рукосуеву

з/к Горемыкин

Объявляю смертельную голодовку, потому как без сапог пропавши.

Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление.

Другой объявляет голодовку, требуя срочно изменить конституцию или, там, демонтировать все советские ракеты.

“Голодай, голодай, – ободряют ключники. – Скопытишься – никто и не почесется”. Это верно, как правило. Но – где логика, и – где отчаяние? До нее ли, когда иссякли запасы терпения?

Лагерная неволя многолика, и каждый лик ее клыкаст на свой лад. Я сейчас о том, который грозит душе распадом и смертью.

Ежечасно, изо дня в день, годами и годами эзка пребывает во всесильной начальственной длани – то слегка придавит его, то отпустит на малый миг, чтобы потом ущемить еще сильнее, а восхочет, так и вовсе расплющит, раздробит в мелкие дребезги, размажет в слякоть... И, думается, в этом один из первейших начальственных уроков в стране, изрядная часть населения которой так или иначе пропущена через лагерную душесдробилку-душегубку. Власть затем безоглядно цинична, что чем безоглядней, тем скорее должна перед ней преклониться в трепете всякая душа, осознать себя ничтожным прахом. И, заметил я, это работает.

Но голодовка, чем бы формально она ни мотивировалась, зачастую – отчаянный побег от начальственного всевластия, крепость, в которой на время укрывается измочаленная до смерти душа: отлежаться, зализать раны, укрепиться в самости своей. И начальники с начальничками нутром чувят эту побегушную суть голодовки. Хоть и не устают поощрять тебя (“Давай, давай – быстрее коньки откинешь”), но это скорее инерционный бормот, к каковому положение обязывает, – глаза же их сочатся тайным раздражением: раб вдруг выпал из рабства, перестал дрожать, отказался от первейшего лагерного пряника – хлеба, – и сам подставился под главный лагерный кнут – голод. И... как с ним быть? Если глух к зову пряника и не страшится кнута (хоть на самую малую толику времени), то... как же так? Вся чекистская вселенная начинает опасно крениться... Впрочем, как для Пифагора “нет ничего без своего числа”, так для чекиста нет никого без своего страха – и скоро он, вместо кнута голода, прибегает к другому. К холоду, например.

“Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление”.

И через тройку недель, а то и через пару месяцев выносят бедолагу из голодовочной одиночки без сапог. Но это не суть важно – он выиграл более значительную битву. Тем более, что если не сапоги, так башмаки он все-таки имеет шанс через какое-то время получить: начальство отчаянному давлению порой уступает, пятится – хоть и не вмиг, и не совсем в том направлении, в котором на него давят. Но, опять же, это для моего голодаря не суть важно. А важно, что, укрывшись в крепости голодовки, он, спасая от чувства бессилия, отчаяния и связанной с ними разъедающей душу ненависти не только к врагам своим, но и – через них – чуть ли не ко всему миру, такому холодному, когда глядишь на него из-за проволоки.

Так и я на исходе 77-го года объявил голодовку, потому что – хоть в петлю. Правда, я не сапог требовал, а всего лишь всеобщей амнистии. А почему бы и нет?

Мне несказанно повезло: тут у Алика Мурженко случилось свидание, и как-то он исхитрился намекнуть, что я бросился в голодовку не просто так. Жена же его потом через Москву возвращалась и – к Сахарову. Я, разумеется, обо всем этом и знать не знал, поскольку моя одиночка – два метра в длину, метр в ширину – не только за двойными дверьми, но и в самом углу ниши, отрезанной от общего коридора решеткой.

К голоду я довольно скоро притерпелся – к концу второй недели организм, как известно, перестраивается на самопоедание, и желудок уже не вопит о пище. Зато меня холод донимал – декабрь стоял, за двадцатые перевалило, и мороз тоже за двадцатку сигал. Начальство, как и с голодом, со стужей всегда в сговоре – знает, что тощего холод куда сильнее когтит, и потому печка

моя – не теплее покойника. Одежка лагерная и без того сквозистая, а тут у меня и вовсе всякую лишнюю тряпку изъяли. Выручал чайник с кипятком – дважды в день. Я грел о него руки, потом укутывал одеялом и прилаживал к покатым его бокам ноги. Только когда он вконец остывал, прикладывался к оловяному носику – теплая водица отдавала вкусом отчаяния.

Ближе к полудню в карцерном закутке брякала решетчатая дверь, и начиналось обнадеживающее шевеление возле печки.

– Эй ты, – надрылся я через двери, – чего не греешь, как надо?

Отвечал не истопник, а нависший над ним надзиратель:

– По норме топит – восемь кэзэ на рыло.

Мне не впервой, знаю: полпуда дров – не Бог что, но все хоть пару-то часиков, а можно печку натеплить. А тут...

Только позже я узнал, как оно все обстояло, – от истопника, нашего же брата, но угодливого, поклончивого, давно и навеки испуганного, из тех, что всю жизнь сидят, желтея лицом при виде погон. Ему и в самом деле выдавали полпудовую вязанку, но не из штабеля под навесом, а всякого осинистого дрянца. Главное же, не пускали поколдовать возле печки, пока дрова займутся, а так – разжег и пошел вон. Потом решетку в закуток – на ключ, и больше к печи не подступиться. Дровишки потлеют–потлеют и увянут.

Бывало, под вечер, когда надежды на вторичное появление истопника вконец испарялись, я выплескивал чайник в парашу и давай колотить им о решетку – уши закладывало от железного гула. Спустя изрядное время являлся дежурный офицер. Беседы наши не блистали разнообразием. Я ему, норовя выровнять дыхание: “Замерзаю”; он мне, язвительно: “Топим по норме”. Иной, если не ленивый, даже заходил в мою конуру и прикладывал ладонь к печному кожуху, чтобы тут же отдернуть ее, как бы обжегшись.

Но как-то совсем утром коридорная решетка скрипнула странно, послышались вороватые шажки, откинулась кормушка и в ней – пьяненькая физия надзирателя. Из тех, что не то чтобы записной добряк, но и не сволочь, главное же – знавший меня лет 15, чуть ли не с первого моего бушлатного года. И – шепотком–шепотком – поведал, что у лагерных ворот – вот уже пятый день – Сахаров с женой, требуют свидания. И “голоса” кричат...

Время ползло к полудню, когда в камеру не без труда просунулся бравый подполковник Романов – главный чекист в системе мордовских лагерей. Румянец в полщеки, простодушно разляпистый нос, однако глазок острый, сильно хитрый, подмигивающий, уклончивый...

И впервые, вместо традиционного: “Давай, давай голодай”, прозвучали слова уговора.



(Еще бы: с приходом Сахарова голодовка – уже не местное событие, и московское начальство рывнуло со своих высот: “Прекратить!” Ему ведь – высокому – то начальству – и на меня, и на Романова равно плевать – лишь бы шум закордонный унялся. Будет ли оно с каким – то там захолустным подполковником церемониться, если он оплошает и дело не уладит? А тут еще Сахаров – нет чтобы в “Доме колхозника” мирно чаек попивать, с клопами воевать – по поселку шастает, разговоры с туземцами разговаривает, – выходит, за каждым кустом тихушника сажай, да что ни вечер рапорт в Москву строчи. И сынок этой Боннэр зачем – то вдруг мелькнул. Не привез ли чего и какое поручение увез с собой в Москву? Сильней же всего сосет – угадать, зачем это все? Не может же, ну никак не может того быть, чтобы Сахаров прикатил в задрипанную Мордовию просто так – ободрить, дескать, какого – то зэка... Не – ет, тут что – то не то, неспроста все это...

Оно, конечно, по – своему лестно и даже обещающе местному чекисту мелькать рапортами перед московскими боссами, ну а вдруг чего не так, да и вина за всю эту шумиху, как ни крути, на нем лежит – голодарь – то его епархии...

А Сахаров с женой все бродили да бродили по сугробам вокруг лагерной зоны – целых десять дней. Свидания со мной им, разумеется, не дали. Да они и с самого начала знали, что не дадут.)

Я – Романову: какие, мол, разговоры, когда зуб на зуб не попадает. И вообще – чуть – чуть блефанул я, – чем вы ко мне хуже (хоть бы и с холодом этим), тем злость моя круче – одна она и держит меня. И глаз нарочно заузил, заострил – ненависти подпустил.

Подполковник удалился. Вскоре брякнула, пропуская истопника, коридорная решетка, громыхнули и рассыпались по полу сухие дрова, и еще раз, и третий...

А потом в кормушку всунулась все та же хмельная физия:

– Сколько он еще пробудет?

– Кто?

– Сахаров.

– А я откуда знаю?

Он кольнул недоверчивым глазом.

– А тебе – то что? – ответно полыхнуло во мне подозрение.

– Да я в том смысле, что в магазин вон шамовку забросили – перед Сахаровым выставляются.

(Так ли, не совсем ли так оно было, но позже мне случилось слышать от “вольняшек”, что вот пришли Сахаровы в сельпо, а там, известное дело, шамром покати. Они и давай названивать в Москву, чтобы им кто – нибудь из род –

ных или друзей привез съестное. Начальство всполошилось, и на другой или третий день в сельпо завезли молоко и масло... на радость местному народу.)

Я голодал еще довольно долго – в общей сложности шесть недель, – но теперь уже не только не мерз, но и форточку напрягался приоткрыть. Однако тщетно – заколочена намертво и зимой и летом: свежему воздуху втекать запрещено.

Печка моя дышала запредельным жаром – даже оконная наледь истончилась, обнажив овальной формы проем. Если встать на нары, сильно перегнуться вправо, выкрутив шею еще правее и вверх, – проем совпадет с щелью в оконном наморднике: за паутиной колючей проволоки над дощатым забором виднеется грязный рубец железнодорожной насыпи. Вот прокатил, закутанный в белесое облако, тупорылый паровичок – чуть слышно, отдельно стучат по стыкам ленивые колеса. Если еще и еще поднапрячься и взять правее – клоч поля: под невеселым солнцем голубовато поблескивает колючий снег – словно декорация к злой сказке. Меж снежных холмиков – серый изгиб колдобистой тропинки, редкие фигуры в неуклюжем, черном спешат, оскальзываясь, напряженно горбаться на ходу. Вон один, вполне высокий. Но, конечно, это не он. Он уже уехал. Да и не может он вот так суетливо перебирать ногами и горбатиться. Он прямо ходит...

Не-ет, ничего... ничего... Жить все-таки можно. Не так уж все оно и безысходно.

К печке не притронуться – хоть блины на кожухе пеки.

Ноябрь 1984

(“Континент”, №43, 1985 г. Париж) (60)

## ДВЕ КСИВЫ

**Докажу им правоту -  
Накатаю ксивоту**  
(Лагерная прибаутка).

“Офеня. В старину: бродячий торговец, продававший по деревням мануфактуру, галантерею, книжки и т.п., коробейник... Офенский язык – условный, искусственный жаргон офеней”. \* Коробейники не только мануфактурой да книжками пробавлялись, но и скупкой–перепродажей краденного, контрабандой и всякой другой потаенной всячиной. Отсюда понятная надобность в офенском жаргоне, праотце теперешней “фени” – лагерного и окологлагерного сленга. Изрядная часть словарного актива фени почерпнута из иврита или идиша. \*\* В частности, “ктива” на иврите – писание, письмо; “ксива” на фене – любого рода документ (паспорт, справка и т.п.), но чаще – тайное письмо, записка.

27 января сего (то есть 80–го) года я получил письмо из франкфуртского Комитета в защиту прав человека. Отправитель (Х. Люкс) сообщал: “В прибывшем из Советского Союза грузе досок двое рабочих нашли письмо...” Не письмо, а ксиву!..

Судя по тому, как развиваются события, пора уже, быть может, и европейцам осваивать феню...

Внутрирторемная почта не знает выходных – ксивы–малявки круглосуточно спуют туда–сюда под самым носом у охраны. Надзиратель – он что? Он ведь на окладе сидит и, само собой, такой же халтурщик, как и всякий почти совслужащий – лишь бы день избыть. Конечно, случаются среди них патологические шмональщики, однако и ээка – не пальцем деланные, так что даже и самому пронирыливому менту все равно далеко до среднестатистической арестантской ушлости. Типичный же надзиратель – лентяй и охламон, – войдя в камеру, порой честно предлагает: “Дайте мне какой–нибудь ножичек или хоть гвоздь что ли”. Дескать, и вам не хлопотно, и мне под нарами не лазить... Ему лишь бы в служебном журнале отметили, что прапорщик Кишкин в такой–то камере из запрещенных предметов обнаружил и изъять то–то и то–то... Но когда проводится узкоцелевой обыск, да еще по наущению гэбни или под ее личным присмотром, – это дело другое, тут уж они обнохивают–ощупывают тебя не за оклад, а за страх.

\* С.И. Ожегов, “Словарь русского языка”. Москва, 1963 г.

\*\* Примеры навскидку: хевра, коцать, мацать, кешер, мусор, параша, фрайер, клифт, хохма, бан, шикса, малина, хипеж... В конце сороковых–начале пятидесятых даже общесоюзный воровской сходняк назывался Дин–Тойре, то бишь раввинский суд.

Как-то оно так все складывается, что если уж попал за решетку, то надолго и, не овладев арестантской наукой обходить legion начальственных запретов, загнешься. Вот и ксивология та же – не проста...

Пути ксивы сложны, рискованны и потому надлежит ей быть крохотной и несусловной. Зато же и велик ее доказательный и призывный вес в ножевых дружбах–распрях, счетах–сговорах, объявлениях войны...

С переправкой ксивы на волю – труднее, тем более, что адресованная фрайерам, такая ксива вынуждена быть пространной.

Мало ли зачем зэка норовит обойти цензуру. Крайне редко для устройства киношного побега: пулевого риску много, а толку мало – затеряться потом в насквозь проштепелеванной, нашпигованной сексотами стране почти невозможно. Чаще ксива на волю – просьба–инструкция родне или приятелю: как исхитриться насчет чего–нибудь съестного или дурманящего. А то – адресованный Кремлю вопль: жалоба на шемякин приговор или лагерную “мориловку–давиловку”. Иной раз ксиву просто перебрасывают через лагерную запретку в расчете на любого прохожего: отправит он ее по назначению – дай ему Бог здоровычка, сдаст в органы – зэка в голодном–холодном карцере греется смакованием, чего и как он сказал про падлу начальника. Такие послания порой не столько собственно кремлевскому Брежневу вопиют, сколько своему, лагерному: усостить, пригрозить крайней степенью отчаяния, безысходности, готовностью на ножевую или иную лихость... Бывает, такая ксива предельно лаконична – развернет прохожий сверточек, а в нем ухо в сгустках крови, с корявой вязью наколки: “Съезду КПСС!” Иной отхватывает себе ухо, юродствуя, с каким–нибудь ерническим приплясом, другой – встав в лозунговую позу, но всегда тут не только надрывный отказ когда–либо вернуться в здоровый советский коллектив, но и более глубокий пласт – некий святотатственный жест, некое “ужо тебе!”

Из политлагерей выскальзывают ксивы особого рода, из тех, что потом порой подшиваются к судебному делу как доказательство “враждебной деятельности”. Нет большей неприятности для местных гэбистов, чем утечка обличительной информации – нагоняй из Москвы (за сам факт утечки) не украшает послужного списка. И потому в доносах стукачей, что посмышленней, всегда хоть пара слов о щелях в тюремно–лагерных стенах, чаще вымышленных, чем реальных, – угодливо–корыстный отклик на настоящий запрос хозяина. В этом смысле вполне представителен донос Тяни–Толкая\* капитану КГБ А.И.

---

\* Знатоку сленга не надо объяснять, что такая кличка может быть только у “голубого”.

Тюрину – оперу лагеря особо строго режима для особо опасных рецидивистов–государственных преступников №385/7–1 Дубравлага.\*

“В 1–ю хату, Гинзбургу.

6.10.78. Алик, вчера Выдра добыл мне ксиву – Тяни–Толкай намолотил доносца, да не успел вручить адресату.

Вот сие творение одного из скромных тружеников тайного фронта, на чьих мощных плечах, изукрашенных кинжалами, змеями и афоризмами, типа “Жизнь – это борьба”, лежит тяжкое бремя служить надеждой и опорой такой высокоидейной и гуманной организации, как ЧК.

Э.К.

---

\* стр. 13 написанной в лагере рукописи под условным названием “За колючей проволокой”. А. Гинзбург, Э. Кузнецов. Личный архив автора.

“Гражданин капитан, сегодня я был на работе. 4 числа октября месяца. Гинсбур с Кузнецовым целый день говорили об чемто после обеда часа два или три. Потом меня Кузнецов застукал я будто спал и угрожал избить до самой полусмерти\* , но я не боюсь хотя опасаясь потому что руки дрожат и голова раскалывается. Вы мне обещали две пачки индуюхи\*\* и упаковку теофедрина или кодеина. Я лежал на лавке будто спал и простыл, шол дождь и дул ветер. Они говорили, как победить советскую власть. Гинсбур говорил в нашей шайке 32 человека и еще 20 всего 52 значаща.\*\*\*.) Еще говорили какойто Малин им письма пишет и его будут судить в ООНЕ. Денег у нас говорили много, уголовникам и полицияам не дадим, где прячут не знаю. Кузнецов сказал подкупить прапора Завьялова за 300 рублей он все носить выносить будет. Он ему за деньги и мигалки\*\*\*\* чай носит. И еще за ручки американские\*\*\*\*\* Потом Кузнецов кричал всех убивать как Зержинского и Берию, а Гинсбур с ним соглашался. Вы просили узнать как голодовка на 7 октября месяца в конституцию, ничево не узнал врать не буду. Новиков врачуху за таблетку она ему не дала хочит облить нечистью. Значит из парашаи. Гражданин капитан вы же не забывайте что обещали. №37.”

Алик, не написать ли нам протест Андропову? Потребовать более качественного обслуживания – пусть в стукачи записывают только имеющих высшее образование и не путающих поллюцию с революцией”.

---

\* Для сравнения - страница 6 той же рукописи. Мы с Гинзбургом обсуждали возможность нелегальной отправки письма некоему Г. Малику - социалисту из Глазго, через “Литературную газету” (от 27.09.1978 г.) напавшего на подсоветских правозащитников. “Я тезисно набросал проект письма. Вот послушай. Пойдем вот сюда, за уголок... Эге, да тут, оказывается, Тяни-Толкай лежит - как бы спит. Эй ты, проснись, а то ухо отморозишь!.. Идем в другой угол...”

\*\* Т.е. индийского чаю.

\*\*\* Речь шла о том, что на 37 заключенных нашего лагеря приходится 20 надзирателей (включая цензора, но за вычетом взвода охраны).

\*\*\*\* Т.е. стереоткрытки, до которых туземцы и вправду весьма охочи.

\*\*\*\*\* Чистой воды вымысел. Чем-то, видать, Завьялов досадил ему, и он пытается отомстить ему руками ЧК. Вообще далее вымысел переплетен с обрывками полуправды так плотно, что комментировать его утомительно.

Авантюристичные зэка порой пытаются “урвать свой клочок”, играя на сыскных страстях ГБ.

“Подсылал он к нам, – рассказывает В. Буковский о капитане КГБ Обрубове, – постоянно баландеров, шнырей и прочих уголовников из хозобслуги, чтобы те взяли у нас какую-нибудь записочку на волю или письмо. За это приносил им тайком запретный в тюрьме чай. Хозобслуга, естественно, все это рассказывала нам, считая такой путь наиболее простым, и просила нас сочинять для них туфтовые записочки. Нам это тоже было выгодно, так как взамен хозобслуга соглашалась передавать нашим в карцер махорку... Поэтому мы регулярно снабжали Обрубова туфтовыми посланиями на волю, а то и петициями в ООН, которые он представлял выше как доказательство своей полезности”.

\*

Иной раз плата за “кочек” бывает высокой. Так, в начале 1973 года некто Н.И. Мартатьян за десять пачек чаю “выдал” тогдашнему чекистскому опекуну нашей зоны капитану А.М. Кочеткову “секрет”: будто в одном из ящиков с хрустальными подвесками для люстр – продукции нашего лагеря – спрятана ксива, адресованная Сахарову. Взвод надзирателей, нагрянув в склад, весь день терзал гору ящиков – в каждом по 40 хрупких подвесок, всякая-то в особую бумажку завернута... О том, сколько при этом побили деликатной продукции, кто ее потом вновь упаковывал и по какой графе списали издержки этой рядовой чекистской операции, одному нечистому известно. А Кочетков пригрозил Мартатьяну: “Тебе этот чаек слезками отольется!” И в самом деле, едва он это сказал, сразу почему-то так стало получаться, что как Мартатьян ни ступит, все в карцере окажется... В конце августа того года он не выдержал и расклеил на прогулочном дворике пару листовок \*\* – как раз на пять добавочных лет, за каждую пару пачек чаю по году.

В ноябре 1978 года я получил из владимирской тюрьмы “маляву” с просьбой переслать ее А. Д. Сахарову.\*\*\* Вместе с другими ксивами она через некоторое время выскользнула из зоны. Не знаю, видел ли ее А.Д. Сахаров.

“Здорово, братцы политики. Пишет вам Колек Зимогор. Нам с кентом

---

\* В. Буковский, “И возвращается ветер...”, “Хроника”, Нью-Йорк, 1978, стр. 37-38.

\*\* “Долой!..” и т.п.

\*\*\* стр. 21-22 рукописи “За колючей проволокой”.

скоро возвращаться по адресу Татарская АССР город Альметьевск п/я УЭ–148/8. А нам там вилы от начальника режима капитана Ф. Р. Ситухина. Надо сообщить Сахарову, может его снимут или переведут. В 1974 году в апреле месяце приезжали на свидание к сыну Цонзву Антону мать и отец. Но так как он в то время находился в карцере, им было отказано Ситухиным, но так как они прибыли из далека и пристарелые, то кровожадный людоед Ситухин дал им свидание с сыном на условиях, чтобы они прежде посмотрели, как он содержит его. Карцер находился возле зоны. Когда этот варвар дикарь открыл первую окованную железом дверь, то перед взором через решетчатую дверь просматривалась узкая полоска с черными, мрачными и сырыми стенами. Карцер рассчитан на двух, в нем помимо Цонзва Антона находились еще Альберт Беляков, Сухонов, Идров. Мать и отец, увидев своего истощенного сына, охнули и всплеснули старыми руками от ужаса. Материнское сердце не выдержало и она рухнула замертво. Садист убийца всего навсего лишь усмехнулся злорадно. Ничего с тех пор не изменилось, как нас во Владимир увезли. Рабы после отбытия тюремного режима со страхом бояться возврата к этому вампиру. Производство – ДОК\* , в библиотеке книг считай нету. Менты произвольничают, бьют. Режим строгий, кормежка скудная.

Во владимирской тюрьме 4–го октября месяца 1978 года рабы третьего корпуса не вышли на работу. Причина: не стали продавать в ларьке двух килограмм хлеба как положено раз в месяц и чая, отменили получать в бандероли раз хоть в год теплое белье, шелковые майки, шарфы. В карцер стали сажать только в майке и трусах, в брюках ХБ, тапочках и одних носках. В карцерах стоит жуткая холодина. Для того, чтобы сломить рабов, администрация применила жестокие наказания, некоторых избили. 19 рабов перевели на голодный паек на шесть месяцев и объявили об этом по радио. Но и это не помогло. Тогда они прибегли к помощи воров, купили их за чай. Вор по кличке Кузя написал малявку и она обошла все камеры, в которой указывалось, чтобы выходили на работу ибо мужики не имеют прав противоречить ворами. Таким методом протест рабов был сломлен. Еще бы, ведь производство дает каждый день 22 тысячи чистой прибыли. Производство – швейная и сборка моторов. Привет политикам. Долой садистов коммунистов!”

“В прибывшем из Советского Союза грузе досок двое рабочих нашли

\* Деревообрабатывающий комбинат.



письмо..." Все-таки кое-что изменилось: в сталинские времена среди таких досок находили не только письма, но и отрубленные руки.\*

Это к вопросу о прибыльной торговле с государством-рабовладельцем. Впрочем, это тема особая.

Один из подписавших послание, найденное в грузе досок, – Михаленко. Кто он таков, мне не известно, но второго – Ахметова – я знаю хорошо. Сейчас ему 30 лет. Тонкий и смелый человек, поэт, башкир, жил в нищете и, едва ему стукнуло 18 лет, за какой-то пустяк оказался в уголовном лагере, где в 1971 году за так называемую антисоветскую агитацию был снова судим, признан особо опасным государственным преступником-рецидивистом и добавочно приговорен к 7 годам лагерей

---

*\* Вот отрывок из одного из таких писем, попавших на Запад в 1932 году. "Господа, люди, главы государств! Мне бы хотелось рассказать правду о жизни в свободной России. Сперва русская революция расправилась с буржуазией и интеллигенцией, часть которой была уничтожена, а часть пошла на службу к красному империализму и тирании. Потом пришел черед среднего класса, численность которого велика.*

*И где теперь этот класс? В глуши лесов северной России валит лес для ваших гробов. Позор тебе, Европа! Посмотри, что ты делаешь! Далекая Америка уже сделал ряд шагов - она заявила протест и отказалась покупать бревна, на которых кровь, слезы и пот, а вы боретесь между собой за укрепление коммерческих связей с нами, чтобы помочь нам выполнить пятилетку. Однако помните, что вы готовите петлю для своих шей... Даже итальянские фашисты приходят и кланяются нам, чтобы получить заказы для своей машиностроительной промышленности. Вы воображаете, что это уменьшит у вас безработицу? Если и да, то не надолго. Коминтерн не дремлет, он не спускает с вас горящих глаз, как питон - чтобы заглотить вас, погрязших в своих распрях...*

*Нас заставляют работать как животных, без пищи, без одежды, без врачебной помощи... Под угрозой смерти нас заставляют работать по 16 часов в день за 700 грамм хлеба, без единого выходного. Ни масла, ни мяса - нет абсолютно ничего. Мы почернели от изнурения и голода. Муж уже не узнает своей жены, дети - родителей... Это невероятно, неопишимо, такое неведомо ни одному литературному вымыслу.*

*Люди едят кору деревьев и траву. Почему вы молчите, почему молчит комиссия Лиги наций по вопросу о закупке леса?.. Сделайте что-нибудь для нас, помогите нам Бога ради, ибо мы умираем от голода и репрессий. Таких людей не сотни, а тысячи и миллионы..."*

*Out of the Deep. Letters from Soviet timber camps. Geoffrey Bles, London, 1933)*

особо строгого режима и 3 годам ссылки. Так он оказался в нашей зоне.

1972 год выдался особенно голодным, наш лагерь то и дело бунтовал. Так что начальству нужна была расправа над кем-то, чтобы усмирить остальных. Из лозунгов, которыми были расписаны стены и потолок камеры, где вместе с десятком других арестантов сидел Ахметов, я помню лишь один: "СССР – тюрьма народов!" Ему довели 5 лет тюрьмы за... "хулиганство", и вернулся он в нашу зону только в декабре 1977-го года. А в апреле следующего года, по истечении срока действия политической статьи, его этапировали в какой-то общеуголовный лагерь.

**"НАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ, ЛЮДИ.**

Не знаем, в какую страну – социалистическую или свободную – будет экспортирована продукция, которая производится рабским трудом советских заключенных, но, независимо от политического устройства страны-импортера, мы адресуем свое обращение к населению этой страны и к ее правительству от имени советских политзаключенных, в надежде, что наше письмо найдет отклик в любой стране и у любого народа.

Двое политзаключенных – Ахметов Низаметдин Шомеутдинович и Михаленко Владимир Михайлович, помещенные в уголовный лагерь особо-го режима в глубине Сибири, изолированы наглухо от общественности страны и всего мира, не имеют надежды на освобождение, сама жизнь их находится в опасности. Мы не убийцы, не воры, не насильники, мы только посмели подумать о свободе, посмели иметь СВОИ убеждения и – главное – посмели говорить и писать о свободе, о правах, о демократии, то есть посмели говорить правду и не скрывать своих убеждений.

...Мы живем в стране, которую называем Родиной, которую любим и которую поэтому ненавидим такой, какой она стала под чекистским сапогом и под управлением фашиствующей камарильи – ЦК партии. Наш народ – самый бесправный и нищий; наши тюрьмы – самые крепкие и вместительные; наша армия – самая большая и агрессивная; наше правительство – самое жестокое и коварное; политика нашей страны – самая большая угроза всему миру... Не верите? Так рукоплещите коммунистам! Встречайте советские танки с младенцами на руках вметсо гранат! Улыбайтесь советским ракетам, нацеленным на ваши жилища! Вы давали всегда дорогу коммунистам, так расступитесь и теперь! Отдайте им Западную Европу, пу-стите их в Африку, натравите на Китай!..

Дайте победить коммунистам – мы просим вас об этом, мы хотим это-го. Пусть взвоятся красные флаги над Бонном, Парижем, Лондоном, Вашингтоном!.. Пусть вся планета наша станет коммунистической под-

небесной! Коммунизм на ваши дома! Тогда, только тогда каждый узнает, что такое коммунизм: весь мир получит иммунитет от этой красной эпидемии, переболев ею. Предупреждаем: останется полмира, а может, и меньше.

Конечно, вы не хотите таких жертв и не примете этого самого верного и естественного рецепта. Мы тоже, в общем, против этого, но мы не можем равнодушно наблюдать, как свободный мир шаг за шагом уступает свои позиции комунизму, заигрывает с ним, а скоро начнет и бояться. Это предательство.

...Мы признаем, что Запад делал и делает много для нас – и политзаключенных и всех наших соотечественников – особенно в последние годы, и мы признательны за это. Но мы думаем, что можно сделать больше, гораздо больше. Мы не просим, чтобы нас освободили американские или другие солдаты – это абсурд, так мы можем стать только врагами. Но более широкая и прочная солидарность, более решительная поддержка – это возможно, нужно и должно быть.

Н. Ахметов, В. Михаленко

Сентябрь 1978 г.

Красноярский край, Уярский р-н, ст. Громыдская, VII-238/16".

Накануне этапа я дал Ахметову один московский адресок, чтобы он исхитрился сообщить, в какой дыре окажется, что там за жизнь и нельзя ли чем-нибудь помочь ему. Но в Москве от него так ничего и не было. И только почти два года спустя он подал голос – через Франкфурт-на-Майне... До чего же тесен мир!.. Грустно. И вопросы все какие-то лезут в голову несуразные, несовременные, непроfitные... Любопытно, на что идет советская древесина, какими лаками ее лакируют, чтобы приглушить источаемый ею запах страданий и крови? И почему иные преуспевающие западные дельцы и государственные мужи так внутренне похожи на уголовников? Тем тоже лишь бы сейчас чем-нибудь "кишку" набить, лишь бы сегодня чем ни то поживиться, а там хоть и трава не расти...

"Континент", № 24, 1980, Париж

## **ПЕРСОНАЖ В РОЛИ АВТОРА, или СЕРЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ**

В свое время Троцкий (тогда еще всесильный) заявил, что в обществе будущего средний человек будет Аристотелем или Гете. Довольно характерное обнаружение пределов интеллекта теоретика марксизма – наследника радужных идей Просвещения и уверенности, что человечество обречено на прогресс. Разумеется, ни поголовное знание таблицы умножения, ни даже овладение умопомрачительной компьютерной техникой, ни умение лепить слова друг к другу – еще не пропуск в Аристотели и Гете. Однако ирония нашего столетия в том, что подавляющее большинство “прогрессивных” потуг, соблазнов и пророчеств если и осуществляются, то с точностью до наоборот, с подменой изначального смысла, с переходом в иное качество – как правило, зловещее.

Вытолкнутый на арену истории средний человек – имя которому легион, – усиленно плодит свою среднюю интеллигенцию (в скобках заметим: почти непременно левую). Именно в ее многомиллионных руках и оказалась современная культура во всех ее разновидностях.

Субкультура так называемого простого человека существовала всегда – условно говоря, на фольклорном уровне, – поставляя строительный материал собственно культуре. У простого человека, нынче ставшего средним классом, преобладает мифологическое сознание. У него всегда были готовые верования, традиции, обобщающие жизненный опыт поговорки, ходячие мнения, иррациональная тяга к исповеданию того или иного тотального объяснения мира. И вот средний человек, слишком быстро и вдруг оставив свое традиционное место в Хоре и узурпировав роль солиста, утвердил весь этот набор свойств на авансцене культуры.

Было бы некоторым эмоциональным преувеличением сказать, что нынче Филемон и Бавкида пишут о Гете, Иван Ильич – о смерти Толстого, “подпольный человек” – о душевных гримасах Достоевского. Как правило, – нет. Не потому, что не могут, а потому, что ни Гете, ни Толстой, ни Достоевский им попросту не интересны. Они пишут в основном о себе и для подобных себе. За последние полстолетия простой человек превратился из персонажа в автора и основного потребителя собственных творений. Для удовлетворения спроса этого преобладающего, почти монопольного потребителя пишутся книги, снимаются фильмы, малюются картины, создаются наукообразные, “прогрессивные” концепции авторами, вербуемыми из бездонных недр средних классов.

Можно сказать, что почти вся мировая классика последних полутора ве-

ков была литературой о простом человеке. "О", и лишь сильно во вторую очередь "для". Но сегодня простой человек, став средним человеком, не нуждается в том, чтобы его понимали, жалели, сочувствовали, просвещали и т.д. Он желает, чтобы его оправдывали и только. Чтобы громко кричали ему денно и нощно: "Ты прав!" Ты прав, когда совершаешь революции – социальные и сексуальные, – ты прав, когда утверждаешь, что все на свете – чушь, кроме потребностей твоей плоти, ты прав, обожествляя жизнь вне ее смысла, ты прав всегда и во всем. И если в обществах советского типа государство, сперва уничтожив пулей и концлагерем носителей так называемой рафинированной культуры, потом обеспечивает господство средней культуры самым способом функционирования партийно–государственной системы, то в странах демократических торжество средней культуры основано на действии рыночных механизмов. Разница немалая, как, например, разница между овладевшим женщиной насильно и соблазвившим ее посулами, цветами и подарками. Так что отличие весьма существенное... хотя конечный результат, в известном смысле, совпадает. И это совпадение результатов возвращает нас к давно утраченному пониманию изначальной трагичности жизни, одним из существенных аспектов которого является признание неизбежного дряхления и умирания культуры.

Массовидный человек – сюжет не новый. Многие из сказанного мною – положения известных мыслителей, хотя я зачастую интерпретирую их не вполне тривиально, дабы обосновать свою тему. В частности, давно уже звучали предупреждения, что миру угрожают не только ядерная катастрофа и экологический кризис, но и торжество "массового человека". Мне же представляется, что угроза массовидного человека первичней. В том числе и потому, что – хотя и неявно – в известном смысле, как раз в его руках ядерное оружие (во всяком случае, в руках советских вождей – наиболее характерных носителей психологии наихудшей разновидности среднего человека, той, чья ВНЕнравственность и агрессивность граничат с психологией уголовника). И еще потому, что он – раб разрушающей природную среду техники, работающей не столько ради максимально возможного освобождения человека от нетворческого труда, сколько ради удовлетворения бесчисленного и все возрастающего множества потребностей самого среднего человека.

Техническая эпоха вытолкнула на авансцену истории огромные человеческие массы, и как раз тогда, когда они заметно избавились от балласта религиозных верований и этики – балласта, затрудняющего маневрирование в жестоком житейском море.

Тема безверия вплотную подводит нас к теме тоталитаризма, о которой еще русский философ Николай Бердяев заметил, что он есть религиозная трагедия: в нем обнаруживается религиозный инстинкт человека, его потребность в целостном отношении к жизни. Потому, в частности, так привлекателен для среднего носителя средней культуры марксизм, сила которого, по словам Раймона Арона, не в степени интеллектуального качества, а в его способности становиться мифом, “секулярной религией”, активной верой, взрывчатой смесью мифа, христианства и рационализма.

В глазах среднего человека культура как таковая не имеет самоценности, она (точнее – ее суррогат) – лишь способ овладения благами жизни. Вообще средний человек – носитель напряженной воли к самой “жизни”, к практике “жизни”, к могуществу “жизни”, к наслаждению “жизнью”, к господству над “жизнью”. И эта излишне напряженная воля к “жизни” губит культуру, несет смерть культуре – в ее традиционном значении. Слишком хотят “жить”, строить “жизнь”, организовывать “жизнь” в эпоху заката культуры. По словам Бердяева, эпоха культурного расцвета предполагает ограничение воли к жизни, жертвенное преодоление жадности жизни... Когда в массах человеческих слишком распространяется жадность к “жизни”, умирает воля к культуре, нет более воли к гениальности, гении перестают рождаться. Культура начинает сдавать свои позиции, ориентированные на качественность, – начало количественное ее неизбежно одолевает. Происходит социальная энтропия, рассеяние творческой энергии культуры.

В 1979–м году советский ученый Б. Гаспаров в статье “О некоторых тенденциях развития мелодики русской речи” писал, что мелодика русской речи (то есть различные параметры высоты тона, тембра, темпа, динамики и прочего – словом, все то, что составляет “бессознательный фундамент” речи) за последние 50–60 лет претерпела существенные изменения. Если дореволюционная русская речь воспринималась как более “густая”, насыщенная, имеющая “грудной тембр”, для речи современного типа характерно не только более высокое, но и более “светлое”, “пустое” звучание. Гаспаров замечает, что данный “зажатый” тип мелодики был известен в языке ранее, однако характеризовал не литературное произношение, а способ речевого общения одного из слоев городского простонародья... Поскольку работа Гаспарова опубликована в подцензурном издании, он только намекает на то, что под городским просторечьем имеет в виду речь “люмпенов” и блатных – с ее напряженным горловым хрипом и нагнетанием истерии. Аналогичное наблюдение могло быть сделано и в Германии времен нацизма. Однако, в той мере, в какой правомерно утверждать, что

национал–социализм и просто социализм – законные детища всего хода мировой истории, полууголовные визгливые интонации – с той или иной мерой напористости – звучат во всех уголках земного шара.

И, между прочим, одним из фундаментальных объяснений перманентной наступательности государств советского типа, того, что они год за годом теснят демократии, того, что одной из важнейших форм их ГОСУДАРСТВЕННОЙ жизнедеятельности является, например, кража технологических новинок на Западе и в Японии, может стать еще никем серьезно не исследованное явление: уголовная психология и уголовное видение мира, доминирующее на всех этапах советского режима как такового. В частности и потому, что в советском государстве все под лагерем ходят, над всяким в любой момент грянуть может. За советскую историю через концлагеря прошли порядка ста миллионов человек, прочно усвоив основные постулаты лагерной борьбы за кусок хлеба, за место на нарах: “умри ты сегодня, а я – завтра”, “не украдешь – не проживешь”. Вряд ли так было задумано с самого начала. Шли к этому шаг за шагом, как пьяный: от пивной к пивной – к канаве. В блевотине всеобщей лжи и воровства лежат в обнимку пионер с пенсионером, жертва с палачом, партиец с попом... лежат и по фене ботают. Вряд ли тотальная криминализация была задумана еще в безумном 17–м году, но со временем режим инстинктивно постиг полезность уголовной психологии, стал культивировать ее и использовать, уловил мировую тенденцию криминализации психологии массового человека и оседлал ее. Внутри это полезно для целей тотального контроля, ибо ведь даже если ты копеечную какую–то детальку выносишь с завода – все, твой возможный бунт подрезан под корень, в твоём вопле уже не прозвучит чистая нота глубинного, нравственно мотивированного гнева, ты теперь причастился всеобщей подлости, и голос твой будет дребезжать фальшью, “густой, насыщенный, грудной тембр” сменится “зажатым, светлым, пустым” звучанием. Вовне уголовная хватка дает массу преимуществ в отношениях с государствами, еще блюдущими некие международные нормы поведения.

Но еще раз подчеркиваю, что криминализация психологии массового человека – тенденция общемировая, в разных государственных и общественных системах по–разному пробивающая себе дорогу в жизнь.

Об уголовности как важнейшем структурном элементе личности среднего человека можно, в частности, догадаться на основании работ Теодора Адорно, создателя “Ф–шкалы” – теста на выявление скрытых “фашистских” компонентов личности у самых что ни на есть рядовых американцев.

Суть уголовного мировоззрения: живи сейчас, любой ценой срывая цветы жизни, не считаясь (по крайней мере, внутренне) ни с какими нормами и законами. Это никогда не насыщаемая жажда примитивных развлечений, потребность в сильных, щекочущих нервы ощущениях, пристрастие к массовым зрелищам. На более глубоком психологическом уровне обнаруживается стойкий корпоративный дух со свойственной ему системой внешних отличительных признаков, условных жестов, объединяющих возгласов и т.п. Следующая серия особенностей – снижение чувства юмора, враждебность к иронии как компоненту мировоззрения, четкие рефлексии на приказы и ключевые слова, зараженные ненавистью, превосходная степень прославлений и проклятий... И, конечно же, культ молодости как идеального состояния человека, молодости с ее инфантилизмом и безответственностью, с ее бездумной жестокостью.

Совпадение психологии уголовного сознания с рядом существенных характеристик психологии массовидного человека несомненна. С той лишь разницей, что в одном случае “жизненная философия” выступает откровенно, обнаженно, а в другом она пока еще полуприкрыта, по инерции рядясь в одежды уходящей культуры.

Итак, персонаж, выглядевший таким привлекательным на страницах романов, став хозяином жизни, оказался малосимпатичным. Персонаж стал автором и несет истинным авторам смерть.

Остается лишь надеяться, что Ясперс хотя бы частично окажется прав, утверждая, что “человек всегда может больше, и иное, чем то, что кто бы то ни было мог от него ожидать. Человек незавершен и незавершаем, и всегда открыт для будущего”. Вопрос только: какого именно будущего? Но тут нам служит утешением то, что, говоря о будущем, мы неизбежно рассуждаем в рамках вероятностной логики, а, как известно, многое случается за пределами всякой сегодняшней логики. Человек не раз в прошлом обнаруживал непредсказуемую способность, дойдя, казалось бы, до конца пути, вновь обрести силы искать другую дорогу.

Не говоря уже о том, что даже во времена, когда вовсю чадят факелы псевдокультуры, сохранились еще и свечи культуры истинной, не истаяло вконец понимание свободы не столько как права, сколько как тяжелой обязанности, которую надо выполнять вопреки всему. Свободы как осознания долга перед смыслом жизни, свободы, которая требует готовности сопротивляться даже естественному развитию мировых ситуаций, несмотря на то, что они обеспечены функционированием максимально демократического механизма – рыночного.

(Доклад, прочитанный в Токио на конференции “XX век” в 1984 г.)



## **ПРИМЕЧАНИЯ**

1). После освобождения из лагеря - если не ошибаюсь, в 1975 году - Петро Рубан, человек мастеровой и вообще всячески талантливый, сделал, как пишет А.Д. Сахаров ("Воспоминания", стр. 652), "сувенир в виде книжки-бювара с различными картинками, набранными из кусков дерева. На обложке была изображена Статуя Свободы. Рубан хотел послать этот бювар в США, в дар американскому народу ко Дню независимости. Его арестовали и осудили на 8 лет заключения и 5 лет ссылки". Нет сомнений, что расправились с ним столь жестоко не в последнюю очередь из-за того, что КГБ знал о его прямом участии в переправке "Дневников" из зоны. Долгое время я полагал, что жену Петро Рубана засекли, когда она доставила "Дневники" Сахарову, и лишь в 1992 году мне стало достоверно известно, что один из наших ближайших лагерных друзей, тоже причастный к контрабандной переправке "Дневников" за лагерные пределы, давно сотрудничал с ГБ. Впрочем, агентурный донос (оговорюсь: если он имел место быть) не исключает и первой версии, а скорее дополняет ее, - Э.К.

2). Деликатный намек на то, что подбросили мне этого Козлова (если это была его подлинная фамилия) неспроста. "Подсадных уток" частенько привозят в следственные изоляторы именно из лагерей, - Э.К.)

3). "Кресты" - следственная тюрьма ленинградского МВД, "Большой дом" - следственный изолятор КГБ Ленинграда и ленинградской области, - примеч. ред.

4). Юрий Федоров - подельник Э. Кузнецова, отсидевший в советских лагерях в общей сложности 18,5 лет. Ныне живет в Нью-Йорке.

5). Алексей Мурженко - подельник Э. Кузнецова, отсидевший в советских лагерях в совокупности 22 года. Умер в Нью-Йорке 31 декабря 1999 года.

6). Мэри Хнох - жена одного из "самолетчиков" (Арье Хноха) и сестра другого (Иосифа Менделевича). Алевтина Ивановна - жена Марка Дымшица, Лиза и Юлия - их дочери.

7). 83 статья УК РСФСР - побег за границу; санкция - до трех лет заключения.

8). Гилель Бутман - один из активистов Ленинградского Координационного Комитета - сионистской организации, занимавшейся в основном распространением книг о сионизме, Израиле и учебников иврита. Бутман - автор идеи о захвате самолета. Когда дело вплотную приблизилось к необходимости предпринимать конкретные шаги для реализации этого намерения, Бутман со товарищи запросили по тайным каналам израильские правительственные круги, зная или, как минимум, догадываясь, что Израиль такой акт ни в коем случае одобрить не может. (Хотя бы по-

тому, что в то время Израиль все еще придерживался идиотской тактики “тихой дипломатии”, суть которой предельно откровенно была сформулирована на правительственном спецзаседании то ли в марте, то ли в апреле 1970 года: никаких официальных действий, которые Кремль может истолковать как антисоветские. Сведения - хотя и отрывочные - об этом решении дошли до нас.) Не говоря уже о том, что в соответствующих организациях в Израиле не могли не зародиться подозрения определенного рода, поскольку там знали, что КГБ достаточно серьезное учреждение, чтобы плотно контролировать такую организацию, как КК, чья деятельность неизбежно была во многом на виду. Вот что председатель КГБ Ю. В. Андропов сообщает в докладной записке за номером 1184-А от 30 апреля 1970 года (архив ЦК КПСС, № 14359; сверху непременная шапка “Сов. секретно”): “Комитетом госбезопасности получены данные о существовании в Ленинграде сионистской организации, состоящей из пяти групп националистически настроенных граждан по шести человек в каждой. Руководители групп, среди которых Черноглаз Д.И., Дрейзнер С.Г., Бутман Г.И., составляют “Комитет” данной организации... По непроверенным данным, на совещании “Комитета” 26 апреля с.г. Бутман предложил провести “акцию”, содержание которой держится в строгом секрете... Большинство членов “Комитета” выступили против “акции”, опасаясь, что она может поставить под угрозу их организацию и каждого его члена. В связи с этим они считают необходимым получить на это санкцию у израильских правящих кругов”.

В середине октября 1999 года корреспондент российской телекомпании “ВИД” Станислав Соловкин встретился с бывшим в 1970-м году начальником 5-го отдела (борьба с диссидентами и сионистами, - примеч. ред.) УКГБ по Ленинградской области Юрием Поповым. Соловкин в письме Кузнецову сообщил следующее: “Попов отказался от интервью, потребовав выключить диктофон и кинокамеру. Так что беседу с ним я позже восстановил по отрывочным конспектам в блокноте.

Первая информация о том, что “сионисты что-то готовят” появилась в январе 70-го года. Ульпаны (то есть классы по изучению иврита, - примеч. ред.), особенно ленинградские, стояли на прослушке. И кто-то что-то услышал. По другой версии - принес в клювике информацию агент. В марте 70-го из КГБ СССР (от Бобкова, первого зама Андропова и одновременно начальника 5-го отдела) поступила следующая информация: в Ленинграде готовится акция, равная по масштабу убийству 1-го секретаря обкома... Из Москвы пришел приказ: не допустить!

По-моему, - пишет далее Соловкин, - следующая история - плод больной фантазии КГБ, но многие из них верят в нее искренне. Цитирую Попова: “Они

приготовили в качестве кляпа носок. И говорили между собой: “Это грязный, вонючий еврейский носок, чтобы заткнуть рот русскому пилоту”. Немного тошнотворно и глупо, - комментирует Соловкин, - но цитата точная. Прощаясь, Попов, объясняя свой отказ от интервью, сказал следующее: “Фамилия Попов Юрий Иванович нигде не светилась. Я об евреях мараться не буду”.

Как только группа Кузнецова-Дымшица узнала об отказе Бутмана и прочих членов КК участвовать в самолетной акции, они сообщили им, что тоже похерили эту идею (поскольку, де, получен отрицательный ответ из Израиля), на самом же деле продолжая действовать в тайне от своих недавних соратников. Бутман по так называемому “второму ленинградскому самолетному делу” получил 10 лет, остальные “отказники” из состава КК тоже получили весомые сроки, - примеч. ред.

9). “Мы предчувствие... предтеча...” (Площадь Маяковского, 1958-1965 гг.) Людмила Поликовская, “Звенья”, Москва, 1997 г.

### **От автора.**

Москвичи, которым сейчас за пятьдесят, наверное, помнят, как на площади Маяковского, у памятника поэту, собиралась молодежь и читала стихи, свои и чужие, хорошо известные и “забытые”... Звучащий самиздат в центре столицы социалистического государства! Это было чудом. И потому собирало толпы. Удивленные, сочувствующие, восторженные и настороженные: что-то будет. И “что-то” не заставило себя ждать: стали появляться добры молодцы, иногда с красными повязками, иногда - без, и - с переменным успехом - разгонять читающих.

В октябре 1961-го чтения прекратились. Поползли слухи: всех посадили, выслали... Мало, кто знал, что же произошло в действительности, но в Москве стало скучнее - это почувствовали многие.

### **Интервью с Эдуардом Кузнецовым**

Из всех героев этой книги Эдуард Кузнецов появился на площади последним. Если раньше идея конспиративной деятельности только бродила в головах Осипова\* и Новогоднего\*\*, то с появлением Эдуарда Кузнецова и - думается - во многом по его инициативе и была создана подполь-

\* Владимир Николаевич Осипов, конспиративная кличка Скворцов, 1938 г. р. - мой подельник по делу “площадь Маяковского”. Арестован вместе со мной 6 октября 1961 года и приговорен, как и я, к 7 годам заключения. В 1971-74 гг. редактор самиздатского журнала “Вече”, позже - журнала “Земля”. Если не ошибаюсь, в 1974 году снова арестован и приговорен к 8 годам лагерей. Затем - лидер Союза “Христианское возрождение”, сотрудник газеты “Завтра”, - Э. К.

\*\* Один из псевдонимов Иванова Анатолия Ивановича. Еще псевдоним-

ная организация, в которой обсуждался террористический акт против Хрущева, по счастью, не состоявшийся.

Было ли кузнецовское “дело 1961 года” вовсе бессмысленным? В политике, как и в науке (как, наверное, и вообще в жизни) отрицательный опыт тоже не пропадает втуне.

В 1995 году, когда Эдуард Самуилович Кузнецов, респектабельный редактор самой популярной в Израиле русскоязычной газеты - “Вести”, приехал на несколько дней в Москву и остановился в “Национале”, он сказал автору этих строк, что не хочет просить о реабилитации - ибо не считает себя безвинно пострадавшим. \*\*\*

---

мы - Манулин, Скуратов. 1935 г.р. Историк, политээк. Участвовал в издании самиздатских журналов “Вече” и “Московский сборник”. Впервые арестован в 1959 году по делу И. Авдеева, затем - в 1961 году по нашему делу. Оба раза признан невменяемым и отправлен в психушку. В 1981 году снова арестован за национал-патриотические статьи в самиздате и приговорен к 1 году заключения и 5 годам ссылки. После освобождения сблизился с национал-патриотическим обществом “Память”, - Э.К.

\*\*\*Уточняю. Я не отношусь к числу тех (имя им легион), кто платится, причитая: “Я верой и правдой служил советской власти, а меня - такого твердокаменного ленинца-сталинца - ни за что посадили”. В отличие от них, я верное служение советской власти уже лет, наверное, с семнадцати не считал заслугой и разделяю (не без известных оговорок) злорадное каторжное шипение в адрес этих служивых: “За что боролись, на то и напоролись”. Я в меру сил и возможностей воевал (точнее - пытался) с советской властью, а она меня за это всячески - хотя и несоответственно жестоко - карала. Насколько удачливо воевал - вопрос спорный, но так или иначе в разряд подлежащих реабилитации (то бишь невинно осужденных) я никак не попадаю. И не хочу. О чем и сообщил бывшему члену политбюро и прочая и прочая Александру Николаевичу Яковлеву, когда он, будучи у меня дома в 94-м, по-моему, году сказал, что теперь он глава комиссии по реабилитации и с удовольствием рассмотрит мое ходатайство о таковом.- Э.К.

Р.С. Подготовка данной книги была уже завершена, когда - в самом конце октября 1999 г. - я получил текст постановления Президиума Верховного суда РФ от 13 марта 1996 г. Подробнее об этом см. сноску №13, тут же необходимо сообщить, что оказывается уже в 1991 году меня реабилитировали по делу от 1961 года. Хотя я об этом не просил. - Э.К.

...А все же мы - волчье племя!

Такими нас сделало время.

М. Ютт

*Л.П. Ваши “Дневники”, изданные на Западе, где вы - хоть и бегло - рассказываете о своей родословной, до сих пор неизвестны российскому читателю. Поэтому давайте начнем разговор издали. Что вы помните о своих бабушках и дедушках?*

*Э.К. Дед до революции был купцом какой-то там гильдии. Потом, во время нэпа, имел свое дело. Умер он в ссылке, в начале 30-х годов. Так что вся семья попала в “лишенцы”. \* ...*

*Л.П. Ваша семья пострадала от советской власти. Надо полагать, ни мама, ни бабушка не питали никаких симпатий к большевикам.*

*Э.К. Семья была достаточно напугана репрессиями или угрозой таковых. Поэтому - во всяком случае, внешне - они были вполне советскими, а главное - смятыми, покорными, все готовыми принять. Рядовые жертвы системы. Никаких политических тем в доме никогда не звучало, не говоря уже о сознательном протесте.*

*Л.П. Ни одного нехорошего слова о той жизни, которую им пришлось вести?*

*Э.К. Проскальзывали нотки, но исключительно на бытовом уровне, без оттенка обобщений. Вот, мол, до революции цены были ниже...*

*Л.П. И они хотели воспитать вас по своему образу и подобию?*

*Э.К. Ни о каком воспитании вообще не могло быть и речи. Послевоенные годы. Безотцовщина. Мать работала с утра до ночи. Бабушка тоже работала, сколько могла. Я дома только ночевал. Воспитывал меня двор. Жили мы в рабочем, хулиганском районе. Было очень много уголовщины. В девятом классе у нас сразу человек шесть “замели” по уголовному - кажется, даже “мокрому” - делу. Это было в порядке вещей.*

*Л.П. Ребята, с которыми вы дружили, тоже были как-то связаны с уголовным миром?*

*Э.К. Оттенок уголовный всегда наличествовал. В том числе и на уровне противопоставления себя милиции. Милиция как бы олицетворяла власть. Ненавидеть “мильтона” и всячески ему пакостить - означало пакостить властям... Все это, конечно, на зоологическом уровне. Неосознанно.*

*Л.П. Что читали?*

*Э.К. Что попало. Всякую дребедень. Любовь к классике сформировалась у меня несколько позже, лет в пятнадцать-шестнадцать.*

*Л.П. А всякую советскую макулатуру, что-нибудь про Павлика Морозова?*

---

*\* Лишенцы - категория лишенных избирательного и ряда других прав. Норма, практиковавшаяся с 1918 по 1936 гг. - Л.П.*

*Э.К. Ну а как же? Все было пройдено.*

*Л.П. И как вы относились к подобным сочинениям?*

*Э.К. Боюсь, что никак. В этом смысле я был вполне советским ребенком. Глотал все... Хотя и энтузиастом никогда не был... Первая смута в душе появилась после ареста Берии. Пошли разговорчики, шепотки, экивоки. И впервые всерьез подумалось: не все так уж благополучно в этом мире. Раньше все воспринималось как должное. Совершенно нищая жизнь? Но все кругом жили так же. Так оно, вроде бы, и должно быть. А тут появились какие-то сомнения, еще очень робкие, неоформленные.*

*Л.П. А потом был 20-й съезд.*

*Э.К. Очень весомое событие, которое меня сильно задело. Разумеется, я не читал закрытого хрущевского письма (хотя кое-что доходило в вольных пересказах), в основном же информация была из официальной печати... Первые публикации о репрессиях... Мы с друзьями все это энергично обсуждали.*

*Л.П. Как вы относились к Хрущеву в первые годы его правления? Надеялись, что он как-то либерализует общество?*

*Э.К. Было бы натяжкой сказать, что вообще было какое-то отношение. Он был фигурой не харизматической, а достаточно смехотворной, во всяком случае - внешне... И анекдоты тогда уже ходили. Происходила десакрализация главного носителя власти, главного жреца... Опять же неосознанная, стихийная...*

*Л.П. Венгерские события помните?*

*Э.К. Очень хорошо. Я тогда дружил с Виктором Хаустовым... И мы с ним обсуждали этот вопрос довольно интенсивно и вполне громко (еще не очень понимая опасность таких разговоров). В десятом классе, перед самыми экзаменами, меня вызвали к директору школы - в его кабинете сидел некий человек в штатском (я только позже сообразил, что он из КГБ), и меня довольно грозно предупредили: перестань болтать! Думаю, что тогда-то я и попал в их кондуит. Через какое-то время мне это акнулось.*

*Я сдуру не испугался, а продолжал трепаться, в частности и об этом случае рассказывал. Дескать, приходили меня пугать, а я не боюсь... Правда, пугали все-таки довольно мягко.*

*Л.П. Посадить не грозились?*

*Э.К. Не без того. Ты, мол, знаешь, как это может кончиться... Вообще собственно венгерские события меня по молодости лет не очень интересовали, но это был повод для укоряюще-разоблачительного жеста в сторону советского правительства: вы говорите одно, а вот - концы с концами не сходятся. Нам важно было подловить власти на неких противоречиях.*

*Это был период подготовки к выработке собственного мировоззрения, когда ты еще не отрешился от господствующей идеологии, у тебя еще нет смелости для самостоятельного мышления, ты пока еще ищешь трещины в существующем мире, тревожно озираясь по сторонам и не понимая, нужны тебе эти трещины или нет... Смутное состояние.*

*Л.П. У вас не было стремления как-то расширить свою информацию? Допустим, послушать западное радио?*

*Э.К. Да у нас и приемника-то не было. Мы жили своей, достаточно интенсивной мальчишеской жизнью. Спорт (я был кандидат в мастера по борьбе). Три-четыре раза в неделю тяжелые тренировки, соревнования... Потом - дворовые дела, девочки, я уже и выпивать начал. Мировоззренческие проблемы были не главными.*

*Л.П. Учились вы хорошо?*

*Э.К. Первые годы - хорошо, а потом плохо. Класса с четвертого школа отошла на второй план. Созрело понимание, что ею можно и нужно пренебрегать...*

*Л.П. Как вы мыслили свое будущее?*

*Э.К. Никак. Закончив 10-й класс, я пошел в профтехучилище при 45-м заводе - на токаря учился. Там учились месяцев шесть, потом получали разряд и работали на заводе. Тогда - наверное, помните - как раз вышел указ о том, чтобы принимать в вузы по преимуществу тех, кто имеет рабочий стаж. \* Вот я и двинулся в это ПТУ... В моем окружении не было никаких наставников. Мы все были одногодки.*

*Л.П. 1956-57 годы - начало "оттепели". Появились произведения, которые не могли быть напечатаны несколькими годами раньше.*

*Э.К. Кое-что читал. Конечно, появление книг, в которых была хоть какая-то правда, становилось событием. Но я для себя не формулировал так: вот настало время, когда можно сказать... Не было еще сознательного подведения итогов.*

*Читал Дудинцева, и Яшина, и Тендрякова, и Евтушенко, и Вознесенского, и Ахмадулину... Вообще тогда уже кое-какие "самиздатские" стихи по рукам ходили... Конечно, был интерес ко всему полузапретному. Но я еще не подозревал, что что-то есть полностью запретное... До 58-го года я вел довольно аморфное существование.*

*Л.П. Хотелось бы понять, как шел процесс вашего гражданского созревания.*

---

*\* Согласно Указу Президиума ВС от 12 сентября 1957 года, имеющим "производственный стаж" отводилось 80% мест в вузах, школьникам - только 20%, - Л.П.*

*Э.К. К сожалению, не могу облегчить вашу задачу. Не вижу никаких вех. Все шло потоком, стихийно, но так или иначе, с 58-го года я, похоже, был уже довольно “зловным антисоветчиком”. Точнее сказать, не столько антисоветчик, сколько антисталинист. Сочинял какие-то корявые стихи, типа: “Сместили Сталина - аппарат оставили”... То бишь какие-то зачатки понимания уже были: дело не в Сталине, а в аппарате, в системе... Постепенно становилось ясно, что живем мы гораздо хуже, чем в капстранах.*

*Л.П. А информация откуда?*

*Э.К. Появились западные фильмы. Там проскальзывал быт, который сильно удивлял: безработные живут в четырехкомнатной квартире... Такие детали выстраивали некую мозаику закордонного бытия.*

*Как-то - лет в двенадцать, по-моему - я с какой-то стати брякнул: “Хорошо бы попутешествовать, Индию там или Африку посмотреть...” “Забудь ты про Африку”, - оборвала меня мама. Тут меня как осенило: действительно, никто из известных мне людей никогда не был за границей... И я - пусть и смутно - понял свою обреченность на жизнь в этой стране, понял (точнее - пока еще заподозрил), что мир навсегда закрыт для меня и мне подобных. С того времени эта мысль так или иначе присутствовала в моем сознании и, думаю, сыграла значительную роль во всей моей дальнейшей жизни. Я родился на Земле, а выходит, что я родился всего лишь в Москве и обязан прожить здесь всю жизнь. Закрытость мира... Позже я сформулировал это так: меня обокрали на весь мир. В том смысле, как говорят: “Обокрали на миллион долларов”.*

*Л.П. В 1958 году вас мобилизовали в армию.*

*Э.К. Я сам попросился.*

*Л.П. ???*

*Э.К. У моего дядки с материнской стороны был полуприятель - лейтенант, который работал в нашем районном военкомате. На одной из пьянок (я в ней тоже участвовал) он сказал, что скоро будет набор в Польшу или Германию. Мне к тому времени прислали повестку с сообщением, что меня призовут в следующем году. И тут мне сверкнуло: отчего бы не пойти сейчас? В любом случае посмотрю какую-то другую страну, а может быть, удастся и бежать... У меня к тому времени уже созрело желание бежать отсюда. Не то, чтобы я вынашивал эту идею, но она легла на некий уже сложившийся фон.*

*...Все было как положено: медкомиссия, проводы, все деньги пропиты - и вдруг меня выдергивают из строя на краснопресненской, если не ошибаюсь, пересылке: “А ты иди-ка пока домой”.*

*Через какое-то время тот же лейтенант объяснил мне, в чем дело:*



возле моей фамилии стояла галочка - знак, что мне нельзя за кордон... Вместо заграницы меня через пару недель отправили служить в Саратовскую губернию.

В армии я много читал. В основном классику - российскую и мировую. В том числе и классиков марксизма-ленинизма - с наивной надеждой, что, может, у отцов-основателей все было правильно, только в нашем государстве что-то не так... Ни хрена толком не понял, только мозги замутились от всей этой ерунды.

Почитывал журнал "Курьер ЮНЕСКО", о наличии которого ранее и не подозревал. "Иностранку". Я понимал, что хотя там и печатают лишь "прогрессивных" авторов, но как они ни врут, а все же в чем-то и провираются и, фильтруя, можно получить представление о том, что реально происходит на Западе.

В армии я близко сошелся с Валерием Котовым - сыном ответственно-го секретаря Комитета защиты мира. У его папани была возможность получать книги, издававшиеся для "спецпользования", номерные, с грифом. Так что Валерий еще до армии много чего прочитал и во многом меня просветил. (Хотя сам он был вполне откровенный конформист, вполне циничный - хотя и большая обаяшка - отпрыск номенклатурного работника; родители спрятали его в армии от какого-то некрасивого дела.)

Поскольку бунтарский душок во мне уже был, я служил таким образом, что в 60-м году, когда шло сокращение Вооруженных Сил, меня демобилизовали досрочно. \* Из нашего гарнизона демобилизовали всего троих: двоих калек и меня. По той причине, что на меня уже было заведено дело, за которое полагался, как минимум, дисбат - бунтарское неподчинение начальству на почве антисоветских настроений. Но незадолго до того начальство оскандалилось: судили двоих солдат, а у одного из них дядька оказался работником Генштаба... И они решили перестраховаться: черт с ним - пусть катится на все четыре стороны...

Л.П. Вы вернулись в Москву и...

Э.К. Поступил на философский факультет МГУ. Сначала на дневной, потом перешел на вечерний: мать получала копейки, без заработка было не прожить. Я еще до армии работал монтажником-высотником и довольно хорошо зарабатывал. Так что вернулся на прежнюю работу - тяжелую, опасную, но не требовавшую много времени. И читал, читал как

---

\* "Закон о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР" был принят 15 января 1960 года. Ст. 1 гласила: "Провести... сокращение Вооруженных Сил СССР на 1.200.000 человек".

одержимый. У меня появилась возможность читать запретную литературу - Валерий Котов тайком от отца давал мне на день-два. Я эти книги конспектировал и потом в разговорах, естественно, щеголял знанием фактов и аргументов, не доступных простым смертным.

Л.П. *Оппозиционно настроенная молодежь тогда в основном все-таки пробавлялась не “специальной литературой”, а “самиздатом”.*

Э.К. *Читал, конечно, и самиздат и был очень активным его распространителем.*

Л.П. *Сами печатали?*

Э.К. *У меня не было машинки. Я переписывал от руки. Но в нашей компании была одна девица, моя сокурсница, которая перепечатывала. Потом выяснилось, что она работает на КГБ.*

Л.П. *Как вы попали на площадку Маяковского?*

Э.К. *Случайно. Мы с Хаустовым куда-то плелись и вдруг увидели толпу (это было в конце 60-го или в самом начале 61-го года) - прибились. Кто-то читал стихи с явным антисоветским подтекстом. Это нас безумно заинтриговало. Мы тут же выяснили, что чтения, оказывается, происходят регулярно. В следующий раз мы пришли уже намеренно и начали активно завязывать знакомства с постоянными посетителями площадки... Сразу же выявился круг активистов, и через пару недель мы уже вошли в этот круг - Галансков, Щукин, Буковский, Вишняков, Шухт...*

Л.П. *В центре столицы социалистического государства читали антисоветские стихи - и ничего?!*

Э.К. *Вполне даже “чего”. Там работал созданный при горкоме комсомола отряд особого назначения для борьбы с антисоветчиной.\* Возглавлял его человек с армянской фамилией...*

Л.П. *Агаджанов.*

Э.К. *Знаете, так зачем спрашиваете?*

Л.П. *Затем, что я записываю ваши воспоминания, а не свои. Чем больше свидетельств - тем точнее картина.*

Э.К. *Агаджановские молодчики постоянно забирали ребят с площадки. И не только поэтов. Меня самого пару раз арестовывали. Однажды, помоему, в день смерти Маяковского - 14 апреля. Кстати сказать, допрашивал меня лично Агаджанов: откуда взялся такой, кто с кем знаком, где черпаешь антисоветские идеи и пр. и пр. Записали, сказали: “Еще вызовем” - и выпустили.*

---

\* На площадке действовали поочередно оперотряды райкомов и горкома комсомола. Некоторые из них (Краснопресненский и Ленинградский), по отзывам очевидцев, отличались особой свирепостью.)

*Л.П. Не избивали?*

*Э.К. Только в ходе задержания, когда силой тащили в машину. Меня отбивала Света Мельникова. И, кстати, один раз отбила-таки.*

*Л.П. Женщина? Неужто Владимир Буковский и другие ребята не организовали никакой охраны?*

*Э.К. Все было стихийно. Кого-то хватали - мы бросались на помощь. Удалось отбить - он убежал. Нет - значит задерживали.*

*Л.П. "Маяковцы" не только читали стихи на площади, но и устраивали выставки художников-авангардистов.*

*Э.К. Да. Я тоже в этом участвовал. В первый раз, если не ошибаюсь, мы устроили выставку Оскара Рабина, потом на какой-то очень хорошей квартире (никто из нас в таких квартирах не жил) - совместную: Рабин, Кропивницкий, еще кто-то... Для меня это был один из участков борьбы. Запрещают - значит нужно делать, независимо от того, как я сам отношусь к авангардистской живописи. Да и стихи (как бы я их ни любил) прежде всего интересовали меня постольку, поскольку в них был социальный протест. И довольно скоро встал вопрос: ну, стихи - а дальше что? Мы с Хаустовым, полагаю, привнесли элемент неудовлетворенности сложившейся ситуацией, озадачивая себя и других настояниями о необходимости чего-то большего... Осипов, правда, тоже об этом думал. Мы с ним и обоими Ивановыми\* стали говорить о том, что чтения стихов на площади недостаточно, нужно делать журнал, нужны листовки, надо создавать... не то чтобы организацию, но некий мозговой штаб для оценки и осмысления ситуации в стране. И площадь мы хотели сохранить в основном как приманку: пусть народ приходит послушать стихи, а мы будем подбирать людей, наиболее подходящих для серьезной работы, создадим законспирированную ячейку, которая будет действовать в зависимости от ситуации. Все мы были жертвами советского воспитания, поэтому мыслили исключительно в рамках большевистского опыта, внедренного в нас большевистской же литературой.*

*Л.П. У большевиков была определенная цель. Какая цель была у вас?*

*Э.К. Мы тогда не ставили целью свержение власти. Все, что мы делали или хотели сделать было, по-моему, формой жесткого протеста, не более того. Но и не менее. Да я что-то и не помню, чтобы мы четко формулировали свои цели. Задним числом я бы сформулировал их так: дове-*

---

\* Один - Новогодний, второй Иванов Анатолий Иванович (р. 1935 г.) - кличка Рахметов. Один из организаторов и активных участников "Маяковки". Теоретик искусства, коллекционер авангардной живописи, поэт, по образованию юрист, - Л.П.

сти до сведения властей предержавших, что ситуация в стране удручающая и необходимо задуматься над тем, как ее реформировать. В заявленном ими же ключе... В основном мы занимались тем, что ловили их на противоречиях: в источниках написано так-то, а у вас черт-ти что...

*Л.П.* Истину царям - с улыбкой или без оной - говорить?

*Э.К.* Вроде того. Пусть-де смилостивятся и все поменяют.

*Л.П.* Понимали ли вы опасность такой деятельности?

*Э.К.* Конечно. Мы уже обладали достаточно разносторонней информацией о репрессивном аппарате. Даже преувеличивали его мощь и страсти, которые нам в будущем предстоит претерпеть.

*Л.П.* Вы принимали какие-то конкретные меры против проникновения в вашу среду стукачей?

*Э.К.* Практически нет. И без сексотов, без сомнения, не обошлось. Мы были еще очень незрелые в этом отношении люди и действовали еще очень несерьезно. Казовая сторона привлекала нас, может быть, даже больше, нежели само дело. Мы только-только обрели свое, отличное от типового советского, понимание происходящего, хвастались этим налево и направо - без оглядки. Уверен, что если бы даже нам сказали, что в квартире, где мы собирались, присутствуют гэбэшники, нас это не остановило бы.

*Л.П.* Вы регулярно собирались не только на площади, но и на квартирах?

*Э.К.* Да. У нас был пять-шесть более или менее постоянных квартир, там собиралось человек по 12-15... В основном одни и те же люди. Бывало, соберемся - начнут бунтовать соседи, переходим на другую квартиру.

Там не только стихи читались, но и серьезные доклады делались - потом шло обсуждение их. Нечто вроде семинаров.

Докладчик и тема определялись заранее - ходили в библиотеки, готовились. Мы тогда очень интересовались анархо-синдикализмом, югославским опытом, главным спецом по которому был Осипов...

*Л.П.* И в работу над журналами, которые начали делать "маяковцы", вы, конечно, тоже включились?

*Э.К.* Да. К примеру, в создании "Феникса" я участвовал вполне активно. Второй номер "Феникса" у меня практически весь изъяли дома, во время моего ареста...

*Л.П.* Каковы были редакторские принципы?

*Э.К.* Самодеятельные. Я лично считал так: чем более резко антисоветский материал, тем лучше.

*Л.П.* То есть не все стихи, которые читались на площади, принимались.

*Э.К. Конечно. На площади и Евтушенко свои стихи читал. Пару раз его привозили вместе с еще какими-то официальными поэтами - этой акцией надеялись сбить антисоветскую направленность чтений.*

*Л.П. А какие-то листовки раздавались на площади?*

*Э.К. На площади - нет. Только среди своих. Вообще, насколько я помню, была только одна листовка - о событиях в Муроме и Александрове. Кто-то вечером услышал по западному радио о тамошних волнениях, сообщил нам, и утром следующего дня мы со Славой С. \* сели на поезд и отправились в Муром. Приезжаем - везде войска. Не очень густо, но везде... А так внешне ничего особенного. При нас никаких волнений уже не было. Не чувствовалось и подавленности. В магазины срочно завезли колбасу, и все бросились ее покупать. Но мы видели сожженное здание райкома, какую-то сожженную машину... Мы ходили по домам, заходили в пивные, спрашивали случайных людей и составили себе более или менее верное представление о том, что там было на самом деле.*

*Л.П. Чем были вызваны эти события?*

*Э.К. В чем-то вполне обычная история. Рабочего местного завода радиоаппаратуры, пьяного, задержала милиция - избili до смерти. Потом, как водится, труп несколько дней не выдавали родственникам, а когда выдали, обнаружилось, что зубы выбиты и все тело в кровоподтеках и синяках. Начался погром милиции, потом перекинулось на райком.*

*Л.П. Войска стреляли в народ?*

*Э.К. Нет, на улицах ни в кого не стреляли. Но потом приговорили к расстрелу человек, если не ошибаюсь, тринадцать.*

*В Александров мы ездили, сдается, втроем - Осипов, Хаустов и я. На следующий день после моего возвращения из Мурома. Там события были помасштабнее, но повод к волнениям - точно такой же. Антимилицкий поход тоже перекинулся на райком...*

*Потом мы соорудили листовку, обобщающую эти события... Ну, разумеется, представили все в более романтизированном и политизированном виде, чем это было на самом деле. Хотели отпечатать типографским способом, но не вышло. Пришлось ограничиться машинкой... Кажется, еще и фотоспособом. Экземпляров сто сделали.*

*Тогда впервые Галансков проявил себя как человек, у которого есть какие-то связи с иностранными корреспондентами. Мы ему рассказали все, что узнали о Муроме и Александрове - во всех деталях, и он обещал пере-*

---

*\* Вячеслав Синчагов (1939 г.р.), студент экономического института имени Плеханова. Написал донос на нас. В конце 80-х был замминистра финансов СССР, - Э.К.*

дать эту информацию за кордон. Каким образом, через кого - мы, по конспиративным соображениям, не интересовались.

Но ни листовки, ни семинары, ни журналы нас не удовлетворяли. Это Галансков и его группа считали, что надо ограничиться поэзией - гражданской, но все-таки поэзией, - не лезть в политику, не заниматься конспиративной деятельностью. Он олицетворял собой то, что позже стало называться "правозащитным движением", основными требованиями которого были гласность и законность. А Осипов, я, Хаустов и Новогодний тяготели именно к конспиративной деятельности.

Л.П. На одной из сходов в Измайловском парке вы создали подпольную организацию?

Э.К. Условно говоря - да. Там было выработано что-то вроде программы и устава... Которые мы, кажется, тут же и сожгли.

Л.П. Кроме вас кто-нибудь еще вошел в эту тайную организацию?

Э.К. Был еще какой-то мрачный, загадочный человек, лет сорока пяти, судя по намекам, сидевший "за политику". Его откуда-то привел Новогодний. (Позже я заподозрил, что Новогодний познакомился с ним где-нибудь в "дурдоме".)

Это был типичный бес (по Достоевскому), который разыгрывал из себя таинственного посланника какого-то мощного центра, напускал всяческий туман, не говорил ничего вразумительного, но на наших наиболее тайных сходах присутствовал. Его роль мне до сих пор не понятна. Новогодний все время с ним переглядывался и о чем-то советовался. (В деле у нас он не фигурировал - ни Осипов, ни я, ни Новогодний его не выдали.)\*

Когда встал вопрос о деньгах для организации, он сказал, что в своем городе (то ли в Кишиневе, то ли во Львове) он и его ребята намерены организовать нападение на банк, и мы должны выделить пару своих людей для участия в этой акции.

Л.П. И выделили?

Э.К. До дела-то не дошло. Бесовщина одна.

Л.П. А откуда в действительности поступали деньги? От НТС?

Э.К. Я в то время даже не знал, что такое НТС. Все наши деньги были из нашего собственного кармана... Копейки какие-то...

Л.П. А Виталия Ременцова вы знали?

Э.К. По-моему, только заочно. Он был человеком Новогоднего. Толя мне как-то сказал, что Ременцов - снайпер и готов шлепнуть Хрущева.

---

\* Очевидно, речь идет о Викторе Парфентьевиче Рафальском. Рафальский (1918 г.р.) - приятель Иванова-Новогоднего. С начала 1950-х годов трижды арестовывался по политическим мотивам и каждый раз признавался невменяемым. Содержался в спецпсихбольницах, - Л.П.

*Л.П. И как вы отнеслись к этой идее?*

*Э.К. Положительно. Мы с Хаустовым даже ходили на рекогносцировку - Хрущев, бывало, ездил по проспекту Мира, и мы прикидывали, откуда можно его подстрелить.*

*Л.П. То есть идея теракта существовала не только на уровне трепан-шла реальная подготовка?*

*Э.К. Было и то, и другое. На очередной встрече обсуждалось, что конкретно надо сделать. "Вот мы с Хаустовым пойдем, разведаем маршрут". В следующий раз мы говорим: "Ходили, ничего подходящего нет". Потом: "Нужна винтовка". Мы с Виктором изыскивали возможность заполучить какую-то малокалиберную винтовку, но можно ли из нее стрелять издалека - непонятно. (В деле эта винтовка, принадлежавшая одному нашему знакомому, не фигурировала - о ней знали только мы с Хаустовым.) "Нужно настоящее оружие". Но реальных-то возможностей добыть его не было. Мы и встречаться-то часто не могли: я ведь работал и учился. Думаю, что если бы нас не арестовали, это могло бы тянуться еще зное количество времени - и само бы сохло.*

*Л.П. Не сомневаетесь?*

*Э.К. разве что вязался бы какой-нибудь крутой фанатик, который вдруг обеспечил бы нам матчасть. Никто из нас не был способен ни добыть подходящую винтовку, ни обеспечить логистику.*

*Л.П. Те, кто не входил в вашу группировку, что-то знали о вашем замысле?*

*Э.К. До них дошли какие-то слухи. И Буковский зазвал Осипова на чью-то дачу и там при помощи гипноза и каких-то психотропных средств пытался расколоть его. Я там не был, так что подробностей не знаю. Но когда Осипов рассказал мне, что Буковский хотел вытянуть из него эти сведения, мы решили разобраться с ним. Разборка происходила, по-моему, на квартире у Галанскова. Был довольно резкий разговор, в духе: "Зачем тебе это нужно? Уж не для КГБ ли?" Он: "Вы, ребята, всех подставляете под удар". Мы всячески пытались склонить Буковского на свою сторону, он нас всячески отговаривал... Разговор был с накалом, но в общем вполне дружеский, без агрессивности с той или другой стороны.*

*Л.П. И вы стояли на своем до конца? Несмотря на то, что к этому времени Берлинский кризис - следствие хрущевского самодурства - уже разрешился?*

*Э.К. Мы считали, что правление Хрущева чревато третьей мировой войной. Разрешился один кризис, но неуправляемый самосброд Хрущев запросто мог спровоцировать и второй, и третий. Кстати, через год бы Карибский кризис, тоже поставивший мир на грань войны.*

*Л.П. А на что вы себя обрекаете, вы понимали?*

*Э.К. Естественно. Мы с Хаустовым говорили: слишком много сделано и наболтано, и к тому же многое на виду - ничего удивительного, если нас арестуют. Психологически я был готов к аресту... Во всяком случае, когда за мной пришли, я не впал в панику.*

*Л.П. Вы считали, что НАДО через это пройти?*

*Э.К. Совершенно верно. Элемент жертвенности, желание пострадать, безусловно наличествовали. И не пугали.*

*Л.П. Вас арестовали, и началось...*

*Э.К. Ничего особенного. Сначала мы сидели на Лубянке (к слову сказать, мы были одними из самых последних ее узников - с конца 1962 года всех арестантов держали только в Лефортовской тюрьме), потом нас перевели в Лефортово. Обычные интенсивные допросы, с давлением, но без физического насилия. Разумеется, перед лицом этого давления, перед лицом всей мощи этого аппарата мы были бессильны - правила игры нам были неизвестны. В юридическом смысле мы были абсолютные профаны, не знали ни УК, ни УПК, ни своих прав. Естественно, мы избрали максимально неудачную линию защиты: дескать, мы не собирались причинять вред советской системе, а напротив - хотели ее улучшить, так что антисоветского умысла у нас, дескать, не было. Нас легко ловили на противоречиях.*

*Л.П. А как вы отбивались от обвинения в намерении совершить теракт?*

*Э.К. Я сейчас уже с трудом припоминаю, но примерно так: да, шел такой разговор, чушь какая-то, болтали что-то, непонятно что...*

*Если бы не этот эпизод, мы бы, конечно, прошли следствие значительно красивее. Этот эпизод нам сильно нагадил. При всем том... Ведь под эту историю можно было подмять все остальное и добавить нас - очень выигрышный был для гэбни эпизод, но следователи этого не сделали - напротив, сами старались замаять этот сюжет. И на допросах едва касались его, и в суде этот эпизод лишь мелькнул... В приговоре говорилось как-то так: "Обсуждали возможность совершения теракта против одного из членов правительства".\* Это свидетельствует о том, что шла какая-то игра между КГБ и политбюро. Какая - непонятно. Я до сих пор не могу этого объяснить. Но факт - следствие явно хотело затушевать этот эпизод, в каких-то своих интересах.*

*Л.П. Что же их интересовало?*

---

*\* В обвинительном заключении сформулировано так: "Обсуждали возможность совершения террористического акта в отношении Главы Советского правительства" - Л.П.*



*Э.К. Самиздат, листовки - рядовое антисоветское дело... На допросы таскали около сотни человек. Десятка два выгнали из институтов. Работали вполне традиционно и вполне профессионально. Но они нас явно вели только на 70-ю статью и даже не заикались о "террористической" 66-й.*

*Л.П. Как прошел суд?*

*Э.К. Мы держались избранной нами линии, о которой я упомянул ранее. Не было ни соплей, ни слез. Вели себя достаточно достойно. Кого-то топить - говорить, что вот, дескать, это делал он, а не я - такого не было...*

*Л.П. Лагерь как-то изменил ваше мировоззрение?*

*Э.К. Конечно. Именно в те годы я окончательно расстался со всеми ревизионистскими иллюзиями, стал законченным и оголтелым антисоветчиком, похерившим надежду на то, что в обозримом будущем в России может что-то измениться к лучшему. К концу срока я уже твердо решил сделать все возможное, чтобы покинуть эту страну. Чтобы не снить в лагерях: ведь многие мои сокамерники, отсидев свои 7-10 лет, через годишко-другой вновь оказывались за решеткой - на очередные десять лет. Если ты не сломался - этому никогда не будет конца. Власти не выпустят тебя из своих когтистых лап.*

*Словом, претерпел эволюцию, вполне типичную для людей моего круга, которые попали в лагерь с набором известных иллюзий. Большая часть их разбежалась по национальным углам.*

*В лагере я впервые столкнулся с участниками национальных движений. Мне, наконец, вызвездило, что национальное сильнее, а главное - неизбывней, базиснее, подлиннее... А уж в рамках национального и все прочее может вместиться - общечеловеческое.*

*В общем, я понял, что мне нужно прибиваться к своему берегу, который для меня определяется той половинкой крови, которая сильнее - хотя бы потому, что навеки причисляет тебя к стану отверженных. Так я сделал свой выбор.*

*Л.П. И, стало быть, круто разошлись с вашим поделником Владимиром Осиповым?*

*Э.К. Отношения у нас всегда были нормальные, но идеологически мы разбежались по разным углам. Однако главное было даже не в этом. Вокруг него крутилась публика, которую мы традиционно называем черносотенной, лабазниками. Это был мой главный ему упрек. Я говорил: "Володя, можно сколько угодно спорить об идеях, но посмотри, кто около тебя вьется. Может, идея твоя и не плоха, но вытащенная на улицу, она обрастает черносотенством..."*

10). Во второй половине октября 1999 года корреспондент российской телепрограммы “ВИД” Станислав Соловкин зафиксировал на видеокамеру интервью с Виталием Рябчуком, бывшим в 1970-м году старшим следователем УКГБ по Ленинградской области. В числе прочего тот сказал следующее: “В отношении хищения самолета я очень резко возражал на бригаде (видимо, на совещаниях следственной бригады, - Э.К.), поскольку никаких подтверждений, что они собирались присвоить этот самолет, не было. Но меня не поддержали”.

11). Имеются в виду опубликованные на Западе поддельные “Мемуары Максима Литвинова”.

12). Давид Шуб, “Портреты политических деятелей России”, Нью-Йорк, 1969.

13). Лишь в октябре 1999 года я случайно узнал, что Президиум Верховного суда РФ еще в 1996 году снизил мне и моим подельникам срок - кому до семи, а кому и до 5 лет. Основанием для пересмотра дела послужила представленная заместителем генерального прокурора РФ М.Д.Славгородским аргументация, один к одному совпадающая с той, что я изложил на суде. С какой стати надумали пересматривать наше дело - понятия не имею, но почему нам об этом не сообщили - и вовсе загадка. Хорошо хоть, что заочно к расстрелу не приговорили, опять же не известив об этом. А то приедешь так вот в Москву, а тебе прямо в аэропорту: “Пожалте к стенке, гражданин хороший...”

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва 13 марта 1996 г.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации... рассмотрел дело по протесту заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Славгородского М.Д., на приговор Ленинградского городского суда от 24 декабря 1970 года...

В протесте ставится вопрос о переквалификации действий осужденных со ст.ст. 15, 64 п. “а.” и 72 на ст.ст. 15, 83 УК РСФСР, со ст.ст. 15, 93-1 на ст.ст. 15, 213-2 УК РСФСР; отмене судебных решений в части осуждения их по ст. 65 УК ЛатвССР и 70 ч. 2 УК РСФСР; исключении указания о признании Кузнецова, Федорова и Мурженко особо опасными рецидивистами.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации находит, что приговор и кассационное определение в отношении Кузнецова в части

осуждения по ст. 70 ч. 2 УК РСФСР и ст. 65 ч. 2 УК Латвийской ССР подлежат отмене, а дело в этой части - прекращению производством, а в остальной части - изменению по следующим основаниям. ...Материалами дела установлено, что названные выше осужденные занимались изготовлением, размножением документов, содержащих измышления о советском государственном и общественном строе, однако из анализа материалов дела видно, что в этих действиях осужденных призыва к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти либо к совершению отдельных контрреволюционных преступлений не содержится и потому они не образуют состава преступления антисоветской агитации, с учетом этого следует признать, что по ст. 70 ч. 2 УК РСФСР ст. 65 ч. 1 и 2 УК Латвийской ССР они осуждены необоснованно.

Вина осужденных в сговоре между собой и в попытке путем угона самолета совершить бегство за границу материалами дела установлена, однако объективных данных о том, что осужденные действовали при этом с контрреволюционным умыслом, со специальной целью нанесения ущерба государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи страны, в деле не имеется.

При таких обстоятельствах следует признать, что действия осужденных... квалифицированы необоснованно, их надлежит квалифицировать по ст. 15-83 ч. 1 УК РСФСР.

Кузнецов Э.С., Федоров Ю.П. и Мурженко А.Г. особо опасными рецидивистами были признаны в связи с их прежней судимостью за особо опасные государственные преступления. С учетом того, что по уголовным делам, по которым ранее были осуждены по ст.ст. 70 ч. 1 и 72 УК РСФСР, они реабилитированы, указание о признании их особо опасными рецидивистами подлежит исключению из судебных решений.

На основании изложенного... Президиум Верховного Суда Российской Федерации

Постановил:

**ПРИГОВОР** Ленинградского городского суда от 24 декабря 1970 года и определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 31 декабря 1970 года... отменить и дело в этой части производством прекратить за отсутствием состава преступления... переqualифицировать действия осужденных... и назначить наказание в виде лишения свободы: Кузнецову Э.С., Дымищцу М.Ю., Федорову Ю.П. и Мурженко А.Г. - сроком на 7 лет каждому; Пэнсону Б. С., Менделевичу И.М., Залмансон С. И., Залмансону И.И., Альтману А.А. и Хноху Л.Г. - сроком на 5 лет каждому; Бодне М. А. - на 4 года.

Председатель (подпись) А.Е.Меркушов  
03.04.96г.

Выходит, я пересидел два года (да еще на “спецу”). А Федоров с Мурженко и того больше - один 8 лет, а другой 7.

14). Жена Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Георгиевна Боннэр после ареста Эдуарда Кузнецова официально заявила тюремному начальству, что является родной теткой Кузнецова. Цель - право на посещения в следственной тюрьме и лагере, связь с адвокатом, доступ в зал судебных заседаний и прочие нужды и хлопоты, которые не могла взять на себя престарелая мать Эдуарда Кузнецова. Лишь где-то году в 1977-м году лагерное начальство официально уведомило Кузнецова, что, согласно полученным данным, Боннэр родственницей ему не является, - примеч. ред.

15). Иосиф Давидович - глава семейства Залмансонов; Семен - брат Сильвы, Израйля и Вульфа Залмансонов. Последний - тоже участник “самолетного дела”, но поскольку он был лейтенантом советской армии, его судили отдельно - военный трибунал дал ему десять лет заключения.

16). Иосиф Менделевич - подельник Э. Кузнецова, отсидевший по “самолетному делу” 11 лет. Ныне живет в Израиле.

17). Я не считал уместным (вероятно, ошибочно) заявить на суде, что на самом деле я - как и подавляющее большинство нашей группы “изменников Родины” - был почти уверен в том, что нас в любом случае повяжут и до захвата самолета дело не дойдет. (Кстати, в моем рюкзаке, с которым я был арестован в аэропорту, были не фрак с бабочкой - на предмет выступления на пресс-конференциях на Западе, а Библия, теплые вещи, две пачки чая и десяток пачек сигарет.) Так зачем, спрашивается, мы прихватили с собой дубинки - такой бесценный подарок будущему суду над нами? Помимо высказанного мною на суде аргумента о некоторых начинаниях, которые тяготеют к реализации, вне зависимости от изменившихся обстоятельств, существовало другое, куда более весомое соображение, о котором я умолчал в зале суда (и зря, как я сейчас понимаю - хотя на исход судилища это, в любом случае, не повлияло бы). А именно: я более всего опасался, что усиленно следивший за нами КГБ надумает арестовать нас, так сказать, превентивно (как то и предписывает закон) - по домам, втихаря. И тогда международного скандала могло бы и не получиться. Я этого опасался всерьез, хотя и очень надеялся, что соблазн представить борбников свободной эмиграции как воздушных пиратов, захваченных прямо на “месте преступления”, возобладает в ГБ над прочими соображениями. И для этого надо было до конца поддерживать у них иллюзию, что мы и впрямь “пираты”, а потому я не противился суете вокруг изготовления тех же дубинок, подозревая, что “топтуны” и прочая агентура об этом высокому начальству донесут. И впрямь, наши интересы и интересы “синих хлопцев” в данном случае совпали. А. Д. Сахаров пишет в “Воспомина-

ниях” (стр. 428-429), что аресту у трапа самолета “предшествовала драка между московскими и ленинградскими гэбистами - очевидно, на почве конкурентной борьбы за право главенствовать в операции ареста”. А я добавлю: и на почве борьбы за внеочередные звездочки, коими начальство щедро украсило погоны дюжины участников этой доблестной “чекистской операции”, как она не без спесивой гордости была обозначена в приказе о нашем аресте. Между прочим, я лишь в октябре 1999 года получил сведения из надежных - московских и питерских - источников, что на месте руководил захватом нашей группы 1-й заместитель Андропова, начальник 5-го (антидиссидентского и антиссионистского) отдела КГБ Ф. Д. Бобков.

Относительно же междуусобной потасовки гэбни в аэропорту - никаких подтверждений этому я не обнаружил. Полагаю, что это одна из легенд, которых много родилось вокруг нашего дела. В частности, кассирша аэропорта “Смольное” Софья Ивановна Боброва в ходе предварительной записи телепрограммы “Как это было” (Российский телеканал ОРТ; передача демонстрировалась 24 и 26-го октября 1999 г.) сказала, что во время ареста нашей группы то ли мы, то ли КГБ использовали слезоточивый газ, что затем, видя, что арест неизбежен, мы, дескать, стали рвать зубами воротники своих рубашек, чтобы проглотить зашитые там капсулы с ядом, а потом бросились избивать какую-то женщину - за то, что она нас продала. “Они очень сильно били эту женщину”, - сказала она. Это правда - какой-то пышнотелой тетке там изрядно досталось, но мы тут с боку припеку. Когда мы двинулись по взлетной полосе, направляясь к возжеленному самолету, какая-то тетка по ошибке прибилась к нам, а тут со всех сторон мордовороты навалились - и на нее тоже, приняв ее за “изменницу Родины”. Мы-то молча пыхтели, зная, за что нам руки крутят, а та, решив, видно, что ее насилуют средь бела дня, та-акой вопль подняла!.. Я только краем глаза засек, как двое навзничь повалили ее на бетонку - юбка у нее задралась, мелькали в воздухе окорока ног да красные трусы.

18). Адвокат Менделевича Семен Ария во время той же телепередачи “Как это было” справедливо напомнил, что мы намеревались, высадив летчиков в Приозерске, связать их и положить в специально для того приготовленные спальные мешки - чтобы они, не дай Бог, не простыли, на сырой земле возлежа. В той же программе он заявил, что, судя по материалам следствия и суда, наша акция была вовсе не “воздушным пиратством”, а откровенной демонстрацией людей, доведенных до отчаяния невозможностью законно покинуть СССР. “Все участники этого дела вели себя так, словно сами напрашивались на арест”, - сказал он. - Э.К.

19). Адвокат И. Менделевича С. Ария пишет: “Запомнился допрос жены Дымишица, русской женщины, с двумя детьми последовавшей за мужем. В ее показаниях на следствии прокурор обнаружил место, где она якобы сетовала на жесткий, деспотический характер мужа. Прокурор попытался извлечь из этого нечто полезное для обвинения и потому спросил у нее, как она может охарактеризовать отношение мужа к ней и детям. И женщина поняла смысл и цель вопроса. Она тихо ответила: “Я прожила с мужем почти двадцать лет. И все эти годы была с ним настолько счастлива, что знала - добром это не кончится...”

После ее ответа мне захотелось встать перед нею и низко поклониться.

При допросе пилота, подлежавшего “выгрузке” в Приозерске, прокурор Соловьев, подумав, спросил: “Скажите, свидетель, вам понравилось бы, если бы вас ударили резиновой дубинкой по голове?”

Пилот оторопело возрился на прокурора, затем сказал: “А вам?”

Все удовлетворенно заерзали”. (“Самолетное дело. Как заменили высшую меру не по УПК, а по президенту США”, С. Ария, журнал “Люди”, №10-11, Москва, 1999.)

20). Юрий Меклер - бывший политэзк, ученый-геофизик. Ныне живет в Израиле.

21). Борис Пэнсон - подельник Э. Кузнецова, отбывший по “самолетному делу” 9 лет. В данное время живет в Израиле.

22). Бортпроводница, погибшая осенью 1970 г. во время угона советского самолета в Турцию отцом и сыном Бразинкасами. Советская пропаганда представляла дело так, словно Курченко была убита Бразинкасами, на самом же деле она погибла от случайной пули охранника. Кстати, в опубликованных в Великобритании в 1999 году “Архивах Митрохина” промелькнула фамилия Бразинкасов - и вот в каком контексте. Собирая о контактах КГБ с различными организациями палестинских террористов, бывший сотрудник советской госбезопасности, а ныне, “изменник родины” Митрохин, в частности, пишет, что в обмен на поставку партии оружия организации Народный фронт освобождения Палестины Андропов потребовал от этого Фронта физической ликвидации находившихся в турецкой тюрьме Бразинкасов. И хотя НФОП задействовал в этой операции, согласно данным Митрохина, “самых опытных и решительных боевиков”, операция провалилась. Судя по контексту, дело было в году эдак 1972-м. - Э.К.

23). Фигуранты знаменитого “валютного дела”, которых приговорили к расстрелу в 1961 году. Ранее за противозаконные валютные операции давали не более 8 лет, однако после ареста Рокотова и Файбушенко ве-

ли “растрельную” статью, под которую их и подвели задним числом.

24). Н. А. Морозов (1854-1946) рус. революционер, многолетний арестант, ученый.

25). “Когда был объявлен смертный приговор, - пишет Сахаров, - в зале раздались аплодисменты гэбистов и “приглашенной” публики. Люся, вне себя, закричала: “Фашисты! Только фашисты аплодируют смертному приговору!” (“Воспоминания”, стр. 430)

26). Готовивший в сентябре-октябре 1999 года уже упоминавшуюся выше программу “Как это было” корреспондент телекомпании “ВИД” Станислав Соловкин получил доступ к нашему уголовному делу. В письме (в середине октября) он сообщил, что в одном из томов уголовного дела находится изъятый у меня дневник. Вот что он пишет: “Если они (т.е. ФСБ, - Э.К.) упрутся и дневник не дадут, то я запомнил (особенно-то читать не давали) одну фразу. Вы в своем дневнике поругиваете себя за то, что показали язык общественному обвинителю в первый день судебного заседания”. - Э. К.

27). Имеется в виду повесть Василя Быкова “Сотников” - “Новый мир” 1970, 5, - Э. К.

28). Бэла Коваль - старинная приятельница Э. Кузнецова, много помогавшая ему и во время отсидки по первому сроку и по второму, - примеч. ред.

29). По-своему любопытна характеристика Э. Кузнецова, данная бывшим следователем УКГБ по Ленинградской области Владимиром Егеревым. Частично она прозвучала в транслировавшейся 24-го и 26-го октября 1999 года передаче “Как это было” (российский телеканал ОРТ); в угловых скобках дано то, что в телепередаче не было использовано, однако зафиксировано на видеокассету корреспондентом телекомпании “ВИД” Станиславом Соловкиным: [“Во время следствия мне приходилось постоянно сталкиваться с Кузнецовым... Ну Кузнецов наглый был.] На допросах вел себя резко, вызывающе. Когда кто-то из прокурорских работников входил в кабинет следователя, надо было встать, как бы его приветствуя, здороваться, а Кузнецов молча сидел, развалился на стуле. Следователь делал ему замечание: “Ты почему не встаешь?” “А у меня ноги болят, я не обязан вставать”. [И таким оставался до конца. Был очень агрессивным. Хотя, должен отдать должное, он умный был, эрудированный, приятно было с ним беседовать. Но из всей группы он был самый агрессивный.] Его прошлое, видимо, наложило на него такой отпечаток злости по отношению к органам, к власти, что она проскальзывала на всех допросах. [Признали себя виновными, пожалуй, все, кроме Федорова и Кузнецова.] - примеч. ред.

30). Отмена нам с Дымшицем смертной казни - в основном результат

небывалой мощи давления со стороны множества подсоветских евреев, боровшихся за выезд в Израиль, правозащитников во главе с А. Д. Сахаровым и западных организаций в защиту прав человека. Немало поспособствовал этому и так называемый фашист Франко: испанский суд в то время приговорил к смерти трех баскских террористов (они несколько жандармов угрохали), и Европа бурлила - демонстрации шили под лозунгом: "Франко - не убивай басков! Брежнев - не убивай Кузнецова и Дымшица!" И генералиссимус Франко смилостивился - дал знать, что 30 декабря отменит смертные приговоры этим баскам, чем поставил Брежнева в довольно неплохую позицию: дескать, фашист оказался гуманнее коммуниста.

Вот как пишет о закулисной возне вокруг отмены нам смертного приговора адвокат Менделевича Семен Ария: "Перед процессом председатель Ленинградской коллегии адвокатов Соколов сообщил всем защитникам о рекомендации "директивных органов" не оспаривать обвинение в измене Родине. Поскольку клиенты наши виновными в измене себя не признавали, рекомендация эта была равносильна предложению о предательстве интересов подзащитных. Оба московских адвоката (Ю. Сарри и я) пренебрегли рекомендацией ленинградского начальства. Местные же коллеги были вынуждены подчиниться. Один из них до такой степени проникся директивой, что даже после отказа прокурора от обвинения его клиента в изменнических намерениях растерянно вопрошал нас, как ему теперь быть, можно ли соглашаться с прокурором.

Не осмелюсь осуждать их, у них были семьи...

Процесс продолжался с 15 по 24 декабря 1970 года в старинном особняке на Фонтанке, где размещался Ленинградский городской суд... Огромный зал суда, мрачный и плохо освещенный, был заполнен тщательно отобранной публикой. Безмолвно и отчужденно сидели родные подсудимых.

Состав суда возглавлял лично председатель городского суда Ермаков - человек, по отзывам, порядочный и спокойный. В процессе он вел себя пассивно, не вмешивался в допросы и, видимо, тяготился своей ролью в спектакле, сценарий и исход которого были определены не в этих стенах и даже не в Ленинграде.

Прокурор любовался собой.

Мужественно держались подсудимые, и это производило впечатление даже на такую специфическую аудиторию: зал не дышал ненавистью...

24 декабря был оглашен приговор... Подавленный, я вернулся в гостиницу, и мы с коллегой начали готовиться к отъезду в Москву. Однако уехать не пришлось. В 11 часов вечера раздался телефонный звонок, и судья Ермаков предложил нам срочно приехать к нему. Я возразил: у нас на руках билеты на поезд, мы на выходе.



- Билеты мы заменим, - сказал Ермаков, - не беспокойтесь. Спусти-  
тесь вниз, за вами придет машина.

Когда мы, недоумевая, вошли в кабинет судьи, все адвокаты были уже там. Ермаков сказал: "Сообщаю вам следующее. Сегодня пятница. Дело наше во вторник, то есть через три дня, будет слушаться в кассационном порядке Верховным судом. Поэтому завтра, в субботу, и в воскресенье для всех вас будут работать изолятор КГБ и канцелярия суда. За эти два дня вы должны успеть изучить протокол судебного заседания, подать свои замечания на него, помочь осужденным составить их жалобы, отпечатать ваши и сдать их.

Вся эта гонка не имела ничего общего со сроками, установленными Уголовно-процессуальным кодексом. Впечатление было такое, что закон вообще отменен. Ко вторнику не истекал не только срок кассационного обжалования, но и срок подачи замечаний на протокол. Никогда ранее в советских судах не происходило что-либо подобное.

- Ни объяснить, ни понять ничего не могу сам, - сказал нам Ермаков, - но таково распоряжение оттуда... - И он поднял палец к потолку.

Вечером в воскресенье мы наконец, совершенно измотанные, смогли выехать в Москву.

Через день, 28 декабря, мне снова пришлось преодолевать два кордона оцепления у здания суда, чтобы пройти к залу, где предстояло кассационное рассмотрение нашего дела. Там уже сидел на задней скамье академик Сахаров с тремя вразброс приколотыми звездами Героя (тогда они еще не были отобраны у него), рядом - Елена Боннэр, родные осужденных. И много каких-то симпатичных молодых людей.

В коридоре мне встретился знакомый прокурор, и я спросил его, что происходит и как все это понимать. Он отвел меня в сторону и объяснил: президент США Никсон по прямому телефону позвонил Брежневу и обратился с личной просьбой - не портить американцам Рождество, заменить до Нового года смертные приговоры по делу! Брежнев, в свою очередь, попросил о том же кого надо у нас. А когда те робко заикнулись, что, дескать, до Нового года невозможно, будут нарушены законные сроки, - Брежнев счел это бестактностью и даже слушать не стал. Пришлось исполнять, как велено... "У вас там будет происходить замена высшей меры по Никсону, а не по УПК", - заключил мой знакомый.

Я вернулся в зал. Вышла судебная коллегия во главе со Смирновым лично, чего сроду не было, и все произошло так, как и было предсказано: выступила защита, прокурорский генерал предложил, исходя из соображений социалистической гуманности, заменить смертную казнь Кузнецову и Дымишицу лишением свободы - по 15 лет каждому". ("Самолетное де-

ло. Как заменили высшую меру не по УПК а по президенту Никсону”)

“Узнав о приговоре, я, как и очень многие в мире, был возмущен и взволнован, - пишет А. Д. Сахаров (“Воспоминания”, стр. 430-433). - В 8 утра, к открытию почты, я принес на почту составленную за ночь телеграмму на имя Брежнева с просьбой об отмене смертного приговора Кузнецову и Дымищцу и смягчении приговора остальным осужденным... Тогда же я прочитал в советских газетах о письме советских академиков - членов американских академий - президенту США Никсону с просьбой способствовать оправданию американской коммунистки Анджелы Дэвис, обвиненной в соучастии в трагически окончившейся попытке вооруженного освобождения группы подсудимых из зала суда. Я тоже был членом Американской Академии наук и искусств в Бостоне, но ко мне никто не обращался по поводу этого письма. Я решил написать от себя письма президенту США и президенту СССР Подгорному с просьбой о снисхождении в двух делах - А. Дэвис и ленинградских самолетчиков, в особенности с просьбой об отмене смертной казни Кузнецову и Дымищцу...

Я также сделал в эти дни безрезультатную попытку непосредственно связаться с Брежневым. Я пришел в Институт атомной энергии и попытался дозвониться до Брежнева по “вертушке” (кремлевский телефон)... Я дозвонился до секретаря Брежнева и стал ждать, когда он доложит о моем звонке... Секретарь Брежнева к 9 часам вечера позвонил мне, сказав, что Леонид Ильич очень занят и не смог со мной переговорить, но сожалеет об этом и хотел бы когда-нибудь в более удобное время встретиться со мной...

Сразу после приговора Люся имела свидание с Эдуардом Кузнецовым. Кроме нее никому было пойти на эту нелегкую не только для приговоренного, но и для посетителя встречу... Эдика привели из камеры смертников в кабинет начальника тюрьмы, и около двух часов они разговаривали. Эдик даже как-то шутил, Люся покормила его принесенной с собой едой.

Между тем, международная кампания в защиту “самолетчиков” нарастала. В это время в Испании был вынесен смертный приговор террористам-баскам, и в одной из зарубежных газет была карикатура - Брежнев и Франко в хороводе вокруг елки, на которой вместо украшений - повешенные. Многолюдные демонстрации прошли во многих странах Европы и Америки. На 30 декабря неожиданно - явно по приказу свыше - был назначен кассационный суд... Вечером 30 декабря радио сообщило, что в Испании смертный приговор баскам заменен длительным заключением”. Э.К.

31). Никита Кривошеин - бывший политзаключенный, летом 1971 года эмигрировал во Францию, - примеч. ред.

32). *“Красная полоса” в лагерном досье заключенного означает “склонность к побегу”.*

33). *Статья 77-1 УК РСФСР - “Действия, дезорганизирующие работу исправительно-трудовых учреждений”. В арестантской среде заслужила прозвище “расстрельная”, - Э.К.*

34). *Особо опасные рецидивисты.*

35). *Виктор Хаустов - близкий со школьных времен друг Э. Кузнецова. Участник демонстрации в январе 1967 г. на Пушкинской площади, за которую был приговорен к двум годам заключения. В 1973 году осужден на 4 года лагерей и два года ссылки вместе с Г. Суперфином 5 лет лагерей и 2 года ссылки. Один из эпизодов обвинения - передача “Дневников” Э. Кузнецова на Запад, - прим. ред.*

36). *Жанна д’Арк из пьесы французского драматурга Ануя “Жаворонок”.*

37). *Власовская Русская освободительная армия.*

38). *Фраза из романа Германа Гессе “Игра в бисер”.*

39). *Валентин Зэка (Справка для будущей “Лагерной энциклопедии”)*

*СОКОЛОВ, Валентин Петрович. Родился 24.08.27 в г. Лихославле Тверской области в семье служащего. После школы трудился разнорабочим на местной железнодорожной станции. В 1945 г. поступил в московский институт стали и сплавов, через год призван в армию, а в 1947 году арестован и осужден Московским трибуналом за стихи и отказ участвовать в выборах. Статья обычная (58-10), срок типовой - десятка. В лагере продолжал писать стихи. Был освобожден - после девяти лет - досрочно, однако милосердия властей не оценил, полагая, что именно про него сложена лагерная пословица: “Раньше сядешь - раньше выйдешь; раньше выйдешь - раньше сядешь” (см. “Лагерные пословицы и поговорки”, т.12). И в самом деле: для некоторых еще вовсе цвела и пахла “оттепель”, а В. С. уже был арестован (1958), по той же статье и на тот же - десятилетний - срок. Обвинение: “стихи враждебного содержания”. 31.08.68 г. В. С. был освобожден, однако прочная репутация неискоренимого “антисоветчика” заставляла предполагать со значительной долей уверенности, что это ненадолго. В 1970 году арестован в третий раз: на заводском собрании выступил в защиту рабочих и обматерил начальство. По ст.206, ч. 1 дали ему 1 год. В 1972 - опять арест. Формальный повод - в пьяном виде оскорблял милиционера. (см. “Богема”, т. 3). В принципе, и то, и другое вполне вероятно. Как только заводилась у него в кармане копейка, ерофеевские ангелы напевали ему известную песню. И милиционера он мог оскорбить (если таковое вообще возможно). И пению ангелов, и словесным выпадам в адрес явных, полуявных и тайных пред-*

ставителей нелюбимой им власти я сам был свидетелем, когда на исходе лета 1969 года вместе со своим другом и поделником Юрием Федоровым навестил В. С. в тошнотно скучном, навеки припорошенном серой угольной пылью городишке Новошахтинск.

Приговорен к пяти годам по ст. 206, ч.2, отсидев каковые потребовал лишить его советского гражданства и дать возможность выехать в любую страну несоциалистического лагеря. За это его судили по ст. 190-прим и тут же этапировали в черняховскую психотюрьму - в Калининградской области. (см. "Страдальцы", т. 21).

Личность колоритная, одна из ярчайших на лагерном небосклоне, В. С., по общему признанию, - талантливейший лагерный поэт. Лагерный - потому что всю жизнь сидит, потому что основной его слушатель-читатель - бушлатный народ, потому что все его стихи - о лагере; даже когда вроде бы не о нем - все равно о нем, проклятом.

Подписывался он - "Валентин з/к", этим фиксируя не только неизбывную тему свою, но и вечную обреченность на лагерь (см. "Сын ГУЛАГа", т. 9). "С детских лет до седины", - так обозначил свой срок В. С. О теперешнем его творчестве нет почти никаких свидетельств, однако с конца 50-х и все 60-е напролет В. С., несмотря на все отличие мордовских лагерей от дома творчества, писал чуть ли не ежедневно. На волю просочилась - увы! - лишь малая толика созданного им.

В начале 1984 года по ходатайству нескольких бывших зэков В. С. был принят во французскую секцию Пен-Клуба.

Эдуард Кузнецов - "Континент", №41, 1984 г.)

*P.S.* Лишь спустя несколько лет стало известно, что членом Пен-Клуба Валентин Соколов стал посмертно. Он умер 7 ноября 1982 года в психбольнице города Новошахтинск. Диагноз - инфаркт миокарда. Согласно сведениям о последних месяцах его мученической жизни, известно, что за два месяца до смерти Соколова перевели из "черняховского дома" в психбольницу в Новошахтинске, где его продолжали мучить: кололи нейролептики, но при этом не давали необходимых лекарств - например, теофедрина, без которого он задыхался. Регулярно отбирали тетради, ручки-карандаши, книги. "Хуже заключения черняховский дом", - написал он в своей предсмертной поэме. Новошахтинский дом оказался не лучше. - Э.К.)

40). Имеется в виду следственный изолятор КГБ Мордовской АССР в г. Саранск, - примеч. ред.

41). А. Д. Сахаров ("Воспоминания", стр. 537, 544-545): "В сентябре 1972 года Люся сделала письменное заявление (переданное западным кор-

респондентам), в котором она принимала на себя ответственность за передачу на Запад “Дневника” Эдуарда Кузнецова. Она действительно передала эту рукопись... Летом 1973 года “Дневник” был опубликован, вначале на итальянском, а потом на русском и многих иностранных языках, и привлек к себе большое внимание содержащейся в нем потрясающей фактической информацией и талантом автора. В качестве приложения к “Дневнику” приведена запись процесса над “самолетчиками”, составленная Люсей во время суда.

...В первых числах ноября (1973 года - Э. К.) Люсю допрашивал подполковник (мне он назвался полковником - Э. К.) Сыщиков (надо же иметь при таком деле такую фамилию...), по слухам, знаменитый своим умением “раскалывать” самых упорных. Допрос шел по делу Хаустова и Суперфина, обвиняемых в связи с “Дневником” Кузнецова...

Сыщиков действительно был примечательной фигурой, притом довольно жутковатой. Он все время “актерствовал”, непрерывно говорил, как бы обволакивая звуком своего низкого, проникающего в душу голоса: “Доверьтесь мне, и я поведу вас, как отец родной. Будьте откровенны со мной, ведь на вас лежит ответственность за судьбу этих молодых людей, только вы можете им помочь”. (Он говорил о Хаустове и Суперфине.)

Но Сыщиков широко использовал также крик, угрозы и был при этом подлинно страшен”.

“В 1973 году активизировались усилия КГБ по пресечению каналов передачи рукописей за рубеж, - пишет в книге “История инакомыслия” Л. Алексеева (Chronika Press, Benson, Vermont, 1984). - Летом 1973 года эти усилия сконцентрировались на деле о передаче на Запад “Дневников” Эдуарда Кузнецова... По этому делу были арестованы Габриэль Суперфин и Виктор Хаустов. По этому же делу был проведен обыск у московского искусствоведа Евгения Барабанова... Барабанов официально заявил, что это он передал “Дневники” на Запад... В передаче дневников Кузнецова на Запад уличали также московского экономиста Владимира Долгого... Тогда же выступила с открытым заявлением жена Сахарова Елена Боннэр. Она утверждала, что “Дневники” передала именно она. Похоже, люди, едва знакомые или вовсе не знакомые друг с другом, оспаривали это деяние у других, и каждый брал его на себя вместе с грозившим за это многолетним заключением. Среди возможных жертв КГБ решил ограничиться уже находившимися под арестом Суперфином и Хаустовым, чтобы политический скандал с “Дневниками” Кузнецова не разросся до размера дела Синявского и Даниэля и не привлек бы к “Дневникам”, уже все равно опубликованным на Западе, внимания всей массы читателей “Архипелага”.

42). *Американский заключенный, которого советская пропаганда выдавала за политического арестанта, - примеч. ред.*

43). *Гнать (сленг) - врать.*

44). *Войдотить (сленг) - громко кричать, орать.*

45). *Золотые (сленг).*

46). *То же, что и фрайер (сленг).*

47). *Часы (сленг).*

48). *Сергей Бабич, украинец, 1939 года рождения, четырежды судимый (два раза за политическую деятельность, два - за дерзкие побеги из лагеря). Отсидев 14 лет, освобожден в 1975 году, а в 1976 был приговорен к 15 годам по сфабрикованному КГБ делу о хранении оружия, - Э. К.*

49). *Так называли бойцов гэбистских "истребительных отрядов", действовавших в Прибалтике и на Западной Украине, - Э. К.*

50). *Секция внутреннего порядка - то есть отряды "ставших на путь исправления" заключенных, этакий юденрат, - Э. К.*

51). *Пролы - социальная прослойка в древнеримском обществе. Они не платили налогов, т.к. не обладали никаким имуществом, кроме детородных органов. Слово "пролетариат" этимологически восходит к слову "прол", - Э. К.*

52). *Луис Корвалан - генсек компартии Чили. В декабре 1976 года его обменяли на советского политзаключенного Владимира Буковского.*

53). *Вячеслав Черновол - украинский диссидент, во второй половине 90-х годов - кандидат в президенты Украины. В 1998 году погиб при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе.*

54). *Болоховский. Имя его я запомнил, - Э. К.*

55). *Кронид Любарский - политзэк.*

56). *Знаменитая операция "Энтеббе" (она же "Молния"). 27 июня 1976 года группа палестинских террористов, которую возглавляли два немца, захватила пассажирский самолет авиакомпании "Эр Франс", следовавший маршрутом Тель-Авив - Афины - Париж. Угнанный самолет, на борту которого было более ста израильтян, террористы посадили в аэропорту Уганды. 4 июля группа израильских коммандос совершила налет на аэропорт Уганды, уничтожила несколько советских "МИГов", ликвидировала главарей террористической группы и освободила заложников, - примеч. ред.*

57). *Космодицея - "оправдание космоса" (по аналогии с теодицеей - оправданием Бога, т. е. учением, примиряющим существование зла с идеей справедливости Бога).*

58). *27 апреля 1979 года Марка Дымишица, Александра Гинзбурга, украинского националиста Валентина Мороза, баптистского пастора Георг-*

гия Винса и меня обменяли на двух советских шпионов, - Черняева и Энгерера - арестованных в США и приговоренных к 50 годам тюрьмы (каждый). Кроме этого в пакетную сделку об обмене входили замена смертного приговора агенту ЦРУ полковнику Филатову (бывшему советскому военному атташе в Алжире) на 15 лет заключения и отмена эмбарго на продажу так называемого "большого компьютера", наложенного за два года до этого в связи с арестами ряда известных диссидентов в России и на Украине. Была у нашего освобождения и иная подоплека: в то время президент США Картер норовил провести через конгресс соглашение с СССР об ОСВ-2 (Ограничение стратегических вооружений); в конгрессе Картер столкнулся с мощным сопротивлением и тогда попросил у Москвы сделать какой-нибудь "гуманитарный жест", свидетельствующий о либерализации кремлевских нравов.

Кстати, меня и до этого дважды пытались обменять - и непременно на шпионов. Первый раз, вроде бы, в 1977 году - на советского шпиона, арестованного в Южной Африке (если память меня не подводит, фамилия его была Козырев, воинское звание - капитан). Второй раз это были Гюнтер Гильом с женой - уже в 1978 году. Тот самый Гильом, из-за которого канцлер ФРГ Вилли Брандт полетел со своего поста. О предстоящем обмене на Гильома сообщили кому-то из моих сокамерников родственники во время свидания, услышавшие об этом по одному из "вражеских" радиоголосов. Они же сообщили, что Гильом этот гомосексуалист. И вот подходил ко мне на прогулке уголовник по кличке Москва (довольно яркий, кстати говоря, мужик - всякие шуточки-прибаутки, да сленговые словечки на ходу сочинял. Эдакий природный языковорец)... Подваливает и говорит: "Ты че? Тебя на петуха, говорят, менять хотят... Откажись - они ж там решат, что ты тоже петух!"

В газете "Нью-Йорк Пост" 27.04.1978 г. появилась статья Джима Ледермана, называвшаяся "Большой "шпионский обмен" в работе". Вот выдержки из нее: "Из источников в Иерусалиме стало известно, что в данное время ведутся переговоры об обмене заключенными между Востоком и Западом. Главная козырная карта со стороны Запада - Гюнтер Гильом с женой, отбывающие многолетнее заключение в западногерманской тюрьме за шпионаж в пользу ГДР. Гильом был первым помощником канцлера ФРГ Вилли Брандта, который в связи с арестом шпиона подал в отставку. Двое советских заключенных, относительно освобождения которых ведутся переговоры, - Эдуард Кузнецов и Анатолий Щаранский... Основные участники переговоров - восточногерманский адвокат Вольфганг Фогель (с 1962 года причастный фак-

тически ко всем договорам об обмене заключенными между Востоком и Западом) и израильский гражданин Шабтай Калманович. (В конце 80-х годов уличенный и осужденный в Израиле как агент КГБ, - Э.К.) ...В обмен на Щаранского и Кузнецова Запад предлагает также Роберта Томсона (42) - бывшего высокопоставленного офицера шифровального отдела ВВС США, находящегося в тюрьме с 1965 года." - Э.К.

59). Л. Чуковская, "Записки об Анне Ахматовой", т. 1, стр. 9.

60). А. Д. Сахаров ("Воспоминания", стр. 681-686): "15 декабря 1977 Люся поехала в Мордовию на свидание с Эдуардом Кузнецовым. Незадолго перед этим она получила от него письмо. У Кузнецова была надежда, что свидание, после долгого перерыва, будет дано. Люся взяла с собой меня. Она рассчитывала, что при моем приезде ей с большей вероятностью дадут свидание... С нами поехал также Алеша (сын Е. Боннэр от предыдущего брака - Э.К.) в качестве носильщика. Для Люси это была далеко не первая поездка в мордовские лагеря: с 1971 года она ездила к Эдику не раз, правда, часто безрезультатно... Мы остановились в гостинице для приезжающих.

...С утра мы с Люсей пошли к начальнику лагпункта просить о свидании. Но тут нас ждало разочарование. Начальник категорически отказал. Аргумент - мы не являемся лицами, которые могут благоприятно повлиять на заключенного. Мы послали телеграмму начальнику Дубровлага в Явас (административный центр лагеря) и начальнику ГУ-ИТУ (Главное управление исправительно-трудовых учреждений), ...а сами стали ждать. Мы надеялись, что начальству наше сидение, о котором, конечно, кругами во все стороны пошли слухи и разговоры, будет неприятно. Так оно и было, но свидания нам не дали... В то же время сам Кузнецов, узнав о нашем приезде, со своей стороны требуя свидания, объявил голодовку. Все было безрезультатно. В конце декабря мы, желая как-то разрядить обстановку, уехали в Москву".



## **СОДЕРЖАНИЕ**

ОТ АВТОРА	3
ДНЕВНИКИ	9
<b>МОРДОВСКИЙ МАРАФОН</b>	
Зарешеченное окно	143
О “странном народе”, Альберете и вообще	155
О внутреннем положении	208
Великий ли лагерны1 пятачок	211
Кандаламша	247
Ищите шапку–несидимку	267
Вродят сны по коридору	277
Критерий истины	285
ХЭППИ ЭНД	286
О ТОМ, КАК МЕНЯ САХАРОВ ОБОГРЕЛ	301
ДВЕ КСИВЫ	306
ПЕРСОНАЖ В РОЛИ АВТОРА, или СЕРЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ	315
Примечания	320



**Эдуард КУЗНЕЦОВ** - бывший политзаключенный, а ныне редактор, журналист и писатель.

Дважды (в 1961-м и 1970-м гг.) судим за под-  
рывную антисоветскую деятельность и “измену  
социалистической родине” - всего в советских  
концлагерях и тюрьмах провел 16 лет.

В 1970 году был приговорен по знаменитому  
“ленинградскому самолетному делу” к расст-  
релу, каковой в результате давления академика  
Сахарова и президента США Никсона, а равно  
дальновидности главы правительства Израиля  
Голды Меир и генералисимуса Испании Франко  
заменили на 15 лет лагерей особо строгого ре-  
жима. В 1979 году досрочно освобожден в рамках  
обмена на двух советских шпионов, арестованных  
в США.

Автор десятков рассказов и трех книг: одна из ко-  
торых, тайком написанная в лагере (“Дневники”),  
удостоилась в 1974 году французской премии  
“Гулливвер” как лучшая книга года.

